1 р. 90 к. Индекс 73293

«ОКТЯБРЬ» В 1992 ГОДУ

Авторхан АВТОРХАНОВ. **Мемуары.**

Марк АЛДАНОВ. **Десятая симфония.** *Повесть.*

Иосиф БРОДСКИЙ. **Эссе и статьи о литературе.**

Анатолий АНАНЬЕВ. **Лики бессмертной власти.** *Роман. Часть I.* **Иван Грозный.**

Владимир ВОЙНОВИЧ. **Замысел.** *Роман.*

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ. **Лев Троцкий.** *Политический портрет. Книга II.*

Михаил ВОСЛЕНСКИЙ. **Смертные боги.**

Антон ДЕНИКИН. **Очерки русской смуты.** *Тт. 3—4—5.*

Георгий ИВАНОВ. **Цикл рассказов.**

Александр ИВАНЧЕНКО. **Солнечное сплетение.** *Роман.*

Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Младший брат.** *Роман.*

Александр МЕНЬ *(протоиерей).* **Как читать Библию.**

Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ. **Иисус Неизвестный.**

Ирина ОДОЕВЦЕВА. **Оставь надежду навсегда.** *Роман.*

Борис ЯМПОЛЬСКИЙ. **Знакомый город.** *Повесть.*

Подробно о планах «Октября» на 1992 год читайте на стр. 3—5.

ISSN 0132-0637. Октябрь. 1991. № 7. 1—208.

1991 7 ОКТЯБРЬ

ISSN 0132-0637



7

1991



ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

7

1991

ИЮЛЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ОТКЛИК

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.
Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.
Рукописи редакция не возвращает.
Рукопись может быть возвращена только при условии предварительной оплаты автором почтовых расходов редакции на ее пересылку.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (зав. отд. поэзии), **И. А. БРЯНСКАЯ** (зав. отд. публицистики), **Н. Д. КРЮЧКОВА** (зав. отд. прозы), **В. М. ЛИТВИНОВ** (зав. отд. критики), **Н. К. ЛОШКАРЕВА** (первый заместитель главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН** (заместитель главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).
Коммерческий директор **Ю. В. ГРИНЬКО.**

Технический редактор С. И. Суровцева.

Сдано в набор 05.06.91. Подписано к печати 21.06.91. Формат 70×108 1/16.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 18,90. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 242 000 экз. Заказ № 587. Цена 1 р. 90 к.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы—214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24

«ОКТЯБРЬ» — 1992

В последние годы у «Октября» сложился свой, вполне определенный круг читателей. Об этом свидетельствуют письма-отклики на наши публикации, выборочные социологические исследования, поддержка, оказанная журналу в его стремлении к независимости — гражданской и эстетической. И наконец, то, что, несмотря на все трудности прошлой подписной кампании и повышение цен, «Октябрь» сохранил 72 процента своих подписчиков. Такой читательской верностью не может похвастаться ни один журнал!

Это радует: значит у «Октября» есть **позиция** и читатели ее поддерживают.

1992 год станет логическим продолжением года 1991-го.

Главный смысл и цель нашей деятельности — способствовать своими публикациями духовному, нравственному, экономическому возрождению России и россиян. Мы смотрим на литературу как на великую созидательную силу, объединяющую людей, насыщающую ум, врачующую душу, пробуждающую в ней свет, добро, милосердие.

Редакция продолжит знакомство читателей с отечественной и зарубежной литературой, от которой все мы были отлучены, долгие годы прозябая на скудном духовном пайке.

И еще: «Октябрь» — 1992 можно, наверное, назвать **годом новых имен.** Одни — новые или малоизвестные только для советского читателя, в мировой литературе они занимают прочное место. Другие — действительно новые. Авторы только входят в литературу, но входят уверенно, с произведениями самобытными и яркими. Надеемся, некоторые из предложенных произведений станут открытием года.

ПРОЗА в «Октябре» будет представлена следующими произведениями:

Марк АЛДАНОВ. **Десятая симфония.** Повесть.

По определению самого автора, это повесть не историческая, а философская. Блестящая Вена начала XIX столетия. Граф Андрей Разумовский, меценат, любимец высшего света, художник Изабе и трагический Бетховен — переплетение судеб, идей века, вечных вопросов бытия.

Изящный слог, изысканная манера письма напомнят читателю об утраченной красоте и эстетической ценности слова.

Юз АЛЕШКОВСКИЙ. **Книга последних слов.**

Это цикл рассказов: монологи подсудимых. Написанные острым пером сатирика, они обнажают все ханжество, весь абсурд идеологии и практики нашего развитого социализма.

Анатолий АНАНЬЕВ. **Лики бессмертной власти.** Роман. Часть 1. **Иван Грозный.**

Бессмертен народ, и бессмертна власть. Исследуя их драматическую неразрывность, коллизии сегодняшнего дня, писатель погружается в эпоху Ивана Грозного. Размышляя о природе власти, пытается осмыслить психологию властителя, нравственные истоки его поступков.

Поразительно: во все поворотные моменты русской жизни общественная мысль обращала взор к временам Ивана IV. Что за роковое время? Какие узлы сплелись там, если окликаем мы эту далекую эпоху, размышляя о самой жгучей современности?

Александр ВАСИНСКИЙ. **Большое безумие.**

Повесть — фантасмагория с причудливым сюжетом, остроумным стилем, многозначностью философского иносказания. Главный герой приходит в себя после операции в клинике трансплантации органов имени проф. Э. Т. А. Гофмана и обнаруживает,

что он не один, что «его стало трое». Перед читателем, по сути, новая антиутопия, исполненная в духе фантастического реализма.

Это третья повесть автора, две предыдущие — «Предпоследний возраст» и «Лицо релаксанта», напечатанные в 1991 году в журнале «Аврора» и альманахе «Чистые пруды»,— были замечены читателями и критикой.

Владимир ВОЙНОВИЧ. **Замысел.** Роман.

Имя автора в рекомендациях не нуждается. А вот «Замысел» его не известен: автор держит его в тайне, ибо работа над романом пока не закончена.

Георгий ИВАНОВ. **Шесть рассказов.**

В своих новеллах, как и в стихах, Г. Иванов лаконичен и виртуозен. Мистический дымок дооктябрьских дней 1917 года, всепроникающая атмосфера зла...

«...Нельзя не сознаться, что есть в жизни что-то, кроме того, что видит каждый и что видно каждому, что-то непонятное, страшное и грозное, что-то, чему, по словам поэта, «есть причина и нет объяснения» — в такой тональности написаны все шесть рассказов.

Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Младший брат.** Роман.

Бахыт Кенжеев — тоже новое имя для советского читателя. Поэт, на Западе вышли две книги его стихов. Родился в 1950 году. Эмигрировал, живет в Канаде.

«Младший брат» — первое прозаическое произведение автора. Его можно назвать романом о потерянном поколении 70—80-х годов. В центре повествования молодой, довольно-таки благополучный гид-переводчик «Интуриста» в неизбежном для семидесятых «интерьере»: приятели-полудиссиденты, отъезжанты, приспособленцы, вездесущее КГБ, аресты... К тому же у героя брат — талантливый поэт и любовь с иностранкой — достаточно, чтобы понять: добром он не кончит... Роман написан живо, легко, автор изящно переходит с прозы на поэзию, от иронии к лирике...

Олег КЛИНГ. **Меченые.** Повесть.

Героя повести и спутников его короткого земного бытия объединяет только одно — печать неизбежного трагического исхода...

Заглавие повести многозначно. Видимо, его можно отнести ко всему поколению, чье становление пришлось на семидесятые годы: обреченность, невостребованность лучших свойств личности, бессмысленное прожигание «дара жизни».

Это вторая повесть автора.

Александр КОНДРАТЬЕВ. **Сны.**

Небольшая повесть Александра Кондратьева — талантливого поэта и писателя «Серебряного века» (ум. в 1967 г.), увы, тоже неизвестного советскому читателю,— являет собой едва ли не лучший образец русской готической повести, представленной, в частности, романом А. К. Толстого «Упырь».

Владимир ОРЕШКИН. **Референт.** Повесть.

Скромный референт случайно становится обладателем чужих документов и входит в роль их владельца — преуспевающего дельца парапсихологического бизнеса... Эта фантастическая ситуация двойной жизни дает возможность прозаику метко и остроумно набросать портрет современного маленького человека — совслужащего.

В прошлом году вышла первая книга автора.

Ирина ОДОЕВЦЕВА. **Оставь надежду навсегда.**

Впервые на родину возвращаются романы известной поэтессы, жизнь которой сама похожа на роман (о ее судьбе расскажет на страницах журнала Анна Колоницкая, которая сыграла в жизни И. В. Одоевцевой поистине судьбоносную роль).

«Оставь надежду навсегда» — роман со сложной интригой и трагическими судьбами главных героев — написан И. Одоевцевой в 1946 году при участии Георгия Иванова (поэт был ее мужем). Книга интересна прежде всего тем, что представляет советскую действительность 30-х годов, какой она виделась русской эмиграции.

Борис ЯМПОЛЬСКИЙ. **Знакомый город.** Повесть.

Борис Ямпольский — один из запрещенных, не печатавшихся долгие годы писателей. Знакомство с его наследием только начинается. В 1988 году опубликован его роман «Московская улица», в нынешнем году в «Октябре» будут напечатаны два рассказа.

Пронзительное ощущение времени, точнее, сталинского безвременья, сочувствие обычному человеку, его усилиям превозмочь страх, сохранить душу и совесть — эти характерные для Ямпольского мотивы слышны и в повести «Знакомый город».

Широко будет представлен на страницах журнала **современный рассказ.** В портфеле «Октября» новеллы как признанных мастеров этого жанра, так и талантливые работы молодых.

В ПОЭТИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕ журнала — самый широкий спектр направлений, стилей, манер. Принцип отбора один — качество, степень таланта автора.

Под рубрикой **«ВОЛЬНОЕ РУССКОЕ СЛОВО»** — неофициальная поэзия прошлого двадцатилетия.

ФИЛОСОФИЯ, ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА.

Авторхан АВТОРХАНОВ. **Автобиография.**

Рассказ о своей жизни А. Авторханова (человека, пожалуй, самого оболганного и самого ненавистного советской партократии) скорее напоминает остросюжетный приключенческий роман. Немудрено: ведь в биографии автора и тюрьма, и бегство из страны, и смертный приговор, и несколько покушений...

Михаил ВОСЛЕНСКИЙ. **Смертные боги.**

Новая работа известного политолога посвящена самой верхушке советской номенклатуры.

Александр МЕНЬ (протоиерей). **Как читать Библию.**

«Как читать Библию?» Необходимость такого путеводителя для нас, только сейчас приобщающихся к выдающейся сокровищнице мировой культуры — БИБЛИИ,— трудно переоценить. И ценность эта еще во много раз возрастает благодаря комментатору — протоиерею Александру Меню.

Под рубрикой **«СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕНТАРИЙ»** — серия оперативных статей на самые острые проблемы текущего момента. Свой взгляд выскажут ведущие публицисты, авторы «Октября» — Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, А. КЛЯМКИН, Л. ПИЯШЕВА, Л. САРАСКИНА, А. СТРЕЛЯНЫЙ.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА — в философском, религиозном, политическом и социальном аспектах — станут темой года. В ее обсуждении примут участие известные отечественные и зарубежные политологи, философы, правозащитники.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА представит современный литературный процесс с разных точек зрения в статьях А. АГЕЕВА, Л. АННИНСКОГО, А. БОЧАРОВА, И. ВИНОГРАДОВА, Н. ИВАНОВОЙ, В. НОВИКОВА, И. ШАЙТАНОВА.

Будет продолжен сериал **«РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В МЕМУАРАХ И ДОКУМЕНТАХ»**, подготовленный специально для «Октября» по материалам зарубежных архивов.

Реклама — не окончательная программа журнала на год. Хотя редакционный портфель сформирован — и с избытком,— отбор произведений продолжается в течение всего года. Если редакция вдруг получит произведение более яркое, оно будет незамедлительно представлено читателям, вытеснив или отодвинув работу менее интересную.

Думаем, и читатель, и литература выигрывают от такой позиции журнала.

Редколлегия

Борис ВАСИЛЬЕВ

Дом, который построил Дед

РОМАН

КНИГА ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

1

Я давно собирался написать эту книгу: книгу о Доме, который построил Дед. Я пишу с заглавных букв потому, что Дом, о котором намереваюсь рассказывать,— не просто стены, пол да потолок, но и семья, которая тоже являлась Домом. Да и сам Дед был не просто родоначальником, а основателем, строителем, столпом и фундаментом как семьи, которую строил со дня свадьбы до дня смерти, так и дома, который сгорел после него в одну бедственную ночь, оставив после себя пепел надежд, ожог отчаяния и горький осадок горя. А все это — пепел, отчаяние и горе — не существует и не может существовать само по себе: они суть отпечатки любви, радостей, смеха, слез, восторгов, терпения и нетерпения — то есть всего того, что начинается жизнью и заканчивается смертью и, являясь трагедией, именуется комедией, чтобы не пугать в материнских утробах еще не родившихся младенцев. И я тоже не собираюсь никого пугать, но не собираюсь и вычеркивать из жизни страницы, которые могут омрачить читателя, ибо солнце без тени светит только в пустыне.

Жить — значит, страдать, обмирая ли от счастья или каменея от горя, рыдая от наслаждения или рыча от гнева, задыхаясь от нежности или бледнея от боли, за себя или за других, но — страдать, ибо жизнь, лишенная страдания, превращается в способ существования белковых тел. Дед выстрадал свой Дом, и мне придется в большей степени рассказывать о страданиях, чем о столярных или плотницких работах, о процессе, а не о результате, о медленных количественных накоплениях, способных вдруг, помимо нашей воли или нашего желания переходить в иное качество. Например, в груду тлеющих головешек. И рассказывать тихо, ибо прошлому не нужны фанфары, а маршировать куда удобнее по дорогам, чем по кладбищам. Однако эта элементарная истина порою усваивается с огромным трудом и многим так и не хватает жизни на то, чтобы понять, что даже самая прекрасная Триумфальная арка есть всего-навсего ворота во вчерашний день.

Из всякой человеческой жизни можно сделать роман, но — из жизни, а не из существования. А для того, чтобы превратить свое существование в жизнь, человеку приходится рождаться дважды: как существу и как личности, и если в первом случае за него страдает мать, то во втором — он сам, лично, и далеко не у всех хватает на это отчаяния. Стать личностью

означает определить себя во времени и пространстве, выйти из толпы, не выходя из нее, вытянуться колоском на длинном стебельке, подверженном всем невзгодам изменчивой погоды нашей и всегда рискуя оказаться первой жертвой жнеца, традиционно изображаемого в виде старухи с косой в костлявых руках. Вопреки древним заветам человечество всегда спешило положить на алтарь не первенцев, но первых, будь то костер Джордано Бруно, расстрел Гарсиа Лорки или еще какое-либо схожее деяние: вспоминать можно до бесконечности. Нанося раны себе самому подобно фанатикам во время шахсей-вахсея, человечество, обливаясь кровью больше, чем пóтом, продолжало тем не менее двигаться вперед, ибо добровольцев всегда хватало. Однако в последнее время в этом торжественно-кровавом шествии наметился некоторый сбой: мир затоптался, засуетился и вот-вот, потеряв ориентировку, ударится в панику, рискуя повторить смрадный ужас Ходынки. И я должен успеть написать, пока еще есть время на то, чтобы хоть раз перечесть написанное и порадоваться за тех, кто не побоялся родиться вторично в самое неподходящее для этого время.

Это не пустословие — это разгон. Я еще помню паровозы, которые гремели, пыхтели, окутывали себя паром и непременно пробуксовывали на месте, прежде чем двинуться в путь. Конечно, современные локомотивы не испытывают нужды в подобном ритуале, но ведь старый, неуклюжий паровоз сам рождал энергию для собственных путешествий, а электричкам она подается со стороны, и мне, честно говоря, куда ближе чумазый мастодонт, ушедший на слом силою собственного пара. Прогресс есть всего лишь логарифм возраста человечества, и не следует так уж ликовать, ощущая приближение собственной старости.

Итак, подобно старому паровозу, таскавшему и поезда из вагонов всех классов, и единообразные демократические теплушки, и бронечудовища, что до сей поры все еще отстаиваются на запасных путях, я начну рассказ с разгона. С того времени, когда Дед еще не был дедом, не знал, что станет им, да и не помышлял об этом, ибо молодым свойственны совсем иные помыслы, нежели те, которые мы додумываем за них.

2

— Жизнь начинается с любви.

Под старость Дед все чаще склонялся к афоризмам, используя для собственных идей замшелые формы. И, сказав эту фразу, вовсе не думал о зачатии и рождении, а имел в виду, что с того момента, как мужчина начинает понимать, что влюбился, он перестает существовать для себя и стремится жить для других. И все вокруг наполняется смыслом, человек начинает видеть человеков, ощущать их тепло, слышать их стоны и терзаться их тоской. Бессмысленность наполняется смыслом.

— Я испытал звериный восторг бытия, надев военную форму, но постиг ее содержание, когда влюбился,— пояснил он.— Молодость ощущает себя с поверхности.

Тогда он тоже ощущал себя с поверхности, поскольку был двадцатилетним юнкером пехотного училища ускоренного выпуска. Уже прогремел выстрел в Сараеве, уже эхо этого выстрела материализовалось в рев сотен тысяч орудийных стволов, уже Россия всем своим непомерным телом тяжко ворочалась в кровавом месиве мировой войны, куда плюхнулась с разбега, еле-еле успев объявить всеобщую мобилизацию да ввести сухой закон. А трое юнкеров катались на лодке в городском саду: на носу развалился хитрый черноглазый Лекарев, с веслами управлялся крепкий рыжевато-конопатый тугодум фон-Гроссе, а на корме сидел сухощавый, чуть ниже среднего роста синеглазый Леонид Старшов, еще не знающий, что станет Дедом. По собственному признанию, он еще переживал звериный восторг формы, не ведая, что именно с этого дня форма начнет наполняться содержанием, менее чем через полгода переведя его в совершенно иное качество навеки женатого человека.

Случай есть пересечение двух или более причинных рядов, и в то самое осеннее воскресенье по тому самому осеннему пруду плыла еще одна лодка. Крепенькая, хорошенькая, а потому и очень сердитая девуш-

ка не очень ловко размахивала веслами, куда с большим усердием слушая стихи, которые читала ей сидевшая на корме чернокосая и темноглазая барышня («Кажется, это был Гумилев,— скажет она спустя семь десятков лет.— Мы все в ту пору чем-то увлекались...»). Парк был небольшим, и пруд был небольшим, и мир был таким еще юным, что встретиться в нем было очень трудно, а разминуться еще труднее. Неумолимые причинные ряды упорно стремились друг к другу, случай готовился постучаться в две судьбы одновременно и постучался, но слишком громко для той воскресно-осенней идиллии: юнкерская лодка врезалась в девичью, барышни вскрикнули, Гумилев упал в воду, но — так по крайней мере всегда говорила бабушка — даже не успел намокнуть, поскольку следом за ним бросился юнкер Леонид Старшов. Каким-то чудом он не уткнулся головой в ил, сумел перевернуться, встать на ноги, поймать книгу и с максимальным изяществом протянуть ее испуганной владелице.

— Вот ваша книга, мадемуазель.

С головы его свисали сизые водоросли, донная грязь неторопливо ползла по лицу: юнкер был похож на водяного, но водяного-юнкера, что сразу же отметили обе барышни. Потом с криками и смехом ловили фуражку, потом Леонид залезал в лодку, потом обе лодки поспешно плыли к берегу («Ведь уже холодно, и вы можете простудиться!»), потом пристали и вышли на берег и опять начали хохотать, потому что мокрый Старшов оказался на кого-то похож, но опять — на кого-то очень молодого. И в общем веселии Лекарев счел возможным представиться, а познакомившись с барышнями, тут же представил им своих друзей: сухого и мокрого.

— Варвара Николаевна Олексина.

Спустя пять месяцев они обвенчались. Дед пребывал уже в прапорщиках, а бабка, естественно, в белом платье, которое ей суждено было надеть еще раз в ожидании расстрела. Но до того она успела родить, чуть располнеть, и платье треснуло по шву; когда гаркнули: «Перва десятка, к исполнению!», подруги по камере кое-как закололи лопнувший шов. А кума, входившая в ту же «перву десятку», сказала: «Умирать надо красивой, Варенька»...

Впрочем, тогда ничего еще не трещало, мундир был чист, как причастие, в погонах отражалась солнечная надежда, и прапорщик Старшов сдержанно радовался первому кирпичу, заложенному им в основание собственного дома. Правда, радость была несколько омрачена тестем, отставным генерал-майором, возвратившимся с русско-японской войны с тяжелым ранением и весьма ворчливым характером. То ли по чистой случайности, то ли по стечениям обстоятельств, а только из довольно обширной родни генерала никто так и не пожаловал на свадьбу его средней дочери. Ни ее крестная мать вдовая миллионерша Варвара Ивановна, живущая в подмосковном городишке, сплошь заселенном рабочими и работницами ее ткацких фабрик. Ни сановный братец Федор Иванович, свитский генерал и кавалер российских орденов, уж много лет проживавший в Петер... виноват, велено теперь говорить: Петрограде. Так вот, в Петрограде, поближе к государю: он, Федор, был любимцем покойного царя Александра III, но и сын тоже не обделял его своим высочайшим вниманием, глянув сквозь пальцы даже на демонстративную выходку младшей дочери Федора Ивановича Ольги, сбежавшей в Сибирь вослед осужденному на каторгу возлюбленному, будто новоявленная княгиня Трубецкая. Не явился, заметьте, и старший брат Василий Иванович, когда-то учивший детей графа Льва Николаевича Толстого, а ныне доживавший свой век в Казани верным адептом своего великого друга. Не пожаловала и младшая Надежда Ивановна, ныне Вологодова, проживавшая в Москве с детьми (слава Богу, хорошие, говорят, дети!) и весьма даже важным супругом. Этакий Каренин, знаете ли... Да что там перечислять, когда даже ближайший сосед и брат, уволенный с государственной службы по личному прошению Иван Иванович, живший одиноко в фамильном имении Высокое, тоже, так сказать, не соизволил, не почтил, так сказать. Н-да. И никто не почтил, изволите ли видеть. И выкручивайся перед этими... поспешно испеченными прапорщиками военного лихолетья. Обидно. Нестерпимо. И генерал в сердцах объявил свадьбу возмутительно поспешной, но поскольку дочерей у него было, как у чеховского Прозорова, жена скончалась год назад, а Варвара (средняя) выходила замуж первой, то до венчания он ворчал про себя. Тем более что за свадебным столом больше всех говорил черноглазый, длинный и хитрый прапорщик Лекарев, новенький, как пятиалтынный.

— И еще раз — за любовь, господа! Ах, любовь, любовь, недосягаемая мечта и недосягаемое счастье горемычных окопных офицеров...

Он считал себя окопником с момента получения личного оружия, столь эффектно оттягивающего еще не успевшую пропотеть портупею. При этом он не сводил томных глаз с сердитой подружки невесты, которую звали Сусанной, и вздыхал. Громко. Второй представитель жениха прапорщик фон-Гроссе молчал, но веснушки его стали еще крупнее и еще краснее, потому что он уж точно знал, что Сусанна нравится ему куда больше, чем этому болтуну Лекареву. Все эти взгляды и вздохи вызывали подчеркнуто веселый смех у родных сестер невесты Оли и Тани (брат Владимир старался казаться солидным и в смехе участия не принимал). При столь однобоком оживлении жених Леонид Старшов счел своевременным разыскать невесть куда исчезнувшего тестя. И разыскал...

— Коли рассчитываете на протекцию, то оной я не оказывал, не оказываю и не буду оказывать никому и никогда. Так-с!

— Это прекрасный пример для меня,— тотчас же откликнулся молодой супруг.— Я женился на вашей дочери только потому, что рассчитываю на полагающийся мне свадебный отпуск. Лучше две недели нежиться в кровати с генеральской дочкой, чем валяться в окопах с вшивой солдатней.

Генерал секунду моргал, а потом хрипло расхохотался, задирая бороду а ля Александр III. После ранения он лишился ноги, приобрел нервный тик и избегал застолий. Поздравив молодых, тут же удалился в свой кабинет, заполненный книгами, табачным дымом и изнуряющими сожалениями проигравшего войну полководца. Совесть ныла сильнее искалеченной ноги, но он жаловался на ногу и глушил боль водкой.

— И эту войну мы проиграем к чертям собачьим.— Он налил зятю водки, которую втридорога заказывал в ресторанах, так как в нормальных лавках продажа ее была запрещена в связи с военными действиями; это донельзя перенапрягало семейный бюджет, поскольку все — сын, три дочери, прислуга и он сам — жили на отставной генеральский пенсион.— Победа достается тому народу, у которого судьба между жизнью и смертью ставит знак равенства. Надо не только хотеть убивать, но и хотеть умирать, и последнее для победы важнее.

— Я хочу жить,— улыбнулся прапорщик.— Любить вашу дочь и время от времени дарить вам внуков.

— Бедная Россия, до чего же ты быстро состарилась.— Генерал хлопнул изрядную толику водки и пожевал собственную бороду.— Ты думаешь, Леонид, зазнайство — признак молодости? Зазнайство — признак дряхлости: когда мы были юны, мы уважали силу шведов и восторгались гением Наполеона. А потом стали вопить, что закидаем япошек шапками, и получили Мукден и Цусиму. И в этой войне мы получим и Мукден, и Цусиму, и что-нибудь еще обиднее, но ты постарайся оставить мне внука, прежде чем тебя убьют.

Прапорщик Старшов старался две недели, если восторг требует старания. Это были дни и ночи небывалого, немыслимого света и тепла: весна за окнами казалась лишь жалкой копией их страсти. Муж худел и темнел, а жена светлела, и светилась, и бегала на цыпочках, будто каждое мгновение готовилась улететь; под конец у него вдруг буйно начали расти усы, а ей пришлось срочно перешивать лиф. Каждое утро Варя встречала смехом и щебетанием, в котором было куда больше чувства, чем смысла, а Леонид — пением: именно тогда, в свой медовый полумесяц, он начал петь по утрам и пел всю жизнь, даже в утро собственной смерти.

А потом он уехал. Его провожали всей семьей — генеральской, поскольку родные Леонида жили далеко от города, где сталкиваются лодки на городском пруду. Плакали сестры Оля и Таня, говорил что-то глупое брат Владимир, а хромой генерал и Варя смотрели строго и скорбно, ибо только им открылось вдруг, что поезд, увозящий прапорщика Леонида Старшова, идет не на фронт, а в другую эпоху и что фронт — просто долгая пересадка.

3

Мнение, будто Россия — страна равнин, есть географическая мистификация, настолько прочно въевшаяся в сознание людей, что ее исповедует поколение за поколением. Мы, русские, охотно поддерживаем это всеобщее заблуждение из чувства патриотизма, поскольку лишь нам одним ведомо, что страна наша состоит из бесчисленного количества изломанных хребтов, вывернутых скул, вывихнутых рук, вырванных ребер, а выбитых зубов уж и просто не счесть: они засеяли всю Русь от финских хладных скал до пламенной Колхиды. Об эти зубы тупятся стальные лемеха на самых тучных черноземах, а поезда, скользящие по гладким рельсам, вдруг ни с того, ни с сего начинают подпрыгивать и трястись, наехав на очередной череп, позвонок или забытый осколок сердца. Мы обладатели самых разухабистых дорог в мире, будь то в августовской пылище, февральских снегах, весеннем разливе или осенней грязюке; доехать до нас никто не может, да и мы сами с огромным трудом добираемся до заграничных задворок, и всегда только с благословения начальства.

И тем не менее уж какое столетие с грохотом, звоном и стоном мчатся по Руси поезда. Они взяли разгон задолго до изобретения самого первого рельса, и в этом нет ничего фантастического, если вспомнить слова незабвенного штабс-капитана Лебядкина, что Россия есть игра природы, но не ума. Ее и впрямь никаким умом не понять и никаким аршином не измерить, и чудо не в том, что поезда ее сорвались с тормозов по совершеннейшему бездорожью, а в том, что они никогда не достигнут станции назначения. В этом есть нечто мистическое, чего объяснить я не берусь, но твердо убежден, что никто из моих соотечественников не сомневается в этой чертовщине с момента своего рождения. Да, перед нами и вправду расступаются страны и народы, глядя на нас с изумлением, и мы глядим на них с изумлением, думая при этом: как же, должно быть, уютно никуда не мчаться, не ютиться в общих вагонах, не жевать всю дорогу засохшие бутерброды и не созерцать с утра и до вечера непреклонные физиономии вагонных проводников, считающих себя пастырями только на том основании, что едут они в служебных купе.

И тогда, в пятнадцатом, поезд мчал прапорщиков Старшова, Лекарева и фон-Гроссе к месту столкновения с историей Государства Российского. Они начали свой жизненный путь в одном составе, но двоим причудливая судьба уготовила множество пересадок, а всем троим — множество встреч. Это было то редчайшее время, когда параллельные прямые пересекались в реальном пространстве и в реальной конечности вопреки всем Евклидовым постулатам. Друзья покидали Леонида первыми, поодиночке высаживаясь на неизвестных станциях и растворяясь среди серых шинелей и столь же серой неизвестности: сначала Лекарев, сердито ткнувший кулаком в грудь и постаравшийся вовремя отвернуться; потом фон-Гроссе, долго, преданно и больно тискавший Леонида. Но места их не оставались пусты: тотчас же появлялся кто-то другой, то ли по своей, то ли по чужой воле ехавший в ту же сторону. А потом пришел черед и Леонида Старшова: поезд изрыгнул его на полустанке и исчез, разбрасывая дымы и искры, а прапорщик, подоткнув шинель под ремень, запрыгал по весенней грязи навстречу собственной судьбе. Она предстала перед ним в виде полуроты усталых, грязных, угрюмых солдат, которых прапорщику надлежало довести до позиций. Он довел их не только до окопов, но и до верного берега, что в те времена значило больше, чем спасение жизни. Путь от окопов пятнадцатого до митингов семнадцатого определил всю дальнейшую жизнь как его самого, так и его семьи, явившись тем фундаментом, на котором через три десятка лет он начал строить собственный Дом в прямом смысле слова.

— Мне довелось уцелеть, потому что я начал войну влюбленным, — сказал он за полгода до смерти младшему сыну: единственному существу, которому доверял. — На фронте офицер либо любит собственную карьеру — и тогда не щадит собственных солдат; либо себя самого — и тогда прячется за солдатские спины. А я любил твою матушку и больше всего на свете боялся, что она сочтет меня недостойным.

Сегодня мы назвали бы это заслуженным солдатским авторитетом. Но Дед не очень-то жаловал подобные понятия, несмотря на пристрастие к замшелым формам. Может быть, потому, что авторитеты столько раз за его службу меняли окраску, а заряд — с плюса на минус и с минуса на плюс, что он ощущал оскомину от самого слова.

— Все началось с журнала «Природа и люди». Когда мои друзья приехали на свои станции, в поезде началась скука смертная. В карты я умел только проигрывать, на попойки всегда недоставало денег, и я выпросил у попутчика журнал. И читал его с уважением и простодушием, и ты всегда поступай так, когда будешь читать научно-популярную литературу. Ибо ни что так не облегчает жизнь, как вера в наипростейшие способы ее спасения.

В поезде прапорщик Старшов с особым вниманием читал статью о применении германцами первых газов на Западном фронте. Это был бесхитростный хлор, от которого, как уверяла статья, так просто было бы спастись, если бы французы вовремя подписались на журнал «Природа и люди». Но они не подписались, и смерть их оказалась мучительной, а агония — долгой. И прапорщик, подпрыгивая на второй полке, люто негодовал, не подозревая, что ему самому уготована мучительная смерть от удушья с еще более мучительной агонией.

Негодуя, мы запоминаем лучше, чем любя; не знаю, это всеобщее свойство или индивидуальное, дарованное от природы Леониду Старшову. Он все время думал об этой адской тевтонской выдумке; он про себя произносил горячие филиппики с требованием навсегда запретить столь варварское оружие; он во сне видел ползущие на него клубы желтого дыма и задыхался, репетируя собственную смерть. А наутро заново перечитал статью «Ядовитые газы — новое злодеяние германцев».

А потом приехал. Выгрузился на полустанке, доложил, получил полуроту и потащился на позиции.

4

«Из действующей армии.
Его Превосходительству
генерал-майору Николаю Ивановичу Олексину
для Варвары Николаевны (лично).
Угол Кирочной и Ильинской, собственный дом,
г. Смоленск».

Получив письмо, генерал, не вскрывая, отдавал его дочери. Варвара тотчас же убегала к себе, зачем-то закрывала дверь, лихорадочно вскрывала конверт и читала всегда стоя. Как на картине Вермеера Дельфтского.

«10 мая 15 года.
Письмо № 3.

Варенька, дорогая моя!

Вчера с полуротою солдат выступил на передовые линии. До них еще верст 40, а уж нигде нет ни одного мирного жителя, и канонада уже слышна более или менее ясно. Аэропланы частенько пролетают над головами; в середине дня германский аэроплан, летевший сравнительно низко, открыл было по нашей колонне пулеметный огонь, но живо удрал, как только появились два наших аэроплана.

А война, оказывается, видна издалека. В том местечке, из которого мы выступили походным порядком, не было германцев, но дальнобойная артиллерия и бомбы, которые сбрасывают с аэропланов, сказали и здесь свое слово. Снесены многие крыши, в стенах — огромные бреши, повыбиты стекла, а по улицам словно кто прошелся чудовищной сохой — так все исковеркано и изрыто.

Не хотел поначалу писать об одном небольшом столкновении, но вспомнил, что дал тебе слово ни о чем не умалчивать. Только, Бога ради, Варенька, не волнуйся: все уже позади, да и случай пустячный.

Вчера перед самым походом вызывает меня к себе командир запасного батальона и предлагает мне включить в состав моей полуроты до пунк-

та назначения вольноопределяющегося нижнего чина Соколова. Глянул я на этого Соколова: ну гимназистик, мальчишка лет 16-ти! Сероглазый, круглолицый, румянец во всю щеку, а сам тоненький и напуганный. Приказал я этому юнцу от себя не отлучаться, и — шагом марш! Я — впереди, чуть сзади — вольноопределяющийся Соколов, за ним — полурота, а позади нее — мой унтер Семен Масягин, чтобы подгонять отстающих. Вот так и плетемся в жаре, за аэропланами поглядываем да канонаду слушаем.

Через два часа в небольшой роще командую привал. Сажусь, расстегиваю портупею, сапоги долой: блаженствую себе в тенечке. Вдруг слышу крик: «Помогите!» Женщина кричит, сомнений никаких нет, что женщина, и я босиком, как лежал, на тот крик бросился. Выбежал из кустов и вижу, как здоровенный детина, прибывший после легкого ранения, валяет по земле вольноопределяющегося Соколова. Тискает его, хватает, а головной убор сбил, и я вижу... Нет, Варенька, ты зажмурься, отвлекись и заново читать начни, чтобы представить мое состояние, когда я вместо юнца гимназиста увидел коротко стриженную молодую девицу! А тот мерзавец (извини, Бога ради!) уже под гимнастерку ей залез. Что было делать? Вытащил револьвер и пальнул у него над ухом. «Встать!» Он встал, красный, распаренный, и смотрит дико. «Я, говорит, ваше благородие, выстрелов не опасаюсь, а вот ты их в первом бою поопасайся». Я и ответить ему не успел, как подбегает мой унтер Семен Масягин да как двинет этого хама кулаком в физиономию.

Потом разобрались. Девица «Соколов» оказалась не девицей, а законной супругой командира батальона нашего полка капитана Павла Владимировича Соколова. Настоящее ее имя Полина Венедиктовна, и она всеми правдами и неправдами пробирается к своему мужу. Ты сейчас скажешь, предчувствую, что это — пример самопожертвования и великой любви, Марию Волконскую вспомнишь вкупе с Трубецкой, а по мне — безнравственность. Да, да, уважаемая моя женушка, допустить, чтобы тебя тискала солдатня, платить благосклонностью господам тыловым крысам за их разрешения следовать далее — непристойно и в высшей степени аморально.

А с унтером Масягиным я сошелся во взглядах и характерах. Он — человек бывалый, семь месяцев на передовых позициях, заслужил Георгия за личную храбрость. А главное — справедливый и рассудительный и за тем солдатом (его зовут Прохором Антиповым) обещал присматривать.

Вот какое пикантное приключение выпало мне в первый день пребывания на передовых позициях. Не удивлюсь, если война окажется сплошным водевилем.

Ну до свидания, моя дорогая Варенька. Береги себя и всегда помни, как я люблю тебя.

Поклон Николаю Ивановичу, Оле, Тане и Володе. Не начал ли он испытывать желание пополнить собою ряды наивного русского офицерства?

Крепко, крепко целую тебя и твои ручки.

Твой царь Леонид.

P. S. Помнишь, как ты шепнула мне во мраке прекраснейшей из ночей: «Ты — мой царь Леонид...» Я этого никогда не забуду, клянусь тебе, любимая. И еще клянусь, что уж коли ты избрала меня царем Леонидом, я скорее умру, чем пропущу врагов сквозь Фермопильское ущелье.

Сейчас полночь. Я сижу в землянке своего командира роты поручика Незваного Викентия Ильича и заканчиваю это письмо при огарке свечи, целуя черные кудри твои.

А впереди — война».

Да, впереди была война, но в первую ночь прапорщику Старшову так и не удалось уснуть в ее липких объятьях. Закончив письмо, он лег, укрылся шинелью и до утра думал о том, что его непременно убьют в первом бою. Он презирал себя за трусость, не подозревая, что всякий мужчина испытывает изнуряющий, неописуемый, почти мистический ужас два раза в жизни: перед первой брачной ночью и перед первым боем.

5

Дед провел с немцами три войны: мировую («германскую») в качестве офицера царской армии; революционную в качестве командира Красной Армии и Великую Отечественную в качестве офицера Советской Армии. Столь богатый опыт, накопленный одним поколением под разными вывесками, не мог в конечном итоге не вылиться в некие закономерности. Выйдя в отставку в сорок шестом, Дед начал не только строить Дом в прямом смысле, но и писать нечто вроде Памятки для будущей Четвертой войны. Писал он ее кратко и столь искренне, что, несмотря по крайней мере на две победы из трех возможных, назвать ее следовало не «Наука побеждать», а «Наука не быть побежденным». Вывод озадачил Деда, почему он, основываясь, правда, уже на ином опыте, сжег свое творение, подобно Николаю Васильевичу. Случайно уцелел клочок, половина листочка, которую я и приведу здесь так, как когда-то написал Дед. Слово в слово:

> «1. Немцы никогда не стремились к захвату территории как таковой, но всегда рвались к высотам. Следовательно, первую закономерность можно сформулировать так:
> **«Мы — в низинке, немец — на вершинке».**
> 2. Немцы никогда не стремились, условно говоря, «перевыполнять план»: если было приказано занять деревню, они, заняв ее, в ней и закреплялись, не преследуя нас. Отсюда вторая закономерность:
> **«Мы — в чистом поле, немец — в теплой хате».**
> 3. Немцы избегали ночных боев, справедливо полагая, что в темноте офицерам трудно командовать, а солдатам — исполнять команды, что, в свою очередь, всегда ведет к бессмысленным потерям. И третья закономерность звучит так:
> **«Мы — воюем, немец — спит».**

Тогда, в мае пятнадцатого, до этих формулировок было еще далеко, но рота, в которой служил прапорщик Старшов, оказалась в самой что ни на есть низине из низин. Она занимала позиции на Варшавском направлении возле реки Равки на макушке Болимовского выступа. В окопах хлюпала грязь, ноги были постоянно мокрыми, озноб колошматил, невзирая на чины и звания, а розовые, как ветчина, немцы, скинув мундиры, блаженствовали на солнышке, которое заглядывало в русские окопы только на сорок три минуты, как установил прапорщик Старшов в первый же день своей трехступенчатой германской войны.

— Простудим солдат, Викентий Ильич, — озабоченно сообщил он свои выводы командиру роты. — Может быть, испросив разрешения, вышибить противника с господствующей высоты?

— К праотцам захотелось? — усмехнулся Незваный. — У германцев четыре пулемета, а у меня сто тридцать восемь «ура!» да два наших с вами нагана. Лучше жить с бронхитом, чем лежать убитым: преподношу вам, прапорщик, основную заповедь этой вшивой войны. Запишите в книжечку.

Ни в первый, ни во второй, ни даже в третий день никаких боев не случилось; прапорщик осмелел и деятельно исследовал все, что доступно было исследованию: периодичность смены германских пулеметчиков и розу ветров; расстояние до характерных ориентиров и длительность рассветных туманов, что тянулись от реки Равки; содержание солдатских каш и влияние фаз луны на извечное солдатское желание дрыхнуть. Он почти уже вывел формулу, но тут сменился ветер, и исследования пришлось прекратить.

— Ветер действует на солдатские нервы, — сообщил он ротному.

— Вас убьют в первом бою, Леонид, — зевнул Викентий Ильич. — Уж не посетуйте на предчувствие. Во-первых, нервы у нижних чинов уставом не предусмотрены, а во-вторых, передовая не выносит Гумбольдтов, Дарвинов и всяких там Аристотелей.

— Но вы же сами скверно спите от этого ветра,— не унимался упрямый прапорщик.

— У меня ноги болят,— впервые по-человечески просто признался ротный.— Я ведь из осколков армии Самсонова. Набегался по болотам.

Тот день, на который судьбою было возложено личное клеймо с именем прапорщика Леонида Старшова, начинался на редкость уныло. Западный ветер лениво волочил обрывки речных туманов на отсыревшую роту. Первые солнечные лучи уже касались германских окопов, но в низине было по-прежнему глухо и мрачно, и невыспавшиеся солдаты материли противника с особой завистливой злостью. А поскольку германец вопреки обыкновению начал шебуршиться спозаранку, задолго до завтрака, то все, кто топтался в гнилых окопах, любознательно на них пялились.

— Гля-ко, туман вроде загустел.

— И будто течет, а? Будто тяжелый.

— Чего-то он какой-то зеленый вроде, братцы...

— Не, желтый он.

— Бурый, дура,— солидно поправил унтер Масягин и покосился на хмурого ротного.— Туман вроде как крашеный ползет, ваше благородие.

Поручик хотел ответить сразу, но не успел: рот свело вялой утренней зевотой. Пока он управлялся с нею, из землянки вылез Леонид.

— Доброе утро, господа.

— Дымовая завеса,— совладав наконец-таки с челюстями, сказал ротный.— Германцы решили дымовой завесой побаловаться, видите, прапорщик? Учение, что ли...

Прапорщик не ответил. Он уже видел однажды эти тяжелые, медленно и неотвратимо стекающие в низину желто-зеленые, переполненные смертью клубы, но спросонок никак не мог вспомнить, где же он их видел. А это почему-то представлялось невероятно важным, прямо-таки жизненно необходимым, и он напряженно вспоминал, тупо уставясь на ползущие завивающиеся языки... «Сон!— вдруг осенило его.— В поезде я видел во сне газовую атаку...»

— Газы!— кажется, он крикнул, если можно кричать шепотом.— Это газовая атака, Викентий Ильич. Отводите роту.

— Что вы плетете? Какие, к черту, газы, когда я почти год воюю и никаких газов, кроме...

— Хлор!— забыв о субординации, прапорщик двумя руками схватил поручика за отвороты наброшенной на плечи шинели и затряс так, что голова Незваного заболталась, как недозрелая груша.— Уводите людей. Смерть. Удушье. Как только до нас доползет, всем нам конец. Конец! Спасайте людей!

— Ку...да?— с трудом вымолвил ротный, поскольку его помощник продолжал вдалбливать идею посредством взбалтывания.— Оставь т...трясти, черт...

— Как можно дальше! Как можно дальше, пока подъем не начнется.

— Рота, слушай команду! Бегом в тыл! Бегом!..

Солдаты покинули окопы, в общем, организованно и без всякой паники, а скорее с усмешкой: «Ну дают господа офицеры!..» Сам Дед и по прошествии времени не мог вспомнить, сколько верст он драпал от желтого германского облака. Сдавалось ему, что много, но он всегда точно помнил, что обратный путь оказался короче.

— Охранение!— вдруг закричал Масягин.— Охранение забыли!

В панике (а скорее не в панике, а в несерьезном к ней отношении, что тоже есть одна из сторон паники) напрочь забыли о четырех солдатах, еще затемно выдвинутых в передовые секреты. Кто, как, почему— выяснять было некогда: прапорщик Старшов сорвал с себя портупею вместе с оружием, гимнастерку, нательную рубаху. Он совал эту скомканную, волглую от пота рубаху солдатам и кричал, а его не понимали:

— Мочитесь на нее. Мочитесь. Мочитесь!

Наконец, сообразили. Он стиснул мокрую рубаху в руке и, полуголый, помчался обратно. Навстречу неотвратимой смерти, медленно наползающей на позиции. К забытым солдатам.

Это так ему тогда казалось, так оно было на самом деле, так все и воспринимали. Но существовала и другая, невидимая и тоже неотвратимая, как смерть, сторона этого порыва: двадцатилетний Дед бежал тогда навстречу собственной судьбе. Не думая об этом, не зная, не гадая и не выбирая.

Когда прапорщик добежал до оставленных ротой окопов, первые волны газов уже были совсем рядом. Он почувствовал жжение в горле, нехватку воздуха и резь в глазах, прижал ко рту мокрую рубаху и, задыхаясь, лихорадочно заспешил дальше, к секретам, что были выдвинуты вперед. Эта сотня саженей дорого досталась ему: внезапные приступы кашля не оставляли уже до смерти, да и умер-то он от того же удушья, от которого гибли все его сверстники, счастливо избежавшие сабель, пуль и осколков. По щекам ручьями текли слезы, он блуждал в ядовитых парах и никак не мог найти своих солдат. «Я выл,— скупо признался он через шесть десятков лет.— Знаешь, как воют перед смертью? Выл и искал». И нашел все по тому же судорожному, раздирающему грудь кашлю.

— Снять рубахи! Обмочить! Дышать только сквозь материю!

От волнения, опасности, приступов кашля и слез он не видел тех, кого спасал. Что-то красное, натужно кашляющее, в слезах, в мокроте, в соплях...

— Снять рубахи! Снять! Обмочить!

Он наглотался газов, растворенных в тяжелом речном тумане больше всего тогда, когда втолковывал им, уже плохо соображающим, уже обреченным, обессиленным, растерянным, как можно спастись. Он умирал вместе с ними, и через два года именно это перевесило все его золотые погоны.

— Дышать только сквозь ткань!

Уже за второй линией своих окопов, когда вырвались из ядовитых речных туманов, а склон начал заметно повышаться, солдаты попадали на землю. Он кричал, угрожал, просил, умолял и снова угрожал, но поднялись они тогда, когда прапорщик в ярости начал бить их ногами.

— Знаешь, почему? Я верил, что только бурное дыхание очистит наши легкие.

— И ты бил, отец? Бил измученных, отравленных, ослабевших солдат?

— Еще как!— самодовольно признался Дед.

Он гулял по госпитальному саду вместе с младшим сыном, через каждые семь— десять шагов заходясь в изнуряющем кашле. На следущее утро ему суждено было умереть, но сын не знал об этом, а Дед знал.

— А старшим, знаешь, кто оказался? Тот мерзавец Прохор Антипов, что пытался изнасиловать дуру-суфражистку...

Тогда прапорщик все же поднял солдат и снова погнал, не давая ни малейшей передышки, пока не добежали до своих. Там попадали. Все пятеро.

Через месяц прапорщик вернулся из лазарета целым и невредимым, только иногда покашливал ни с того, ни с сего. А еще через полтора месяца был востребован в штаб полка, где представитель Думы Георгиевских Кавалеров в присутствии офицеров штаба вручил прапорщику Леониду Старшову первую боевую награду: орден Святого Георгия-Победоносца Четвертой степени.

— Сто пятьдесят рублей годового пенсиона и право ношения мундира в отставке— это, брат, не шутка,— говаривал он, посмеиваясь в седой ус.— И чего я, дурак, его в двадцать втором году сдал, спрашивается?

И остался в награду кашель. Навсегда.

Глава вторая

1

Генерал глядел в исчерченную стрелками карту Маньчжурии, жевал бороду и невесело размышлял о роковой инертности русских штабов. Чем выше штаб, тем больше неповоротливости. Бумаг прорва, дела нет. Ведь стоило тогда вовремя доложить...

— Варвара Ивановна пожаловали!— крикнула из-за двери Домна Фотиевна, или, по-домашнему, Фотишна.

— Варвара? — Николай Иванович поспешно одернул домашнюю куртку, заковылял к дверям. — Зачем? Почему вдруг? По какому вопросу?

Он с детства побаивался старшей сестры, заменившей ему мать в те давние-давние времена. Потом, правда, появилась тетушка Софья Гавриловна, Варя уехала ловить свое счастье, но как внезапная смерть матери, так и властная рука Варвары запали в память навсегда. Не страхом, а благодарностью: даже среднюю дочь (вторую, здоровенькую) он назвал в честь старшей сестры; Варвара Ивановна была весьма польщена, приехала на крестины вместе с супругом Романом Трифоновичем Хомяковым (он тогда еще был жив...).

— Варя? Что случилось?

Сестра заметно постарела после смерти мужа. Впрочем, Варвара всегда выглядела так, словно только что постарела: и в двадцать, и в шестьдесят. Но то — изнутри, а ныне изменения коснулись внешности: она стала рыхлой, одышливой и какой-то смиренно готовой к очередным несчастьям, несмотря на все еще вызывающе прямую отцовскую спину. Она троекратно расцеловалась с братом и отстранилась, не снимая руки с его плеча. Точнее, отстранила его:

— И ты пьешь?

— Это звучит, как «И ты, Брут!» — улыбнулся Николай Иванович. — Нет, я не пью, не беспокойся. Просто все мои лекарства отныне на спирту, отсюда, пардон, амбре.

— Амбре, — недовольно повторила Варвара Ивановна, усаживаясь. — Как дети? Знаю, что моя крестница счастливо вышла замуж, но после кончины Романа Трифоновича я никуда не выезжаю: на мои плечи легло столько забот. Вы получили телеграмму с поздравлениями?

— И телеграмму, и подарок. Варя очень благодарна тебе.

— Пустяки. Я была одинокой в молодости и оказалась одинокой в старости: сыновья мои не могли выбраться из Парижа из-за боевых действий даже на похороны собственного отца. Странную судьбу мне уготовил Господь.

Николай Иванович сочувственно покивал, отметив про себя, что сестрица-миллионщица называет эту идиотскую войну всего лишь «боевыми действиями» даже в столь горестном случае.

— Письма от них идут ко мне через полсвета. И когда же все это кончится?

Вздох был фальшивым, и генерал разозлился: «Врешь, ты не хочешь мира! Ты хочешь денег, денег...» И сказал весьма недовольно:

— Ты приехала посоветоваться со мной относительно окончания войны? Узнай лучше у Федора: он ближе к царю.

Варвара Ивановна молча полоснула его недобрым взглядом. Достала из ридикюля телеграмму, бросила через стол:

— Прочти.

Генерал развернул: «ДОРОГАЯ СЕСТРА Я СЕМЕЙНОЕ НЕСЧАСТИЕ И НЕТ МНЕ ПРОЩЕНИЯ ВЫСОКОЕ ПРОДАНО МОЧУЛЬСКОМУ ИВАН».

— Он продал наше Высокое?

Николай Иванович нечасто бывал в семейном имении, молчаливо признав, как, впрочем, и остальные, что право прямого владения принадлежит тому, кто там постоянно живет, то есть ушедшему со службы Ивану Ивановичу. Но при этом не представлял, что когда-нибудь дом и сад его детства уйдут в чужие руки. Слишком многое связывало с той землей всех Олексиных, слишком многое...

— Давным-давно, когда ты ходил в начальные классы гимназии, а Иван ее заканчивал, я обнаружила его пьяным. Он только что вернулся от какой-то девки и влез в окно. В старом доме, на Кадетской, который тетушке пришлось продать за долги.

— Я не хожу по той улице, — сухо доложил генерал.

Варвара Ивановна понимающе покивала. И вздохнула:

— Таковы были цветочки. Он что же, окончательно спился?

— Я давно не видел Ивана: мы крупно повздорили два года назад. Но если судить по этой телеграмме...

Вошла Фотишна. Даже она, фактическая домоправительница, испытывала необъяснимый страх в присутствии Варвары Ивановны Хомяковой.

— Чай подан.

— Сначала дела, — отрезала Варвара Ивановна. — Ступай. — Дождалась, когда Фотишна закроет дверь, пояснила: — Я еду к Мочульскому. Иван продал не только наше имение, он продал наши могилы. Два креста из белого мрамора. Ты помнишь мамины похороны?

— Я все помню, — сказал Николай Иванович. — Даже разговор на веранде. Иван тогда увел нас, младших, но я был старше этих младших.

— Старше тебя был Георгий, — тихо поправила Варвара Ивановна и перекрестилась.

— И тем не менее я помню, как ты ратовала за единство семьи.

Он сказал эти слова без всякой задней мысли: просто с горечью припомнив, что было время единения. Но Варвара Ивановна услышала в них упрек и не просто покраснела, а апоплексически налилась кровью.

— Благодари эту Елену, эту маркитантскую девку, которую твой братец приволок в наш дом: у него всегда была страстишка выискивать непременно что-то самое грязное. Она неплохо отблагодарила нас всех...

— Да при чем тут Лена...

— Непорядочные люди неспособны даже на благодарность, — отчеканила старшая сестра, вставая. — Я — к Мочульскому.

— Елена имела право влюбиться в кого угодно, — упрямо продолжал Николай Иванович. — В данном случае Ивану просто не повезло.

— Я ночую у тебя. — Варвара Ивановна привычно не слушала младших, когда не желала их слышать. — Распорядись доставить мой багаж и, будь любезен, повремени сегодня с обедом.

Она вышла столь стремительно, что генерал не успел встать, чтобы проводить ее. И остался сидеть, слушая, как за окнами зацокали копыта рысаков наемного экипажа. Ему стало грустно и горько, но не из-за свидания с сестрой и даже не из-за выходки спившегося с круга брата, а от воспоминаний. О детстве в этом старом городе, но в другом доме, проданном за долги, мимо которого он старался никогда не ходить, хотя новый дом оказался совсем рядом со старым. А старый продали тогда, когда Хомяков приехал с войны полным банкротом, Варвара, сыграв в Смоленске скромную свадьбу, укатила вместе с ним, и тетушке пришлось выкручиваться самой. А в доме за старшую оставалась привезенная с войны Леночка. Это для Варвары она выглядела маркитантской девкой, а для них — богоданной, живой, черноглазой сестричкой, в которую они все были влюблены — и он, и Георгий, и вернувшийся с боевыми наградами ее спаситель Иван. Только они влюблялись по-мальчишески, а Иван все делал очень серьезно. Он вообще был очень серьезным и основательным: закончил в университете, подождал, пока Леночка подрастет, и лишь тогда сделал официальное предложение. Она приняла его, и полгода они считались женихом и невестой, а потом Лена совершенно неожиданно и необъяснимо уехала из их дома, а Иван начал метаться по службам и пить, пить и метаться, пока из этих двух деяний не избрал одного. Оставил службу и осел в Высоком, а Лена так и затерялась в бесконечных провинциях гигантской империи. Генерал тяжело вздохнул, тяжело поднялся, тяжело захромал в привычный кабинет.

Он открыл дверь и замер: у его стола сидел высокий худой и, что выглядело абсолютно несуразным, сутулый старик в старомодном поношенном костюме с костлявой лошадиной физиономией и редкими желтовато-седыми волосами.

— Иван?

— Извини, брат, — потухшим голосом сказал Иван Иванович, который был всего-то на четыре года старше, а уже выглядел стариком. — Ждал, когда наша мегера уйдет. А сюда меня Фотишна провела. Мы не обнимемся?

— Я читал твою телеграмму, — сказал Николай Иванович, обходя стол с другой стороны.

— Понятно. А выпить нет ли? — Иван Иванович зябко передернул плечами, зябко потер руки. — Мне все равно, что дашь, все равно.

— Опять запьешь, Иван.

— Муторно, — тихо и покорно вздохнул брат. — Не на душе, нет. Жить муторно, Коля. Не хочется. Я, наверно, повешусь.

— Дурак, — по-генеральски пророкотал Николай Иванович, доставая бутылку и рюмки. — А ведь был Ваня. Надежда семьи.

— Водка? — Иван Иванович осклабился, обнажая редкие и совершенно уж лошадиные зубы. — Казенная? Хорошо русские генералы живут, хорошо. А я самогоночку пью, мне баба варит. Жалостливая, жалеет меня. — Задрожавшей рукой он схватил наполненную братом рюмку, торопливо выпил, давясь и всхлипывая. — Чудо! Чудо! Самогонка — дрянь, а я, знаешь, как пить приловчился? Я ведь, брат, химик, да, химик. И я самогонку с шампанским мешаю. Папочку с мамочкой, так сказать.

— Перестань ёрничать, Иван, — тихо сказал Николай Иванович.

— Перестал, перестал. — Иван Иванович поспешно покивал головой, сказал вдруг совсем иным, прежним, уж и им-то самим почти позабытым тоном: — Гаврилка во сне видел, первый плод с древа нашего. Самый скороспелый и самый зрелый плод. Часто вспоминаешь его, Коля?

— Нет, — вздохнул генерал. И виновато добавил: — Я почти и не помню его.

— Я подразумевал не воспоминания, а думы. Он своим выстрелом думать нам завещал. Не только близким, а всем русским порядочным людям.

Иван Иванович замолчал, умоляюще, но бегло, искоса поглядывая на брата. Со значением погладил рюмку уже твердыми, недрожащими пальцами, кашлянул выразительно.

— Знаешь, а я мартиролог нашей семье составил. Вот если нальешь еще рюмочку...

Генерал наполнил рюмки, вздохнул неодобрительно:

— Дурацкая у нас семья.

— Не-ет, — несогласно протянул Иван Иванович и мягко, застенчиво улыбнулся. — Извините, ваше превосходительство, но я кое-что читал, кое о чем думал и кое-что знал. Я закончил в университете и прослушал трехгодичный курс в Петербурже ...ах, да, теперь приказано обрусеть... в петроградской техноложке. Я и в университете, и в техноложке проходил первым номером, я очень старался, Коля, я втемяшил себе в башку, что меня непременно полюбят за мой разум и мои знания. И, знаешь, отчего я пью? Я выжигаю разум самогонкой.

Он торопливо опрокинул рюмку в заросший рот, и генерал отвернулся, незаметно смахнув слезинку.

— Ах, Ваня, Ваня...

— Пролил, — сказал Иван Иванович, перевернув пустую рюмку и дурашливо улыбаясь. — И не хватило на семейный мартиролог.

Николай Иванович молча налил ему еще. Брат, посерьезнев и погрустнев, принял рюмку спокойно, с неторопливым достоинством.

— Начнем с матушки нашей, Коля: ты помнишь ее лицо? Нет, ты был еще очень мал, а я — помню. На ее щеках остались точечки, потому что она упала лицом в землю. Она поклонилась земле за всех нас, потому что была крестьянкой, и твердо веровала, что все — оттуда, из земли. А батюшка рухнул навзничь, глядя в небо, как и положено потомку честных воинов, ибо знал, куда должен обращать взор свой человек чести и долга. И эти два последних взгляда наших родителей радугой сияют над нами, их детьми...

— Хороша радуга, — угрюмо перебил генерал.

— Да, не для веселья, а для раздумья, осеняя, а не развлекая, — Иван Иванович важно поднял длинный, сухой палец. — У русской интеллигенции отец — дворянин, но мать все-таки крестьянка, и об этом никогда не следует забывать, ибо в этом сокрыты и ее долг, и ее проклятье. Русская интеллигенция оказалась в ответе за все — от земных нужд до небесных мечтаний, от прошлого до будущего, от чести государства до бесчестия государя. И наша семья — живая тому картина. Пойдем сверху вниз не только потому, что Гаврилл старший по возрасту, а потому, что чаша, кою испил он, оказалась самой весомой.

Иван Иванович замолчал. Похмурился, посмотрел на рюмку, окунул язык в водку, но пить не стал и рюмку отодвинул.

— Пей, если хочешь, — вздохнул младший. — Я тебе еще налью.

— Я не пьяница, Николай, — строго сказал старший. — Я болен, я просто очень болен, и тебе вскорости придется отвезти меня в психиатрическую лечебницу. Но продолжим. Итак, лощеный офицер, пшют и фат, фразер и позер в считанные месяцы вырастает до понимания, что не только моя честь есть честь государства, но и бесчестие государства есть мое бесчестие. И, искупая это всеобщее бесчестие, пускает пулю в сердце. Не думай, что я сочиняю: князь Цертелев рассказал об этом Федору. Пойдем далее. Народник, один из основателей коммуны в Америке, принципиальный атеист, чудом не поплатившийся за свои убеждения жизнью, ныне является идеологом толстовства, жрет сено с соломой и уныло проповедует непротивление злу. Как ты уже догадался, я говорю о Василии, совершившем кульбит, обратный смертельному броску Гавриила.

— Ты забыл о Владимире.

— Я помню Володю, но его отважная гибель — иллюстрация к общему, частность, а не сущность. Погибнуть на дуэли за честь девушки — благородство, но благородство естественное, как спасение утопающего, так сказать, благородство масштаба один к одному... Ты помнишь Таю, из-за которой он встал под пистолет? Она мне очень нравилась когда-то. Когда я был влюбчив. — На сей раз он глотнул водки и нервно потер ладонью о ладонь. — Где Тая, там и Маша, а Маша бросилась на бомбу, предназначенную для губернатора.

— В губернаторских санях ехали дети.

— Ехали дети, и Мария закрыла собственную бомбу собственным телом: поступок, характернейший для русской интеллигенции. Сначала мы бросаем бомбы, а потом сами же падаем на них — браво, господа, браво, подобный поступок никогда не придет в голову ни тевтонам, ни галлам, ни британцам. Британцам, сказал я? Тогда впишем имя Георгия, отставного капитана русской армии, командира отряда волонтеров в далекой Африке, павшего в бою от британской пули и с почестями похороненного в столице Бурской республики. Трансвааль, Трансвааль, страна моя... Прекрасные жизни и прекрасные смерти вписываются в радугу, Николай. А вот последующие — не вписываются. Гордая эмансипе Надежда умудряется попасть в ходынское столпотворение, уцелеть телом и погибнуть душой: тоже ведь поэма, брат, да еще какая! А Федор, начинавший едва ли не нечаевцем, а кончивший полным генералом и любимцем покойного государя?

— Его дочь, увы, на каторге.

— Я не исследую второе поколение, брат. У нас еще есть Варвара — не твоя дочь, а наша сестра — ставшая миллионщицей и ханжой. Я, пропивший родное гнездо, и ты, проигравший свою войну, — что, мало?

— И каков же твой вывод? — спросил Николай Иванович, помолчав.

— Вывод? — Иван Иванович посмотрел на него пьяненькими, красными слезящимися глазками. — Вывод каждый порядочный человек обязан делать самостоятельно, только выродки и холопы жаждут выводов со стороны.

— Я холоп! — сердито буркнул генерал. — Я жду пенсий и выводов.

— Вывод справедлив, как приговор: путь под радугой приводит к гибели лучших. Оставшиеся преуспевают или спиваются в зависимости от коэффициента собственного достоинства. Вот! — Он неожиданно вскрикнул. — Коэффициент собственного достоинства определяет личную порядочность человека, брат. Эта мысль...

Приоткрылась дверь, в щели показалось озабоченное лицо Фотишны.

— Кричите, а Варвара Ивановна едут. Я вас, Иван Иванович, садом провожу, там калитка есть.

— Да, да! — Старший брат торопливо вскочил: поблекший, растерянный, ссутулившийся. — Прощай, Коля, прощай. Коэффициент собственного достоинства, а?

— Обожди!

Генерал шагнул к шкафчику, достал две бутылки казенной водки и, конфузясь, протянул брату.

2

Как раз в то время, когда прапорщик Старшов зарабатывал пожизненный кашель, его супругу Варвару Николаевну, Вареньку, потянуло на солененькое, слезы и обиды. Из суеверных соображений мужчин — то есть

отца, мужа и бестолкового брата — в эти обещающие странности не посвящали, но женское окружение — сестра Оля, крепыш-подруга Сусанна и прислуга за все (она же домоправительница) Фотишна обсуждали назревающие события горячо, подолгу и с удовольствием.

— Тащи три карты. Коли две красных — девочка, коли две черных — мальчик.

Варя таскала, но никто ни к какому выводу придти не мог, потому что карты упорно предсказывали раз — одно, раз — другое. И за всей этой суматохой, гаданьями, огурчиками, секретами и прочей женской кутерьмой забыли про самую младшую. Про Таню, только-только закончившую в Мариинской гимназии. Она всегда была хохотушкой и трещоткой, но в последние дни примолкла. И пока Варенька решала вопрос, когда сообщить батюшке о некоторых надеждах, явилась в прокуренный кабинет вместе с полуночным боем часов.

— Татьяна. — Отец скорее констатировал факт, чем удивлялся ему.

— Мне надо поговорить под большим секретом, — понизив голос, сказала младшая. — В нашей семье все болтуны, даже Володя, а у меня будет ребенок.

Выпалив это девичьей скороговоркой, дочь замолчала, и наступила тишина, поскольку генерал молчал тоже. Вообще-то он соображал достаточно быстро, но в предложенной ситуации растерялся бы и самый сообразительный человек. Перед ним стояла не только самая младшая, но и самая некрасивая из всех его детей: дочь в несколько уменьшенном масштабе копировала его самого, являя собой шестнадцатилетнее существо женского рода с лошадиным, уже сейчас генеральским лицом и широкой мужицкой спиной. Он всегда жалел, что не сын, а Татьяна продолжила его породу, а потому и любил ее больше остальных.

— Это у Вари будет ребенок, — объяснил он, признаваясь тем самым, что в их семье болтунов и впрямь было предостаточно.

— У Вари и у меня. Слава богу, если мальчик и девочка.

Перед генеральскими очами засверкало что-то вроде полудюжины самурайских мечей. Чтобы вернуть нормальный взгляд на жизнь, пришлось открыть шкаф и выпить водки.

— Ты хотя бы в общих чертах представляешь, отчего бывают дети?

— Их приносят аисты. — Дочь потыкала в свой еще совершенно невидимый животик. — Он безотцовщина, понимаешь? На тебя будет указывать пальцем весь город.

Николай Иванович сел, озадаченно покусывая бороду. Дочь стояла свободно, не шевелясь и не напрягаясь, как совсем еще недавно и учили стоять строгие классные дамы. В лице ее не читалось ни растерянности, ни стыда, ни страха: она глядела на него его же глазами и терпеливо ждала решения.

— Подожди, подожди, ни черта ни понимаю! — Он начал растерянным бормотанием, а кончил беспомощным криком: — Но он же был? Этот. Аист.

— Улетел, — кратко пояснила Таня. — Кроме того, он обвенчан со своей аистихой.

— Теперь тебе ясно, почему умерла мама? Она просто дезертировала, а я изволь разбираться. Как, как ты могла?..

— Ох, папа, не надо, — очень серьезно, как взрослая ребенку, сказала дочь. — Ты же не госпожа Вербицкая, правда? Лучше объяви всем, что у твоей дочери чахотка, а меня отправь в Высокое, к дяде Ване, хотя это звучит странно.

— Иван пьет. Самогонку.

— Да? — Таня на мгновение задумалась. — Тогда в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов.

— Куда?

— Есть же у меня тетка, у которой мы гостили прошлым летом. Как ее... Руфина Эрастовна, что ли? Ну та, у которой дядя умер... то есть муж. У нее имение по Киевскому шоссе.

— В Княжое! — Генеральский палец уперся в грешницу, как в стратегический пункт, который надлежало оборонять. — И то, что у нее нет детей, есть наше боевое преимущество.

— Пиши письмо тете Руфине. Меня нужно отправить поскорее, а то в доме слишком много женщин.

— Я это уже чувствую, — сквозь зубы проворчал отец, садясь к столу. — В качестве дезинформации противника используем чахотку.

— Это мужчины верят в любую чушь, а женщинам нужны доказательства. И если мы ватянем, они их получат, но совсем про иное.

На другой день Таня начала покашливать, жаловаться на недомогание и отсутствие аппетита. Освидетельствовавший ее доктор — между прочим, старый друг семьи и отца — заподозрил начинающийся туберкулез легких; через неделю Татьяна уехала к дальней родственнице Руфине Эрастовне Слухачевой в село Княжое, генерал вздохнул с облегчением, но семья уже выбилась из колеи и, ковыляя, скрипя и вздрагивая, потащилась по неизведанной дороге. И главная опасность таилась не в том, что одновременно забеременели две дочери — законно и дерзновенно, — и даже не в том, что шалопай и болтун Владимир глупо проигрался в пух и прах в какой-то темной компании, а в случайном знакомстве старшей дочери Ольги. И то, и другое важно для дальнейшего, ибо влияло на судьбы семьи, хотя далеко не в равной степени, а потому все следует рассказывать по порядку.

Более всего Владимир любил вращаться, а менее всего — что-либо делать. Окончив два года назад гимназию и год кое-как перестрадав в Московском университете, он вернулся домой с твердым намерением нигде более не учиться и не служить, но исправно получать жалование. Занятый мучительным анализом проигранных сражений генерал, не раскусив наследника, пристроил его в канцелярию губернатора по доброму знакомству. Здесь за что-то платили, обещали чины и освобождали от службы в армии, но главное, новое положение давало возможность вращаться. На балах, раутах, вечерах, благотворительных базарах, в домах, салонах, гостиных, клубах — словом, в центре губернского города. И Владимир, с грехом пополам заучив дюжину бородатых анекдотов, кучу затертых шуточек, набор комплиментов и три особо модных стихотворения, с упоением вращался, не досаждая отцу просьбой о деньгах, но и ни копейки не отдавая в дом из своего чиновничьего заработка. Фотишна ворчала, генерал ругал командующего 2-й армией Каульбарса, опоздавшего в решительный момент Мукденского сражения, сестры мечтали о том, чтобы влюбиться без памяти, и Владимир был счастлив. Ежевечерне он околачивался то в Благородном, то в Дворянском, то в Военном собраниях, но вскоре особенно возлюбил Купеческий клуб. Здесь, среди подгулявших купчиков, он чувствовал себя куда увереннее: слыл остроумным, образованным и неотразимым. А потом познакомился с не очень определенными людьми, куда-то поехал с пьяных глаз и где-то с тех же глаз проиграл около пяти тысяч, которых у него отродясь не было да и быть не могло.

— В армию! — гаркнул генерал, одолжив деньги у губернатора. — На передовую! Немедля!

Владимира сунули вольноопределяющимся в запасной полк, и он тихо исчез, испуганно шепнув в приоткрытую дверь кабинета: «Прощай, папа». Генерал слышал, и то, что единственный сын сказал «прощай», а не «до свидания», причинило ему боль, но он даже не кивнул в ответ. Владимир при всей тогдашней пришибленности (а может быть, как раз благодаря ей) запомнил это отцовское небрежение и через пять лет взял реванш. Но эти пять лет надо было еще прожить, учитывая их особую, ни с чем доселе несравнимую протяженность.

— Кучнов Василий Парамонович, дозвольте представиться.

Перед Николаем Ивановичем стоял кургузый господин лет тридцати с длинными и вроде бы даже смазанными конопляным маслицем волосами, но — бритый и во вполне европейском платье. Его приволокла в дом старшая, которой уже перевалило за двадцать пять, и выбирать было некогда.

— Мукой, что ли, торгуете? — неприязненно предположил генерал.

— Никак нет. Батюшка торговал железом, скобяным товаром и орудиями труда. Фирма «Кучнов и сын». Я — сын. Осиротел.

— Василий Парамонович вдовый, — с медовой тоской в голосе пояснила вдруг Ольга. — И есть сыночек Петя. Очаровательное создание, папа. Очаровательное!

— Ясно, — сказал генерал, потоптавшись. — Кучин сын. И не мукой.

И почему-то особенно остро вспомнил об окопном офицере прапорщике Леониде Старшове, хотя, как вскоре выяснилось, вспоминать следовало о беспутной Татьяне.

— Прошу,— сказал.— К столу. А у меня — живот. Доктор диету прописал, не обессудьте.

— Варя тоже капризничает, так что мы вдвоем пообедаем,— обворожительно улыбнулась Ольга, но при этом так полоснула отца взглядом, что тому опять замерещились самурайские мечи.

3

Порою генерал-майору в отставке Николаю Ивановичу Олексину представлялось, что его такой привычный, такой объезженный век вдруг закусил удила и помчался, не ведая цели и не разбирая дороги. Течение века обгоняло течение его жизни: у них не совпадали не только годы, но и секунды, и генерал физически чувствовал, что отстает. Сперва он связывал это непонятное ускорение времени с позором русско-японской войны, с Цусимой, Порт-Артуром и Мукденом, с тысячами понапрасну загубленных жизней и потным старческим бессилием России. «Но Куропаткин-то, Куропаткин? — мучительно думалось ему.— Скобелевская школа, хладнокровие, личная отвага, друг семьи, в конце концов — куда все делось? Куда вообще все девается, куда, в какую прорву ненасытную?» Однако выстрел Гаврилы Принципа и наступивший вслед за ним резкий скол времени, превращение его в иное качественное состояние, в ЭПОХУ, сбило Николая Ивановича с толку. Он по привычке все еще ковырялся в давно отгремевших сражениях, еще рассылал связных, отдавал приказы и вовремя исполнял вышестоящие указания; он еще терзался невозможностью заново провести бой или хотя бы день, но уже понимал, что играет в некую игру, в некий военный пасьянс в то время, когда Отечество и в самом деле вляпалось в новую бойню, не отмолив старой. Он никогда не был религиозен и, когда иконы помешали новому книжному шкафу, к ужасу Фотишны выбросил их из кабинета, но при этом считал, что если существует совесть, значит, существует и грех, а коли есть грех, следовательно, имеется и нечто свыше, но представлял себе это не в виде бога, а в виде деятельного Генерального штаба, которому следовало не столько курить фимиам, сколько честно и определенно докладывать обстановку. Короче говоря, в голове Николая Ивановича Олексина существовала полная путаница, вызванная наложением двух войн на одну совестливую душу.

— Современная война не есть война армий, а есть война народов,— рассуждал он с губернатором, которого посещал время от времени по старой памяти: вместе учились в Корпусе.— Снаряды рвутся не в мускулистом теле войска, а в безвинном теле народа.

— Настоящая война есть Вторая Отечественная война России, Николай Иванович.

— Спешим,— строго не соглашался генерал.— Спешим, ваше высокопревосходительство. Столь многозначащее название должно употреблять не во времени будущем и даже не в настоящем, а только лишь в историческом аспекте. Слова ныне стали бежать впереди дел.

Дела тоже бежали впереди чего-то — рассудка ли, привычек или приличий? Генерал не пытался понять, но чувствовал, как все бежит и спешит, спешит и бежит не только в вопросах мировой или государственной политики, но и в обычной семейной жизни. И здесь все стало шустрее, короче, скоротечнее и, главное, проще. Если сам Николай Иванович ухаживал за своей Анной Михайловной год да еще полгода ходил в качестве официально оглашенного жениха, то Варваре на это понадобилось всего пять месяцев, Татьяна вообще обошла всякие формальности, а Ольга... И этот... скобяной товар с очаровательным сыночком Петей. Генерал никогда не кичился ни званием, ни происхождением, был в меру либерален и всегда помнил, что его матушка была крепостной его собственного батюшки. Нет, Николай Иванович никогда не страдал сословной крапивницей, женившись по любви на разночинке, хотя преуспевший в жизни родной брат Федор намечал для него весьма породистую девицу. А он все-таки предпочел свою Анну Михайловну, повергнув в изумление всю родню и всех знакомых и ни разу не пожалев об этом, но купчик был... Николай Иванович затруднялся определить, кем он был, но точно знал, кем он не был: он не был великодушным. А великодушие генерал ставил превыше всех иных человеческих качеств.

А тут еще Варвара окончательно раскапризничалась. То ли у нее и вправду тяжко проходила беременность, то ли она боялась первых родов, то ли тосковала по мужу — он не знал. Он не мог, не умел да и не хотел расспрашивать своих дочерей и очень сердился на свою Анну Михайловну, все чаще ворчливо именуя ее дезертиром, свалившим на него одного тяжелое бремя одинокого отцовства. Варвара куксилась, бледнела, плакала и не могла ничего есть; Ольга целыми днями носилась по портнихам и приятельницам, а если не носилась, то громко хихикала по всякому поводу, и только Таня, тихо и серьезно несущая свой грех, представлялась сейчас единственным островком надежды, простоты и уединения. И чаще всего генерал думал о младшей, тем более что она была так похожа на него и внешне, и внутренне.

Да, время становилось чужим: он чувствовал, как оно превращается в не его время прямо на глазах. Исчезали желания, потому что, как он полагал, они тоже были связаны с тем, безнадежно отставшим прошлым; генерал уже ничего не хотел, часто раздражался и, чувствуя, что раздражает собственных детей, старался не покидать кабинет, куда Фотишна приносила завтрак, обед и вечерний чай с булкой. «В мой склеп прошу без особой надобности не заглядывать»,— объявил он как-то в раздражении, и никто более не заглядывал, а ему было обидно и пусто. И все вот так вертелось на одном месте, а время шло себе и шло, не обращая никакого внимания на пятидесятитрехлетнего отставного калеку-генерала.

Поэтому сообщение Варвары, забывшей в этот миг все свои недуги разом, доставило такую радость, что он даже прослезился, выдав эту слабость за явление простудного характера. В то утро он получил почту, а с нею и письмо с пометкой «Из действующей армии». Отдал дочери, стал просматривать газеты, и тут ворвалась Варвара. Сияющая, как покойница Анна Михайловна («дезертир»).

— Леонид «Георгия» получил!

Читали вместе, вслух, генерал часто сморкался («Черт, продуло меня не вовремя...»), а сам думал, что и Вареньке повезло, и ему повезло: сын — пустозвон, зато зять — герой. Роту спас от германских вандалов.

— От меня ему поздравление. Непременно напиши, что от всей души счастлив и горд и... Вот простуда, будь она неладна!

И тут вошла Ольга. Торжественно-благостная, как лотерея в пользу раненых нижних чинов.

— Его бывшая теща благословила наш союз, через две недели — свадьба. Но его дом требует ремонта, и поэтому мы с Василием Парамоновичем и Петенькой поживем пока у нас, если ты не возражаешь.

— На здоровье! — сказал резче, чем собирался, а потом жалел.— Я как раз намеревался навестить Татьяну.

Он часто думал о младшей дочери, но совсем не собирался ее навещать. Однако решение выскочило, и он тут же стал уверять себя, что и впрямь готовился ехать в Княжое. И уехал, наскоро собравшись. И никогда не пожалел об этом внезапном решении, а все его книги, записи, карты и схемы проигранных сражений через месяц перевез в то же Княжое неразговорчивый мужик, на все вопросы отвечавший исчерпывающей фразой:

— Тама у их кабинет, а не тута.

Там, в Княжом, принадлежавшем дальней и, в сущности, малознакомой родственнице Руфине Эрастовне, был теперь его кабинет. Последний, потому что там же оказалась и могила.

4

«27 января 1916 года.

Мой любимый и единственный царь Леонид!

Тебе пишет письмо самая счастливая женщина на свете — твоя жена и мать твоего дитя. Да, да, дорогой мой папочка, у тебя отныне есть сын. Вылитый Леонид Старшов: синеглазый, упрямый, крепенький и уже сейчас способный вскружить голову любой женщине (сужу по себе, Фотишне и Мане, прислуге молодых Кучновых, которые все еще живут у нас).

У него отменный (твой!) аппетит и непомерные требования внимания к своей особе (точная копия папы). Доктор говорит, что мальчик здоров и развивается нормально, так что я горячо поздравляю тебя, папочка!

Вчера малыша крестили в церкви Преображения Господня, где венчались папа и мама. Воспреемниками были (стать смирно!) его высокопревосходительство господин губернатор и его родственница госпожа Анна Павловна Вонвонлярская, внучка известного беллетриста. Между прочим, она всего на три года старше меня, а уже успела скандально развестись, а теперь мы с ней ближе, чем с Олей, которая совсем погрязла в своем Петеньке и в своем Васеньке. На крестины приезжал папа (тебе поклон, и поцелуй, и поздравление с производством, и вообще он тобою гордится, и я тоже!) и по его настоянию младенца нарекли Михаилом. Михаил Леонидович Старшов — тебе нравится? По-моему, прелестно звучит!

Крестины отмечали у нас, и это было — ох! Как только «Кучнов и сын» узрели губернатора и обворожительную аристократку Анну Вонвонлярскую, так тут же-с и онемели-с и зашаркали ножкой-с.

Представляешь всю пошлость прорвавшегося холуйства? И, несмотря на то, что все были чрезвычайно милы, мне стало жаль бедную нашу Олю. И еще — отца. Он тяжко принял к сердцу этот мезальянс, — а Татьяша не приехала вообще (они ведь с папой живут теперь в Княжом у тети Руфины Эрастовны, хотя какая она там тетя, так, седьмая вода на киселе). Папа говорит, что Таня все еще плохо себя чувствует и что при этом намеревается взять на воспитание крохотную сиротку! Нет, ты только вообрази: девица семнадцати лет от роду да еще с тяжелой чахоткой берет из приюта ребенка! А замуж кто ее возьмет, интересно? И вообще все это странно и непонятно, и папа ничего не говорит. Но сбежал в это Княжое при первой же возможности, едва отдав визиты губернатору и Анне Вонвонлярской. И, знаешь, что мне пришло в голову? Мне показалось, что он стал бояться нашего многолюдства. Семья наша разрослась, приобрела разнородность, в связи с чем в ней, естественно, появились свои ежедневные проблемы, которые приходится решать. А папа ничего решать не желает и даже страшится каких бы то ни было решений, а потому и бежит в чужое имение к несчастной Татьяше, которой вдруг взбрело в голову взять на воспитание маленького чужого человечка. Странно все это, господин подпоручик... (Боже мой, знал бы ты, как приятно твоей жене писать «подпоручик» вместо «прапорщик», который, как известно, не птица! Папа считает, что ты непременно дослужишься до генерала). А вот наш лоботряс Владимир ни до чего не дослужится. Сидит себе в Вязьме в запасном баталионе, и ни в училище, ни в школу прапорщиков идти не желает. На крестины он не попал, хотя мечтал вырваться из казармы. Но папа ходатайствовать отказался, а без этого нижних чинов к родственникам не отпускают.

Ну-с, Ваше Величество, обо всех написала, пора уж и о себе. Во-первых, как выяснилось, я исключительно здоровая женщина, которой, как сказал доктор, рожать да рожать (мужайтесь, государь мой!). Родила я и вправду легко и быстро, и не было у меня никаких неприятностей, и молока у меня — на тройню, и (слава Богу!) грудница меня миновала. А еще позвольте доложить, что ваша супруга сама кормит вашего ребенка, потому что таким путем передается не только здоровье, но и невосприимчивость к заболеваниям. А во-вторых, я чуточку располнела и пришлось кое-что расставлять, но в моде (еще раз, слава Богу!) полненькие женщины, и твоя женушка налита, как яблочко (ты любишь яблоки? Тогда бери отпуск). И, в-третьих, я тебя ужасно люблю, я по тебе ужасно тоскую, я вижу тебя во сне и целую миллион раз.

Твоя, всегда твоя!
Мама Варенька.

Целую! Обожаю! Обнимаю! И никому не отдам! Сиди в окопах и не высовывайся.

А Сусанна мне так завидует, что специально уехала в Москву, чтобы не оставаться на крестинах. Я у тебя дурная, да? Я больше не буду. Я всех люблю! (А тебя все равно больше всех.)

Твоя, твоя, твоя
Варенька.

Надо бы как-нибудь съездить в Княжое. Папа говорил, что до него 25 верст по Старо-Киевскому шоссе. Конечно, когда подрастет Мишка, правда? Я очень беспокоюсь за бедняшку-Татьяшку: чахотка в таком возрасте часто развивается очень стремительно. Ей необходимо лечиться, может быть, поехать в Крым или на кумыс, а она собирается брать на воспитание малышку. И папа ей во всем потакает!

А Руфину Эрастовну я совершенно не помню и потому боюсь. И Княжое совершенно не помню и потому беспокоюсь за папу и Татьяшу. А вот Высокое помню, потому что там бабушка и дедушка под двумя мраморными крестами.

Ох! Где ты, мой царь Леонид? Поскорее разгроми всех врагов и возвращайся к нам целым и невредимым. И храни тебя Господь!

Целую и не могу оторваться.
Варька».

5

Поскольку Варя Старшова совершенно не помнила ни своей родственницы Руфины Эрастовны, ни ее имения в селе Княжом, то придется об этом кое-что рассказать. Не из-за вдовы единственного двоюродного брата покойной супруги генерала Олексина действительного статского советника: из-за старого барского дома в селе Княжом, который достался в приданое за Руфиной Эрастовной. Мы бываем куда теснее связаны с домом, чем с людьми, хотя из привитых с колыбели табуистических соображений всегда утверждаем обратное. Сейчас само это понятие «Дом» уходит из нашей жизни, повсеместно заменяясь ничего не выражающим словом «жилплощадь», которую легче представить себе изолированной пещерой в многопещерном комплексе, норой или берлогой, но никак не островом в океане, гнездом, где не только появляются на свет, но и учатся летать, единственным местом на земле, где помогают стены. Такой дом строят сами от фундамента до крыши, строят с верой, любовью и надеждой, с терпением и страстью, с каждодневной усталостью и ежечасным восторгом. Такой дом строят не для себя, а для семьи, не для дня сегодняшнего, а для дня завтрашнего, не для того, чтобы было где поставить кровать, стол да телевизор, а для того, чтобы иметь свое место под хмурыми тучами бытия. Такой дом всегда обладает своим собственным климатом и своей собственной атмосферой, своей историей и своими законами, своими традициями и своими легендами, своей прозой и поэзией, своими богами и привидениями, своей иерархией, своим нравом и своей судьбою. Если жилплощадь есть всего лишь площадь отпущенного вам жилья, то Дом есть маленькая копия отечества, в которой умещаются рождение и младенчество, детство и юность, зрелость и старость, дряхлость и смерть. В наши дни все эти ступени человеческого восхождения вынесены за скобки: спят в «жилплощади», младенцев несут в ясли, детишек ведут в детсад, юности рекомендуются все четыре стороны, а старость списывают в Дома престарелых. Говорят, таковы издержки цивилизации, плата за прогресс, за бурное развитие общества. Но если это так, то платят фальшивой монетой: жилплощадь можно и разменять, а Дом может только погибнуть.

Это отступление необходимо, чтобы напомнить о главном герое: о Доме. Однако ничего не возникает из ничего и не исчезает без следа, и у Дома, который построил Дед, оказался отдаленный предшественник.

Руфина Эрастовна стала законной супругой действительного статского советника в семнадцать, тогда как он уже отпраздновал свое сорокалетие. Рвалась она в замужество не по причине влюбленности, а из непонятно как проросшей в ней цыганской тоске по воле. То ли ей осточертели бонны и дуэньи, то ли институт и институтские регламенты, а только девица задавала загадки чуть ли не с пятнадцати лет, хотя была из вполне приличной семьи, связанной с цыганами (во всяком случае, по женской линии) лишь посредством зрения да слуха. И тем не менее что-то в ней бушевало, но сначала подспудно, а потом взорвалось, как вулкан Кракатау. А вот ДСС (так в те времена письменно обозначались чины 4-го класса с титулом Превосходительства и так всегда называла своего супруга Руфина Эрастовна) влюбился в семнадцатилетнюю институтку без

памяти, хотя отличался отменным хладнокровием, уравновешенностью и здравым смыслом. Он таял от ее обаяния, живости, кокетства, хрупкости, детскости и женственности одновременно; Руфина мгновенно сориентировалась и через полгода сбежала с душкой-офицером за границу. ДСС потратил уйму сил, знакомств и связей и в конце концов разыскал законную супругу на парижских подмостках, где она демонстрировала очень даже стройненькие ножки, поскольку душка-военный скрылся в неизвестном направлении. Муж заплатил все долги и привез беглянку домой, ни словом, ни тоном, ни жестом не укорив ее ни в чем.

— О, ты — великая душа! — рыдая, признала Руфина.

Год она без устали твердила это, а потом исчезла вторично. ДСС вновь нашел ее — на сей раз в Вене,— вновь заплатил все долги, вновь вернул в родные стены и вновь, естественно, простил. Это вторичное отпущение грехов так потрясло бродяжью душу Руфины, что она, омываясь слезами, повысила присвоенный ею титул:

— Ты — величайшая душа!

Не стоит перечислять все дальнейшие похождения молодой особы, по странному капризу судьбы родившейся с цыганской тягой к жизни кочевой; достаточно упомянуть, что ставший еще более молчаливым супруг извлекал ее из Неаполя и Мадрида, из Венеции и Женевы. И все сносил совершенно безропотно — дальние дороги и очередные увлечения, лавиноподобные долги и поджатые губы знакомых дам; рой трутней и вредную для его желудка железнодорожную еду. Только раз вырвалось:

— Вы никогда не станете бабушкой, мадам.

Руфина расхохоталась звонко и безмятежно: какая еще бабушка, когда от одного ее взгляда сходят с ума две дюжины мужчин? Она расхохоталась, и он больно пожалел о сорвавшемся горьком предостережении, которого не поняла да и не могла понять его сказочно молодая жена. Пожалел, и зарекся, и замолчал, и все дальнейшие поиски и находки происходили в молчании.

Однако ничто так не изнашивается при погонах, как здоровье, и вскоре после извлечения супруги из гущи масок римского карнавала ДСС благопристойно скончался на руках у горестно рыдавшей жены, успев перед смертью улыбнуться то ли от этих запоздалых слез, то ли от того, что некуда больше спешить, то ли от последней фразы, которую расслышал в мире сем:

— О, великодушная душа...

Руфине Эрастовне исполнилось в ту горестную осень тридцать семь; она приобрела женскую опытность, но сохранила девичью фигурку. Получив безграничную свободу, она могла бы, казалось, вдосталь насытить свою страсть к путешествиям, но — странное дело! — как только исчезли все препоны, иссякли и все желания. Не следует полагать, что Руфина Эрастовна начала терзаться приступами совести: чего не случилось, того не случилось. Но она никуда уже не рвалась, не покидала более барского особняка в селе Княжом и впервые вспомнила, что у нее должны быть родственники. Правда, очень дальние, зато близко живущие. Она разыскала их, познакомилась, пригласила на лето, а через год к ней явилась новая Магдалина, и Руфина Эрастовна зарыдала от неописуемого восторга, убедившись, что жизнь упорно раскручивается по спирали, невзирая ни на какие запреты, законы, каноны и своры ханжей.

— Ты — сама отвага и великая душа, Таточка. Ты смело играешь ва-банк, а я всю жизнь передергивала карты. В результате у тебя будет дитя, а я одинока, как веник.

— Тетя, как не стыдно? Вы же скоро станете бабушкой.

Дом — собственно, сам дом как строение — был достаточно стар, чтобы заслужить искреннее уважение изб села Княжого. Строили его из материала подручного, то есть бревен да теса, но хорошо выдержанных. В архитектуре же не содержалось ничего примечательного: особняк как особняк с большой гостиной, вокруг которой, собственно, и было выстроено все остальное. В гостиной имелся камин, который никогда не топили, и интимного цвета концертный рояль, поспешно приобретенный ДСС после извлечения супруги из первого побега, поскольку он узрел в ее каскадах потребность в музицировании. Руфина Эрастовнв и вправду музицировала, но обычно на огромном, как балкон, рояле стояла фарфоровая ваза, в ко-

торой хозяйка художественно размещала наиболее красивые и крупные яблоки. Они дополняли интерьер, были как бы его частью, и поэтому на них никто не покушался. Прошлым летом Николай Иванович Олексин побывал в Княжом дважды, но то ли не обратил внимания на вызывающую вазу, то ли не прельстился ее содержимым, а только заведенных порядков не нарушал. Но в этот приезд, напуганный дочерьми, сыном, войной и временем, которое убегало от него, прямиком протопал к роялю, выбрал самое вызывающее яблоко и начал тут же вгрызаться в него со вкусом, но без ножа. Руфина Эрастовна что-то рассказывала, но вынуждена была замолчать, поскольку яблоко оказалось сочным и звучным.

— Белый налив,— объявил генерал, отправив в рот очередной кусок.— Люблю.

Кусок с трудом умещался во рту, и Николай Иванович произнес последнее слово в два приема с каким-то сладостным всхлипом. А слово это числилось за номером один в лексиконе бывшей беглянки, и она впервые посмотрела на генерала заинтересованно.

— И вы всегда берете то, что любите?

— Непременно.

— И — без спроса?

— Какой уж тут спрос...

— Бесподобно! — всплеснула руками вдова, которой еще предстояло отмечать свое сорокалетие.— Мне везло всю жизнь, но я не выношу послушных мужчин.

Не прошло и месяца, как личный посланец хозяйки прибыл в город на угол Кирочной и Ильинской, и из собственного дома генерала Олексина увез все книги, схемы, карты, тетради, папки и записки, пояснив:

— Тама у их кабинет, а не тута.

«Тама» Николая Ивановича ждало еще нечто, кроме кабинета и могилы. Но в то время он об этом не догадывался, а если бы догадался, то, кто его знает, может, и задал бы стрекача как некий господин Подколесин.

6

На войне, естественно, убивали; в последних боях полк понес ощутимые потери, но недавно произведенного подпоручика Старшова судьба пока оберегала. После недельной бестолковой суеты с атаками, отходами, обходами и бросками, которую оплатили очередные братские могилы, начальство успокоилось и окопная жизнь свернула в привычную колею. Мерзли, жались к печуркам, били вшей, накуривались до одури и ругались с промозглых рассветов до морозных закатов. Заковыристо, хрипло и злобно.

— Три месяца назад за все беды крыли германца, а теперь и своим начало перепадать,— отметил Незваный, легко раненный в суете, но отказавшийся от лазарета.— Учтите, Старшов, вам роту принимать.

— А вы куда же?

— Надеюсь, потому и в строю остался. Кому убыль, кому прибыль, а коли желаете по-французски, то а ля герр, ком а ля герр.

Старый окопник оказался прав: наверху уже раскладывали пасьянс заново, и вскоре, пользуясь затишьем, офицеров востребовали в штаб. Поручик Незваный и в самом деле получил желанный батальон, командир которого капитан Павел Владимирович Соколов уходил начальником штаба полка. Он не скрывал своей радости по поводу замены батальонной землянки на штабную избу, но — стеснялся и, чтобы как-то убаюкать совесть, пригласил к себе Незваного и Старшова.

— Водка? — приятно удивился Викентий Ильич.— Можно подумать, что мы на маневрах.

— Первый тост — за несправедливость,— с напыщенной нервозностью провозгласил новый начштаба.— Увы, мы не на маневрах, а в обстоятельствах торжествующей несправедливости, которую мы ощущаем как движущую силу, но с которой ничего...

Соколов замялся, взмок, окончательно утерял нить, и неизвестно, как выкарабкался бы на поверхность из тоста номер один, если бы не вошла коротко стриженная молодая женщина, похожая на румяного гимназиста.

— Моя супруга,— очень недовольно объявил капитан.— Полина Венедиктовна. Я, кажется, просил, дорогая, у нас встреча боевых друзей и...

— Не заикайтесь,— пренебрежительно сказала Полина.— Женщины бывают необходимы для утоления животной страсти или для метания бомб. Рада видеть вас, отважный мой спаситель, хотя должна откровенно признаться, что глубоко презираю себя за тот постыдный бабий вопль. Во мне воскричал инстинктивный ужас самки.

С этими словами она протянула руку Старшову, но не для поцелуя, а для братского рукопожатия. Что подпоручик и совершил, подивившись, как же это он умудрился не угадать в ней женщину.

— Налейте мне водки.— Полина села, закинула ногу на ногу и закурила; узкая юбка плотно обтянула бедро, и Леонид со стыдом обнаружил, что все время пялится на это бедро.— Ленивая женщина абсурдна, как непорочное зачатие, ленивый мужчина обыкновенен, как рыба: вы ретивы — для нас, учтивы — для нас, трудолюбивы — для нас, и даже ваша пресловутая храбрость — тоже для нас. Ну, а если все для нас, тогда почему же вы владеете нами, а не наоборот? Мы не претендуем на власть: в конце концов любая жена — император, любая невеста — наследный принц и любая любовница — пиратский флаг,— мы жаждем равноправия в любви. За равноправие и справедливость, господа мужчины!

— Эта мадам — щучка,— говорил Незваный, когда они возвращались.— Приехала глотать сонных рыбок вдали от шума городского. Между прочим, имеете шанс, Леонид.

— Я сонная рыба?

— Сонная рыба — ее супруг. По-моему, он импотент, и ей это надоело. Дерзайте, юноша.

— Я люблю, Викентий Ильич.

— На здоровье. Изменить женщине — значит изменить данному ей слову, а не врученному ей телу.

— Казуистика. Слово и дело должны быть неразделимы.

Они шутили с легкой душой, еще не ведая, сколь многозначительны их шутки. Но тогда они только подходили к порогу познания, время разбрасывать камни еще не наступило, зло было только снаружи, а внутри берегли добро, как тепло в стужу, не предполагая и в самом горячечном воображении, что скоро добро и зло сплетутся в единый клубок и остервенелое ослепление будет с легкостью приговаривать к расстрелу и за то, и за другое, и вместе и порознь. И вообще человеческая жизнь станет дешевле патронов, и наиболее экономные предпочтут вешать, рубить или топить, и смерть многим и многим покажется прекраснее жизни, а главное, неизмеримо короче ее.

Поручик Незваный оставил подпоручику Старшову не только роту, но и собственного денщика Ивана Гущина. Это был молчаливый и очень старательный парень, но Леонид относился к нему настороженно, поскольку Викентий Ильич все же почему-то не взял его с собой.

— Социалисты его распропагандили,— пояснил Масягин.— И прежний ротный его благородие Викентий Ильич приказал ему про это молчать.

— Что за чушь, унтер!

— Вы прежний приказ ему отмените.

Леонид ничего отменять не стал, но вечером спросил Гущина. Денщик помялся, но честно сказал, что перед войной год жил у дядьки, рабочего металлического завода, на котором и сам работал грузчиком. А потом дядьку арестовали, а его отправили на передовую.

— В чем же тебя обвиняли?

— Не могу знать, ваше благородие.

— А дядьку в чем обвиняли?

— Тоже не могу знать!

— Значит, провокатора мне подсунули? — спросил Леонид у Незваного вскоре после этого разговора.

— Мелковат Гущин для провокатора,— лениво пояснил батальонный.— Он типичный, понимаете? А типичные начальству врать не решаются, вот он всю правду про родного дядю и выложил. Дядю — на каторгу, а его — к нам.

— Завтра же пойдет в строй!

— Другого пришлют. Этот честен и глуп, а может объявиться подлый и умный и продаст вас, Старшов, как Иуда, с братским поцелуем.

— Что же вы мне ни слова об этом Гущине?

— Такие явления познают личным опытом,— назидательно сказал Незваный.

И тихий, старательный доносчик Иван Гущин остался денщиком командира роты. Война шла своим чередом: кто-то убывал, кто-то прибывал, состав роты менялся, у подпоручика Старшова появились два новых помощника — прапорщик Масягин, произведенный из унтеров за усердие, и прапорщик Дольский, в недавнем эсер и народный учитель. Рота меняла свою физиономию, возраст и настроение; меняла личный состав и позиции, меняла дожди на снег и солнце на мороз, и лишь одно в ней оставалось неизменным: вера в своего командира. Он, естественно, по-прежнему оставался для солдат «их благородием», офицером и золотопогонником, но живая история роты встречала каждого новенького красочным рассказом о рассветной газовой атаке. А поскольку везучий Прохор Антипов никуда из роты не девался, то посвящение в ротный эпос всегда заканчивалось одинаково:

— Слышишь, ротный кашляет? Это он за меня кашляет, ясно тебе? И кто об этом позабудет, тот со мной повстречается.

Он произносил «кашляет» с ударением на втором слоге, на «я», что звучало особенно взвешенно. И вдобавок красноречиво клал на острое колено весомый жилистый кулак.

Эти гомеровские беседы происходили втайне от ротного, и, хотя все об этом знали, обычай требовал соблюдения определенных правил. Конечно, Старшову ничего не стоило услышать рассказ о себе самом, но он был страстно любознательным и абсолютно нелюбопытным: его, как и в первые дни, куда больше интересовал распорядок противника, ориентиры, направление ветров и тому подобное. И узнать об этих разговорах ему пришлось не совсем обычным образом.

После мартовских боев — бестолковых и бесполезных — потеряли обжитые окопы, отошли, зацепились, начали зарываться вновь, твердо усвоив, что в этой проклятой войне уповать лучше всего не на Господа Бога, а на собственную саперную лопатку. Зарывались в уже грязную и еще мерзлую землю с куда большим рвением, чем ходили в атаки, торопясь укрыться с головой, пока германцы не подтянули тяжелую артиллерию. Дорожили каждой минутой, и Старшов был весьма недоволен, когда пришел вызов в штаб полка. Ругаясь («нашли время!»), уведомил Незваного и взял в батальоне лошадь, поскольку до полковых тылов было теперь неблизко.

— Зря не беспокоим,— сказал ему подполковник Соколов (при штабах исстари росли быстрее, чем в окопах).— Во-первых, достоверно известно, что вы «Станиславом» пожалованы, а во-вторых, ждет вас приятное свидание. Вестовой проводит.

Пока шли с вестовым к избе, где ожидалось «приятное свидание», подпоручик измаялся вконец. Ему все время казалось, что его Варенька, не стерпев разлуки, повторила сомнительный подвиг стриженой эмансипе Полины Соколовой и сейчас собирается его осчастливить. «Ну, я ей покажу свидания! — свирепея, думал Леонид.— Пулей в тыл помчится...»

— Пришли, ваше благородие,— сказал вестовой.— Мне входить не велено.

«Ах, не велено!» — подпоручик рванул дверь с такой яростью, что с потолка посыпались тараканы. И остановился у порога, оглядывая тесное нутро бедной избенки.

— Полегче,— хмуро сказал поручик, вставая.— И здравствуй.

— Лекарев?!

Они обнялись. Леонид растроганно покашливал, разглядывая старого однокашника. Лекарев обогнал его чином и солидностью, приобрел неторопливо усталый баритон и ровно ничего не выражающий взгляд, но встречей был доволен. Он служил при штабе фронта, о чем сразу же поведал Леониду, а когда тот начал было говорить о своей роте, солидно поднял руку:

— О тебе знаю все, Старшов. Больше, чем ты о себе знаешь.

— Ну, это уж типичное штабное хвастовство,— улыбнулся подпоручик.

— Я ведь не со «Станиславом» тебя поздравить заехал,— все так же солидно продолжал Лекарев.— Садись. Известно тебе, сколько офицеров гибнет от подлой пули в спину? Мы проанализировали факты: действует некая зловещая противопатриотическая организация. Штаб разослал офицеров для проверки неблагополучных частей.

— У меня неблагополучная рота?

— У тебя благополучная, я просто случаем воспользовался, чтобы повидаться,— Лекарев на мгновение стал прежним: шустрым и хитроватым.— О тебе вон солдаты былины слагают, но тем не менее надлежит тебе, Старшов, быть начеку. Враги престола и отечества...

— Перестань! — отмахнулся Леонид.— Говори дело, не надо пропагандировать. Мой денщик о роте осведомляет?

— Не знай об этом. Случайно проговоришься, его убьют, а тебе пришлют взамен куда более хитрого.

— Кто его убьет? Что у вас, штабных, за манера запугивать?

— Ах, Старшов, Старшов, умеешь ты ничего не видеть.— Лекарев вдруг резко подался к нему.— Трон шатается. Трон шатается, а господа офицеры изо всех сил с солдатней либеральничают! Считай, что я тебя предупредил, и хватит об этом, а то будет, как с фон-Гроссе.— Он встал, принес саквояж.— Я водки захватил, Старшов. Настоящей, казенной.

— А что с фон-бароном?

— Фон-барон определен под стражу,— нехотя сказал поручик Лекарев.— За переговоры с противником на чистом немецком языке. О бессмысленности войны, всеобщем братстве и прочей социальной чуши. Его ожидает суд, и дай Бог, чтобы дело кончилось разжалованием, а не Петропавловскими казематами. Выпьем за его заблудшую сентиментальную душу. Он отбил у меня Сусанну, но видит Бог, я не держу на него зла.

— Ах, барон, барон...— вздохнул Леонид.

И они чокнулись. В последний раз, не подозревая, впрочем, об этом.

Глава третья

1

Руфина Эрастовна сделала все, чтобы прикрыть Танин грех. Предостаточно хлебнув светского остракизма, она пыталась облегчить жизнь юной грешнице, чем только могла. Для этого была разработана система молчания прислуги и исчезновения Татьяши для всех. И за три месяца до родов, когда животик уже невозможно было скрыть никакими покроями, Руфина Эрастовна увезла Татьяну в Ельню к своей настолько дальней родственнице, что та и слыхом не слыхивала о существовании каких-то там Олексиных.

— Дезертиры,— недовольно определил генерал, оставшись один в большом гулком доме.

Все его карты, книги, схемы и записи были при нем, кабинет оказался в два раза просторнее городского, рядом находилась библиотека, заботливо собранная покойным ДСС, и даже казенной водки тут хватало по горло, но воевать Николаю Ивановичу больше почему-то не хотелось. Вместо того чтобы окончательно разгромить японцев наличествующими в сей момент силами и тем доказать всеми миру, что русский солдат ни в чем неповинен, генерал решил написать книгу об абсурдности всякой войны и о полном равенстве между победами и поражениями. Мысль была дерзка и вдохновенна, но Николай Иванович в нетерпении начал с оглавления и, как только завершил его, так и отложил ручку: все вдруг стало настолько ясным, что писать уже и не требовалось. Генерал каждое утро садился к столу, открывал чернильницу, часто прикладывался к рюмочке, жевал бороду и глядел в потолок.

Он почти не выходил из дома, страдая от сознания, что надо же что-то делать. Эти терзания занимали все его время; генерал лишь на полчаса перед сном появлялся в громадном и совершенно запущенном саду. Он

тяготился бездействием, но не находил в себе желания бороться с ним и все основательнее прикладывался к рюмке. Может быть, он бы и спился с круга, как брат Иван, несмотря на ясную голову и отменное здоровье, но случившийся в селе пожар отвлек его от этого занятия.

Кажется, школа в селе Княжом сгорела в ту ночь, когда Татьяна разрешилась младенцем женского пола. Во всяком случае, она упорно настаивала на этом, хотя, убей Бог, никто не мог понять, что же следует из подобного совпадения. Вот какие совпадения последовали для генерала, он узнал после ночи, озвученной набатом, треском пламени и людскими воплями. Утром вошла Нюша — весьма симпатичная молодая особа при Руфине Эрастовне, которая вопреки естеству любила молоденьких и хорошеньких.

— Депутация, Николай Иванович.

Депутация состояла из учителя, старосты и священника. Учитель был тощ, как хвощ, староста озабочен, а священник отец Лонгин громоздок и демократичен.

— Ваше превосходительство,— собравшись с духом, начал хвощ.— Мы...

— Я — в отставке, и вы — не солдаты,— ворчливо остановил генерал.— Зовите естественно. Что школа сгорела, знаю, однако беден, как бедуин, и на пособие не рассчитывайте.

— У нас не простая школа, Николай Иванович, а первая в уезде и третья в губернии. Благодаря неусыпным хлопотам учителя Федоса Платоновича в селе, поверите ли, неграмотных нет совершенно, исключая пьяниц Герасима и Созона, пастуха Филиппа и дурачка Яваньки.

— Прекрасно,— отметил генерал.

— За последние годы школа подготовила семерых в гимназию, из коих шестеро и по сей день постигают науки коштом глубокочтимой Руфины Эрастовны.

— Вон как? — удивился Николай Иванович.

— Нам бы лесу,— мучительно вздохнул староста.— Сами поставим.

— А дальше? — робко спросил учитель.— Учебники сгорели и пособия сгорели, и у детей даже тетрадей нет.

— Управляющего! — распорядился генерал.

Пока искали, Николай Иванович высказывался в смысле непременного всеобщего образования, упирая, что грамотный солдат сообразительнее неграмотного. Потом пришел управляющий — гибкий молодой человек в пенсне с простыми стеклами.

— Просили зайти?

— Вызывал,— поправил Олексин: ему не нравился этот субъект.— У нас есть лес?

— Что есть у вас, мне неизвестно, а вот что касаемо владелицы...

— Смирно! — побагровев, вдруг заорал генерал да так, что не только управляющий, учитель и староста вытянулись во фрунт, но и отец Лонгин дисциплинированно выпятил живот.— Лес — ему.— Николай Иванович трясущимся от гнева пальцем потыкал в старосту.— Сколько запросит. Две тысячи рублей изыскать и передать попечителям не позднее двух дней.

— Без разрешения владелицы я...

— Сгною! В арестантские роты! На передовую! Вон отсюда шагом марш!

Гибкий управляющий разыскал, что требовалось, но не преминул пожаловаться Руфине Эрастовне, как только она воротилась. Но вернулась она не одна, а с богоданной внучкой и потому ни во что вникать не хотела.

— Разбирайтесь сами, господа.

— Отлично! — Генерал лихо приосанился.— Грубияна — вон, таково первое положение. А второе — управлять вашим хозяйством буду я. Никакого жалованья мне не надо, и, следовательно, это обойдется дешевле.

— Это обойдется дороже,— улыбнулась Руфина Эрастовна.— Но что делать, если я всю жизнь обожала подчиняться?

— Отныне все пойдет по-другому! — громогласно возвестил Николай Иванович.

Все действительно пошло по-другому, но совсем не потому, что генерал оказался толковым управляющим. Как раз управляющим-то он был никудышным, хотя и громким, но слава о его решительности и бодрый стук топоров пока еще с лихвой перекрывали его хозяйственные ляпсусы. Тем более что отныне солнечный зайчик забот дрожал не на нем, а на крохотной девочке, которую неведомо откуда привезли барышня Татьяна Николаевна и барыня Руфина Эрастовна. И то, что девочку доставили в имение уже окрещенной именем Анны, убедило и самых пронырливых, что генеральская дочь и вправду взяла приютского младенца. Во имя этой легенды из села Княжого была взята кормилица, и Таня, рыдая, мучительно пережгла собственное молоко.

2

Тем летом исполнилось сорок лет со дня смерти матери Анны Тимофеевны. Генерал последнее время часто думал о ней, вспоминал, грустил и умилялся, а за неделю до печальной даты сказал Татьяне, чтоб собиралась в Смоленск.

— А как же девочка?

— Кормилица есть, нянька. Да и Руфина Эрастовна приглядит.

Через два дня они выехали. Николай Иванович ожидал прибытия братьев и сестер, думал, как их разместить, и хмурился. Предстоял неприятный разговор с Ольгой и ее мучным супругом, а генерал побаивался всяких неприятных разговоров. И поэтому, едва добравшись до Смоленска, выпалил чуть ли не с порога вышедшему поздороваться зятю:

— Вас прошу вернуться в свой дом. Ожидаю множество родственников.

— А мы уже не родственники, — ядовито констатировала Ольга, и генерал впервые подумал, что дал маху с именами дочерей: Ольгу следовало назвать Варварой, а Варвару — Ольгой.

— Перемещения временны, отношения постоянны, — невразумительно пояснил он. — Однако коли очень захотите, будет наоборот.

Молодые Кучновы наоборот не хотели, и Ольга, поджав губы, переехала со всем своим семейством в купеческий дом, который, к счастью, еще не очень начали ломать. Она сделала это не только в угоду отцу, но и для того, чтобы спрятать собственного супруга: ей оказалось совсем непросто даже на собственной свадьбе, что и подметила счастливая Варя. В Ольге самолюбие решительно перевешивало достоинство, а потому само представление о возможном шепоте: «Бедная Оля!» было для нее невыносимо.

— Так, — удовлетворенно сказал Николай Иванович, перешагнув через первую неприятность. — Теперь начнутся явления.

Съезд родственников открыла Надежда — самая младшая из Олексиных, по мужу Вологодова, и генерал радостно отметил, что и в их семье есть задумчивые красавицы. Он помнил Машу, но Мария Олексина была милой, славной, духовно прекрасной, а до красавицы все же не дотягивала. А Надя — правда, она всегда жила в Москве, он забыл ее лицо, — Надя казалась трагически прекрасной еще и потому, что на нее до сих пор падал кровавый отсвет ходынской трагедии. Ей не исполнилось и двух лет, когда умерла мама, а в ходынскую катастрофу она угодила в двадцать; сейчас ей было чуть более сорока, фигура осталась почти девичьей, и собственная дочь-гимназистка рядом с нею казалась не дочерью, а младшей сестрой.

— Моя Калерия. Есть еще сын Кирилл. Уже офицер и уже в окопах.

Девочка была на редкость хороша. Все они хороши в пятнадцать, но далеко не все умны, а эта светилась спокойствием завтрашней мудрости. И глазки оказались лукавыми, и спросила не без лукавства:

— Генералам ведь не говорят «дядя Коля», правда?

— Зови попросту: «Ваше превосходительство дядя Коля».

— А вы меня за это зовите Лера Викентьевна, ваше превосходительство дядя Коля.

Этим знакомством генерал был весьма доволен. Отправив Леру к кузинам Варе и Тане (Ольга еще не прибыла из своего купеческого замка), уединился с младшей сестрой.

— У тебя замечательная дочь, Надя.

— Господь вознаградил меня детьми.

Ее густо-синие глаза были абсолютно безжизненны при всей их совершенной красоте. Казалось, что они до сих пор видят Ходынку, ощущают Ходынку и смотрят оттуда, из двадцатилетней дали, с Ходынского поля, полного криков, стонов, проклятий, крови и смерти. Николай Иванович знал, как долго, как настойчиво возила Варвара младшую сестру по врачам, клиникам и монастырям, надеясь возродить прошлую Наденьку. Но возродила форму; эта форма счастливо вышла замуж, счастливо родила прекрасных детей, но так и осталась формой. И сидела перед братом чинно, сдержанно и спокойно-холодно, как музейная статуя.

— Варя распорядилась заказать две панихиды. В Успенском соборе и в Высоком.

— Сама не пожалует?

— Варя выедет завтра. Она списалась с Федором, и они решили приехать вместе.

— Н-да, понятно. Миллионы и погоны едут первым классом, — невольно забубнил генерал, но тут же оборвал: — Как ты чувствуешь себя, Надя?

— Я молюсь, пощусь, часто говею, и Господь не оставляет меня.

— Да, разумеется. Господь весьма заботлив, — Николай Иванович опять сердито забормотал, огорчаясь и расстраиваясь: — Ты, конечно, извини. Я солдат, и как-то не очень привык... гм... уповать.

— У каждого свой крест, брат, — тихо сказала она.

В подобных разговорах генерал промыкался весь вечер. А утром следующего дня начали прибывать остальные: Варвара Ивановна и генерал Федор Иванович с сыном Александром, подполковником Генерального штаба; степенный, белый, как снег, тихо говорящий Василий Иванович и потертый, мучительно трезвый Иван Иванович. Они появлялись друг за другом, и Варвара Ивановна, отправив племянника к молодым кузинам, собрала всех в гостиной, распоряжаясь привычно и властно, как распоряжалась все эти сорок лет без мамы.

— Мы встретились по поводу печальному и торжественному. Панихида в Успенском соборе назначена на полдень. Затем мы пообедаем и сразу же выедем в Высокое. Именно завтра исполняется сорок лет, и весь завтрашний день мы обязаны посвятить маме. Экипажи, а также обед в ресторации Благородного собрания уже заказаны.

— Узнаю коней ретивых, — сановно усмехнулся Федор Иванович.

— Я полагал, что я хозяин, а вы мои гости, — багровея, начал генерал.

— Здесь нет ни гостей, ни хозяев! — отрезала Варвара Ивановна. — Здесь — сестры и братья. Не так ли, Василий?

— Будет так, коли умеришь гордыню свою, — тихо сказал бывший принципиальный атеист.

— Позволь, сестра, я прочту поминания. — Надежда Ивановна встала с монашеской покорностью. — Возможно, я кого-либо упустила.

Она начала читать скорбный список убиенных, погибших и умерших, коих надлежало помянуть на богослужении в Успенском соборе. Произносила каждое имя ясно и благоговейно, старательно отделяя их почтительными паузами.

— Ну что же, все на месте, — отметил Федор Иванович, когда сестра закончила перечисление. — Даже тетушку Софью Гавриловну не позабыли.

— Зато позабыли дядюшку. — Иван Иванович вскочил; руки у него дрожали, голос ломался от волнения. — В поминальном списке нет маминого родного брата Захара Тимофеевича.

— А ты вспомнил обстоятельства его гибели? — насмешливо улыбнулся сановник. — Маркитанскую повозку, наших доблестных казачков...

— Глупо! — не выдержав, повысил голос генерал. — Это глупо и низко. Федор!

— Захар никогда не был членом нашей семьи, — сказала Варвара Ивановна. — Он был всего лишь денщиком...

— Ложь! — выкрикнул Иван Иванович. — Господи, какая низость! Какая пошлая мелочность!

— Ну уж не тебе судить, — весомо перебил Федор Иванович. — А уж упрекать нас...

— Это низко! Низко! — со слезами выкрикивал Иван Иванович. — Это же мамин брат, мамин, вы, сановники и миллионщики. Вы уже забыли, что ваша мать — простая крестьянка?

— Не смей нам указывать...

— Тихо, сестра.

Василий Иванович сказал так негромко, что никто не мог понять, почему вдруг все замолчали. А бывший учитель старшего сына Льва Толстого встал с кресла и вышел из угла к столу, в центр гостиной.

— Не гневайтесь, прошу вас, — спокойно и по-прежнему очень тихо продолжал он. — Что вы пытаетесь оспорить: право на благодарственную память? Право на родственные отношения? Они существуют по Божьей воле, а не по вашему желанию: зачем же изо всех сил будить в себе то дурное, которое всегда противоестественно? Мне стыдно за вас. Мне очень стыдно пред светлой памятью нашей матери и нашего родного дяди.

Он ни разу не повысил голоса, лишь чуть подчеркнув два слова в конце. Улыбнулся покрывшемуся багровыми пятнами вздрагивающему Ивану и сел. И все пристыженно молчали, и Николай Иванович тихо торжествовал.

— И впрямь ерунда какая-то, — вздохнул Федор Иванович. — И стыдно. Право, мне очень стыдно, простите.

— Я неправа, и мне следует просить прощения у всех вас, — чеканя слова, сказала Варвара Ивановна. — Надежда, впиши в поминание Захара Тимофеевича, вечная ему память.

И широко («по-купечески», как не без ехидства определил Николай Иванович) перекрестилась.

3

На панихиде в Успенском соборе Божьей Матери Смоленской, знаменитой тем, что сопровождала русскую армию в Отечественную войну 1812 года на тернистом пути от Смоленска и на победном — от Тарутина, присутствовали генерал-губернатор и внучка известного беллетриста Анна Вонвонлярская. Последнее обстоятельство окончательно вышибло Ольгу из равновесия; она сразу же объявила себя больной, отказалась (со вздохами и слезами, естественно) от поездки в Высокое и увезла своего перестаравшегося супруга в его купеческое стойло. И, как ни пыталась скрыть, а все заметили. Варе стало неуютно, Николай Иванович с досады ляпнул что-то абсолютно несоответствующее, из всех присутствующих только Василий Иванович тепло расцеловался с Олей и сердечно пожал руку Кучнову. И сказал:

— Помни только добро, а зло забывай. И тогда Божьего добра станет в мире больше, а людского зла меньше.

А Варвара Ивановна распорядилась, не удостоив взглядом:

— Отобедаешь с нами.

Отобедать предстояло в ресторации Благородного собрания; Ольга сразу же вспомнила треск разгрызаемых мужем костей (он обожал грызть мозговые кости), пришла в полное смятение и дерзко сбежала вместе с богоданным в сумятице выхода из собора. Отсутствия этой пары никто не заметил, исключая ободренного дерзостью дочери генерала и искренне огорчившегося Василия Ивановича.

— Ах, напрасно, напрасно. Гордыня обуяла...

— Коэффициент собственного достоинства, а не гордыня, Васенька, — важно отметил Николай Иванович.

Экипажи были поданы тотчас после обеда. Варе очень хотелось поехать, но оставить ребенка на столь длительное время она все же не решилась. Ее поняли, прощались подчеркнуто тепло (клан демонстрировал родственную любовь всему городу Смоленску), и вся молодежь разместилась в одной коляске: Таня и юная Лера Вологодова, а напротив, спиной к лошадям — подполковник Александр, преуспевающий сын Федора Ивановича и брат полулегендарной семейной фрондерки, уехавшей на каторгу за осужденным возлюбленным. Это было романтично и необыкновенно, но подполковник Генерального штаба не стремился к необыкновенной романтике, демонстративно предпочитая ей придворные сплетни.

— Россия уже проиграла кампанию. — Он чуть грассировал, привычно кому-то подражая. — Весь вопрос отныне в том лишь, чтобы от этого не пострадали союзники.

Он говорил воспитанно, ни к кому как бы и не адресуясь, но при этом совершенно невоспитанно поглядывал на Леру Вологодову. Лера сердилась и краснела совершенно так, как и полагалось пятнадцатилетней гимназистке; Таня была всего-то на два года старше, но уже все видела, все слышала и все понимала. Не только потому, что познала материнство, а и потому, что не обманывалась более относительно собственной внешности, но и особо не расстраивалась. Она не прислушивалась специально к журчащим речам Александра, спокойно думала об Анечке, и ей было хорошо.

— Зачем мне ваши союзники, зачем, зачем? — звонко возмущалась Лера, хорошея с каждым словом. — Почему вас, господин офицер, беспокоят союзники, а не собственная сестра, страдающая на каторге?

— Кстати, вы, кузина, удивительно похожи сейчас на мою сестру.

— Потому что я тоже мечтаю страдать, слышите, вы, прорицатель? Да, да, мечтаю страдать, как моя дорогая кузина-каторжанка, как моя тетя Мария Ивановна Олексина...

Впереди всех, а главное, впереди пыли ехал экипаж с Варварой Ивановной и Федором Ивановичем. Солидным был экипаж, солидно держались в этом мире преуспевшие брат и сестра, и разговоры их тоже были солидными.

— Россию губит не война, а группировки, — говорил Федор Иванович, солидно покачиваясь на солидных рессорах. — Государственная дума орет о патриотизме и гонит государя в бессмысленные и кровавые наступления. Великие князья, к которым он так прислушивается, пьют вместе с генералитетом и тянут в разные стороны, а генералы нерешительны и робки за небольшим исключением. И только царица Александра Федоровна, мудро наставляемая Старцем, еще способна оказывать хоть какое-то влияние на судьбы нашего несчастного Отечества.

— Ты поклонник Григория Распутина?

— Я? — Федор Иванович политично помолчал: осторожничал даже со старшей сестрой. — В свое время я отдал дань этому удивительному человеку.

— А теперь?

— Теперь все сложнее, сестра. Практически проигранная война, голод города, недовольство деревни — не это должно нас страшить. Цвет русского общества начал искать источник всех бед в будуаре Алисы Гессенской. А что говорит Москва?

— Москва, как всегда, радикальна, практична и богомольна, — Варвара Ивановна тоже разучилась говорить искренне. — Покойный Роман Трифонович утверждал, что роковое имя «Григорий» способно приносить России только одни несчастья.

— Твой супруг был умнейшим человеком. Умнейшим.

Федор Иванович сделал вид, что скорбно задумался, хотя на самом-то деле хотел уйти от разговора, опасного уже тем, что в нем зазвучали некие имена. Сестра прекрасно поняла его, но и ей не нравилось направление, которое приняла дорожная беседа. Она тоже скорбно примолкла, перекрестилась и не отреагировала даже на многозначительный вздох сановного брата.

— После неудачного побега с каторги моя блудная дочь обвенчалась в остроге со своим теперь уже бессрочным каторжником Сергеем Петровичем Белобрыковым. Единственно, что хоть немного утешает, так это то, что мой новоявленный зять — потомственный дворянин. У нас с тобою появилась опаснейшая родня, дорогая сестра, которая, правда, пока еще не ложится на бомбу.

— Бедная Маша! — Варвара Ивановна еще раз истово перекрестилась. — Упокой, Господи, мятежную душу ее.

Странно, но о Марии Ивановне, погибшей более тридцати лет назад, прикрыв собственную бомбу собственным телом, шел разговор и в следующем экипаже, где ехали Василий Иванович с младшей Олексиной. Как

возник этот разговор, они уж и не поминили, а сейчас говорил один Василий Иванович: Надежда Ивановна после Ходынки предпочитала слушать.

— Наша дворянская спесь заставляет нас гордиться Машей и ее великой жертвой. Любовь к ближнему победила в ней зло, но мой великий учитель и, смею сказать, друг Лев Николаевич Толстой, отдавая должное ее мужественному порыву (а ведь он знал ее!) сказал — я записал и выучил его слова, Наденька: «Мы склонны всегда восторгаться следствиями, отрывая их от причин. А злая причина превращает доброе следствие всего лишь в искупление вины». Сила в мире, а не в войне, в прощении, а не в возмездии, в любви, а не в ненависти.

Надежда Ивановна молчала, мертвыми и прекрасными глазами (дочь Калерия унаследовала их, но — полными жизни, а не скорби) глядя строго перед собой. Она слышала слова старшего брата и понимала, о чем он говорит, но слышала и понимала на фоне безумных криков, воплей, стонов, проклятий и неистовых требований к Богу. Фоне, который никогда не оставлял ее ни днем, ни ночью, ни во сне, ни наяву. От этого наваждения ее спасала только молитва, только исступленное откровение глушило исступленные вопли в ее раздавленной душе.

— Знаешь, Ваня, честно говоря, я не помню ни мамы, ни отца, — говорил тем временем генерал Николай Иванович в следующей коляске. — То есть я смутно что-то припоминаю, но если уж со всей прямотой, то воспитали меня все вы вместе. В основном, конечно, Варвара и ты.

— Чепуха, — сказал Иван Иванович, все еще мучительно страдая от трезвости (он не позволил себе выпить даже на семейном обеде). — Я иногда отпускал тебе подзатыльники, а Варвара регулярно скрипела, как следует вести себя за столом. Воспитывают не личности, воспитывает атмосфера, то есть то, чем дышит семья в целом.

— Да, да, ты абсолютно прав, Ваня, абсолютно. Мы впитывали в себя подвиги Гаврилы, благородство Владимира, самопожертвование Марии. Мы, Олексины, последние романтики...

— Романтики? — Иван Иванович осклабился в лошадиной улыбке. — Главные романтики едут в первом экипаже: миллионы, опирающиеся на генералитет. За ними следуют их философские фундаменты: модная теософия вкупе с несчастной фанатичкой. Засим, как и положено, черед неудачников: спившегося химика и разгромленного генерала. А вот кто идет следом за нами, Николай, этого я не знаю. Но думаю, что и в той коляске романтика соседствует с откровенным практическим карьеризмом... — Он вдруг вздохнул. — Господи, скорее бы в баньку попасть...

В Высокое приехали поздно, однако было по-июньски светло и тихо. Дом казался заброшенным, зашторенные окна, зачехленная мебель. Варвара Ивановна тут же начала громко распоряжаться немногочисленной прислугой, а Иван Иванович незаметно потянул за рукав младшего брата:

— Баньку покажу.

Париться решил, что ли?

— Идем, генерал, идем. Пока суматоха...

Пользуясь всеобщей неразберихой, Иван Иванович незаметно вывел генерала за конюшни, цветниками провел к новой баньке, дверь которой оказалась запертой на висячий замок. Впрочем, ключ был спрятан тут же, в щели меж бревен; братья вошли в чистенькую, пропахшую березовым духом баньку.

— Ну, и дальше что? — недовольно спросил генерал.

— Она меня от всех обязанностей отстранила, — глухо и невпопад сказал Иван Иванович, ныряя под широкий полок. — Выдает в месяц четвертной, будто конторщику, так что самогонку теперь приходится употреблять а натюрель. Уж не обессудьте, ваше превосходительство.

С этими словами он вынырнул на свет Божий с четвертью мутной жидкости. Зубами вытащил пробку — в баньке враз запахло сивухой, — плеснул в два ковшика.

— За романтиков, Коля, то есть за тебя. Ты последний в нашем ряду. Как мамонт, но, кажется, уже без бивней.

Братья хлестко чокнулись оловянными ковшиками и выпили. Николай Иванович оглушительно крякнул от неожиданной крепости, а Иван Иванович только сладостно причмокнул. И, помолчав, тихо сказал вдруг:

— Четвертной в месяц, а? А у меня ведь — только не проговорись, а? А то Варвара совсем житья не даст — дочка у меня от солдатки одной. Да. Марфушей звать, хорошая девочка, а знакомить не буду, и не жди. Не надо вам знаться с нами, не надо.

...Таня проснулась с рассветом. Встала — она привыкла вставать рано, — поправила одеяло на разрумянившейся во сне Лерочке, оделась и тихо спустилась в сад. Она бывала в Высоком, хорошо знала и село, и усадьбу, и церковь на горе за речкой и любила все это нисколько не меньше Княжого, так неожиданно ставшего ей родным. Нарвав в цветнике махровых пионов — их любила бабушка, Тане рассказывали, — тропинкой вышла к речушке, миновала мостик и начала медленно подниматься к церкви. После завтрака сюда собирались все, а ей хотелось поклониться могилам одной, без сухих распоряжений тети Вари и команд дяди Федора.

Она прошла мимо церкви, обогнув ее, и сразу увидела два белых креста (сестру отца Софью Гавриловну похоронили в Смоленске), и направилась к ним. И остановилась: возле крестов виднелась фигурка: крестьянская девчушка лет двенадцати, стоя на коленях, старательно раскладывала по могильным холмикам полевые цветы.

— Ты кто такая, девочка?

Девочка молча выпрямилась, молча и очень серьезно посмотрела на Татьяну и неожиданно широко и радостно заулыбалась.

— Здравствуйте, барышня, меня Марфушей звать. А вы — Татьяна Николаевна, я вас сразу узнала. Уж больно вы на... на Ивана Ивановича похожи...

4

В июньском наступлении Леониду Старшову повезло, как не везло за весь год окопной жизни. Его занесло под германский пулемет, но дырка оказалась сквозной; отвалявшись в лазарете, он наконец-таки получил законный отпуск и через неделю без предупреждения ввалился в дом собственной жены.

— Кого вам угодно?

В родном доме вдруг не оказалось ни родственников, ни знакомых: жена гуляла в городском саду с Мишкой, Фотишна ушла по хозяйским делам, генерал и Татьяна находились в Княжом, Владимир — в армии, а Ольга отсутствовала. Дверь открыла незнакомая горничная: сказав «сейчас доложу», ушла, и подпоручик несколько опешил от такого приема. А тут появился некто с прилизанными волосами и с непонятной спесивостью осведомился, кого ему угодно.

«Каждое явление излучает свою волну. Для того, чтобы сформулировать сей постулат, Деду пришлось прожить полвека и уцелеть в гражданскую. — Холуи и гордецы работают в разных диапазонах, почему опытное начальство и определяет их во мгновение ока и на весьма значительном расстоянии».

Подпоручик Старшов и Василий Парамонович, выяснив родственные узы и имущественные права, изо всех сил цеплялись за вежливость, только у Леонида она отдавала холодком, а у Кучнова была липкой на ощупь. Однако оба не хотели огорчать жен и вели разговоры на общие темы.

— Доблесть русских солдатиков есть наиважнейший пример и наипервейшая помощь доблестным союзникам, — разглагольствовал за обедом Василий Парамонович, со вкусом дробя кости могучими челюстями.

— Наиважнейший — это абсолютная правда, а вот помощь я бы назвал наивторейшей.

— Как-с? — насторожился Кучнов.

— Леонид, — беззвучно предостерегла счастливая Варвара.

— Абсолютно с вами согласен, — тотчас же отозвался подпоручик. Доблесть примера у нас подкреплена примером доблести, что с лихвой перекрывает недостаток пулеметов.

— Вы хотите сказать, что наша армия плохо снабжается оружием?

— Я не хочу этого говорить, но снабжается она из рук вон.

— Вы не патриот...

С того сентябрьского дня они разговаривали только таким образом. Это злило Василия Парамоновича, обижало Олю, смешило Варвару и доставляло некоторое удовлетворение Старшову. И происходило это не от того, что характеры их были прямо противоположны, а потому, что Кучнов неизменно умилялся при виде мундира, а Леонид знал ему цену.

— Он мне отравит отпуск.

В первый приезд мужа с фронта Варя поняла, как она любит и как она счастлива. У нее был прекрасный медовый полумесяц, и ей казалось, что ничего лучше быть уже не может, но то, что она ощутила, перечувствовала и пережила, не с чем было сравнивать: она и представить не могла всей ослепительной ярости собственной страсти. Она всю ночь не сомкнула глаз, обмирая от нежности, преданности и благодарности, она стремилась угадать ему самому неясные желания, она молила Бога, чтобы Леонид что-либо приказал ей, чтобы причинил боль еще более острую, чем самая первая, причиненная им. И это произошло не потому, что она стосковалась, и не потому, что он стосковался, а потому, что сама их любовь неизмеримо повзрослела, проведя одного через смерть и фронт, а другую — через материнство и ожидание.

— Уедем, Варенька. Хоть к черту на рога.

— Хоть завтра. Только у нас нет денег.

— Поедем к Николаю Ивановичу. Странно, меня совсем не тянет к собственным родным, но с твоим отцом я спорю постоянно. Как с самим собой.

— Это потому, что я люблю тебя. Все происходит только потому, что я люблю тебя и буду каждый день молить Господа, чтобы он сохранил от пуль и бед повелителя и царя моего Леонида.

Выехали с неприличной поспешностью, вызвавшей слезы у Ольги и радость у ее супруга. Старо-Киевский большак был разбит и заброшен, а от него к Княжому вела совсем уж скверная проселочная дорога, и подряженный извозчик ругался, беспокоясь за рессоры. А Варя беспокоилась за Мишку, и из-за этих боязней ехали медленно, а темнело быстро, и к барскому дому добрались в густой мгле. Залаяли собаки, засуетились люди; на крыльце зажгли все фонари, и из дома вышел Николай Иванович.

— Дети мои!

Генерал носил теперь косоворотку, плетеный шелковый пояс с кистями, полосатые брюки и старые сапоги, поскольку в один из них был вделан протез. Он непривычно обрадовался и непривычно засуетился, в доме тотчас же зажгли лампы, а в гостиной — все свечи, которые еще сохранились. Извозчика спровадили во флигель с приказом накормить, напоить и уложить спать, а он потребовал расчета, и пока Николай Иванович и Леонид спорили, кому платить, в гостиную прибежали Таня и Руфина Эрастовна.

— И это — тоже мой внук! — объявила хозяйка. — Варя, поручик, вы слышите? Он будет называть меня бабушкой.

Несмотря на поздний час, распорядились подать праздничный ужин. Уложили детей, пили вино, много смеялись. Потом обе мамы и бабушка заговорили о детях с такой прорвой подробностей, что генерал увел Старшова к себе.

— Пусть щебечут. Велеть что-нибудь...

— Велеть? — подпоручик улыбнулся. — Вы прибрали к рукам очаровательную бабку?

— Я всего лишь командующий. — Николай Иванович насупился, и Леонид сообразил, что фривольностей он решительно не одобряет. — Ну, что фронт? Кто кому мылит шею? Говори правду, потому что газеты врут совсем уж бестолково.

— Правда в том, что армии у нас нет, — вздохнул подпоручик. — Есть миллионы вооруженных мужиков, распределенных поротно, но единой боеспособной армии нет, кроме казачьих и, может быть, сибирских частей. Солдаты ненавидят офицеров, случаи выстрелов в офицерские спины стали заурядным явлением. Нет пулеметов, патронов, обмундирования, хлеба. Все рушится, Николай Иванович, без всяких усилий со стороны противника: германцы просто ждут, когда все окончательно развалится и они без единого залпа получат и хлеб, и уголь, и руду.

— Считаешь, что Россия на краю пропасти?

— Я всего лишь окопный офицер, а из окопа видна только собственная могила, — Леонид вздохнул. — Знаю, что все прогнило и держится по инерции, как волчок.

— России везло на самодержцев. Судьба уберегла ее от круглых идиотов или злобных сумасшедших, исключая Ивана Грозного. Алексей Михайлович был подозрителен, но гениален во внешней политике. Петр Великий не знал жалости, но не щадил и себя для блага отечества. Трех дам оставим в покое, но четвертая, то бишь Екатерина Вторая, была исполнена благих намерений и умудрилась увеличить население России почти на двадцать пять процентов. Павел не успел развернуться, но Александр Павлович способствовал единению отечества пред нашествием гениального злодея. Его брат на все века запятнал себя отсутствием великодушия, но нельзя не признать, что его мелочное правление навело порядок в расстроенных финансах, что и позволило его сыну начать свое царствование с широкого жеста всеобщего освобождения. И даже о вечно пьяном солдафоне Александре Третьем я могу сказать, что он был последователен. А что мне сказать о его сыне? Подкаблучник масштаба командира полка. Большего доверить ему не могу, не управится. Нет, не управится, Леонид, а вот счастье это наше или несчастье, я не знаю. Я не знаю, что нужно такому монстру, как Русь матушка. Она чудовищно велика, космата, темна, богата и... жестока. Никогда не думал, что способен на монолог, и у меня пересохло в глотке.

— Я тоже не знаю, что нужно России, но я твердо знаю, что ей не нужно, — задумчиво сказал Старшов. — Ей не нужна пугачевщина.

— Считаешь, что зашло столь далеко?

— Когда нет уважения к власти, власть должна опираться на силу. А какая уж тут сила, когда в России вооружен каждый третий? У меня в роте есть некто Прохор Антипов. Так вот, он свою винтовку ни за что не отдаст. Он увезет ее в деревню и там при первом же осложнении пропорет штыком живот становому, жандарму, а заодно и помещику. Россия у порога крови, Николай Иванович. У порога крови.

Из своего первого посещения Княжого Леонид запомнил этот разговор, а Варя — яблоки. Собственно, не столько сами яблоки, которыми был переполнен сад, обе веранды, дом, сколько яблоневый дух. Он витал над старой усадьбой, и в этом заключалось что-то необъяснимо печальное. Это был дух прощания, полный густоты и грусти, и Варя запомнила эту последнюю осень прошлого именно такой. Опавшей, с горьковатым ароматом увядания, тоски и безвозвратности. Но тогда и ей, и неожиданно повзрослевшей Татьяше казалось, что плачут они от встречи, но плакали они от грядущих расставаний, и только Руфина Эрастовна искренне роняла слезы от радости:

— Я бабушка. Я все-таки стала бабушкой, мой великодушный и действительный статский советник!

5

Для них это был месяц затишья: до смерча, вверх дном перевернувшего Россию, оставалось менее полугода. Но смерчи приходят непредсказуемо, а потому никто и не гадал о сроках, хотя все слышали надрывный скрип качающегося трона. И все говорили, говорили, говорили.

— Триста лет гнило, вот и прогнило. Труха под ногами, ощущаете?

— Единственный выход — победоносная война...

— Пора нам взять пример со стран цивилизованных, господа, пора.

— Конституционная монархия...

— Отречемся от старого мира...

— Да здравствует республика, господа!

— Хлеба!

— Земли...

— Мира!..

Кричали город, деревня и фронт. И именно их надсадный, как последний выдох, хрипатый рев и определял собою силу, задачи, возможности, стратегию и тактику. Все остальное оказалось типично русской болтовней — слабостью, свойственной России во все времена и во всех ипоста-

сях. Во время приступов этой слабости население ее начинает говорить куда больше, а делать куда меньше, чем народы любого иного государства, стремясь вознаградить себя за протяжно долгие и глухие, как куртины Петропавловской крепости, периоды запуганного молчания. Время говорения, естественно, созидало говорильни и рождало говорунов всех слоев, оттенков и направлений, и они созидались, и рождались, и росли, как опята на обреченном дереве.

Запасные батальоны издавна делились не на офицеров и рядовых, а на постоянный и переменный составы, причем постоянный состав отправлял на передовые состав переменный. Поскольку любая романтическая иллюзия испаряется со скоростью эфира, а начала и концы войны уже затерялись в грохоте и зловонии, то воевать расхотелось даже вчерашним гимназистам. Все стремились пристроиться если не при снабжении, то при штабе, если не в лазарете, то хотя бы в запасном батальоне, где, конечно же, оказаться не в составе переменном. Офицеры столь привлекательных на исходе третьего года войны частей были, как правило, немолодыми, семейными, а значит, цеплялись за свои должности зубами и когтями. Старослужащие унтеры трезво предпочитали каптерки и цейхгаузы окопам и блиндажам, а потому для нижних чинов ничего не оставалось, как заделаться составом переменным, который с чьей-то легкой руки уже давно именовался пушечным мясом.

Вольноопределяющийся Владимир Олексин умудрился зацепиться за Вяземский запасной батальон только потому, что присущее ему желание вращаться неожиданно было подкреплено объективными историческими обстоятельствами — жаждой говорить. Осторожные офицеры запасного батальона говорить, правда, не решались, дорожа местом, но пароксизмы болтовни предполагают и пароксизмы слушания, и офицеры восполняли неутоленную ораторскую страсть чутким слухом, а говорил Владимир. Он витийствовал упоенно и, как казалось господам запасным командирам, весьма радикально, громогласно требуя свобод, но уповая на победу в войне. Все ждали, что пламенного трибуна вот-вот арестуют, а потому и особо благоволили ему, неизменно оставляя при батальоне, а не отправляя на передовые позиции с очередными маршевыми ротами.

— Таких агитаторов, господа, следует держать подальше от фронта,— сказал командир запасного батальона подполковник Савелий Дмитриевич Нетребин, формулируя тем самым объяснение, если кто-то вдруг поинтересуется, почему это вольноопределяющийся Олексин околачивается подле господ офицеров, периодически переходя из роты подготовленной в роту формируемую.

— Русский народ истово верует в Бога и государя,— разглагольствовал тем говорливым временем вольноопределяющийся.— Сохранить в чистоте идею Господа нашего и лик его императорского величества есть первейшая и святейшая обязанность русского цивилизованного общества. Однако при этом мы должны широко раскрытыми глазами видеть нищету деревни и голод рабочих окраин, господа. Вопль обездоленных да будет услышан нашими сердцами, и пусть наполнятся они святой верой в победу славного русского оружия, которая принесет долгожданные европейские свободы в зараженную деспотическим дыханием Азии матушку Россию!

Так он мог токовать часами. Мужчины помалкивали, дамы умилялись, барышни постреливали глазками. Владимир упивался собственными речами, вольнодумством и вниманием как господ командиров, так и их жен, и в особенности дочерей. А поскольку он привык жить, не ведая утром, что натворит к вечеру, то вскоре старшая дочь самого командира запасного батальона подполковника Нетребина Лидочка в счастливых слезах призналась маменьке. Маменька не разделила ее радостей, пролив куда более горькие слезы, и уже на следующее утро Савелий Дмитриевич вызвал к себе вольноопределяющегося Владимира Олексина.

— Милостивый государь, дочь моя совращена вами, и я намерен узнать, на какое именно число желательно определить венчание.

Легкомысленность упряма не вследствие нрава, а вследствие нежелания и неумения предполагать. Унылая великопостная девица была столь пугающа, что Владимир тупо отрекся от всего. От страстных признаний, жарких объятий и двух часов, проведенных в девичьей постели. Лидочка рыдала и твердила: «Да!», а он угрюмо злобился и твердил: «Нет!». Ситуация сложилась невероятная: наглый обольститель в глаза отрекался от предмета страсти, ставя тем самым этот несчастный предмет в положение двусмысленное и оскорбительное. Ни увещевания отца, ни мольбы матери, ни горькие слезы жертвы, ни даже дружное осуждение дам и бойкот офицеров ничего не могли поделать с трусом, растерявшим остатки чести и приличий в купеческих попойках. Угрозы также ни к чему не привели, дуэли были запрещены категорически, да подполковник Нетребин и не рискнул бы на дуэль, дорожа местом больше, чем честью. Вольноопределяющемуся решительно указали на дверь во всех офицерских семьях, с частной квартиры ему предписано было немедленно перебраться в казарму; он перебрался, в казарме его кто-то серьезно избил, и с первой же маршевой командой он был отправлен на передовые позиции. Добиваться долгожданных европейских свобод путем достижения победы славного русского оружия.

Вечером 17 декабря 1916 года команда грузилась в вагон на станции Вязьма. Как раз в это время в Петрограде возле дома № 94 по набережной Мойки остановилось авто, из которого вышел некий господин, и князь Феликс Феликсович Юсупов граф Сумароков-Эльстон гостеприимно распахнул перед ним двери собственного дома.

Известно, что история склонна к повторению собственных ошибок, и в этом смысле она весьма смахивает на двоечника, добросовестно пытающегося заново сдать экзамен, что в свою очередь превращает первоначальную трагедию во вторичный фарс. Три сотни лет назад у истоков Смутного времени оказался беглый монах именем Григорий, и в описываемое время это же имя замельтешило вдруг в сферах сильных мира сего, не предвещая, увы, фарса, а грозя еще более страшными трагедиями. Напуганные не столько историческими аналогиями, сколько реальными деяниями нововявленного возмутителя спокойствия наиболее энергичные представители высшего света травили его цианистым калием, били по голове, дырявили из револьвера и в конце концов еле-еле утопили в Невке. Насильственно лишенный жизни подобно своему анафемскому тезке Распутин и после смерти разделил участь Гришки Отрепьева: вырытый солдатами из могилы в Царском Селе труп его был сожжен на костре, а пепел развеян по ветру.

— Правда, это не спасло нас от Смутного времени,— заметил Дед много лет спустя.— Хотя Распутин тут абсолютно ни при чем. Гришка — приправа к Истории, чуть-чуть тухлятинки к пиру во время чумы, и я бы не поминал о нем, если бы не получил поручика в том самом месяце, в котором этот пророчествующий жеребец вдосталь нахлебался ледяной воды.

6

Ольга Олексина была самым тихим и незаметным человеком в семье. Она не отличалась ни красотою Вареньки, ни некрасивостью Татьяшки, ни смешливостью первой, ни твердостью второй; может быть, таковым оказался каприз природы, а может быть, здесь сыграло роль то, что Оля чуть приволакивала ногу в память о родовой травме. Эта нога отравила все Олино существо, переплавив задатки прирожденного олексинского юмора в тяжеловесную серьезность: Оля разучилась понимать шутки, считала их неприличествующими девице, не шутила сама и неодобрительно поджимала губы, когда шутили другие. Живость ловкой, сметливой и сильной Татьяны ее всегда раздражала, обаяние, страстность и звонкость Варвары с детства вызывали зависть, и Оле ближе всех в семье оказались не сестры, а глуповатый индюк Владимир. И он относился к ней благосклоннее, чем к другим сестрам, так сказать, взаимообразно: она не хохотала в ответ на его глубокомысленные пошлости, как Варвара, и не умела убийственно иронизировать, как Танечка. Оля слушала его если не с восхищением, то с участием, которое он усилием воображения превращал во внимание, а потому и любил оттачивать на старшей сестре свои спичи, остроты и экспромты. Так повелось с детства, и это был единственный тандем в семье: остальные катили на своих велосипедах. И, кроме того, Владимир не оказался конкурентом, когда сестры начали зреть и искать.

Младшие искали неосознанно и несуетливо, а нашли раньше старшей. Собственно, нашла одна Варя, но Ольга не считала, что Татьяна потеряла: она была единственной (кроме отца, разумеется), кто не поверил в легенду о чахотке. Своевременное исчезновение Татьяши из дома уберегло ее от Олиного яда, но из разности сестринских успехов Оля сделала общий вывод: надо действовать. И с тайной помощью Владимира, имевшего обширные связи в купечестве, познакомилась с некой говорливой и шустрой особой, имя которой не имеет никакого значения. Товар, правда, был не ахти — не молода, не красотка, не стрекоза и, увы, бесприданница — но особа имела в запасе некоторые варианты.

Можно только себе представить, что было бы с генералом Олексиным, узнай он о столь замшелом способе не остаться в девицах. Всякого рода свахи у него прочно ассоциировались с Островским, купцов и купечества он вообще терпеть не мог, но, на счастье, абсолютно не интересовался, каким именно образом его старшая дочь извлекла из житейских пучин Василия Парамоновича Кучнова вкупе с сыночком-ангелочком. Николай Иванович воспринял это как стихийное бедствие, сбежал при первой же возможности и до конца дней своих прилагал все усилия, чтобы встречаться с дочерью без ее супруга. Чаще всего ему это удавалось, хотя Василий Парамонович в то время считал генеральскую родню законным приданым своей Ольги Николаевны и, следовательно, своею личной собственностью.

Приобретя мужа, Оля тем не менее не ощутила ожидаемого если не счастья, то хотя бы удовольствия. Разница между мешковатым (не потому ли генерал вообразил насчет муки?) Василием Парамоновичем и ловким, при шпорах и сабле Леонидом Старшовым оказалась столь разительной, что червь точил Ольгу денно и нощно. Чахоточная Татьяша жила в настоящем имении, Варин муж получал чины и ордена, и у Оли оставалось единственное преимущество, которое, к слову сказать, остальными Олексиными и в том числе и самой Олей преимуществом не считалось: деньги. И она, а совсем не бережливый Василий Парамонович, затеяла полную перестройку старого купеческого дома. Она мечтала превратить его в красивейший и популярнейший особняк, приучить к его уюту и широко распахнутым дверям наиболее уважаемые фамилии города, организовать салон по примеру княгини Теншевой, скажем, по четвергам, и тем самым навсегда раздавить червя, точащего ее душу. «Кучновские четверги» — господи, какой музыкой звучало это в ее ушах! Она сумела проиграть эту музыку и в природно недоверчивых ушах супруга: завороженный генеральской родней и четверговыми перспективами Василий Парамонович крякнул, но денежкой брякнул. Кучновы влезли в олексинский дом, потеснили Варвару Старшову, выжили генерала, но дело с превращением мирной купеческой обители в некое пристанище городского бомонда завертелось. Правда, в связи с войной вертелось оно медленно.

— Подвалы расчистить и углубить, — неутомимо распоряжалась Ольга. — Там будет винный погребок и, может быть, грот. Грот мечтателей и поэзии в свете свечей.

— Как ни смешон был сей прожект, а в этом особняке и впрямь побывало много представителей самых громких фамилий, — невесело иронизировал Дед много лет спустя. — Подвалы с «гротом мечтаний и поэзии» весьма понравились губчека.

Дом перестраивался хоть и неторопливо, но основательно, питаемый злой фантазией Ольги и деньгами Василия Парамоновича, а пока Кучновы жили в доме Олексиных. Собственно, и Олексиных уже не осталось: генерал удрал к Татьяше, Владимир служил в армии, а Варенька стала Старшовой, но покуда существовала Фотишна, существовал и олексинский дом, и никакие Кучновы поколебать его не могли. Домна Фотиевна упорно считала их жильцами временными с временными, а потому и ограниченными правами. Василий Парамонович принял эту позицию, Ольга кое-как согласилась, и прислуге Кучновых было приказано считать Фотишну хозяйкой дома. Возможный конфликт таким образом был ликвидирован, а поскольку места на всех хватало, то и жильцы дома обитали отныне как бы в разных временных поясах.

— Не люблю тишины, — ворчала Фотишна. — Тишком, Варюшка, грабить сподручно.

А потом и Варенька исчезла из дома в неведомое Княжое, и Фотишна осталась одна. Следила за порядком, требовала уважения, пила чай с Ольгой по старой памяти да ворчала на тишину, которой уж и в помине не было в государстве Российском.

Приближался 1917 год, и никто, никто решительно, ни один человек не знал, что год этот записан в Книге Судеб огненными цифрами, знаменуя собой Конец и Начало.

7

— Семнадцатый год начался не первого января, а первого марта, — рассуждал Дед, когда можно стало и порассуждать. — А мы, помнится, встречали его довольно шумно. К Рождеству пожаловали поручика и... Между прочим, я оказался в списке, который утвердил сам государь, хотя обычно такую мелочь с легкостью раздавал главнокомандующий. Через два десятка лет мне долго пришлось объяснять этот монарший каприз. Долго и дорого.

Встречали в батальоне у Незваного, которого опять царапнуло, опять легко, и опять он не воспользовался отпуском. Кроме Старшова, присутствовали и другие командиры рот; Леонид хорошо знал их, и компания была бы своей, если бы каждый ротный не притащил с собой новоиспеченных прапорщиков.

— Понимаешь, они уже кичились, а мы еще кичились, и это нас сближало.

Первый офицерский чин без специальной подготовки присваивали либо за отчаянную храбрость, либо за отчаянную верность; к представителям первой категории окопное офицерство относилось с должным уважением, а произведенных по причине номер два, естественно, опасались. Вообще осторожность, столь несвойственная русскому офицерству, в последнее время начала приобретать все большее число последователей, превращаясь постепенно в некий стиль окопного поведения. Опасались германских пулеметов и собственных солдат, тяжелой артиллерии и глупых приказов, аэропланов и доносчиков, ставших обычными, как вши. Дед считал, что как раз на втором году этой бессмысленной войны и рухнуло то удивительное взаимное доверие, которое скрепляло сословную русскую армию в единую военную силу, обладающую непостижимым упорством и стойкостью.

— Солдат переставал видеть в офицере командира и начинал ощущать в нем только золотопогонника, — говорил он. — Вот это и явилось началом гибели русской армии. Впрочем, мне и тогда везло.

Дед всю жизнь по-детски упрямо верил, что ему всегда и везде везло. Везло в германскую на солдат, в гражданскую — на коня, в мирное время — на друзей и в Великую Отечественную — на средства связи. Он искренне ни в грош не ставил собственный талант офицера-тактика, способного мгновенно оценить обстановку и найти единственно верное решение. С него вполне хватало того, что никто и никогда не упрекнул его в трусости. Ни солдаты, ни соседи слева и справа, ни друзья, ни враги, ни начальство, ни противник. Дед был самолюбив и напрочь лишен честолюбия.

— Карабкаться вверх, чтобы однажды сорваться не по своей воле, — занятие для обезьян.

А его прапорщики были пока еще и вправду ничего. Масягин преданно любил за тот рассветный порыв в низине реки Равки, Дольский ценил за окопный опыт и демократизм, но как-то молчаливо и отстраненно. Он вообще был молчалив, умел держаться со всеми на дистанции, не вызывая обид, а внушая уважение, отличался отменным хладнокровием и командирской хваткой. Эта непонятно каким образом зародившаяся в душе учителя командная жилка казалась вполне профессиональной; Старшов, сразу почувствовавший холодноватое отчуждение нового прапорщика, с огромным облегчением доверился всем его хваткам и жилкам, и это вполне устраивало как одного, так и другого: первый разговор не по службе случился в ночь под Новый год.

— Вы пьете воду даже за здравие государя, Дольский?

— Я всегда пью воду.

— Вы оригинал!

— Я каторжанин. Позднее — ссыльно-поселенец.

— Я полагал, что вы учитель.

— Я им числился для жандармов, полиции и любопытствующих родственников.

— А как же каторга? Простите, может быть, мой вопрос нескромен...

— На передовых нет нескромных вопросов. Я был приговорен к смертной казни, которую заменили сначала бессрочной каторгой, а впоследствии — ссылкой.

— Вам на редкость повезло.

— Повезло — дамское определение, поручик. — Дольский неприятно усмехнулся. — В борьбе нельзя рассчитывать на везенье, в борьбе надо рассчитывать только на победу.

Рыжеватый коренастый прапорщик отрубал слова, как полешки: каждое существовало вроде бы само по себе, но это не только не разрушало фразу, а придавало ей особо весомый смысл. «Очень неплохой оратор, но Бог мой, какой же скучный оратор!» — подумал Старшов, а где-то внутри самого себя под этим определением старшего по чину не столько понял, сколько почувствовал, что перед ним не просто оратор, но вождь. Наполеон, Магомет, Пизарро, Пугачев. Он невольно робел, но робел не потому, что Дольский был на десять лет старше, не потому, что за его плечами смутно проглядывала трагическая судьба, а потому, что Леонид не выдерживал взгляда серых холодных и мертвых глаз.

— Вы имеете в виду победу в этой войне?

— Я имею в виду победу в борьбе.

— В борьбе за что?

— Борьба отличается от войны тем, что в борьбе каждый сам определяет свое место. Не опоздайте определиться, Старшов.

С тем он и отошел, коротко кивнув, будто был старше чином и мог отойти, когда ему хотелось. Но поручик был не обижен, а озадачен; озадаченность без труда читалась на его лице (на котором, к слову сказать, всегда все читалось), и Незваный сразу залюбопытствовал.

— У вас выражение, будто вы решаете детскую загвоздку: почему у коровки и лошадки разные каки, хотя едят они одно и то же?

— А в самом деле, почему?

— А черт его знает, спросите своего прапорщика Масягина. Говорят, есть время вопросов и время ответов: вы в какое желали бы жить, коли был бы выбор?

— Вопросы — признак детства, ответы — признак старости. Послушайте, Викентий Ильич, Дольский не без кокетства назвал себя каторжанином. Сколько здесь правды?

— Кое-что до меня доходило. — Чувствовалось, что Незваному не хочется откровенничать, но не хочется и отмалчиваться: он по-доброму относился к Леониду. — Его револьвер не знал ни промахов, ни пощады: говорят, при налете на банк пристрелил трех человек без всякой видимой причины. За это полагалась виселица, однако для Дольского исключение почему-то было сделано.

— Почему же?

— Слухи, — нехотя сказал командир батальона. — Что вы скажете о человеке, который во всех своих действиях неизменно руководствуется одним принципом: цель отправдывает средства?

— Таких людей следует держать изолированно от общества. Значит, целью было ограбление?

— Целью было избежать виселицы, — понизив голос, сказал Викентий Ильич. — И он избежал. О средствах можете догадываться, но поостерегитесь говорить о них вслух.

Прошло много лет и много войн, было зачато множество новых жизней и завершено множество молодых; мир вертелся, как вертелся всегда, миллионы и миллионы лет, и только самая громадная страна этого мира — скорее не страна, а часть света — рванулась вдруг из этого размеренного равномерного вращения, позабыв о великом Законе Инерции. И вздыбилась гигантской плитой вопреки всему и вся, круша людей и скотов, народы и страны, города и деревни, церкви и веру, семьи и сострадание, милосердие и благоразумие. За считанные годы одна из богатейших стран мира стала нищенкой, в безумном угаре промотав состояние, нажитое тысячелетним недоеданием всего народа, и жизнь опять началась с нуля.

— Знаешь, каждый год имеет свой собственный девиз: можно было бы попытаться составить календарь из девизов на манер восточного из животных. Ну, к примеру, год Великого Голода, год Великого Перелома или год Победы и так далее. Так вот, семнадцатый вошел в историю под девизом «Цель оправдывает средства».

Так сказал Дед незадолго до смерти.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

1

Древних весьма занимал вопрос, который нам кажется неинтересным не потому, что мы знаем ответ, а потому, что нас перестала терзать любознательность. Вообще человечество с каждым веком увеличивает не количество ответов, а количество вопросов: то, на что мы не в силах ответить, мы либо объявляем несуществующим, либо отвергаем, либо стараемся забыть, либо постепенно разлагаем на составляющие столь элементарно простые, что и отвечать-то на них уже нет никакой необходимости. Что же касается проблемы, над которой бились ясные и трезвые умы античности, то она заключается в зерне. В том последнем зернышке, добавление которого вдруг превращает «столько-то зерен» в кучу зерен. А сколько дней необходимо, чтобы количество терпения перевесило страх перед расплатой и традиционный трепет пред властями? Когда это случается, на площади выходят не только те, которым нечего терять, и не только те, которые надеются что-то приобрести, а все, весь народ, хотя под этим понятием у нас подразумевают кого угодно, только не интеллигенцию. Но в тот день «ИКС», когда количество обид переходит в качество возмущения, никто не отъединяет интеллигенцию от народа, никто не противопоставляет их друг другу, и скромный учитель чистописания надевает тот же алый бант, что и грузчик, металлист или горновой. Население страны вскипает, как магма: деревня, похватав топоры, спешит жечь усадьбы и крушить павловскую мебель; город выплескивается на улицы столь единодушно, что жандармы и полиция добровольно отказываются от сопротивления, войска не желают стрелять даже в воздух, министры забывают свои портфели, и власти ничего не остается, как отречься от самой себя.

Стихийная всеобщность определяется степенью разогрева: недаром один из весьма известных в то время писателей назвал революцию расплавленной государственностью. Естественно, он имел в виду не заранее спланированное восстание, а всенародный порыв, свидетелем которого оказался. Этот порыв взорвался столь внезапно и единодушно, что ни одна из многочисленных партий России так и не смогла записать его в свой актив: революция явилась воистину творением всего населения, а потому оказалась краткой, бескровной и бесспорной, не выволочив за собою кроваво-дымного шлейфа гражданской войны. Начавшись песнями вместо выстрелов, она долго еще сохраняла радостные признаки праздника и братского единства. Братались все, на всех палубах гигантского дредноута, именуемого ныне Россией Демократической; «Да здравствует революция, господа, либертэ, эгалите, фратернитэ!»

При всей неуправляемости и неожиданности диалектического антраша, исполненного Россией к вящему удивлению всего мира, кто-то что-то все же знал, а если и не знал, то чуял звериным сверхчутьем. Во всяком случае, Дед именно этому сверхчутью приписывал таинственное исчезновение прапорщика Дольского за неделю до исторического события, называемого ныне Февральской революцией. Это не было случайной гибелью, от которой никто не застрахован на передовой, но и не казалось дезертирством, потому что прапорщик имел на руках некое предписание, которое позволяло ему передвигаться вполне легально. Словом, никто не знал, когда и по чьему распоряжению фронтовой офицер оставил вдруг окопы и, никому не докладывая, но и не таясь, исчез в гнилой рассвет-

ной мгле. Поручик Старшов пошумел, повозмущался, написал рапорт, но тут наступили события столь неудержимые, что он забыл о Дольском очень надолго. Пока однажды Дольский не вспомнил о нем.

Наступали времена исчезновений без всплесков и появлений без корней; в разгар всеобщих восторгов по поводу долгожданного братства и почти детских свобод как-то незаметно, без шума и словно бы даже без пламени сгорели архивы Охранных отделений в обеих столицах одновременно. Что канули в огонь, какие преступления, имена, расписки в благонадежности или в неблагонадежности — все отныне оказалось прикрыто пеплом куда прочнее, чем крепостным железобетоном. Кому-то было жизненно необходимо, чтобы История Государства Российского вновь отсчитывалась от нуля.

— Свобода, господа! Ур-ра!..

Кричали искренне, со слезою во взоре и оттепелью в груди. Кричали возвышенно, с горящими глазами и готовностью к эшафотам не только для других. Кричали с яростью, еще не успев полюбить, но уже научившись ненавидеть. Кричали, кричали, кричали на всех углах и во всех полках, на всех сходках и на всех палубах, на всех митингах и по каждому поводу; каждый кричавший вкладывал свое понимание в заветное слово, но все внимавшие ораторам понимали одинаково. Понимали так, как понимала Русь, которая испокон веков в отличие от Европы под словом «свобода» понимала не ряд законов, ограждающих личность от произвола, а полное отсутствие всяких ограничений, законов и порядка. Свобода для России всегда была, так сказать, с пугачевским дымком: свобода для толпы и безусловное подчинение личности этой толпе.

— Для нас свобода — не право каждого на пряник, а право каждого на кнут, — подытожил Дед через четыре десятилетия. — Врежут мужику пару горячих, а он и рад-радешенек: «Барину тоже врезали!» Вот что значат для нас свобода, равенство и братство.

Армия растрачивала революционный пыл в бесконечных митингах. Войну никто не прекращал, все оставалось вроде бы без изменений, только вместо «их благородий» ввели общие для всех обращения «господин». «Господин прапорщик, господин полковник, господин генерал», а в некоторых полках и «господин солдат». А больше ничего не изменилось, не считая известных потерь в офицерском составе: кого-то стрельнули под революционный шумок, кто-то сбежал сам. Армия галдела, требовала мира или отпусков, сапог и мира, мира и новых шинелей, и снова того же мира с чем-то еще на бесконечных митингах. Противник относился к этому с добродушным выжиданием: не стреляли, а кое-где, как утверждали всезнающие солдаты, началось и братание.

— Штык в землю! — орал Прохор Антипов, охрипший на ежедневных говорильнях. — Немец такой же мужик, как и мы! У него тоже баба есть! И хозяйство! Долой!..

Вскоре стали доходить слухи о каком-то приказе № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Что это был за приказ, каково было его содержание и кого он касался, никто толком не знал, но на всякий случай все чего-то требовали. В полку ожидали прибытия депутата Государственной думы; за неделю до предполагаемого события к Старшову явилась делегация во главе с главным крикуном Антиповым.

— В Петрограде рабочие и солдаты установили свою власть, — как всегда угрюмо, не глядя в глаза, сказал Антипов. — Чтоб не было к старому никакого поворота, надо и нам тоже. Чтоб, значит, господа офицеры не захапали революционные достижения.

— Вы хороший солдат, Антипов. — Леонид понимал, как важен сейчас правильный тон, но этот проклятый правильный тон с подчиненными давался ему с огромным напряжением. — Власть меняется, а родина остается, и мы ее защищаем на этих позициях. Я знаю, что вам хочется мира, и вы за него агитируете. Мне тоже хочется мира, но я не хочу отдавать Россию германцам. Поэтому можете меня убить, можете потребовать, чтобы меня убрали, но, пока я вам командир, в роте ничего не изменится. Мы будем исполнять свой долг и...

— Да не о том речь! — раздраженно крикнул Прохор. — Заладил свое, как пономарь, а мы — от общества. В армию депутат Государственной думы прибывает, и полковой комитет распорядился, чтоб от каждой роты было по два представителя. Вот нас с вами и выбрали.

— Нас? — опешил Старшов.

— Ну, вас и меня, понятно? Сдайте роту Масягину, завтра с утречка и потопаем.

«В те времена я был мало знаком с наглостью, — рассказывал Дед, добродушно посмеиваясь над самим собой (тем, молодым). — И поэтому мы потопали...»

2

На встречу с депутатом собралось свыше тысячи солдат: офицеров Старшов поначалу вообще не заметил в единообразной серой солдатской массе, решил, что их сюда не допустили, и насторожился. Сам он несмотря на погоны и форму проходил как солдатский делегат; это создавало неудобства на каждом шагу: незнакомые солдаты смотрели недружелюбно, часто требовали мандат, и тогда Антипов горячо и матерно объяснял, что поручик единогласно избран ротой в качестве именно солдатского представителя. Словом, Леониду было на редкость неуютно; он еще не умел разговаривать с солдатами на их языке, еще не утратил офицерского тона и предпочитал отмалчиваться. Грубый и настырный Прохор Антипов не отходил от него ни на шаг, бегал за кипятком, кормил, защищал и развлекал, как мог и умел.

Наконец прибыл специальный состав из трех классных вагонов, и тотчас же из здания вокзала, охраняемого пулеметной командой, высыпало множество офицеров. Они окружили прибывших и направились было к вокзалу, но солдатская масса, запрудившая перрон, подъездные пути, привокзальную площадь и прилегающие улицы, подняла такой шум и крик, так внушительно затрясла винтовками, что встречающим пришлось подчиниться, и депутата вместе с сопровождающими его лицами прямиком провели на площадь, где уже была сооружена дощатая трибуна. Возникла людская коловерть; Антипов, энергично толкаясь и еще более энергично матерясь, устремился вперед. Леонид кое-как поспевал за ним, и к тому времени, как гости поднялись на трибуну, Старшов и его солдат сумели пробиться в первые ряды.

— Мне здорово намяли бока, но зато я понял, для чего человеку локти, — хмуро комментировал Дед этот первый в своей жизни митинг.

Депутат Государственной думы был солиден, как депутат, бородат, как старовер, и лобаст, как старательный присяжный поверенный. Его сопровождали молодой вольноопределяющийся с огромным красным бантом, молчаливый сумрачный офицер из штаба армии и апоплексически пыхтящий тылового типа генерал. Кроме них, на трибуну поднялись и другие офицеры. Вся компания держалась вместе у дальнего края помоста, стараясь сохранять определенную дистанцию между собой и оживленной, взвинченной, пугающе незнакомой солдатской массой. Может быть, поэтому они тянули с началом митинга, шептались, рассылали связных, а забитая солдатами площадь орала все нетерпеливее. Наконец на трибуне решились; депутат оторвался от компании, пересек помост и остановился у края, над толпой, крепко вцепившись в перила.

— Господа! — крикнул он сиплым, сорванным голосом, и все затихли. — Граждане свободной России! Друзья и соратники мои во дни великой очистительной бури...

В конце фразы голос его окончательно сорвался. Толпа добродушно засмеялась, и кто-то крикнул:

— Видать, много уговаривал!

Депутат закашлялся, замахал руками. Отдышавшись, прохрипел окончательно севшим голосом:

— Осип, господа, неделю говорю по шести раз в сутки. Почему и просил выступить юного члена партии конституционных демократов, чьи прогрессивные мысли я полностью разделяю.

Он отошел, а на его месте оказался вольноопределяющийся с бантом на шинели. Театрально воздев руки, ясно и четко прокричал:

— Братья — солдаты! От всего пламенного сердца поздравляю вас с обретенной свободой! Сотни лет великая родина наша...

«Володька! — ахнул Старшов. — Ах, болтун, недоучка, тыловой лизоблюд...» Он уже не слышал, о чем говорит беспутный родственник: настолько велики были его недоумение, досада и непонятно в чей адрес поднявшаяся вдруг обида. Он не стал ничего объяснять Прохору Антипову, но про себя подумал, что с господами, которые, не брезгуя, нанимают прощелыг подобного толка, ему как-то не по дороге.

— Новая серьезнейшая эпоха жизни государства нашего требует дружной работы! — с пафосом продолжал выкрикивать Владимир. — Офицеру и солдату предстоит слиться в единое могучее целое, а для этого прежде всего необходимо проникнуться доверием друг к другу, ощутить себя братьями свободной России, понять обоюдные нужды. Каждый день жизнь предъявляет и будет предъявлять все новые и новые проблемы, которые надо научиться решать без болезненных эксцессов и осложнений. Необходимо повсеместно разъяснять смысл новых начинаний, которые всегда должны иметь девиз: честь и достоинство великой России...

По толпе прошелестел легкий шумок недовольства: она переставала понимать и вот-вот должна была взорваться ревом возмущения. Оратор, упоенный собственными словами, не чувствовал возникшего отчуждения, но сумрачный офицер, сопровождавший депутата, подошел и зашептал на ухо.

— Чего шепчешь? — заорали солдаты. — Говори народу, слышь, оратор? Долой шептунов!.. Не желаем! Слазь к нам, тут и пошепчемся!

— Господа, господа! — Владимир позволил себе по-свойски хохотнуть, но вовремя остановился. — К примеру, возьмем два насущных вопроса: вопрос мира и вопрос земельного обеспечения. Это есть коренные вопросы настоящей русской жизни, их нельзя решать второпях, нельзя решать временно. Верно я говорю?

Он сделал паузу, и все недовольство солдат, все их раздраженное непонимание вылилось в дружных криках:

— Верно! Правильно говорит! И чего тянут?..

— А тянут не потому, что хотят все оставить по-старому, и не потому, что собираются вас обмануть, а потому, что наше сегодняшнее правительство есть правительство временное. Оно так и называется Временное правительство! Оно просто не имеет права решать вопросы такого исторического масштаба и значения. Только правительство, избранное Учредительным собранием всех граждан России...

Гул, крики, шум перекрыли его слова, и до Леонида долетали какие-то обрывки: «...первейшая задача — победить злобного врага. Не допустить разложения армии... Выявлять германских шпионов и других преступных элементов и передавать их в руки командиров, которые ныне работают в тесном контакте с полковыми солдатскими комитетами...» Он был так возмущен самодовольным пустомельством непутевого родственника, что уже с трудом удерживал себя от выкриков. «Еще заметит, обнимать бросится — вот позору-то будет», — хмуро подумалось ему.

— Идемте отсюда, Антипов.

— А выборы? — Прохор выглядел не просто возбужденным, но и весьма озабоченным. — Я поручение имею от общества, ясно? Вот и жди, сколько надобно.

После выступления вольноопределяющегося Олексина к собравшимся с напутственной речью обратился неожиданно прибывший командующий армией. Он говорил коротко, с отеческим добродушием, и солдаты слушали его с привычным уважением. А потом он уехал, и начались выборы в Армейский совет. Вновь поднялся отчаянный шум и крик, и Старшов с удивлением расслышал вдруг собственную фамилию: Антипов и группа солдат их полка громко требовала включения в члены Совета выборных поручика Старшова.

— Вот и славно, — радовался Прохор, когда они возвращались в роту. — Ты, господин поручик, человек нашенский, тебе солдатская жизнь не дешевле своей, вот общество и поручило мне тебя выдвинуть для контроля.

— Я окопный офицер, — злился Леонид. — Я командовать должен, а вы что предлагаете? Заседать да горланить?

— И это нам сейчас нужно, а то объегорят господа офицеры нашего брата. Они, паразиты, все грамотные и все друг за дружку. А за роту ты не бойся, там и Масягин управится.

В роте, куда прибыли поздней ночью, их встретил растерянный прапорщик Масягин: сутки назад во время попытки по-дружески потолковать с противником, чтоб не стрелял без предупреждения, германцы взяли заложниками трех парламентеров.

3

Хвощеобразный учитель вновь отстроенной школы был болезненно застенчив и тем не менее поднял генерала ни свет, ни заря.

— Государь отрекся от престола, Николай Иванович, — шепотом сообщил он. — Вот, извольте, газета. Только что из Смоленска привезли, староста коня чудом не загнал.

— Ну и слава богу, скучный царишка был. Ни рыку, ни брыку, ни даже фигуры. Палить нас когда намерены?

— Палить? Из чего палить? — не понял учитель, полагавший, что генералы всегда из чего-нибудь непременно палят.

— Ну, жечь, жечь. Испепелять, так сказать.

— Вон что, — учитель нахмурился; он был добр и терпелив, но не выносил дурацких шуток. — Завтра.

— Завтра? — озадаченно переспросил Николай Иванович, поскольку в ответе ничего шутливого не содержалось.

— Ну да. Сегодня недосуг.

Неизвестно, как далее развивалось бы это взаимное непонимание, если бы не появились три дамы одновременно: Руфина Эрастовна, заметно повзрослевшая Татьяна и девочка Аннушка, считавшаяся приемной и спавшая у матери на руках.

— Что случилось, друг мой? — обеспокоенно спросила хозяйка, ставшая весьма наблюдательной, когда дело касалось ее нового управляющего. — Вы алы, как махровый пион.

— Полковник сдал свое хозяйство, и Россия более не монархия, а черт ее знает, что. Сбылась, так сказать, вековая мечта.

— Господи, а я испугалась. Опять, подумала, у вас печень пошаливает.

— Моей печенью можно гвозди ковать.

— Эта ваша милая манера искушать всех подряд к добру не приведет. Мед пили?

— Мед пили. По усам текло, а в рот не попало.

— Увеличу дозу, чтобы попадало.

Препирались они по сто раз на дню голубиными голосами и при этом и слушали только друг друга, и глядели только друг на друга. А глядеть бы — как, впрочем, и всегда — следовало на грешную дочь. К этому времени она как-то незаметно оттеснила учителя к окну (а может, это он ее оттеснил?), и беседа их тоже имела впоследствии вполне серьезные продолжения.

— А глазки у нее ваши, Татьяна Николаевна.

— Говорят? Мне трудно судить.

— Ваши, ваши: глубина-то какая — и дна не сыщешь.

— Да? А ведь она мне не... — Татьяна спохватилась. — То есть, она мне, безусловно, да, но и как бы и... и нет. Понимаете?

— Я вас без всяких слов понимаю, Татьяна Николаевна. Природа мудра, куда мудрее людей с их правилами, привычками и условностями, и уж если она так распорядилась, чтоб, значит, глубина, то это вы, безусловно, абсолютно правы.

— Да. Вы знаете, она все понимает, Федосий Платонович. Такое, казалось бы, крохотное создание, а решительно все понимает.

— Чувства, Татьяна Николаевна. Чувства — язык природы, и если один человек начинает понимать другого без всяких слов, то...

— Да, да, конечно, конечно. Вы совершенно правы, совершенно, Федосий Платонович. Смотрите, она и к вам ручки тянет!

Так отметили исторический день крушения Империи четверо в именье Княжое. Сдается мне, что не только там, а и во всем гигант-

ском провинциальном государстве нашем это событие отмечалось не как событие, а как повод к иным событиям, которым надлежало воспоследствовать за отречением государя Николая Александровича. Плод перезрел; все это видели, понимали, чувствовали, осязали и обоняли, а потому и самопроизвольное отделение плода от могучего дерева, именуемого Россией, Отечеством нашим, Родиной, падение его не вызвало потрясения. Мертвое падает естественно — убитое вызывает неуправляемые волны змоций, столкновения которых именуются восстаниями, мятежами, бунтами, волнениями, спорами, поножовщиной, пальбой, гульбой, стрельбой или гражданской войной в зависимости от высот, размахов и тяжести этих волн.

— Никакой человек не в состоянии ощутить начало той веревки, на которой его в конце концов поведут на бойню, — горько пошутил Федосий Платонович Минин ровно через двадцать лет, когда в нищей квартирке их на Покровке шел молчаливый повальный обыск, а у дома стояла глухая черная машина, готовая отвезти бывшего сельского учителя в далекое никуда.

Дед всегда относился к Федосию Платоновичу с подчеркнутым уважением, считая, что только истинно народные учителя и есть самые определенные коэффициенты Добра в отличие, скажем, от профессионального офицерства, которое тоже есть коэффициент, но со знаком минус. Вообще у Деда был свой взгляд на алгебру и в особенности на ее применение.

— Мы чаще всего учим, чтобы забывать, — сказал он однажды по поводу ныне прочно забытому. — Скажем, вся служилая и учащаяся орава с отвращением зубрит диалектику, которую тут же и выбрасывает из головы, как только получает зачет. А ведь это есть единственная наука, способная превращать наше удрученное прессой и телевидением монокулярное зрение в зрение бинокулярное. Но Россия ленива от дикой природы и диких расстояний, ленива и нелюбознательна, а лишь любопытна. Вот это ее посиделковское любопытство и удовлетворяют, изготовляя полузнаек торопливо и в массовом масштабе.

Так в начале марта 1917 года стояли в большой гостиной две изолированные парочки, толкуя о своем и воркуя о своем, когда распахнулась дверь и ворвался маленький вихрь. Вихрь ударил тяжелой дверью Федосия Платоновича, с грохотом опрокинул стул и сотворил еще нечто физически почти необъяснимое, что качнуло вдруг молодую бабку и нестарого деда навстречу друг другу.

Этим вихрем был Мишка, оставленный Варенькой в Княжом, потому что в последнее время ее что-то снова потянуло на плаксивое настроение и соленые огурчики.

4

Вызволять задержанных германцами солдат Старшов направился сам. Делал он это вопреки решению роты и полкового комитета после долгой надсадной ругани не из желания повторить собственный порыв у реки Равки, а исключительно из боязни спровоцировать противника на активные действия. До сего дня они мирно существовали окоп к окопу: ходили, не страшась внезапного выстрела, грелись на неярком солнце, периодически устраивали баньки и даже весьма дружелюбно заговаривали друг с другом. Как всякий окопник, Леонид дорожил затишьем более, нежели возможными наградами, и шел в германское расположение прежде всего во имя этого затишья. Кроме того, он хорошо знал немецкий, почему и позволил себе нарушить приказ входящего в силу полкового комитета, о чем, правда, предупредил Антипова.

— Во-во, кажи им свое офицерское нутро, — с неудовольствием сказал Прохор и глубокомысленно выматерился. — Пентюхи рязанские, вовремя удрать не могли, язви их... С кем пойдем?

— Пойдем?

— Ну одного я тебя, господин ротный, к противнику не отпущу. А вдруг сбежишь со страху?

Шутил он или угрожал — было неясно, да Леонид и не ломал голову: солдаты стерегли и оберегали его одинаково ретиво, и к такому положению он уже как-то стал привыкать. Безвременье отражалось и на фронте: солдат еще не разобрался, за кем идти, но офицеров, на которых мог бы положиться, уже неосознанно охранял. Так, на всякий случай.

Вышли еще до солнца, оставив к великому неудовольствию Прохора, все оружие. Антипов шел на шаг впереди, размахивал белым флагом и всю дорогу зло кричал, чтоб не вздумали палить. Кричал он со страху, хотя и привычно прятал его; Старшову тоже было не до отваги, и он жалел, что не может орать во всю глотку, как орет его солдат: с криком ходить всегда не так жутко. Но германцы не стреляли, и парламентеры дошли до проломов в колючей проволоке без всяких осложнений. Здесь оказался секрет с пулеметом; германский унтер спросил, что им тут надобно, а когда поручик объяснил, добродушно улыбнулся:

— Они мастера пить, но перепить нашего бездонного Густава им так и не удалось. Спросите в третьей роте, господин оберлейтенант, может быть, ваши солдаты уже проспались после вчерашнего.

Трое «задержанных» встретили парламентеров виноватыми ухмылками на опухших от неумеренных возлияний физиономиях. А немолодой германский офицер, командовавший этим участком, отметил с плохо скрытым презрением:

— У вас дурные солдаты, господин поручик. Я не говорю: плохие, я говорю: дурные. Они притащили ведро спирта, но мне не нравятся такие состязания. Я не уважаю пьяниц, потому что им нельзя верить. Пьяный солдат — дурной солдат.

— Им надоело воевать, господин капитан.

— А нам с вами не надоело воевать?

Они разговаривали в сухом, теплом, хорошо оборудованном блиндаже командира батальона с глазу на глаз. Сопровождавшего Старшова соглядатая комитета отправили к солдатам, несмотря на его ворчанье: дисциплина в германской армии была еще на высоте. Германский гауптман угощал русского поручика кофе, от которого за версту несло цикорием, и ругал русское пьянство.

— Когда человек устал, он должен спать, а не пить. Это неразумно и неполезно. Я тоже устал сидеть в окопах, я тоже хочу в свое отечество, я тоже соскучился по моей жене и по моим детям, но я же не напиваюсь, как свинья?

— Оставим этот разговор, господин капитан, — вздохнул Старшов. — Вы прекрасно знаете, что происходит сейчас в России.

— Я знаю, что происходит в России, и знаю, кто в этом виноват. В этом виноват ваш гнилой славянский либерализм.

Они вяло препирались, пока не покончили с цикорнем. Затем германский офицер сердито потребовал примерного наказания пьяниц и наконец-таки отпустил всех пятерых с миром.

— Я старый солдат и ценю солдатскую дружбу, — сказал он, закончив выволочку. — И в знак доброго соседства я хочу лично проводить вас до ваших окопов. Надеюсь, ваши не откроют огня?

Капитана сопровождал уже знакомый Старшову унтер с тремя солдатами. И унтер, и солдаты были вооружены, и поручик остановился, как только они вышли за колючую проволоку.

— Господин капитан, я хочу видеть в германских солдатах друзей, однако оружие, которым они увешаны, мешает этой точке зрения. Отсюда альтернатива: либо ваши солдаты оставляют здесь свое оружие и следуют с нами, полагаясь на честь русской армии, либо мы мирно расстаемся и каждый следует своей дорогой.

— Солдат без оружия уже не есть солдат.

— Да, но друг с оружием еще не есть друг.

— И все же поскольку война не закончена, я как офицер армии Его Императорского Величества...

— Господи, ну что мы препираемся по пустякам? — вздохнул Старшов. — И вы, и я вдосталь насиделись в этих проклятых окопах, но никак не можем решиться сказать вслух о своих ощущениях. Мы индюки, господин капитан.

— Должен быть приказ, — нудно бубнил немец. — На все должен быть приказ, иначе вся жизнь превратится в солдатский бордель с визгом на полторы марки.

— В таком случае нам придется расстаться здесь,— сказал поручик.— Извините, господин капитан, но я не имею права нарушать приказ полкового комитета. Я благодарен вам...

— Ложись!— дико закричал Прохор.

То ли все уже отвыкли от рева снарядов, то ли пустопорожний спор отвлек их, а только один недоверчивый Антипов уловил тренированным ухом нарастающий вой.

— Ложись, мать вашу!..

Попадали не разбирая куда. Над головой, туго толкая воздух, пронесся снаряд, разорвавшись где-то за их спинами в колючем ограждении германских окопов. Что-то кричал офицер, приткнувшийся в заплывшей воронке рядом со Старшовым, но слов не было слышно: все глохло в беспрерывном реве и грохоте. Русская резервная батарея вела беглый прицельный огонь именно по этому участку обороны противника.

— Подлюги!— орал Антипов, в ярости колотя кулаками. Изменники! Сволочь золотопогонная!

Германский капитан тоже продолжал кричать, но голос его не прорывался сквозь рев, а Леонид его не понимал. Зато почувствовал, потому что гауптман вдруг вытащил пистолет и начал довольно ощутимо тыкать им в ребра поручика. Близким взрывом с него сбило фуражку, крупный пот выкатился на лоб редкими каплями; капитан кричал, дергая рыжей щетинкой усов и тыча стволом манлихера, но Леонид почему-то твердо был уверен, что немец не выстрелит в него.

Германские солдаты без всякого приказа умелыми перебежками откатились к своим окопам. Обстрел не затихал, но притих, устав орать, немец. Обреченно вздохнул, отер крупный пот, долго заталкивал в кобуру тяжелый манлихер.

— Виновные... будут... наказаны...— в три паузы прокричал Старшов.— Слово офицера!..

— Убью подлюгу!— мрачно подтвердил Прохор.

— Бесчестно...— слабо донеслось до поручика.— Это бесчестно, позор...

Пожилой гауптман вдруг решительно поднялся и несгибаемо зашагал к своим окопам. Шел прямо и обреченно, будто оловянный солдатик, не ведающий ни страха, ни смерти. И упал на собственную колючую проволоку после очередного разрыва.

— Бежим!— Антипов соображал и действовал порою куда быстрее и решительнее своего командира.— Пристрелят! Германцы за гауптмана прикончат!

Еще шел обстрел, но они побежали. Сзади гулко рвались снаряды, звенели осколки, с шумом осыпалась земля, вздрагивая после каждого снаряда. Но им повезло: они вырвались из зоны обстрела и почти добежали до своих окопов, когда в спины ударил германский пулемет. К счастью, прицел у него, видимо, оказался сбитым, пули шли верхом; Антипов успел перевалиться за бруствер, и солдаты успели, а Леонид не успел: германский пулеметчик резко снизил прицел, и пуля полоснула по ноге.

— Слава богу, не в кость,— облегченно вздохнул поручик: его втащили в окоп те застрявшие у противника солдаты, ради которых он и ходил в германскую колючку.

— Рота... в ружье!..— яростно орал Антипов.— На дивизионную батарею... за мной... бегом!

— Зачем?— отчаянно крикнул Старшов.— Отставить! Назад! Нельзя самовольно...

Но его уже никто не слушал. Рота деловито бежала в тыл, на бегу вгоняя патроны в казенники винтовок.

— Самоуправство!— беспомощно кричал поручик.— Масягин, остановите их, остановите, они же до убийства докатятся!..

5

Как Леонид ни рвался, как ни кричал, солдаты его не пустили. Привели пропахшего махрой и йодоформом старого лекпома; тот обработал рану, заставил проглотить что-то, как он выразился «совершенно успокаивающее», и поручик, обмякнув, тут же провалился в дурной, вязкий сон. Без успокоения и сновидений да и вообще без всяких ощущений, из которого его вытряхнули самым буквальным образом:

— Ваше благородие... Да ваше же благородие!

Таинственный денщик Иван Гущин как-то стушевался при полковых комитетах и всевозрастающем солдатском неповиновении милым его сердцу начальникам и обычаям. Он старательно исполнял свои обязанности, но Старшов всегда помнил об истории с дядей, а потому стремился держать денщика на расстоянии. И Гущин послушно соблюдал дистанцию, появлялся, когда было необходимо, исчезал, как только пропадала надобность, а тут вдруг грубо и настойчиво тряс за плечи раненого командира. И шептал совсем по-прежнему:

— Ваше благородие... Да ваше же благородие...

Наконец умоляюще-требовательный призыв этот прорвался сквозь одурманенное морфием сознание. Поручик сел, хлопая невероятно тяжелыми веками; в странно пустой и словно переливающейся голове не появлялось ни единой мысли. Ни о прошлом, ни о настоящем, ни о будущем.

— Одеться извольте, ваше благородие. И непременно, чтоб накидка была. Скорее, лошади ждут.

— Куда лошади? Зачем? Я не понимаю.

— Кончат их к рассвету, ежели вы не спасете. Так и сказал: ежели, говорит, их благородие господин Старшов меня не спасет, так я человек конченый. Накидку извольте надеть.

— Кто сказал? Кого спасать?

— Да одевайтесь же вы, господи!— плачуще зашипел денщик.— Кони ждут, а их благородие волнуются.

Старшов не мог не только спорить, сопротивляться, настаивать на чем-либо— он не был еще в состоянии ясно осмыслить, что происходит, происходило и должно произойти. Но уже соображал, что будущее, то есть то, что должно случиться, осуществится только с его помощью, и поэтому одевался, затягивал ремни, проверял оружие: чувство долга, которое не просто было воспитано в нем, но с которым он сжился за эти окопные годы, сработало ранее всех прочих чувств. Решительно шагнул к выходу и вскрикнул от острой боли.

— Нога! Почему болит?

— Да ведь ранило вас, неужто не помните? Погодите, подсоблю.

Поддерживаемый денщиком Леонид прыгал на здоровой ноге сквозь ночную темень и солдатский храп. В низине ждали лошади; Гущин помог поручику сесть, и только в седле Старшов начал кое-что осознавать.

— Куда едем?

— В погреба их заперли. Приговорили к расстрелянию, как только армейский комитет приговор этот утвердит. А наводчика Прохор Антипов самолично штыком заколол.

Лошади трусили в непроглядной мгле. Не было ни луны, ни отсветов, ни предрассветных зорь, и во влажном воздухе кисло воняло взрывчаткой.

— Почему запах? Обстрел был?

— Неужто ничего не слыхали? Германцы нас вчера часа три снарядами утюжили. Двое убитых, пятеро раненых.

— В нашей роте?

— Так нас же и утюжили. Говорю же.

«Подлец, провокатор, убийца»,— отрывочно думал поручик, не связывая эти определения с каким-либо конкретным лицом, но подсознательно подразумевая не противника, не заговор и даже не приказ сверху, а какого-то вполне определенного человека, которого пока еще просто не успели проткнуть штыком, как Прохор Антипов проткнул наводчика. От свежего воздуха, ночной дороги, а главное, от напряженных попыток восстановить утраченное «вчера» в голове постепенно яснело, смутные контуры чего-то полуреального, нелогичного, не связанного друг с другом уже просматривались в оглушенной доброй порцией морфия памяти. Немолодой гауптман, какие-то пьяные солдаты, Прохор Антипов, грохот снарядных разрывов... Но ехать оказалось недалеко, и до конца он ничего вспомнить так и не успел.

— Вон тот погреб, за церквухой. Вас пропустят, когда назоветесь, а я тут обожду.

— Помоги дойти.

— Мне другое приказано, ваше благородие. Уж допрыгайте как-нибудь. Либо кого из часовых кликните, они подсобят.

Старшов не стал уточнять, кто смеет приказывать его денщику: не оставляло убеждение, что сейчас, в этом погребе он встретится с кем-то знакомым. Ему уже начинало казаться, что этим знакомым непременно окажется пустобрех Володька Олексин, но Леонид почему-то очень боялся этой догадки, гнал ее, увертывался, а она лезла в одурманенную голову упорно и нагло.

Гущин оказался прав: как только он назвался, солдаты тут же подхватили его под руки. Пока тащили к запертой на амбарный замок двери погреба, позади послышался дробный перестук копыт: Гущин совсем не собирался ждать, а освободившись от собственного командира, спешил исполнить чье-то важное приказание.

— Осторожнее, ступеньки там, — предупредил начальник караула, отпирая замок и толкая тяжелую скрипучую дверь.

В сыром, низком погребе горел керосиновый фонарь. Поручик, поглощенный трудным спуском, ничего не видел, а спросил по вдруг осенившему его наитию:

— Лекарев?

Смутная фигура отделилась от подземного мрака, шагнула, обрела ясные очертания и приглушенный голос:

— Заждался. Где этот идиот?

Он не ожидал ответа; помог Старшову спуститься, куда-то провел, усадил на сырое днище кадушки: Леонид чувствовал холодную мокреть сквозь брюки и белье. И сразу все вспомнил: германского офицера, провожавшего их, обстрел собственной батареи, бессмысленную гибель ни в чем неповинных людей, собственное ранение. Все вспомнил и все понял.

— Вы подлец, Лекарев.

— Вот уж и подлец, вот уж и на «вы». А я тебя, Старшов, подлецом не считаю, а считаю дураком.

— Ты приказал открыть огонь, когда мы возвращались?

— Дураком, — внушительно повторил Лекарев. — Только не понимаю: от природы или в окопах засиделся?

— Наши койки в юнкерском стояли рядом. — Леонид понимал, что говорит совсем не то, что слова его сентиментальны и глупы, но ничего не мог с собой поделать. От пережитого, от потери крови и лошадиной дозы морфия, а главное, от этой неожиданной встречи во тьме погреба, ему куда более хотелось плакать, чем клокотать в приступе справедливого гнева. — Ты был шафером на моей свадьбе. Нас называли тройкой неразлучных. Мы вместе ходили в Благородное собрание, когда удавалось переодеться в цивильное, мы... Мы катались на лодке. Помнишь, мы катались на лодке, которая ударилась?... Теперь она моя жена, мать моего сына Мишки, а ты... Ты приказал открыть огонь.

— Слушай, Старшов, я должен выйти вместо тебя. Давай накидку.

— Что?

— Давай, давай, караульные не разберутся, пока темно. Тебе ничего не грозит, когда вернется солдатня, а меня прикончат при любом решении армейского комитета. Ну? Я же был шафером на твоей свадьбе, наши койки стояли рядом, и мы вместе катались на лодке...

Коротко размахнувшись, Лекарев с неожиданной злобой ударил поручика в подбородок. Не удержавшись, Леонид отлетел в угол, тяжело стукнулся спиной о мокрую кирпичную стену, и наступила темнота.

Глава вторая

1

— Гражданская война для меня началась задолго до Великой Октябрьской революции и не подлым выстрелом в спину, а прямым ударом в челюсть. — Дед до самой смерти своей относился к собственной юности с приливами сентиментальной иронии. — Думаю, что в этом смысле моя физиономия не была уникально одинокой: история всегда запаздывает, потому что вершат ее обыкновеннейшие из смертных, а политики да полководцы лишь суммируют эти свершения, называют их каким-либо модным словом и объявляют историческими деяниями.

Любопытно, что старость изрекает либо нечто неординарное, либо помалкивает себе в тряпочку, либо пускается в совсем уж пошлые банальности. Вероятно, эта особенность стоит в прямой зависимости от способностей личности либо извлекать уроки из собственных ошибок, либо не задумываться над ними, либо передоверять это очень человеческое свойство неким силам, в которых обыватель ласково различает существа высшего порядка. Дед принадлежал к первой, увы, ставшей весьма немногочисленной категории, хотя с непонятным упорством всю жизнь считал себя типичнейшим обывателем.

— А ты не стесняйся этого слова: на обывателе держится государственный строй во всем мире и держался во все времена. Обывательские страсти — опора власти: наибольшего эффекта в этом достиг Гитлер и его присные, изловчившиеся суммировать, а тем самым и материализовать силу обывательских страстишек.

Да, искорки завтрашнего пламени уже тлели в смутных душах русских обывателей. И совсем не потому, что слабый человек отрекся от престола в собственном вагоне на станции Дно: о нем сожалели единицы, и никто практически не ратовал за восстановление бесславной монархии в смертельно уставшей России. Но заменившее царских министров Временное правительство реально — не на словах, а на деле — не изменило ровно ничего из того, что необходимо было изменить во что бы то ни стало. Оно не решилось на мир, не отважилось пересмотреть систему земельного владения и не сумело сыскать хлеб если не для того, чтобы накормить людей, то хотя бы для того, чтобы заткнуть им рты. И фронт по-прежнему вопил: «Мира!», деревня орала: «Земли!», а город угрюмо требовал хлеба. Трение недовольств рождало искры в душах людских; пока еще это был процесс накопления количества и внешне ни в чем, в общем-то, особо не выражался. Но накопление шло, искры разгорались, и рано или поздно, а скачок обязан был свершиться: количество обречено переходить в качество согласно естественным законам природы и человеческого общества.

— Спокой народ утерял, — сказал Василий Парамонович Кучнов за вечерним чаем. — А спокой порядок держит, Оленька, уж мы, купечество, это знаем.

Обретя семью, Ольга быстро взяла ее в руки. Не только потому, что вообще обладала властностью и решительностью, сколько потому, что сумела сразу же выставить своего Василия Парамоновича вкупе с богоданным сыночком Петенькой из собственного отчего дома. Попав из чинного, с многочисленными образами и негасимыми лампадами тихого полумонашеского-полустарообрядческого дома в дворянский квартал, Кучнов ощутил под ногами нечто зыбкое и несолидное. Вместо скрипучих половиц сверкал навощенный паркет, повсюду валялись книги, ноты и альбомы, и дом освещался не алыми язычками лампадок и даже не горячечным огнем мощных керосиновых «молний», а холодноватым, бестелесным светом длинных электрических лампочек. Но это было, так сказать, начало, некая первая ступень грядущего перевоплощения купца средней руки Василия Кучнова в негоцианта и мецената; вся домашняя жизнь его, к которой он так привык, была беспощадно проанализирована и отринута навсегда. Василий Парамонович пил по утрам горький кофе, которого не любил, ел яичницу с беконом вместо каши с молоком, весь день вынужден был торчать в собственной конторе, хотя там великолепно и без него справлялся старый, еще батюшкиной выучки, конторщик. А родной дом тем временем лениво ломали, перекраивали комнаты и углубляли подвалы. И все это делалось невероятно медленно не только потому, что и вправду не хватало рабочих рук, а еще и потому, что народ утерял покой, а тем самым и порядок. Уж что-что, а в порядке Кучновы разбирались не хуже, чем в железе, скобяном товаре и в орудиях труда, коими исстари торговала фирма «Кучнов и Сын».

Оле было решительно на все наплевать. Она ходила плавно и неторопливо, важно садилась и важно вставала, смотрела на всех с невероятным торжеством и горделиво улыбалась. Она ждала ребенка, но пока не торопилась радовать этим известием своего супруга. Товар был слишком ценен, чтобы рекламировать его раньше времени: Ольга уже научилась разбираться в рыночной конъюнктуре нисколько не хуже своего медлительного супруга.

Владимир нагрянул неожиданно, никого не предупредив, да и чего, собственно, он должен был кого-то предупреждать, когда возвращался-то в собственный дом, а не заворачивал на недельку в гости. Был он в полувоенном костюме: в английском френче и английских же бриджах с желтыми крагами, носил на ремне бельгийский браунинг дамского калибра, стригся «ежиком» и выучился глубокомысленно хмурить брови.

— Вскипела, вскипела многотерпеливая Русь-матушка, — разглагольствовал он, строго глядя между Ольгой и Кучновым словно бы в одному ему ведомую даль. — Помните, как лечили в старину? Кровопусканием. Сотворим кровопускание, и горячечный бред безответственных элементов общества потеряет всяческий смысл. Мы, конституционные демократы, интеллигенты и либералы в своей глубинной сущности, скрепя сердце, готовы к грядущим гекатомбам, ибо только чрез это очищение великая Россия вновь воссияет, воспрянет и двинется. Воспрянет и двинется!

Он с непередаваемым удовольствием слушал себя и ходил по столовой. Скрипели желтые краги, ремни и кобура, и Владимир ощущал волну творческих сил. Собственная значительность и незаурядность стали бесспорными, и он весьма сожалел, что в этот момент его не видит этот старый неудачник — папаша, который не соизволил даже поднять головы от своих дурацких схем, когда единственный сын уходил на фронт. То, что сын уходил не на фронт, а в Вяземский запасный батальон, Владимир уже забыл и теперь во всех выступлениях к месту и не к месту отважно восклицал: «Мы, окопники...»

— А Татьяша вроде бы замуж собралась, — невпопад сказала Ольга. — За местного учителя.

— Ну какой там может быть учитель? — Владимир ядовито улыбнулся. — Неудачник, это естественно. В наше кипящее время настоящие мужчины либо в окопах, либо на трибунах.

Странно, но Ольга не ощущала изменений, которые ее супруг называл потерей «спокоя», а брат напыщенно именовал «эпохой героев и трибунов». Она настолько была поглощена заботами о Петеньке и Василии Парамоновиче, ощущением собственной беременности, хлопотами по дому и мечтами о будущих «четвергах» в огромном, сказочно прекрасном подвале старого купеческого дома «Кучнов и Сын», что жизнь страны, народа, города, даже родных и близких существовала как бы сама по себе, словно бы в иных землях и других царствах. Она оказалась созданной только для семьи и прожила жизнь, не подозревая, а точнее, и не желая подозревать, что за порогом бушует невиданная в истории буря. И умственные способности тут ровно ничего не определяли: Ольга была если не умнее, то куда разумнее Варвары, много читала, любила музыку, сумела развить собственных детей, но при этом до самой смерти сохранила изумительную для России тех роковых лет способность не замечать ничего того, что стремительно неслось мимо ее тихой и ясной семейной заводи.

— А Петенька яичек не переносит, прыщечки у него на щечках, — Она озабоченно вздыхала и почемуто грозила пальцем ворчливой Фотишне.

— Стало быть, яловый, — неизменно ответствовала домоправительница, упрямо не замечавшая ни Петеньки, ни тем паче его папаши.

— Спокой рушится. — Василий Парамонович всем купеческим нутром своим предчувствовал смутные времена. — Ох, раскачаем мы государство! Ох раскачаем да еще, борони Бог, корни надорвем.

— Дни Гракхов! — восторженно вопил Владимир. — Грядут дни великих свершений!

Эта часть семьи ощущала грядущее, как ощущали бы его лебедь, рак да щука, коли б наделены были таковой способностью. Но, во-первых, вос

бывшей Российской империи не зависел от их усилий и ощущений, а во-вторых, существовала и иная половина семьи, расколовшейся в канун Великого Раскола России.

2

Был конец мая, вокруг террасы зацветала сирень, и легкий аромат ее плавал в вечернем воздухе. Таня уложила девочку спать и сидела сейчас напротив Федосия Платоновича Минина со странным чувством, будто в мире никого нет, кроме спящей Анечки, учителя Федоса Платоновича и ее, недоучившейся гимназистки Татьяны Олексиной. И сказала об этом:

— Как тихо! Правда?

— Никого нет. — Он все понял. — Когда вы, Татьяна Николаевна, укладывали девочку, я подумал, что в такой вечер люди сочинили легенду о рае. О сказочном месте, где есть только Адам и Ева, где вечно цветет сирень и лев мирно дремлет рядом с ягненком. Извините, это, вероятно, излишне красиво

— Разве красота может быть излишней?

— Нет, нет, что вы! Не может и не должна. Это я так. Если честно признаться, то от робости. Очень уж это русская черта, правда, Татьяна Николаевна? Ну можете вы себе представить робкого француза или робкого англичанина? Даже немца робкого представить не можете, потому что, вероятно, не водятся они в природе. А вот мы — водимся. Единственная страна Европы, в которой крепостное право всего-то полста лет назад окончилось. Да и то не как следствие крестьянских войн, как в той же Англии, Германии, Франции, а исключительно как дар из рук правителей своих. Обидно, не правда ли? Простите вы меня, бога ради, я все болтаю да болтаю, а вам это неинтересно.

— А мне это интересно. Дар из рук правителей своих... За него ведь расплачиваться придется когда-нибудь. Лет, может, через сто.

Федос Платонович Минин, учитель села Княжого, говорил от великого смущения, которое начал испытывать в присутствии барышни Тани Олексиной. И барышня Таня Олексина слушала его тоже со странным смущением, которое тоже начала ощущать сравнительно недавно и непременно как следствие присутствия Федоса Платоновича. Но это было доброе смущение, и они радостно стремились ему навстречу.

— Татьяша, ты влюблена? — спросила Варя, когда Федос Платонович уже ушел, а Татьяна все еще пребывала в странном состоянии тихой отрешенности.

— Я? — Сестра вздохнула. — Это ведь очень серьезно.

— Это прекрасно.

— Да? — Татьяна стала что-то слишком уж часто начинать фразы вопросом, в чем проницательная Варвара тоже кое-что усматривала. — А где батюшка? Громит великую Японию?

С некоторых пор генералу стало наплевать на великую Японию. Появились дела поважнее: текла крыша старенького флигеля, от зимнего снега рухнула садовая беседка, и неплохо было бы продать ближний лес, пока мужики самовольно не спалили его в своих печах. Об этом и иных хозяйственных заботах рачительный управляющий любил докладывать хозяйке по вечерам. Руфина Эрастовна была в домашнем капоте цвета... словом, того, который столь удивительно шел ей; розовая лампа окрашивала весь мир нежностью, а тонкие пальцы с таким изяществом управлялись с картами, раскладывая пасьянсы, что Николай Иванович терял в своих рапортах военную четкость.

— Как всегда, подводят тылы: материалы застряли в Смоленске из-за очередных трудностей с железом. Правда, я имею родственничка по скобяной части, и коли прикажете...

— Вам? Не прикажу, друг мой.

— Вздыхаю с облегчением. Однако беседка рухнула под сокрушительным напором стихий, мужиков в селе — кот наплакал, и у меня есть предчувствие, что скоро Россия станет садом с разрушенными садовыми беседками.

— Россия станет садом не для нас. — Руфина Эрастовна вздохнула без всякого, впрочем, огорчения. — Когда в сердце стучится старость...

— Вы принуждаете меня говорить комплименты,— сердито засопел генерал.— Это не соответствует духу.

— Хорошо, я выражу свою мысль иначе. Когда в наши сердца уже застучала старость, нам следует искать счастья внутри. И у меня впервые сложился гран-пасьянс.

Хозяйка тут же удалилась, чтобы управляющий не успел ляпнуть что-нибудь не вполне подходящее. Но Николай Иванович все еще не верил музыке, звучавшей в душе его, а потому ничего сказать вообще не решился. Зато громко и достаточно фальшиво замурлыкал подходящий под настроение романс и начал жевать собственную бороду.

Они пока еще играли в нежные чувства, пока еще жонглировали словами, но играли с таким удовольствием, с таким замиранием сердец, что хорошо им было только вдвоем. Правда, Руфина Эрастовна строго дозировала встречи наедине, исходя не из девичьей боязни, а из женского опыта в полном соответствии с его богатством и собственным возрастом. И если генерал по природному простодушию не понимал ни ее, ни самого себя, то Руфина Эрастовна знала все и за себя, и за него. Она вела похожую на светский флирт игру, учитывая, что поздние груши медленно зреют, как говаривали любезные ее сердцу французы.

И все же при всей интимности это была внешняя сторона их теперешнего бытия. Взаимные тяготения, притяжения и симпатии при всей их глубине и искренности не могли устранить беспокойства, рожденного штормом, который крепчал над их родиной с каждым днем. У всякого жильца скромного имения в селе Княжом были свои корни, но если Варвара тревожилась о муже, Татьяна о дочери, а Руфина Эрастовна обо всех разом, то генерал и учитель куда чаще думали о России, чем это можно было бы заключить из их разговоров с дамами.

— Без царя, как без поротого зада, сидеть непривычно,— изрек генерал, когда дам не оказалось поблизости.

Он тянулся к тихому, нескладному учителю, но почему-то решил ему не доверять. И все время старательно облекал мысль в форму туманную, отвлеченную, но вроде бы с намеком на некую дерзость. Федос Платонович давно раскусил бесхитростного Николая Ивановича, но по свойственной ему застенчивости не решался первым перевести разговор в русло серьезное и искреннее.

— Был бы зад охоч.

— Ага! — Николай Иванович почему-то радостно потер руки.— Мужик вооружен и сердит. А ну, как бросит охоту германца бить да назад оборотится, тогда как? Новой пугачевщины не боитесь?

— Боюсь. И все — боятся. Пугачевщина — очень страшно и очень темно. Однако еще иного больше боюсь.

— Больше самой пугачевщины? — недоверчиво прищурился генерал.

— Больше, Николай Иванович,— серьезно подтвердил Минин.— Пугачевщина — это все-таки ломка национальной привычки, болезненная, неуправляемая, жестокая и бессмысленная, но — ломка. А я нашей российской привычки страшусь побольше. Коли уж серьезно, так ее одной и страшусь. Она — страшнее.

— Что же за привычка такая, позвольте полюбопытствовать?

— А привычка такая: пусть барин решает, ему видней. И чем больше барин, тем больше ему и виднее, как решать, вот в чем штука. Изживем — слава нам на веки веков. Не изживем — она нас изживет. Погрязнем в безответственности, как в снегах своих.

— Пужаете, значит,— недовольно сказал генерал.— А я так убежден в обратном: самостийной деятельности нашей боюсь куда больше. Я людьми командовал, уважаемый Федос Платонович.

— Вы солдатами командовали, а не людьми,— категорично, но с мягкой, извиняющейся улыбкой уточнил Минин.— Из солдат еще людей надобно сделать. И сделает это не время, а — революция.

— Она уже была.

— Формально, Николай Иванович. Формально она вроде бы и произошла, и царь отрекся от престола, а что фактически? А фактически у мужика как землицы не было, так и нету, у рабочего хлебушка как не было, так и нету, и только у солдат все, как было: война. И вот она-то...

— Следовательно, отдать германцу украинский хлеб, донецкий уголь, свое национальное достоинство — так, по-вашему? Вы пораженец, милостивый государь! По-ра-же-нец!

В этом месте генерал величественно поднимался и указывал перстом на дверь. Федос Платонович удалялся всегда безропотно, но Николая Ивановича не оставляло ощущение, что удаляется он, считая себя правым, и генеральская душа негодовала и ерепенилась.

— Не принимать! Не желаю видеть! Упрямцев не терплю!

Однако уже на следующий день упрямец непременно попадался Олексину на глаза если не в доме, то в саду, если не в саду, то в селе, и если не вдвоем с Татьяной, то втроем с Варварой. Похмурившись и нечленораздельно поворчав, генерал в конце концов утаскивал его в кабинет, где снова начинались разговоры, обычно кончавшиеся такими же воплями.

— Что есть Отечество? Народ, живущий на определенном историей месте? Нет, Федос Платонович, нет, мало, даже для солдатской словесности мало. Память надобно прибавить, особливость уклада и — главное, заметьте, главное! — духовную этого народа ипостась, сущность его духовную. Духовную! Измените сущность, и будет уже не Россия. Название менять придется.

— А как по-вашему, Николай Иванович, помещик свою землю крестьянам без выкупа отдаст? А фабрикант фабрику? А банкир — дивиденды? И мечтать об этом не следует, разве не так? Остается одно — отобрать силой, а там и название сменить не страшно.

— Пугачевщина.

— Силой организованной, то есть властью, которая блюсти будет не интересы помещиков да капиталистов, как сейчас, а крестьян да рабочих.

— На силу всегда сила найдется. Учитываете?

— А миллионы вооруженных крестьян и рабочих вы учитываете?

— А германец?

— Вот именно, что германец: временные правители наши изо всех сил им сейчас народ пугают. А из двух зол надо выбирать наименьшее, и мы, левые социалисты, выбираем мир. На любых условиях!

— Пораженец!

В то смутное время Федос Платонович никогда не называл себя большевиком. Он не состоял ни в какой партии, представлялся почему-то «левым социалистом», много читал, много думал и, еще не все поняв и не все приняв, уже внутренне считал себя ленинцем.

И в июле после кровавых событий в Питере и бессмысленного наступления на фронте поздним вечером неожиданно постучался в Танино окно.

— Простите, что тревожу, Татьяна Николаевна, но не могу иначе. Чаша моя переполнилась, нельзя мне больше в сторонке сидеть. Непорядочно это, и вы сами же меня не простите.

— Уезжаете? Я знала, что так будет, знала...

Не слова прозвучали — выдох. Полный беззвучного отчаяния и завтрашней тоски.

— Я сказать должен, что не знаю никого прекраснее вас, Татьяна Николаевна. Вас и вашей Анечки. Не знаю и знать не хочу на всю жизнь.

— Жду,— шепнула она.— Жду всегда, вечно.

Нагнулась через подоконник, а он привстал на цыпочки, и они впервые поцеловались. Бережно и целомудренно и действительно на всю жизнь.

(Окончание следует).

Виктор СОСНОРА

Два стихотворения

Мой монгол

Счастье проснуться, комната в лунных звонках.
Санкт-Петербург просыпается.
Над Ленинградом водоросли небес, там самолет
(ластокрыл!)
Голубь как птица на оцинкованной крыше с клювом на лапках,
гипнотизирует.
Все одеваются в лампах.

Жестом жонглера отбрось одеяло.
Как хорошо:
Ева твоя в целомудренных травках волос.
Хочешь, целуй ей лицо проспиртованными устами,
хочешь — вышвырни вон и свисти, соловей одинокий.

Сеть занавески чуть светится и сигарета сверкает.
Утро и труд.

Хуже проснуться, комната в капельках солнца.
Как по утрам, осмотреться окрест — кто там справа?
И обнаружить, что справа лежит Чингиз-хан.
Без восклицательных знаков!
Просто — проснулся, что-то мурлыкает сам по себе,
шестнадцать косиц
то ли завязывает в узелок, то ли распускает,
желтый живот (неудивительно, желтая раса),
ниже — фигура, которая украшает мужчин
(отчаиваться не надо, ведь у тебя тоже — фигура)
— Знаешь, кто я? — воскликнул он.
Знал я.
— Я знаю, — хотел я сказать, но зевнул.
— А, ты молчишь, и уста в судорогах от страха!
Не от страха, — зевал.
— Думаешь, чудеса?
Я думал о Еве.

Вчера выступал.
Были люстры Концертного зала.
Множество лиц — фруктовых в малиновых креслах, ушки
для слушанья.
Аплодисменты.
(Рифмы я произносил о любви и о боли.)
Вот и записка из зала:
«НЕ ПОДУМАЙТЕ ЧЕГО ПЛОХОГО. ЖДУ ВАС У ЗЕРКАЛА.
ЕВА».

Этот чудесник, — фигура болтается, как поплавок.
— На, завернись, — я бросил халат. Только не хохочи, —
предупредил я.
— Я с предрассудками и не люблю, когда по утрам всякая
сволочь хохочет.
— Хочешь кумыса?
— Пусть пива...
Но на полу уже появились кувшины кумыса.
Пена прелестной расцветки, как мыльные пузыри.
— Выпьем с утра! — воскликнул он на одеяле, в халате.
Что оставалось? Я опустился в кресло, с кувшином, в трусах.
— Ну, как жизнь? — вопросил я с ненавистью, — как здоровье?
— Гол, как монгол, — он распахнулся. — Как в энциклопедии
желт.
И у тебя, — он оживился, — морда не без желтизны.
Глазки припухли.
— Утром желтеет с похмелья русская раса. Пухнет чуть-чуть.
— Если ваше похмелье будет длиться века,
вы пожелтеете сплошь. Знай, что рожденный с
кувшином кумыса
не пьет по утрам из обкусанной кружки пиво.

Ужас!
Узрел я у зеркала двадцать дев.
Девы двуноги, кудри у них — как фонтаны!
Все с записными книжками (ах, автограф!). Все
красномясы. В одежде.
Было, все было:
проснешься в испарине,
шаришь, дрожащий, шнурки-башмаки,
ужас — в ушах,
молнией — к лифту,
весь исцарапан,
весь лихорадка,
будто сражался всю ночь со скалой!
(Знаем, все знаем,
но даже в душе
я не сторонник сексуальных революций.)

Ева стояла одна... с яблоком. Обнажена.
Но не об этом. Пред взором моим стояло и по три и...
тоже обнажены.
Перевидал я достаточно этих... ню,
Если же начистоту:
все сейчас ходят так в СССР.
Но — с яблоком!
Грешным своим языком я сказал:
— Сей плод — девиз грехопаденья. Вы девственница?
В кои-то веки тебя ожидают у зеркала,
жарко жалея,
или коленку подсовывают, чтобы трогал,
вот и хватаешь, влюбленный, эту Еву с косицей (грудь —
виноградна!)
а поутру получается:
справа лежит Чингиз-хан.
Бок о бок, тоже с косицами, но... в том-то и дело.
Что тебе здесь, мой монгол?
Мне нужно меньше, чем человеку. Где Ева?
Он:
— Вдумайся, дурень:
уснул ты, или проснулся,
не все ли тебе одинаково, —
с Евой ли, сам ли с собой, с Чингиз-ханом?
Даже последнее, я бы сказал, перспективней

(в историческом смысле),
вот просыпаются два,
нету претензий:
вопросы-ответы...
Уже обсуждая абсурды тринадцатого века
да царства двадцатого,— театры террора,—
я, телепатически, что ли, а, может, взаправду — желтел.

Я, за решеткой вскормленный (темница, клоповник!)
Ох и орел в неволе, юный, как Ной!
В иго играли вы, вурдалак, теперь я — ваше иго.
С миской кумыса смотрим в окно (окаянство!)
А за окном — заокеанье, зов!
Улей наш утренний, не умоляй — «улетим!»
Или — давай! Но куда? Тюрьмы фруктового яда.
Пчелам с орлами не быть в небесах (жало — и клюв?!)
Не улыбаться нам на балах,
не для нас глобус любви,
если душа — пропасть предательств,
лицо — ненависти клеймо.
Да! Ну давай! С этих утренних улиц,
толп лилипутов, тритонов труда,
пусть им — невроз ноября, месса мая,
Бедный товарищ! — кровавую пищу клюем.

Правда же,— пропадом!
Воздух взнуздаем и, как говорится,— день занимался!..
В каплях притворствовал Петербург...
Замахаем крылами волос! —
Вот венец. Ванька Каин! Я — автор комических книг,
вор, поэт, полицейский,— в общем, отрок Отчизны.
О великий, могучий, правдивый, свободный... заик!..
Отучили.
Музицирует время. Я — Маленький с буквы большой.
Что мои зайцезвуки — на цезарь-скрижали!
Фраза: «Гости съезжались на дачу». Киваю башкой:
— Ну, съезжались...

Простаков, Хлестаков, Смердяков да Обломов т. п.—
татарва да пся крев, жидовня да чухонцы...
Слава Вам, кино-Конь! Пульт Петра, сталь-столица — теперь!
Что ж ты хочешь?

Ремонтируя душу, как овчарню храня от волчат,
Суздаль — от Чингиз-хана, Плесков — от венчанья,
как от веча — Новгород, как от чуда — Москву... Отвечай!
Отвечаю:

— Это самопародия. Ах, извините, люблю
эволюции литер «О» — «Ча». Как бикфордов-свеча нагораю...
Пальцы в клавиши, как окурки — вдавлю,
не играю.

Хутор потерянный

Тут хутор потерян... Как униям гунн,
как нимфа для финна, как мед молдавана...
дом драм — обещанья, триумфа и губ,—
дом-дым обнищанья... каморка... охрана...
Так в призмах Заката язык мой — зола,
ответы овец, соль-свинина, крольчатник...
Сей призрак здесь жил, волосами звеня?

Чьей цепью Царьграда? — лишь ключик с ключами...
Тогда еще! Был нам незнаем Монгол.
(Кончак — чепуха, подсчитали и хана.)
Но — блуд, окаянство, обман, алкоголь,—
до звезд Византийства!.. Но не было Хама.
Все было,— клянусь. Мы безусцы — юнцы
трудновоспитуемые (или — руссы!),
не в меру мерзавцы, пусть не мудрецы
(о темен сей терем!), но только — не трусы.
Ну, ночь-поножовщина Новград-моста,
но равенство-радость! но молота удаль!
Ну Марфа Посадница — но не Москва!
Ну, грех Годунова — но не Иуда.
Кто жил здесь в железе? Маэстро? Адъюнкт?
Не Лютер ли? (Ландыши яблонь!) и — тот ли?
Дом — день одиночеств, как аист в аду,
мутант в шлемофоне Барклая де Толли.
Чей жил из желез? Чей тевтон изменял
Ледовым побоищем? Глас — троекратно!..
Чей колокол — клюква?.. Чей аз — из меня?
Так узнику Эльбы — три крапа, три карты.
Читатель стихов! Если дух твой так худ
(невеста, невроз, геморрой, нищета ли)
читай троеточье: потерян мой хут...
Дом — день одиночеств (что ночь — не считаю!)
Лжедмитрий фонтанов! «Лже» — значится — лгать,
не лгал бы — была бы твоя Московия.
Но свадьбы — не судьбы... И, помнится, тать
тогда еще, в молодости моросила.
Так век пятерчат — не треперст. Перестань!
Тут минула молодость. И не могли мы...
Оплакан опилками... О просто так —
венчанье второе у Мнишек Марины!
Писатель стихов! Я — писатель? О тень
азов алфавита,— ах арфа в партере!
Не я, не писал, не пишу,— дребедень!
Читай одноточье: мой хутор — потеря...
О как оболванен, о пять-обнесен,
как зек на закате картофельной хунты.
Наш кладезь — на ключик! А саун — овсом!
Ах, глупость! кому он без нас, этот хутор?
Нас, деторожденных без тыла-отца
(растлители в рясах, целители ложью!),
вот ходит, как дохлая вобла — овца...
Истерика детства: где Белая Лошадь?
Вот бабочка в бане... Да будь ты! Очнись!
(О жить — целовать тебя всеми губами!)
На лыжном трамплине — паук-альпинист...
Булавка была бы — найдется гербарий!..
Чей праздник здесь жил, волосами звеня?
Чьи флейты мистерий? Чьи магий мантильи?..
Меня не любили — болели меня...
(Чье сердце столиц?)... и, естественно — мстили.
Дай зеркало, друг! Дай стекляшку (где сталь?)
О мим-монголоид! С сумою семантик!
Я плачу?.. Смеюсь... Я достаточно стар,
чтоб с крысами в креслах читая смеяться.
Что глуп ли глагол, искренность или грим,
писатель — не я, я — лишь я и простите...
Вам все объяснят феминетчицы рифм
и прозы писатели: прозервативы.
«Кайфуют» мой хутор они, близнецы...
Сюда бы дракона. Но за ненменьем

жевали шашлык три-четыре овцы,
закатные пчелы летали, как змеи...

. . . .

Опять «о поэзии»... Не соловьи.
Не путаники. Неспроста получилось.
ДУХ СВЯТЫЙ ЗДЕСЬ ЖИЛ. Я ПИШУ ДЛЯ СЕМИ,
А КТО ЭТИ СЕМЬ — я потом перечислю.

●

Отклик

РАЗМЫШЛЯЯ НАД КНИГОЙ МИХАИЛА КАПУСТИНА «КОНЕЦ УТОПИИ?», вышедшей в издательстве «Новости», не можешь не вспомнить, как сразу было замечено читающей публикой имя автора. Его яркие статьи в последние годы появлялись одна за другой в различных демократических изданиях («От какого наследства мы отказываемся?», «Камо грядеши?» и др.). Еще он запомнился своими текстами в двух интересных полнометражных кинопублицистических лентах: «Будет ли коммунизм?» и «Николай Бухарин», выступлениями в популярных телепрограммах. И вот, наконец, солидная монография.

Если я не ошибаюсь, эта книга — первое в советской печати фундаментальное размышление в жанре философской публицистики над историческими путями развития социализма в СССР. Живо, часто по-новому автор высвечивает личности революционных вождей — Плеханова, Ленина, Троцкого, Бухарина, Сталина, вскрывая тайники психологии диктаторской власти. Свободно и раскованно оперирует он аналогиями в историческом плане (Иосиф Сталин — Иван Грозный, Сталин — Гитлер). От личности тирана он переходит к анализу самой тирании, и читатель видит конкретно, что так называемая диктатура пролетариата ничем не лучше любой другой диктатуры. На протяжении жизни трех поколений был искусственно создан — с помощью энтузиазма и страха, чудовищных репрессий — «новый тип» человека, «хомо советикус». Сложился и новый тип мышления, который Капустин образно определяет как «однополушарное».

Работая с закрытыми прежде архивными материалами, автор дает потрясающую картину жесточайшего красного террора, занесенного над рабочими и крестьянами (а отнюдь не только над «буржуями», как считалось прежде), над интеллигенцией и духовенством, словом, над целым народом. В частности, здесь — впервые в нашей печати — приведены документы Кронштадтского мятежа 1921 года и крестьянской войны, вернее, побоища российского крестьянства Красной Армией в тот же период.

Из анализа, проделанного М. Капустиным, становится ясно, что Россия XX века — это роковой урок для всего человечества, для его настоящего и будущего. После нас неповадно будет пытаться насильственно втянуть человечество в «счастливое будущее» (хотя от диктатуры любого другого типа никто, конечно, не застрахован — что показала драма в Персидском заливе). Однако в эпилоге автор приходит к выводу, что все-таки не стоит отчаиваться: это вовсе не конец нашей истории, а всего лишь конец Утопии, коммунистической идеи, доведенной до чудовищной карикатуры.

На мой взгляд, автор силен и ярок в своем пафосе критики и разоблачения нашей недавней истории, хотя порою и делает это с явным перехлестом. Но, увы,— и это общая беда наших публицистов — они почти молчат о позитивных альтернативах, которые следовало бы противопоставить столь негативному опыту. Что же должно быть взамен изжившей себя, по его мнению, коммунистической идеи? Идея религиозная? Полноте, далеко ли мы с нею уйдем! Или идея повальной приватизации, идеал частного собственника? Такой ли уж это идеал?! Или что-то третье, где сближались бы, совмещались черты коллективистского и предпринимательского, планового и рыночного интересов?

Да и покончили ли мы уже с утопией? Не утопичными ли оказались иные «судьбоносные» перестроечные обещания? Общество, куда идешь? Дай ответ. Не дает ответа. Да и наш автор, конечно, не дает. Так что все еще: КАМО ГРЯДЕШИ?

Генрих ВОЛКОВ

Владимир ВОЙНОВИЧ

Антисоветский Советский Союз*

ОТ АВТОРА

Эта книга сложилась так.

Когда в конце 1980 года я оказался в Мюнхене, поблизости от радиостанции «Свобода», работники ее, естественно, предлагали мне сотрудничество.

Сначала я отказался.

Время от времени я был не прочь выступать по радио, но заниматься этим регулярно мне не хотелось.

Я уехал на год в Америку, преподавал литературу, вернулся в Мюнхен. А вернувшись, понял, что мне не хватает постоянного контакта с читающей или, по крайней мере, слушающей русской аудиторией. Поэтому, когда ведающий на радио «Свобода» передачами о культуре Александр Перуанский (в эфире Александр Воронин) повторил предложение о сотрудничестве, я его принял.

Текст первого моего десятиминутного выступления дался мне с большим трудом, я его писал, может быть, полгода. Потом пошло полегче. Постепенно у меня выработался некий сквозной план, переходивший из одной передачи в другую: я решил рассказать слушателям о них самих, показывая советскую жизнь с самых разных сторон. В этом мне помог мой жизненный опыт, который был, прямо скажем, не совсем ординарен. Я жил в разных местах Советского Союза, работал и в колхозе, и на заводе, и на стройке, и служил в армии, и был членом Союза писателей, и диссидентом. То есть я был лучше, чем многие, знаком с жизнью самых разных слоев советского общества. Кроме того, имея доступ к неподцензурной литературе, я знал многое из того, чего мои слушатели не знали.

Я понимал, что радио слушают люди пытливые, но с различным уровнем подготовки. Поэтому я старался, чтобы передачи мои были живыми, разговорными, доступными всем, но не примитивными. Я понял, что радиобеседы—это особый жанр, которым овладеть можно, но надо постараться. Искусству непосредственного разговора со слушателем я учился (не прямо, конечно) у незабвенного комментатора Би-би-си Анатолия Максимовича Гольдберга, затем у Анатолия Кузнецова и Виктора Некрасова. Замечательно владел этим искусством покойный Сергей Довлатов, говоривший всегда просто, искренне, с грустноватым юмором.

Эта книга составлена из моих бесед, передававшихся по «Свободе» с 1983-го по 1985 год. Возможно, некоторые из этих бесед стали, как говорят американцы, «аут оф дэйт», то есть «вышли из времени». Другие, увы, еще не «вышли». Но и когда выйдут, возможно, останутся материалом для изучения жизни, мыслей, настроений и переживаний людей отошедшей эпохи.

КОРОТКО О СЕБЕ

Я родился 26 сентября 1932 года в городе Душанбе, столице Таджикистана. Отец мой был журналистом, мать — учительницей математики. По национальности мать — еврейка, отец — русский сербского происхождения.

Одна парижанка русско-татарских кровей, узнав о моих корнях, была крайне изумлена и спросила, как же я могу считать себя русским писателем. На что я ответил, что я не считаю себя русским писателем, а я есть русский писатель.

---

* Журнальный вариант. Полностью книга будет напечатана издательством ПИК в 1991 году под названием «У микрофона — Владимир Войнович».

Мои знания о предках по материнской линии обрываются на моем дедушке, который был, кажется, мельником. Зато о моей отцовской линии мне известно гораздо больше.

Начало свое наш род ведет от некоего Воина, о занятиях которого можно судить по его имени. В роду было много военных и воинственных людей, в том числе несколько генералов и адмиралов. Адмирал Марко Иванович Войнович при Екатерине Второй поступил в русскую военно-морскую службу, которую начал, как написано в старой энциклопедии, «в Архипелаге, где отличался своею храбростию». Он командовал на Черном море первым линейным кораблем «Слава Екатерины», был основателем и первым командующим русским Черноморским флотом. Главная пристань Севастополя названа Графской в его честь. Многие из его потомков также были моряками. Эта традиция, кажется, оборвалась на моем прадеде и пяти его братьях — все шестеро были капитанами дальнего плавания. Но в нашем роду были и люди мирных профессий. Один из них Иво Войнович, признанный классик сербо-хорватской литературы. Брат моего деда, Драгомир Николаевич Войнович, написал известную в дореволюционной России «Историю сербского народа». Мой отец Николай Павлович перевел на русский язык значительную часть сербского эпоса (но напечатал, к сожалению, лишь малую толику переведенного). Мне было приятно узнать, что знаменитый югославский возмутитель спокойствия Милован Джилас тоже мой дальний родственник. Когда-то его дед сменил фамилию Войнович на партизанскую кличку Джилас.

Несмотря на некоторую необычность моего происхождения, первая часть моей жизни была вполне заурядной для советского человека моего поколения. Мне не было четырех лет, когда отца арестовали по вздорному политическому обвинению. Он провел в лагерях по советским понятиям не так уж много, «всего» пять лет. В мае 1941 года (за месяц до начала войны) его не только освободили, но даже реабилитировали и предложили восстановиться в партии. На что мой отец, не научившийся лукавить, сказал предлагавшему: «В вашу партию я не вернусь никогда!»

Он понимал, что такой ответ мог стоить ему головы и, вернувшись домой, схватил меня, и на другой день мы отправились в Запорожье (Украина), где жила его сестра, моя тетка, Анна Павловна с мужем и двумя детьми. (Моя мать задержалась в Таджикистане, ей оставалось несколько месяцев до окончания педагогического института.)

Я думаю, что моего отца нашли бы и на Украине, но тут началась война, в первые дни он ушел на фронт, с которого вернулся инвалидом.

Моя собственная жизнь складывалась как у миллионов моих сверстников. Детский сад, стихи о Ленине, песни о Сталине, первый класс, война, две эвакуации, голод во время войны и полуголодная жизнь после нее. Мои родители элементарно не могли меня прокормить, и я с одиннадцати лет начал сам зарабатывать свой кусок хлеба. Работал в колхозе, на стройке, на заводе, на железной дороге, инструктором сельского райисполкома и короткое время редактором на радио. Четыре года служил солдатом. Учился мало, с перерывами и без отрыва от производства. Но мои родители были интеллигентные люди, всегда много читали, и я читал тоже много. Главным и практически единственным нашим богатством была наша библиотека.

Мой отец всю жизнь писал стихи и затем прозу, но поскольку то и другое никак не совпадало с требованиями времени, печататься ему почти не удавалось.

Мне повезло больше. Еще служа в армии, я начал писать стихи и почти сразу печататься. В 1960 году с разными композиторами я написал примерно полсотни песен, некоторые из них в свое время были известны без преувеличения всему советскому народу. В том же году я написал свою первую повесть о деревенской жизни «Мы здесь живем», которая была опубликована в первом номере журнала «Новый мир» за 1961 год. Советской критикой повесть была принята в целом благожелательно, а недавно умерший Владимир Тендряков приветствовал мое появление в литературе статьей под выразительным названием: «Свежий голос есть!» Но в то же время нашлись бдительные критики, которые сразу разглядели во мне начинающего злоумышленника. Один из них в своей статье «Правда эпохи и мнимая объективность» уже тогда справедливо заметил, что действительность я изображаю приземленную, безрадостную и вообще придерживаюсь «чуждой нам поэтики изображения жизни, „как она есть“».

Поскольку я и дальше старался изображать жизнь, «как она есть», неприятности не заставили себя ждать. Уже в 1963 году один из главных идеологов хрущевской «оттепели» Леонид Ильичев подверг разносу мой рассказ «Хочу быть честным», после чего в центральных советских газетах («Известия», «Труд», «Строительная газета») появились сфабрикованные ими злобные статьи советских «передовиков производства» и Героев Социалистического Труда под заголовками: «Точка и кочка зрения», «Это фальшь!», «Литератор с квачом» (квач — это кисть, которой размазывают деготь). Но настоящая травля началась в 1968 году после подписания мною писем в защиту сначала Даниэля и Синявского, а затем в защиту Гинзбурга, Галанскова, Лашковой и Добровольского. Травля эта усилилась, когда власти ознакомились с началом моего романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Пять лет я сносил эту травлю, надеясь сохранить свое положение «официального» писателя, но затем увидел, что оставить за собой это звание я на самом деле могу только путем отказа от своих главных литературных намерений и от своих понятий о чести и совести. В 1973 году я демонстративно передал на Запад первую книгу «Чонкина», подписал коллективное письмо в защиту Солженицына, написал свое собственное сатирическое письмо против создания Всесоюзного агентства по авторским правам (впоследствии написал еще несколько подобных писем), после чего (в феврале 1974 года) был исключен из Союза писателей и еще почти семь лет жил под постоянным давлением КГБ, в атмосфере непрекращающихся угроз, шантажа и провокаций.

В этих условиях я писал и демонстративно пересылал на Запад свои книги и сатирические письма по поводу тех или иных действий советских властей. В январе 1980 года, сразу после высылки в Горький академика Сахарова, я написал в газету «Известия» письмо, в котором, пародируя стиль выражающих свою благодарность орденоносцев, высказался так: «Позвольте через вашу газету выразить мое глубокое отвращение ко всем учреждениям и трудовым коллективам, а также отдельным товарищам, включая передовиков производства, художников слова, мастеров сцены, Героев Социалистического Труда, академиков, лауреатов и депутатов, которые уже приняли или еще примут участие в травле лучшего человека нашей страны,— Андрея Дмитриевича Сахарова».

В отличие от моих предыдущих писем это безответным не осталось. Примерно месяц спустя, в день выборов в Верховный Совет РСФСР, ко мне явился мрачный человек, который назвался работником райкома КПСС Богдановым.

Став посреди моей комнаты, этот Богданов тоном полководца, объявляющего разгромленной армии условия капитуляции, сказал:

— Мне поручено вам передать, что терпение советской власти и народа подошло к концу.

Я думал, что он меня тут же расстреляет, но оказалось совсем другое. В отличие от всех остальных граждан Советского Союза мне в этот день был предложен не фиктивный, а реальный выбор: или — или. Поскольку терпение советской власти и народа подошло к концу одновременно с моим, я выбрал второе «или» и не прошло года, как (21 декабря 1980 г.) оказался на Западе.

Еще полгода спустя указом Брежнева я был лишен советского гражданства.

КАК ВЫ МОГЛИ ТАК ЖИТЬ?

Попав на Запад, я вовсе не собирался выступать здесь в роли пропагандиста. Но куда бы я ни попал, люди, узнав, что я русский, задают вопросы. Они хотят знать, что представляет собой супердержава, которая в состоянии уничтожить весь мир. Какие люди там живут и чем живут? Меня спрашивают, я отвечаю. Но каждый ответ вызывает новый вопрос. Оказывается, наша повседневная жизнь кажется западным людям загадочной и непонятной, как жизнь жуков в

бочке. Иногда я никак не могу понять, почему? Иногда раздражаюсь. Иногда объясняю терпеливо, что мы такие же люди, как вы. Мы так же рождаемся, живем, стремимся к счастью, любим, ненавидим, радуемся, страдаем, болеем и умираем. Общее это объяснение возражений не вызывает, но когда доходит до деталей, опять ничего не понятно.

Как-то, во время нашего пребывания в Америке, решили мы с женой навестить знакомую художницу. С мужем-инженером и одиннадцатью детьми она живет на ферме, потому что в городе снять дом или большую квартиру им не по карману, а жить в небольшой квартире они не хотят: американцы — люди избалованные. Я когда-то в молодости снимал в Москве комнату у такой же семьи. Им на тринадцать человек государство отвалило четырехкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте. Одну из этих комнат они сдавали. «А вам-то всем в трех комнатах не тесно?» — спросил я у них. «Да что вы,— сказала хозяйка.— Нам и двух много. Мы после коммуналки все в одну забиться норовим».

Но вернемся к американцам. Собрались мы в гости к художнице, взяли такси, по дороге с шофером о том о сем разговариваем. (Таксисты везде разговорчивы, что у нас, что в Америке.) Услышав наше произношение, шофер, естественно, поинтересовался, откуда мы. Мы сказали. «О, Раша! — говорит он с почтением.— Ну и как там, в России, жизнь?» — «Да как вам сказать? Все хуже и хуже».— «Как у нас,— говорит водитель.— Жизнь, что ни год, дорожает. Десять лет назад такая машина стоила четыре тысячи, а сейчас девять тысяч долларов стоит. А я в месяц и трех тысяч не всегда могу заработать».— «Ну это, я говорю, да, это, говорю, конечно. А мясо вы по карточкам получаете или по блату где достаете?» Он мой вопрос даже не очень-то понял, а когда понял, сказал, что мясо, как и все остальные продукты, он в ближайшем супермаркете покупает. «Ну вот представьте себе,— сказал я,— что ни в вашем супермаркете, ни в следующем, ни в соседнем городе нет ни мяса, ни консервов, ни колбасы, ни сосисок».— «Да,— говорит шофер,— я слышал, что у русских с мясом не очень. Это неприятно, но в конце концов можно есть цыплят». Тут мы с женой стали смеяться, потому что он почти слово в слово повторил высказывание французской королевы Марии-Антуанетты, которая за двести лет до него сказала: «А чего это народ бунтует? Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Таксист наш рассердился и сказал, что в отличие от королевы он еще не очень оторвался от жизни, а чикенов этих, то есть цыплят, можно выращивать сколько угодно. Производство это очень простое, чикены сами из яиц вылупляются и сами растут, только корм подсыпай. Я пытался ему рассказать о социалистической системе хозяйства, где ничего не бывает очень просто, но он даже и слушать не хотел. «Да что вы мне говорите, да при чем тут система, да эти птицефермы вообще ничего не стоят, их можно при любой системе сколько хочешь построить». И так он убедительно говорил, что я ему почти совершенно поверил.

Ну, доехали мы до места, встретила нас хозяйка, дом показала. Огромный двухэтажный дом она перестроила по причудливому своему проекту, и получилось много каких-то углов, закруглений и ответвлений. И само собой, невероятное количество комнат. У каждого из одиннадцати детей по комнате. У нее и у мужа по кабинету. А еще спальня, а еще гостиная и столовая, и еще что-то, и одних только ванных комнат не то пять, не то шесть. А для детей всякие спортивные снаряды и какая-то индейская хижина, и живой пони, и еще всякие вещи. А качели прикреплены к ветке высокого дуба, и когда мы на террасе чай пили, дети на этих качелях со свистом над нашими головами летали.

Так вот сидели мы на этой террасе, чай пили, о жизни разговаривали, я также простые разговоры предпочитаю всяким интеллектуальным беседам. Я спросил хозяев, не трудно ли им живется. Они сказали, что в общем-то нелегко. Такой дом, столько детей, столько забот, а они не миллионеры какие-то, обыкновенные люди, средний, как говорят в Америке, класс. А потом они стали нас расспрашивать, и как-то так получилось, рассказал я им вкратце всю свою жизнь, которой вовсе не собирался их удивить, потому что биография у меня

по советским понятиям почти заурядная. Как меня исключили из Союза писателей, не печатали, не давали заработать на кусок хлеба и при этом пытались объявить тунеядцем, отключили телефон, угрожали убийством (и однажды, подсунув отравленные сигареты, показали один из возможных способов), инсценировали нападение хулиганов, прокалывали шины автомобиля, устраивали всякие другие провокации (вплоть до того, что моим престарелым родителям объявили однажды, что я погиб). Но все же не посадили, не убили, а только выгнали за границу, к чему некоторые люди даже очень стремятся. Твк что мою биографию можно считать вполне благополучной. Но хозяйка дома мою биографию благополучной не посчитала. Она сказала:

— Как же вы так могли жить? Почему вы не обратились к вашему правительству?

Ее старшие дочери, студентки, стали смеяться, им, как это бывает в их возрасте, стало неудобно, что мама такая глупая.

А я не смеялся. Я считал ее вопрос вполне резонным и объяснил, какое у нас правительство и как оно отвечает на подобные обращения.

— Ну вы бы подали на них в суд!

Дочери и вовсе ее засмеяли.

— Ну хорошо, я понимаю, может быть, суд такой же. Но ведь можно же было написать в газету, обратиться к общественному мнению! Что вы надо мной смеетесь? Не перебивайте меня. Пусть я старая, глупая, пусть я ничего не понимаю. Я никогда не видала таких правителей, не читала таких газет, не знала, что бывают такие судьбы. Но если к ним ко всем бессмысленно обращаться, то ведь можно же в конце концов просто выйти на улицу и крикнуть: «Люди, посмотрите, ну что же это происходит?»

Нам, воспитанникам советской системы, такие высказывания западных людей иногда кажутся смешными, иногда раздражают. Ну как же можно быть такими наивными? Но я не понимаю, зачем нужно сердиться. Ну да, ну наивные, ну не могут себе представить нашей жизни, даже когда честно стараются.

Но есть такие, которые и не стараются.

«БЕЗ ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ»

Если бы лет десять или пять тому назад мне кто-нибудь сказал, что я буду жить в немецкой деревне и своим соседям говорить не «здравствуйте», «спасибо» и «до свидания», а «гутен таг», «данке шон» и «ауф видерзейн», я бы в это ни за что в жизни не поверил.

А вот так случилось. Деревня наша под Мюнхеном называется Штокдорф. Шток по-немецки — палка. Дорф — деревня. Мы эту деревню называем Палкино, а наши друзья в Москве прозвали ее Перепалкино, по созвучию с писательским поселком под Москвой, который называется Переделкино.

Так вот в этом нашем Палкине-Перепалкине живут, в основном, конечно, немцы. Но не только. Прямо напротив нас живет Настя, бывшая колхозница из-под Харькова. Во время войны ее, тогда молодую девушку, немцы угнали в Германию. После войны домой не вернулась. Здесь ей было не сладко, но и на родину ехать не решилась. Опять в колхоз, где она гнула спину от зари до зари и с голоду пухла. Где ее отца неизвестно за что и неизвестно куда насовсем увели. Да и ее судьба после возвращения была бы вилами по воде писана. Сталин не любил людей, которые в чужестранстве побывали, хотя бы и не по своей воле. Сталин не любил всех людей, которые видели западную жизнь и могли сравнивать ее с советской.

Так вот, побоялась Настя вернуться на родину. Осталась здесь, вышла замуж, родила дочку. Онемечилась. С мужем говорит по-немецки. С дочерью тоже. О внуках и говорить нечего. А теперь вот появились у нее соседи-соотечественники. Можно прийти, отвести душу, поговорить на родном языке. Ну, язык у нее и раньше был такой, на котором говорят в ее родных местах так называемые простые люди. Не русский, не украинский, а какая-то смесь. А теперь еще и немецкие слова намешались. Потому что в русском языке есть много слов, кото-

рых в ее времена она слышать не могла. Например, телевизор. Здесь она этот прибор называет по-немецки фернзеер. Иногда звонит по телефону или прибегает через дорогу, говорит: «Отворите фернзеер», там, значит, что-то показывают, интересное, по ее мнению. И вот как-то на днях тоже звонит: «Отворите фернзеер, там Москву показуют!»

Ну, отворили фернзеер, смотрим. Москва. Красная площадь. Портреты вождей. ГУМ. Как раз о ГУМе и передача.

Стоит очередь. Огромная. Вокруг магазина. Растекается по отделам. Я не знаю, что там в этот день давали. То ли югославские сапоги выкинули, то ли школьную форму, то ли чего еще. Впрочем, чего бы ни давали, а очередь соберется, потому что все нужно. И вот давится народ, задние напирают на передних, и одни лица переполнены решимостью выстоять и победить, а на других — выражение полной обреченности, эти люди заранее знают, что весь день простоишь, бока тебе намнут, а к прилавку подходя, услышишь голос продавщицы: «Касса, форму не выбивайте! Кончилась форма!» И покупателям: «Граждане, не стойте зря, не толпитесь!»

А какая-нибудь гражданка, все еще надеясь на чудо, будет взывать к продавщице: «Да как же, да я специально из Воронежа приехала!» А ей ответят: «Все специально приехали!» — «Но мне же только одну пару!» И это не аргумент. Всем только одну. А всех тысячи, и на каждого не напасешься.

Я смотрел, и грустно мне было. Это была моя прошлая жизнь. Сорок восемь лет я прожил в Советском Союзе и сам прошел в очередях путь, который, если сложить вместе, растянулся бы от Москвы до Владивостока. Я помню очереди за хлебом, на станциях за кипятком, в учреждениях за какой-нибудь пустяковой бумажкой, во время войны длиннющие очереди у женских уборных. Теперь, по мере повышения благосостояния, стоят очереди за пивом, за стиральным порошком, за перчатками, за зубной пастой, туалетной бумагой и даже за кубиком Рубика.

Очереди бывают разные. Бывают на несколько минут, на ночь, на несколько дней. В очередях на машину или квартиру люди стоят годами.

Но все же я не мог себе представить, как ужасно выглядит очередь, если взглянуть на нее со стороны.

Показали по телевизору все эти очереди, во всех отделах и на разных этажах, а потом показали пожилую и толстую работницу ГУМа. Я не понял, кем она там работает, парторгом или заведующей секцией, но политически она оказалась на высоте. Она объяснила немецким телезрителям, что изобилие, которое они видят воочию, достигнуто советским народом под руководством и благодаря неустанной заботе нашей ленинской партии.

Я смотрел на это, слушал и думал: до чего же задурены советские люди! Она сама даже не понимает, что плетет. Да все эти товары, которые выставлены в ГУМе, у любого западного человека не могут вызвать ничего, кроме насмешки.

Я вспоминаю анекдот про американца, который, подойдя к очереди, спросил, что здесь продают. Ему сказали: «Ботинки выбросили!» Он посмотрел и сказал: «Да, у нас тоже такие выбрасывают».

Ну хорошо, эта тетя из ГУМа, она, может, невыездная, за границей отродясь не бывала и даже представить себе не может разницы между убогим ГУМом и любым самым простым западным магазином. Но вот, например, секретарь Московского отделения Союза писателей товарищ Феликс Кузнецов — точно выездной. И разницу эту знает. Он за границей бывал и в свободное от борьбы за мир время немало стоял в этих западных магазинах с раскрытым ртом. И уж ему-то должно быть стыдно выступать в роли упомянутой мною тетеньки. А нет, не стыдно. И в статье «Не опоздать», напечатанной в «Литературной газете», разоблачая зловредных империалистов, он, помимо всего прочего, пишет, что в то время, как на Западе растет психоз и паника перед ядерной катастрофой, западные люди, приезжая в Советский Союз, удивляются (я цитирую) «спокойствию, собранности, деловитости атмосферы в нашей стране».

И чуть ниже: «Мы спокойно работаем, решаем вопросы Продовольственной программы, совершенствуем социализм».

Если уж иностранцев и удивляет Продовольственная программа, то только тем, что она вообще существует. На шестьдесят восьмом году советской власти и через сорок лет после окончания войны.

Есть чему удивляться.

Здесь Продовольственную программу никто не решает. Здесь ее просто нет. Здесь человек просто идет в магазин и покупает, что ему нужно.

Недавно я слышал рассказ об одной очень ортодоксальной гражданке, профессоре марксизма-ленинизма. Попала она первый раз на Запад, точнее, в Мюнхен. Вошла в магазин вместе с сопровождавшими ее немцами. Как увидела, что здесь стоит на полках, сразу смекнула, что все это выставлено с провокационной целью. Она знала, ее научили, что здесь ухо надо держать востро. Увидела двенадцать сортов апельсинов. «У нас,— говорит,— это тоже есть». Увидела сто пятьдесят сортов сыра — «У нас это тоже есть». Подошла еще к одной полке, там туалетная бумага: белая, розовая, в цветочек, в горошек и в клеточку. Одинарная, двойная, гладкая и с пупырышками. «У нас,— говорит,— это тоже...» и потеряла сознание. Пришла в себя, ее на носилках в закрытую машину втаскивают. Испугалась, подумала, что воронок. «Что это?» — говорит. Ей отвечают: «Скорая помощь». «А-а,— говорит она успокоенно,— у нас это тоже есть!»

А другой, тоже пожилой человек, прибыл дочку свою навестить, которая замуж за немца вышла. И тоже пошел вместе с ней в магазин. Она стала хвастаться, смотри, мол, чего здесь только нет. Он смотрел, хмурился. «Нет,— говорит,— ты мне настоящий магазин покажи».— «А это какой же?» — «А я,— говорит,— не знаю, какой, может, специальный, для иностранцев. А ты мне покажи настоящий, для простых людей». Дочка пытается его убедить, что это для всех людей, и для простых, и для непростых. А он заладил свое: «Быть этого не может, покажи мне настоящий». Стала она его водить из магазина в магазин, он ходит, смотрит, глазам своим не верит и опять требует, чтобы она ему настоящий магазин показала. «Какой настоящий? — рассердилась она.— Гастроном вроде вашего на Соколе?» «Ну, хотя бы такой»,— говорит. «Но здесь нет таких! Здесь даже таких бедных магазинов, как Елисеевский, нет! Может ты хочешь, чтоб я тебе сельпо показала?» «Покажи»,— говорит отец. Хорошо. Посадила она его в свою машину, завезла километров за пятьдесят в глушь, в деревню. Зашли опять в магазин. Вышел отец, огляделся, видит, вокруг домá, редко одно-, чаще двухэтажные, добротные, каменные, крытые черепицей, с огромными окнами, с балконами и на всех балконах — цветы. И хоть бы одна развалюха. «И это обыкновенная немецкая деревня?» — спросил отец. «Да,— сказала дочь,— самая заурядная». «Нет,— говорит отец,— ты мне настоящую деревню покажи».

Я хочу быть понятым правильно. Меня само по себе богатство не умиляет и не соблазняет. Я лично предпочел бы не то чтобы голодную, но, скажем так, скромную жизнь в свободном обществе богатой жизни в несвободном. Но как показывает практика (да и теория, впрочем, тоже), свободные люди производят материальных ценностей больше, чем несвободные. Это, между прочим, заметил даже Карл Маркс.

Именно поэтому жители не только Германии, но и всех западных стран достигли такого материального изобилия, которого советские люди даже представить себе не могут. И добились, между прочим, безо всякой заботы со стороны ленинской партии.

ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Как-то еще в Москве я оказался в одной интеллигентной компании. Сидя на кухне, пили чай и, как водится, обсуждали все или почти все местные и мировые проблемы и события. Говорили о недавнем аресте двух диссидентов, об обыске у третьего, о повышении цен на золото (интересы присутствующих оно никак не затрагивало), о пресс-конференции Рейгана, о последнем заявлении Сахарова, о Северной Корее, о Южной Африке, уносились в будущее, возвращались в прош-

лое, стали обсуждать случившееся сто лет назад убийство народовольцами царя Александра Второго.

Одной из участниц разговора была экспансивная и храбрая молодая женщина. Она уже отсидела срок за участие в каком-то самиздатском журнале, ее, кажется, собирались посадить и второй раз, таскали в КГБ, допрашивали, она вела себя смело, дерзила следователю и не дала никаких показаний.

Теперь о событии столетней давности она говорила так же возбужденно, как о вчерашнем допросе в Лефортовской тюрьме.

— Ах, эти народовольцы! Ах, эта Перовская! Если бы я жила тогда, я бы задушила ее своими руками.

— Вы на себя наговариваете,— сказал я.— Перовскую вы бы душить не стали.

Женщина возбудилась еще больше.

— Я? Ее? Эту сволочь? Которая царя-батюшку бомбой... Клянусь, задушила бы, не колеблясь.

— Да что вы! — сказал я.— Зачем же так горячиться? Вы себя плохо знаете. В то время вы не только не стали бы душить Перовскую, а, наоборот, кидали бы вместе с ней в царя-батюшку бомбы.

Она ожидала любого возражения, но не такого.

— Я? В царя-батюшку? Бомбы? Да вы знаете, что я убежденная монархистка?

— Я вижу, что вы убежденная монархистка. Потому что сейчас модно быть убежденной монархисткой. А тогда модно было кидать в царя-батюшку бомбы. А уж вы, с вашим характером, непременно оказались бы среди бомбистов.

Я не знаю точно, какие идеи владели бы умом этой дамы в прошлом, но я догадываюсь.

В Париже сейчас живет литератор, с которым мы дружили лет двадцать. Когда мы познакомились, это был еще сравнительно молодой человек, очень пылкий, романтичный и убежденный в том, что у него есть глубокие убеждения. На самом деле собственных убеждений у него никогда не было, те убеждения, которые он считал своими, были добыты не из непосредственного наблюдения над жизнью, а состояли из цитат основателей вероучения, одним из многочисленных последователей которого он был. Мир для него был простым и легко познаваемым, на любой сложный вопрос, задаваемый жизнью, всегда находился все объясняющий ответ в виде подходящей цитаты.

Как легко догадаться, его непогрешимым вероучением, его единственно правильным мировоззрением был марксизм, овладевший умами миллионов, но в то время уже начинавший выходить из моды. К моменту нашего знакомства мой друг уже разочаровался в Сталине и «вернулся» к Ленину. Маленький портрет Ленина в рамке стоял у него на письменном столе, на стене висел портрет Маяковского, а на подставке от цветов стоял большой бюст Гарибальди.

Мой друг считал меня циником, потому что я подтрунивал над его кумирами, мои язвительные замечания о Ленине воспринимал как богохульство, я был непрогрессивным, отсталым, не мог правильно оценить явления в их сложной взаимосвязи, потому что с трудами Ленина был знаком лишь поверхностно. «Если бы ты читал Ленина,— назидательно говорил мне мой друг,—ты бы все понял, потому что у Ленина есть ответы на все вопросы».

Я не был антиленинцем, но не верил, что один человек, пусть даже трижды гений, может ответить на все вопросы, волнующие людей через десятилетия после его смерти.

Шли годы. Друг мой не стоял на месте, он развивался. Портрет Ленина однажды исчез, его место заняла Роза Люксембург. Рядом с Маяковским появился Бертольт Брехт. Потом, сменяя друг друга, а иногда соседствуя во временных сочетаниях, появлялись портреты Хемингуэя, Фолкнера, Че Гевары, Фиделя Кастро, Пастернака, Ахматовой, Солженицына. Недолго висел Сахаров. Гарибальди продержался дольше других, может быть, потому, что бюсты менять дороже.

Как-то мы поссорились.

Появившись в доме моего друга несколько лет спустя, я увидел, что декорации резко переменились. На стенах висели иконы, портреты Николая Второго, отца Павла Флоренского, Иоанна Кронштадтского и других, известных и неизвестных мне лиц в рясах и монашеских клобуках. Гарибальди, покрытого толстым слоем пыли, я нашел за шкафом.

Мы поговорили о том, о сем, и, когда я высказал по какому-то поводу свои отсталые взгляды, мой друг снисходительно сказал мне, что я заблуждаюсь и мои заблуждения объясняются тем, что я незнаком с сочинениями отца Павла Флоренского, который по этому поводу говорил... И тут же мне была приведена цитата, которая должна была меня совершенно сразить. И я понял, что годы, когда мы не виделись, не прошли для моего друга даром, он уже вполне овладел новым, передовым и единственно правильным мировоззрением и мне его опять не догнать.

Схема развития моего друга характерна для многих людей моего и нескольких предыдущих поколений. Бывшие марксисты и атеисты теперь пришли кто к православию, кто к буддизму, кто к сионизму, а кто к парапсихологии или бегу трусцой.

А когда-то это были романтически настроенные мальчики и девочки. С пылающим взором и мозгами, забитыми цитатами из сочинений классиков единственно правильного мировоззрения. Я лично их опасался гораздо больше, чем профессиональных чекистов или стукачей. Те по лени или отсутствию разнарядки могли что-то пропустить мимо ушей. А эти, преданные идеалам, с принципиальной прямотой могли в лучшем случае обрушить на вас град цитат, а в худшем и вытащить на собрании, не пожалев ни ближайшего друга, ни любимого учителя, ни папу, ни маму.

Теперь эти бывшие мальчики и девочки в своих идеалах разочаровались. Некоторые из них отошли от активной деятельности, сосредоточились на своей работе, истину или не ищут или ищут, но не в сочинениях своих прежних кумиров. И ведут себя тихо.

Но есть и другая категория. Те, которые быстро раскаялись и сами себя простили. И теперь утверждают, что тогда все были такими, как они. А это неправда. Это даже клевета.

Конечно, мы все, или большинство из нас, подверглись невиданной обработке. Идеология вдалбливалась в нас с пеленок. Некоторые в нее поверили искренне. Другие относились как к религии, со смесью веры и сомнения: раз столь ученые люди (не нам чета) утверждают, что марксизм непогрешим, так, может быть, им виднее? Большинство молодых людей, если они не росли в семьях религиозных сектантов, были пионерами и комсомольцами, потому что другого пути не знали. Даже невступление в комсомол было уже вызовом всесильной власти (ведь кто не с нами, тот против нас). Но, вступая в комсомол (а иногда даже и в партию), посещая собрания и платя членские взносы, большинство все-таки сохранило способность к сомнениям. И инстинкт совести не каждому позволял вытаскивать на собрании товарища, который шепотом рассказал анекдот о Сталине или признался, что его отец не погиб на войне, а был расстрелян как враг народа. Большинство, конечно, не возражало (возражавших просто уничтожали), но отмалчивалось и уклонялось. Многие люди совмещали искреннюю веру в марксизм-ленинизм с вполне порядочным личным поведением.

Бывшие пламенные мальчики-девочки теперь иногда всерьез верят, что раньше все были такие, потому что они не слышали никого, кроме себя. Некоторые из них, провозглашая теперь антикоммунистические лозунги, опять кричат громче других, хотя именно им, хотя бы из чувства вкуса, следовало бы помолчать.

Я знаю одну немолодую даму, которая, будучи девочкой, так оголтело боролась в своем высшем учебном заведении с идеологической ересью, что даже парторги ее останавливали. В пятьдесят третьем году она обвинила свою подругу на комсомольском собрании, что та не плакала в день смерти Сталина. И теперь, когда эта бывшая девочка пишет в эмигрантской печати: «мы христиане», меня это, право, коробит. Для меня понятие «христианин» всегда было связано

с понятием «совестливый человек», но далеко не каждого из наших новообращенцев можно отнести к этой категории людей.

Я вовсе не против того, чтобы люди меняли свои убеждения. Напротив, я совершенно согласен с Львом Толстым, сказавшим однажды примерно так: «Говорят, стыдно менять свои убеждения. А я говорю: стыдно их не менять».

Придерживаться убеждений, которые стали противоречить жизненному или историческому опыту, глупо, а иногда и преступно. Впрочем, я лично (прошу простить за категоричность) никаким убеждениям не доверяю, если они не сопровождаются сомнениями. И в то, что какое-либо учение может быть приемлемо для всех, тоже не верю.

А вот мой бывший друг в это поверил. Перейдя из одной веры в другую, он верит, что изменился. На самом деле каким он был, таким остался. Только выкинул из головы одни цитаты и забил ее другими. Но остался таким же воинственным, как и раньше. И, оперируя новыми (для него) цитатами, намерен пользоваться ими не только для самоудовлетворения, не только для того, чтобы идти самому к новой цели, но и для того, чтобы тащить к ней других.

Мой друг и его единомышленники повторяют давнишнюю выдумку, что Россия страна особенная, опыт других народов ей никак не подходит, она должна идти своим путем (как будто она им не шла). Демократия создателей новых учений не устраивает. Демократические общества, говорят они, разлагаются от излишних свобод, слабы, они слишком много внимания уделяют правам человека и слишком мало — его обязанностям, и руководят этими обществами фактически не выдающиеся личности, а серое большинство. Демократии противопоставляется авторитаризм не как компромиссная, а как наиболее разумная форма правления. Я многих сторонников авторитаризма спрашивал, что это такое. Мне говорят вполне невразумительно, что это власть авторитета, то есть некоей мудрой личности, которую все будут считать Авторитетом. Но если отбросить испытанную веками практику демократического избрания авторитетной личности путем всеобщих и свободных выборов на ограниченное время и с ограниченными полномочиями, то каким иным способом, кем и на какое время будет устанавливаться чей бы то ни было авторитет? Не будет ли этот Авторитет назначать на эту должность самого себя? И не превратится ли общество опять под мудрым водительством Авторитета в стадо оголтелых приверженцев с цитатами и автоматами? И разве для сотен миллионов людей не были авторитетами (причем вовсе не дутыми) Ленин, Сталин, Гитлер, Мао? А чем Хомейни не авторитетная личность?

Все эти мудрствования о просвещенном авторитарном правлении могут окончиться новым идеологическим безумием. Они не основаны ни на каком историческом опыте, ни на каких реальных фактах. Где, в какой стране существует хотя бы один мудрый авторитарный правитель? Чем он лучше правителей, избранных демократически и контролируемых «серым» большинством? Чем авторитарные страны лучше демократических?

Эмигрировавшие из Советского Союза проповедники авторитаризма красноречиво отвечают на этот вопрос, местами своего жительства выбирая демократические и никогда — авторитарные страны.

Авторитаристы, как и предшествовавшие им создатели единственно правильных мировоззрений, весьма склонны к риторике и демагогии. Они говорят: «Ну хорошо, ну, демократия, а что дальше?» Можно и их спросить: «Авторитаризм, а что дальше?»

Некоторые авторитаристы уже сейчас, называя только себя истинными патриотами (что, по крайней мере, нескромно), всех несогласных с собой объявляют клеветниками и ненавистниками России (точно так же, как большевики своих оппонентов называли врагами народа), и мне совсем нетрудно представить, как и против кого они используют полицейский аппарат будущего авторитарного строя, если он когда-нибудь будет создан.

Пока этого не случилось, я рискну сказать, что никаких серьезных проблем без демократии решить нельзя. Вопрос «Демократия, а что дальше?» бессмыслен, потому что демократия не цель, а способ существования, при которой любой

народ, любая группа людей, любой отдельный человек могут жить в соответствии со своими национальными, религиозными, культурными или иными склонностями, не мешая другим проявлять свои склонности тоже. Демократия, в отличие от единственно правильных мировоззрений, не лишает никакой народ своего своеобразия, при ней немцы остаются немцами, англичане — англичанами, а японцы — японцами.

Я вовсе не утверждаю, что Россия уже сейчас готова к демократическим переменам. Я даже подозреваю, что она совсем не готова. Я только знаю, что если организм болен раком, глупо думать, что он может выздороветь без всякого лечения или при помощи лечения, не соответствующего болезни.

КОЕ-ЧТО О БЕГЛЕЦАХ

Особенно важные и подробные анкеты заполняются советскими людьми при выезде за границу. Ах, какие же это анкеты! Поэмы, стихотворения в прозе, а не анкеты. Я-то сам, правда, никогда их не заполнял, до этого дело не дошло. Мне такого доверия товарищи из партии, КГБ и Союза писателей никогда не оказывали. Но от других много про это слышал. И несмотря на это — бежит народ. Со страшной силой бежит. Бежит, как сказал однажды поэт, быстрее лани. Да что там лани! Лань — животное, конечно, быстрое, но все же скорость его ограничена. А вот летчик Виктор Беленко (помните?), он несколько лет назад в Японию на своем МИГе быстрее звука бежал. Тогда еще анекдот о новой рекламе Аэрофлота родился: «Один МИГ — и вы в Японии».

Ну, анекдотов по поводу бегства советских людей и их социалистических братьев на Запад было немало. Помню, когда-то шел вокруг Европы польский туристический корабль «Стефан Баторий». Пассажиры бежали с него чуть ли не в каждом порту, поодиночке и группами, так что корабль почти опустел. Тогда поляки острили, что его надо называть не «Стефан Баторий», а «Летучий голландец». А после бегства некоторых артистов балета родилась шутка: «Что такое Малый театр? Это Большой театр после заграничных гастролей».

Но шутки шутками, а люди бегут. И какие люди! Артисты, дирижеры, режиссеры, гроссмейстеры, заслуженные мастера спорта, доктора всевозможных наук, орденоносцы, лауреаты, депутаты, дипломаты и, само собой, работники Комитета государственной безопасности. Ну, эти-то бегут, пожалуй, больше других. Из них уже можно было бы создать хорошую команду по бегу с препятствиями. Бегут мелкие сошки и большие чины. Даже заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Аркадий Шевченко, и тот сбежал. А совсем недавно, говорят, генерал-лейтенант в полной форме перешел турецкую границу пешком.

Казалось бы, какие люди! Проверенные! И в местной партийной организации их проверяли. И на райкоме характеристику утверждали. И выездная комиссия ЦК и КГБ всю подноготную бдительно изучала. И все, как говорится, было в ажуре. И социальное происхождение, и служебное положение. Политически выдержан, морально устойчив. Производственные задания выполняет. На собраниях выступает. В субботниках участвует. Жене не изменяет. Судимостей, выговоров и венерических болезней не имеет, партийные взносы платит вовремя.

И вот, имея такие прекрасные по всем статьям показатели, человек все же бежит.

У меня вот один знакомый был. Режиссер. В документальном кино работал. Так он однажды фильм о балете снимал. Начал снимать одного солиста, ему говорят: «Нет, этого не надо, он нехороший». Потому что он однажды письмо какое-то нехорошее в чью-то защиту подписал. Так вот режиссеру говорят руководящие товарищи: «Вы этого не снимайте, он плохой, а снимайте такого-то, он — хороший. Он у нас народный талант, национальное достояние, прыгает выше других, писем не подписывает, на политических информациях регулярно присутст-

вует, общественную работу как депутат горсовета ведет и вступил кандидатом в партию». Ну, режиссер, конечно, советский и сам тоже политически выдержан и морально устойчив. Что скажут, то и делает. Так он этого нехорошего вырезал, а на хорошего километра два пленки еще извел. Довольный собой, бежит показывать свой шедевр начальству.

Садятся они в темном зале. Гасится свет, играет музыка, на экране почти что голый возникает кандидат в члены КПСС и так подпрыгивает, словно его уже в действительные члены произвели. Режиссер косит взгляд на начальство, начальство косит взгляд на него и, даже в темноте видно, хмурится.

А потом и говорит:

— Это кого ж ты нам показываешь?

— Как же кого? Это же этот...— и называет фамилию.— Наш несравненный народный талант и народное достояние, кандидат в члены и депутат горсовета.

— А ты знаешь, что этот депутат не далее как вчера политическое убежище попросил?

— Не может,— режиссер говорит,— быть! Не могу себе даже этого представить.

— Как это ты не можешь представить? Ты что же, «Голос Америки» что ли не слушаешь?

— Нет, нет, что вы! — говорит режиссер.— Сам не слушаю и детям своим не разрешаю такую дрянь слушать. А насчет артиста, так вы же сами сказали, чтобы не этого снимал, а вот этого.

Это он, конечно, сказал, не подумавши. Лучше бы он возвел на себя напраслину, признался, что слушает одновременно «Голос Америки», «Свободу» и «Би-би-си». А он вместо этого намекнул начальству, что оно само в промашке такой виновато.

И дело для него очень печально кончилось. Вышел по его поводу секретный приказ. Картину смыть. Режиссера от работы в кино отстранить, выговор ему за притупление политической бдительности и протаскивание на экран сомнительных личностей залепить.

Режиссер сам после этого стал политически не выдержан и морально не очень устойчив. Запил, опустился, бороду отрастил, радио иностранное стал слушать. Потом, правда, исправился. Пить перестал, бороду сбрил, «Спидолу» свою в комиссионку отнес. Стал опять посещать собрания, по членским взносам всю задолженность уплатил и никакого радио. Только хоккей и фигурное катание по телевизору смотрит, и когда наши побеждают, кричит «ура» так, что даже соседям слышно.

Начальство видит: все-таки свой человек. Ну, споткнулся в свое время, конечно, но с кем не бывает. Сняли с него опалу, стали работенку подкидывать. А потом уж, войдя в полное доверие, режиссер и вовсе обнаглел и подал заявку на очень необходимый сегодня фильм. «По ленинским местам» фильм должен был называться или как-то в этом духе, я, признаться, точно не помню. А места эти, ленинские, они, как известно, в большинстве своем за рубежами нашей Отчизны находятся. Потому что товарищ Ленин в свое время был тоже как бы невозвращенец. И от царской власти скрывался, как я сейчас от советской, и в Мюнхене, и в Женеве, и в Париже, и в Лондоне.

Начальство, конечно, заколебалось немного. Все же ошибку когда-то допустил. Но потом посмотрели на него так и эдак. И анкета — как стеклышко, и к спортивным нашим успехам неравнодушен, и кто секретарь французской компартии знает, и в моральном разложении проявляет сдержанность. Ну, объяснили ему, чтобы он там на провокации не поддавался, в связи с лицами враждебного пола не вступал, в магазинах на товары не набрасывался, а если спросят про Сахарова, надо отвечать: «Лично с ним не знаком и ничего хорошего о нем сказать не могу». А про Афганистан следует говорить: «Я точно не знаю, где это, но слышал, что временно ограниченный контингент помогает крестьянам в уборке хлопка и ремонте дорог».

Выдали ему в ОВИРе заграничный паспорт, выдали в банке ограниченную сумму валюты, продали в Аэрофлоте билет в два конца. Один конец оказался лишним. Он и до сих пор по ленинским местам передвигается. Мюнхен — Цюрих — Женева — Париж — Лондон.

Так вот я и говорю, за границу-то у нас не каждого пускают. Отбирают самых достойных, самых проверенных, а они-то как раз и бегут.

Правда, когда сбежит такой вот проверенный, тут-то и выясняется, что он, такой-сякой, и доллары любит, и джинсы носит, и на женщин легкого поведения падок, а бывает, даже и к особам собственного пола неравнодушен.

Ну, конечно, на все больные мозоли невозвращенца нажимают, близких родственников заставляют рыдать на страницах газет, официальные представители государства ищут с беглецом встречи, поют сладкими голосами: вернись! Родина тебе все простит и к тому, что у тебя было, еще что-нибудь добавит, а не вернешься, такой-сякой (тут следуют шепотом всякие сильные выражения), мы тебя все равно, где б ты ни был, достанем.

И само собой, начинают попрекать его каждым куском, который дала ему партия: и образованием, и воспитанием, и дачами, и автомобилями, и тем, что к распределителю был приставлен. И чего, говорят, ему не хватало? А ему, может, свободы не хватало. Не той, которая осознанная необходимость. А той, которая осознанная или даже неосознанная потребность. А может, он от этого вашего распределителя и сбежал? Может, ему стыдно бывало выходить из вашего секретного заведения с куском салями или осетрины, завернутым в серую бумагу, чтобы не бросалось в глаза? Может, ему противно было проходить унизительную процедуру проверки лояльности, которой подвергается каждый, собирающийся выехать за рубеж? Может, у него язык не поворачивался сказать, что он не знает, кто такой Сахаров и где находится Афганистан?

И вот еще что интересно: а почему к нам-то никто не бежит? Если у нас все так хорошо: и безработицы нет, и квартиры дешевые, а медицина и вовсе бесплатная, и человек человеку — друг, товарищ и брат. Но вот приезжают в страну своей мечты то Анджела Дэвис, то Жорж Марше, то Джеймс Олдридж, то еще какой-нибудь иностранный товарищ заявится. А его ведь встречают не то что нашего за границей, его на длинной машине возят, в лучшей гостинице поселяют, красоты всякие показывают, черную икру на красную намазывают. А они покрутятся здесь, покрутятся да и отправляются восвояси. Не бегут. Хотя их никто не проверял. Хотя в их странах никаких выездных комиссий не существует. А может, как раз поэтому? Может, все эти выездные комиссии есть одна из причин, по которым люди бегут? Потому что, если вам хочется навестить дядюшку в Лос-Анджелесе или тетушку в Амстердаме, или, скажем, провести пару недель на берегу Средиземного моря, гораздо приятнее просто взять билет на самолет и не клясться, что будешь бдительным, будешь давать отпор, а к улыбке встречной женщины относиться как к заранее запланированной провокации.

Ну, а если уж никак нельзя жить без выездной комиссии, то секретным товарищам, которые там работают, я хотел бы дать очень полезный совет. Надо усилить бдительность. Надо отбирать кандидатов из кандидатов. В первую очередь убежденных коммунистов, активных общественников. Внимательно изучать их анкеты, характеристики, донесения осведомителей. И когда будут отобраны самые преданные, самые достойные, лучшие из лучших, их как раз за границу ни в коем случае и не выпускать. Потому что, как я заметил, именно они чаще всего и бегут.

НЕУТОПИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ

Около двух лет тому назад, будучи в Израиле, я был приглашен в киббуц. Я думаю, многие слышали, что в Израиле есть такие сельскохозяйственные объединения, где люди трудятся сообща. Если вы скажете, что это что-то вроде колхозов, вас начнут поправлять и указывать на ту разницу, которая существует между советским колхозом и израильским кибуцем. Разница, конечно, есть, и о

ней я скажу, но если понимать слова буквально, то как раз кибуц это и есть колхоз — коллективное хозяйство. А советский колхоз — это нечто другое.

Пригласил меня в этот кибуц один из его членов, поэт, который живет точно по Маяковскому: землю попашет, попишет стихи.

Кибуц находится километрах в двадцати от Тель-Авива. Я приехал туда на автобусе, поэт и его жена встретили меня на остановке, стали показывать и рассказывать. Между немногочисленными кибуцами в Израиле есть определенное сходство, но есть и различие. Сходство заключается в том, что кибуцы состоят из людей, согласных трудиться сообща. Но для того, чтобы люди изо дня в день, из года в год могли вместе и жить, и работать, и растить детей, и отбиваться от врагов (а в некоторых кибуцах приходится заниматься и этим), одной только общности хозяйственных интересов мало. Объединять их должно нечто большее. Поэтому есть кибуцы, члены которых объединены общей религией или идеологией, или какими-то политическими устремлениями и принципами. Члены кибуца, в который попал я, считают себя социалистами, другие себя считают кем-то еще, но, что бы они ни считали, они все именно социалисты, потому что кибуц — это и есть воплощенный в жизнь социализм. Здесь трудовое участие в делах и распределение благ подчинены принципу: от каждого — по способности, всем — поровну.

Усадьба кибуца находится на берегу Средиземного моря. Здесь есть два общественных здания и много двух- трех- четырехквартирных коттеджей. Коттеджи друг от друга никак не отделены. При каждом небольшой цветник. Вообще, вся территория в цветах и похожа на дом отдыха или санаторий.

Когда мы шли от остановки к поселку, я обратил внимание на стоявшее за загородкой стадо коров. Все они были одного цвета, все крупные, и у каждой вымя ведра, пожалуй, на три. Поэт объяснил мне, что все коровы одной и той же породы, все высокопродуктивные и все до одной дают молока столько, сколько в Советском Союзе удается надаивать только от рекордисток. Между прочим, стада коров я видел в разных странах — и в Германии, и в Швеции, и в Голландии, и везде-везде все коровы без исключения дают высокие надои. Дело в том, что нынешняя система выведения пород домашних животных настолько отработана, что они, при правильном, конечно, кормлении, всегда дают максимум того, на что способны: молока, мяса, шерсти или яиц. Здесь безмолочных коров, бесплодных кур и лысых овец просто не держат.

Поэт сказал мне, что кибуц производит молочные продукты, но не очень много, потому что производство ограничено конкуренцией и спросом. Основная же продукция кибуца — авокадо. Выращивают этот тропический фрукт здесь в больших количествах, но в меньших, чем могут. Один только этот кибуц мог бы завалить своей продукцией всю Европу. Но делу мешает та же конкуренция, другие тоже хотят завалить Европу. Поэтому кибуцникам приходится свой трудовой пыл умерять и довольствоваться реальными возможностями. Тем не менее кибуц, хотя и не относится к самым процветающим, но на ногах стоит крепко.

Меня, понятно, интересовали больше всего, так сказать, социальные аспекты жизни кибуцников: что их держит вместе, как они живут, чем питаются, как воспитывают детей и как делят доходы.

Так вот, возьмем нашего поэта. Семья из трех человек — муж, жена и ребенок. Квартира — двухкомнатная. На троих маловато, но живут они практически вдвоем. Ребенок находится в круглосуточном детском саду. После работы его обычно берут домой, к вечеру отводят назад, где он и ночует.

Работают они в кибуце так: жена пять дней в неделю, муж три дня. Два дня у него творческие. В эти дни он может писать стихи или ездить на заседание Союза писателей, в работе которого он тоже активно участвует.

— Значит, здесь, в кибуце, вы зарабатываете меньше, чем другие? — спросил я его.

— Нет,— сказал он,— у нас понятие «заработок» вообще не существует

— А как же?

— А вот так. Мы все работаем в кибуце, доим коров или выращиваем авокадо. Но среди нас есть поэты, художники, музыканты. Им всем предоставляется свободное время для творчества. Кибуц со своей стороны им помогает: дает помещение, материалы, устраивает выставки и концерты, а мои книги издает за свой счет. Если эту книгу удается продать и она приносит доход, мой гонорар идет в кассу кибуца. Если никакого гонорара нет, значит, нет. Скажем, на мне кибуц потерпел некоторые убытки, зато заработал от концерта наших музыкантов или от продажи каких-то картин наших художников. Все это идет в доход кибуца.

— Ну, а потом все-таки как? Кому, чего, сколько?

— Ну, тут надо понять главное. Все, что каждый из нас и все вместе зарабатываем, все идет в доход кибуца. Кибуц тратит эти деньги на расширение производства, покупку механизмов, строительство квартир. Производственных и бытовых помещений. Члены кибуца получают, в основном, не деньгами, а натурой. Все у нас бесплатно: питание, жилье, мебель, одежда, детские сады, школы, больницы. Деньги мы все получаем одинаково и немного — на личные расходы, театры, книги и так далее. Ну, и, само собой, отпускные. Мы каждый год ездим в Европу, нам на это тоже дают деньги.

Обедали мы в здешней столовой. Столовая большая. В ней, конечно, самообслуживание. Шведский стол с фруктами и овощами и раздача, где выдают горячие блюда. После обеда каждый поевший сам за собой вытирает стол, остатки еды сбрасывает в контейнер для отходов, а посуду ставит на конвейер, который утаскивает ее в судомойку. Все это трехразовое питание тоже бесплатно.

— Значит, вы дома совсем не готовите? — спросил я жену поэта.

— Нет, почему же, готовим и довольно часто. Мы вообще завтракать и ужинать предпочитаем дома.

— А продукты покупаете за свои деньги?

— Нет. Продукты мы берем здесь тоже бесплатно.

— А какая норма?

— Никакой нормы. Сколько нам надо, столько берем.

— А вот вы дома открыли бутылку вина. Вы ее за свой счет купили?

— Нет, я пошла на склад, сказала, что у меня гости и взяла две бутылки.

— Ну хорошо,— сказал я,— а кто вами руководит?

— Мы сами.

— Как?

— Очень просто. У нас вся дирекция сменная. Вот, например, наш сегодняшний директор недавно работал трактористом, два года отработает директором, перейдет в шоферы или будет мыть на кухне посуду, а судомойщик станет директором. И так все должности переходят от одного к другому, кроме, допустим, врачей или учителей, но врачей и учителей мы, как правило, нанимаем, они не члены кибуца.

— Значит,— сказал я,— у вас все так идеально устроено, прямо по Сен-Симону. Но человеческое общество не может быть идеальным. И у вас, наверное, бывают конфликты.

— Почему вы так думаете? — спросил поэт.

— Потому что я знаю, что люди разные. Один работает за двоих и ничего не требует. Другому кажется, что его обделили, что он больше других работает и меньше других получает. Что, может быть, у вас работа лучше, чем у него, или квартира.

— Нет,— сказал поэт,— у нас таких конфликтов не бывает.

— Почему?

— Потому что мы все, здесь собравшиеся, придерживаемся определенных принципов, все, без исключения, согласны, что каждый работает, сколько может и как может, все готовы жить скромно, помогать друг другу, все доброжелательны...

— Но так не может быть,— усомнился я.— Люди-то разные. Есть доброжелательные, есть злые, есть скупые, есть завистливые.

— Ну, конечно, есть,— согласился поэт,— но не у нас. Понимаете, у нас происходит естественный отбор. Членом кибуца сразу стать нельзя, а попробовать себя можно. К нам многие люди приезжают из разных стран. В основном

молодежь. Они у нас работают на тех же условиях, что и мы. Один поработает месяц и уходит. Другой поработает сезон или даже два и тоже уходит. Если у него нет всех тех качеств, которые должны быть у кибуцника, он здесь и сам не захочет остаться.

Когда я собрался уезжать, было уже поздно и автобусы не ходили. Жена поэта взялась довезти меня до Тель-Авива.

— А у вас разве есть машина? — удивился я.

— У нас нет,— сказала она,— а у кибуца есть несколько. Если есть свободная машина, я могу ее взять сразу. Если нет, я должна подождать. Если я собираюсь ехать на машине в отпуск, я должна подать заявку заранее.

— И за машину вы тоже ничего не платите?

— Конечно, не платим.

Она куда-то ненадолго ушла, потом подъехала на маленьком фольксвагене.

Машина была в полном порядке, но вид у нее был казенный. На неказенной машине всегда как-то отражается личность хозяина. Или она вылизана, или украшена какими-нибудь финтифлюшками. Или, наоборот, побитая, с какими-нибудь вещами, забытыми, валяющимися на сиденье или на полу. Здесь не было ни вылизанности, ни запущенности и никаких признаков принадлежности ее кому-то.

И я подумал, что какие-то неуловимые признаки личного отношения к вещам и помещениям отсутствовали и в квартирах, которые я видел, и в столовой, и аезде.

А еще я думал, что вот, пожалуй, то, что я видел, и есть самый настоящий, причем даже не утопический, а живой социализм. Но для того, чтобы он осуществился хотя бы в малой ячейке общества, надо, чтобы все члены этого общества, по крайней мере, были склонны к жизни и труду в коллективе. Но ведь есть же и индивидуалисты, есть люди с плохим характером, есть такие, которые вообще на одном месте усидеть не могут. И вот, если их всех согнать в такой коллектив и всех заставить жить в коллективе, работать по-разному, а делить поровну, то тогда ничего не получится. В том-то и дело, что в каждом обществе есть разные люди и с разными склонностями. И если в этом обществе есть еще и свобода, то все люди могут жить как хотят. Могут по-социалистически, по-капиталистически или еще как-нибудь. А если их заставлять жить по одному порядку насильно, тогда они звереют и уже не только не хотят жить в коллективе, а даже само это слово вызывает у них душевную дрожь.

Между прочим, в этих кибуцах живут люди разного происхождения. Есть коренные израильтяне, есть переселенцы из разных стран, но почти нет переселенцев из Советского Союза. Люди, в которых с пеленок развивали дух коллективизма, теперь этот дух на дух не переносят.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? КТО ВИНОВАТ? ЧТО ДЕЛАТЬ?

Проблема в кружках

Стояла длиннющая очередь за пивом и я в нее сдуру стал. Прошел час, а путь до пивного ларька сократился не больше, чем наполовину. Стою, раздираемый сомнениями. С одной стороны, черт с ним, с этим пивом, с другой стороны — час ведь уже отстоял, неужели зазря? Все же стал склоняться к тому, чтобы уйти, но тут в очереди, вижу, бунт назревает. Точнее, не бунт, а, скажем помягче, ропот. Заволновались мужики, да что это мы не движемся? Небось, там какие-то нахалы без очереди лезут или по десять кружек берут или продавщица своим продает через задние двери. И так этот ропот распространялся и, как по бикфордову шнуру, пошел от хвоста к голове. Дошел, видимо, до самого ларька, да там как-то затих, а потом от головы к хвосту пошло объяснение:

— Проблема в кружках,— услышал я впереди, то есть проблема в том, что народу много, а кружек мало.

— Проблема в кружках,— передавали передние задним.— Проблема в кружках.

И все согласно закивали головами, все успокоились, что никто их не надувает, не лезет без очереди, никому не выносят через задние двери, а проблема всего только в кружках. И так стояли, подобрев к передним и успокоившись. И я стоял. И часа через полтора достоялся. И хотя, не будучи особым любителем пива, я его никогда не пил больше одной кружки, в этот раз взял две, потому что как-то обидно было два с половиной часа стоять из-за одной.

Евреи виноваты

Начало 1953 года. Я служу солдатом в Польше. Учусь в школе авиамехаников. Обыкновенный армейский распорядок: подъем, построение, уборная, построение, утренняя поверка, завтрак («С места с песней шагом марш!»), восемь часов занятий (строевая подготовка, теория двигателя, физкультура, топография, уставы, теория полета, политзанятия), обед, дневной сон, три часа самоподготовки («С места с песней шагом марш!»), ужин, сорок минут личного времени (написать письмо, почистить пуговицы, подшить подворотничок), построение, вечерняя прогулка («С места с песней шагом марш!»), пять минут личного времени (старшина командует: «Покурить, постоять, приготовиться к отбою... Рррразойдись!»), построение, вечерняя поверка, отбой.

Газеты-журналы читать некогда, но куда ни сунешься, везде космополиты: и воруют, и спекулируют, и низкопоклонствуют перед заграницей, «а сало русское едят» (Михалков). Фельетон «Пиня из Жмеринки», поэма «Кому на Руси жить хорошо?» (ответ: евреям). И наконец, апогей кампании: «Убийцы в белых халатах», врачи, которые по заданию еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт» составили террористический заговор, убили Жданова, Щербакова, собирались убить несколько маршалов и генералиссимуса Сталина.

Я был далеко от Родины и не видел своими глазами, но узнал потом, что население было в панике. Люди отказывались лечиться у врачей-евреев, выбрасывали прописанные ими лекарства, русские ученики били своих еврейских одноклассников, сами евреи не только боялись народного гнева, но и стыдились своей принадлежности к этому зловредному племени. Много лет спустя мой приятель рассказал мне об одном своем письме того времени. «Мне стыдно, что я — еврей»,— написал он своим родителям.

А у нас в школе все идет своим чередом. И вдруг на уроке по политической подготовке встает курсант Васильев и, покраснев от напряжения, от сознания того, что хватит молчать, спрашивает: «Товарищ старший лейтенант, а почему у нас, в Советском Союзе, евреев не расстреливают?»

Произошло некоторое замешательство. Класс затаил дыхание. Старший лейтенант помолчал, подумал, потом улыбнулся Васильеву.

— Я понимаю, чем вызвано ваше беспокойство, но вы вопрос ставите не совсем правильно. Конечно, преступления некоторых людей еврейской национальности вызывают наше возмущение, наш справедливый гнев, но все-таки мы должны помнить, что мы гуманисты, интернационалисты и мы знаем, что евреи бывают всякие. Бывают плохие евреи, бывают хорошие, трудящиеся евреи.

— Вот как, например, Фишман,— радостно подсказал Казимир Ермоленко.

— Вот как, например, Фишман,— охотно поддержал старший лейтенант и церемонно поклонился сидевшему на задней парте смущенному Фишману.

Васильев покраснел еще больше, сжал кулаки и сказал решительно:

— Фишман не еврей.

Хотя у него не было никаких причин сомневаться в происхождении Фишмана, он знал, что Фишман, при всех его недостатках в общем-то свой парень. И Васильев готов был расстрелять всех евреев, кроме одного — Фишмана.

Год 1979-й. В одной московской компании знакомлюсь с неким доктором-психиатром. Он говорит, что только что прочел книгу писателя Ф. Это роман о том, как немолодой еврей, отрешившись наконец от своих былых коммунистических иллюзий, пришел к православию, крестился и много размышляет об исторической вине евреев перед русским народом. Автор (сам, между прочим,

еврей) говорит, что стыдно даже сравнивать ручеек еврейской крови с рекой крови, пролитой русскими.

Психиатру роман очень понравился.

— Чем же он вам мог понравиться? — спросил я.— Ведь он же просто очень плохо написан. Он скучный.

— А я, знаете, уже вышел из возраста, когда в книге ищут какого-нибудь острого сюжета или стилевых тонкостей. Меня интересуют только мысли.

— И какие же мысли вы нашли в этом романе?

— Я нашел в нем одну главную мысль и очень правильную. Он убедительно показывает, что во всем виноваты евреи. И в первую очередь — Бланк. Вы знаете, что настоящая фамилия Ленина — Бланк?

— Нет,— сказал я,— я знаю, что его настоящая фамилия Ульянов.

— Не Ульянов, а Бланк. Отец его матери был еврей Бланк.

— Хорошо, а кто был ваш дедушка по матери?

Мне случайно повезло. Оказалось, что его дедушка был татарин.

— Значит, и вы татарин?

— Нет, я русский.

На этом наш спор прекратился, потому что если уже человек дошел своим умом, что во всем виноваты евреи, его с этой точки никакими доводами не сдвинешь.

1981-й год, Германия. Женщина преклонного возраста, старая эмигрантка, пригласила меня к себе. Поставила мне и мужу, немецкому бизнесмену, водку, сама пьет чай. Очень интересуется тем, что происходит в России и, в частности, национальным вопросом.

— Вот я тут со всеми спорю, со мной никто не соглашается. Скажите вы, правда ведь, никакого украинского языка не существует, а есть всего лишь малороссийский диалект русского?

— Нет,— говорю я,— думаю, что это неправда. Если вы услышите украинскую речь, не зная ее, вы, пожалуй, ничего не поймете. Это значит, что украинский язык все-таки есть.

Она промолчала, но вряд ли согласилась. Поговорили еще о чем-то.

— Скажите,— говорит она,— а почему среди диссидентов и среди советских правителей так много нерусских?

— Вы хотите сказать, что среди них много евреев?

— Ну да,— сказала она, слегка замявшись.

— Что касается диссидентов,— сказал я,— то среди них евреи, конечно, попадаются. А вот среди правителей... Скажите, вы думаете, Брежнев — еврей?

— А разве нет?

— Нет. Брежнев не еврей. И все остальные члены Политбюро не евреи.

— Ну как же,— говорит она и достает спрятанную за книгами советскую газету с портретами членов Политбюро, брезгливо смотрит на них.— Разве они русские?

— Во всяком случае, не евреи. Но если вы хотите подробнее, давайте посмотрим. Брежнев — русский, Андропов — русский, Гришин — русский, Громыко — русский, Кириленко — русский, Косыгин — русский, Кунаев — казах, Пельше — латыш, Романов — русский, Суслов — русский, Тихонов — украинец, Устинов — русский, Черненко — русский, Щербицкий — украинец. Эти четырнадцать человек являются реальными руководителями советского государства. Из них десять русских, два украинца, один казах и один латыш.

Старушка бережно сложила газету и опять спрятала ее за книги. Возражать мне она не стала, но мнения своего, похоже, не изменила.

Лет примерно тридцать тому назад на известного советского поэта и антисемита Сергея Смирнова, страдающего от большого физического недостатка и комплекса неполноценности, была сочинена эпиграмма:

Поэт горбат,
Стихи его горбаты.
Кто виноват?
Евреи виноваты.

ПАРТИЙНАЯ ЧЕСТЬ

Одного кинорежиссера как-то давным-давно, еще при старых деньгах, записали в очередь на квартиру. А жилищного строительства тогда в Москве не было почти никакого. И очередь двигалась ужасно медленно. Но все же двигалась, и режиссер наконец оказался в ней первым. И стал уже с женой воображать, как они получат ордер, как мебель расставят, куда кровать, куда телевизор. Месяц воображают, два воображают, полгода, год, он в очереди первый, а она то ли вовсе не движется, то ли движется как-то боком. Режиссер удивляется, но в чем дело, догадаться не может. Наконец кто-то, кто поумнее, ему говорит: «Ты,— говорит,— будешь в этой очереди стоять до второго пришествия или до тех пор, пока кому-нибудь нужному человеку на лапу не дашь». А режиссер был человек принципиальный, хотя в партии и не состоял. «Нет,— говорит,— ни за что! Взяток никогда не давал и давать не буду. Взятки,— говорит,— унижают и того, кто берет, и того, кто дает». «Ну хорошо,— говорят ему,— тогда стой в очереди неуниженный». Ну он и стоит. Год стоит, два стоит, жена, само собой, пилит. Капризная, не хочет дальше существовать в коммуналке, не хочет по утрам стоять очередь в уборную или к плите, чтобы чайник поставить. И надоело ей, видите ли, следить на кухне, чтобы соседи добрые в суп не наплевали или чего другого не сделали. Пилит она, пилит мужа, принципы его постепенно испаряются. Наконец он решился на преступление. «Ладно,— думает,— раз такое дело, один раз дам все-таки взятку, а больше уж никогда не буду». Был он в этом деле неопытный, но люди добрые помогли, свели его с одним значительным лицом из Моссовета. Сошлись они в ресторане «Арагви». Режиссер заказал того-сего: грузинский коньяк, лобио, сациви, шашлык по-карски. Выпили, закусили, и наконец режиссер этому лицу, которое перед ним после коньяка расплывалось, прямо так говорит: «Знаете,— говорит,— я живу весь в искусстве, от обыденной жизни оторван, взяток еще никому никогда не давал и как это делать — не знаю. А вы — человек опытный, не могли бы мне подсказать, кому чего я должен дать, сколько, когда и где?» Лицо еще коньяку отхлебнуло, шашлыком закушало, салфеткой культурно губы утерло и к режиссеру через стол перегнулось. «Мне,— говорит,— пять тысяч, здесь, сейчас».

Хоть шепотом, но четко, без недомолвок.

«Хорошо»,— говорит режиссер и достает из кармана бумажник. Но, впрочем, тут же несколько засомневался. «А что,— говорит,— если я вам эти пять тысяч вручу, а вы мне квартиру опять не дадите?»

Тут лицо от такого чудовищного предположения опешило совершенно и чуть шашлыком не подавилось, даже слезы на глазах появились. Даже голос задрожал. «Да что ты! — говорит.— Да как ты мог на меня так подумать? Да ведь я ж коммунист!»

И ведь на самом деле честный человек оказался. И месяца не прошло, как режиссеру ордер выписали. И зажили они с женой в новой квартире припеваючи. Пока не разошлись. Правда, к тому времени с квартирным вопросом полегче стало. Так что режиссер эту квартиру оставил старой жене, а с новой женой в кооператив записался. Там, ясное дело, тоже надо было на лапу дать, но режиссер был человек уже опытный и сам к тому времени вступил в партию. Так что он точно уже знал, кому, чего, когда и где.

СОВЕТСКИЙ АНТИСОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Многие люди, попав из Советского Союза на Запад, испытывают на новом пути известные трудности, нуждаются в помощи и стараются как-то обратить на себя внимание местного общества. В этом смысле, как я заметил, выгоднее всего быть бывшим работником КГБ. Если человек, явившись в полицию, со-

общает, что он служил в Комитете государственной безопасности, был там капитаном, майором или подполковником (чем выше, тем лучше), он может рассчитывать на самое благосклонное к себе внимание. К нему тут же сбегаются агенты разных спецслужб и журналисты, его возят на военных самолетах, его показывают по телевидению, а издатели шлют ему чеки с пяти-, а то и с шестизначными числами. Если человек не может представить достаточно убедительных доказательств своей службы в Комитете государственной безопасности, он может, по крайней мере, сказать, что был стукачом, то есть доносчиком, подслушивал чьи-то разговоры, а затем встречался с каким-нибудь профессионалом в шляпе где-нибудь в скверике, или на частной квартире, или в отделе кадров и там сообщал кто-где-чего сказал. Таким людям на очень большое внимание публики рассчитывать не приходится, но и из этих признаний можно что-то извлечь. А кто не хочет признаться, что был стукачом, может ограничиться признанием а том, что был дураком. Я был дурак, я верил в марксизм-коммунизм, в Ленина-Сталина и так далее. Верил, а потом разуверился, стал сразу умным. Один поумнел после доклада Хрущева, другой после венгерских событий, третий после Чехословакии, четвертый дождался Афганистана.

Мне в этом смысле похвастаться совершенно нечем. Дураком я, может, и был, но Сталина ненавидел лет примерно с четырнадцати, в Ленине сомневался, в КГБ не служил и даже стукачом, честно признаться, не был. Но встречаться и разговаривать с чекистами приходилось.

О первой встрече с ними я и хочу сейчас рассказать.

Туманным и морозным утром в январе пятьдесят девятого года я был разбужен громким и истеричным стуком. Выглянув за дверь, я увидел полуодетую хозяйку, бывшую танцовщицу Большого театра Людмилу Алексеевну.

— Володя, – сказала она ужасно встревоженным голосом,— какой-то человек ломится с черного хода и говорит, что он ваш товарищ.

Я посмотрел на часы, было половина девятого. Я вставал обычно гораздо позже, потому что очень поздно ложился.

Мои хозяйки — мать — Ольга Леопольдовна Паш-Давыдова и ее дочь — Людмила Алексеевна, обе в прошлом артистки Большого театра, а теперь обе пенсионерки (матери было за восемьдесят, дочери под шестьдесят),— сохраняли старые привычки и раньше трех часов ночи никогда не ложились. Я тоже привык к их распорядку и если случайно засыпал раньше, то приходила Ольга Леопольдовна, долго стучала в дверь и, достучавшись, говорила:

— Володя, вы не спите? Я пришла пожелать вам спокойной ночи.

Покойный муж Ольги Леопольдовны был одним из первых в СССР народных артистов республики, поэтому они были редкими среди москвичей счастливчиками, обладавшими отдельной четырехкомнатной квартирой в центре Москвы. В одной комнате жили они сами и большой королевский пудель, в другой — дочь Людмилы Алексеевны с мужем, новорожденным ребенком и овчаркой Нелькой, третья комната стояла пустая, если не считать маленькой и злобной собачонки (тибетский терьер), которая там сидела постоянно в углу. Четвертую комнату снимал я. Комната моя, если ее можно так назвать, была размером меньше четырех метров. Из мебели в ней была только большая, от стены до стены, железная кровать и стул, который между кроватью и подоконником можно было поставить лишь боком. Подоконник был глубокий и служил мне письменным столом. На нем стояла моя, купленная за бесценок, пишущая машинка и лежало наваленное грудой все собрание моих ненапечатанных сочинений. Собрание это медленно, но неуклонно росло, потому что я еще был молод, полон сил и надежд и работал каждый день, помногу и фанатично.

Я снял эту комнату совсем недавно, никто не знал моего адреса, включая самых ближайших друзей. Никакого товарища, который мог бы прийти ко мне ни с того ни с сего, у меня не было.

Вместе с хозяйкой я пошел к черному ходу. Все три собаки, вырвавшись в коридор, отчаянно лаяли.

— Кто? — спросил я.

— Владимир Николаевич,— послышался смущенный голос,— откройте, пожалуйста, я к вам на минутку.

Я удивился и заподозрил неладное. Хотя мне было уже двадцать семь лет, я был всего лишь студентом и по имени-отчеству меня тогда еще не называли.

Вместо того, чтобы пригласить незваного гостя пройти через нормальный подъезд, мы с Людмилой Алексеевной стали разгребать тамбур черного хода, вытаскивая из него какие-то корыта, ведра и картонные ящики. Наконец открыли дверь и увидели перед собой сравнительно молодого человека в очках, который сразу стал просить:

— Только, пожалуйста, уберите собак.

— А кто вы такой и что вам нужно?

— Я сейчас вам все объясню.

Всех трех собак убрали, Людмила Алексеевна удалилась, мы с пришедшим остались в гостиной один на один.

— Что вам нужно? — спросил я его.

— Сейчас, сейчас все объясню,— торопливо закивал он своей головой с большими залысинами. И, понизив голос, быстро спросил: — Нас никто не слышит?

— Нас никто не слышит.

— А собачек убрали? Они не могут сюда ворваться?

— Нет, не могут. Они еще сами двери открывать не научились.

— А, ну да, дверь открывается в ту сторону. А нас никто не слышит?

— Я не знаю,— я повысил голос,— слышит нас кто или не слышит, я с вами шепотом разговаривать не собираюсь. Что вам нужно?

— Сейчас, сейчас. Сейчас все объясню. Так вы думаете, что нас никто не слышит?

До того я ни разу не сталкивался с работниками КГБ, не представлял себе, как они выглядят, честно говоря, в то время вообще не думал о них, но сейчас я даже не сомневался в профессии моего гостя.

— Владимир Николаевич... Нас никто не слышит?

— Нет, нас никто не слышит.

— Очень хорошо, хорошо, хорошо. Я вам верю, что нас никто не слышит. Я к вам пришел по поручению студенческого литературного общества.

— Это что за общество еще? — спросил я.

— А просто студенческое общество. При... при... при Московском университете. Мы собираемся, читаем стихи, обсуждаем. Нас никто не слышит?

— И что же вы хотите от меня?

— А ничего, ничего. Ничего особенного. Мы просто хотели бы, чтобы вы у нас выступили. Мы читали ваши стихи в «Вечерней Москве», и, кроме того, некоторые наши товарищи слушали ваше выступление в Измайловском парке. И вот мы хотели бы... нас никто не слышит?.. вас пригласить.

— Когда? — спросил я.

— А прямо сейчас, сейчас.

— Прямо сейчас? — переспросил я.— В половине девятого утра? Ваши студенты, они что же, по утрам не учатся?

— Ну что вы, Владимир Николаевич, конечно, учатся, учатся. Но у нас есть наши общественники, которые хотели бы поговорить с вами предварительно. Нас никто не слышит? Может, мы пройдем, это совсем рядом.

— А зачем я туда пойду?

— Ну, мы договоримся. Может, вы согласитесь у нас выступить. Я надеюсь, вы не против?

Он внушал мне и какой-то непонятный страх, и отвращение, и желание как-то от него отвязаться, и неожиданно для себя я вдруг сказал, что выступаю только за деньги. Это было чистое вранье, потому что хотя я и выступал несколько раз перед публикой в составе литературного объединения «Магистраль», но денег мне за мои выступления никто никогда не предлагал.

— Как за деньги? — опешил он.— Мы же студенческое общество, у нас нет никаких денег.

— Ну раз нет, значит, нет, а я бесплатно не выступаю.

— Нет, нет, нет, Владимир Николаевич... Нас никто не слышит? Ну как же так, за деньги?

И у нас начался длинный и бессмысленный торг, во время которого он никак не мог понять, почему я, студент и всего лишь начинающий поэт, а не профессионал, проявляю такую алчность, а я тоже почему-то стоял на своем, требовал денег и, видя, что это требование смущает его, настаивал еще решительнее, на самом деле вовсе не из меркантильных соображений, а пытаясь таким иррациональным способом отстранить от себя непонятную, но ощущаемую мною опасность. Надо сказать, что мое пристрастие к деньгам как-то, видимо, сбило его с толку, он даже перестал интересоваться, слышит ли нас кто-нибудь, и долго, но невразумительно настаивал на бесплатности моего выступления, хотя мог бы и согласиться, он ничего не терял. Почему он так сбился с толку, я сказать не могу, скорее всего потому, что разговор сошел с предусмотренного предварительной разработкой направления. Наконец мне этот разговор надоел, я встал, довольно грубо предложил ему выйти и подошел к двери, чтобы ее открыть.

— Подождите, подождите, подождите,— зашелестел он почти в истерике.— Владимир Николаевич, нас никто не слышит? Я надеюсь, нас никто не слышит. Я вам не совсем правильно представился. Сейчас я вам представлюсь иначе.

Он тут же преобразился. На его лице появилось выражение надменности и самодовольства. Царственно он сунул руку в боковой карман, где лежат документы.

— Не трудитесь,— сказал я ему,— я и так вижу, кто вы такой.

На лице его смешались выражение боли и разочарования. Ему, видимо, казалось, что он так ловко и артистично вел свою роль.

— Как вы догадались? — спросил он упавшим голосом.

— Это было нетрудно,— сказал я.— Я не очень часто, но все-таки читаю детективные книжки, и в них все сыщики похожи на вас.

— Да?

Я видел, что мои слова его покоробили. Он обиделся. Впоследствии, когда я познакомился еще с несколькими его коллегами, я заметил, что кагебешники в большинстве своем очень обидчивы. В этой обидчивости проявляются остатки того человеческого, что было в них заложено от рождения. Какими бы общими или личными теориями они ни руководствовались, чем бы ни оправдывали свою деятельность, они чувствуют, что она презренна. Впрочем, есть и необидчивые, они — самые опасные.

— Ну что ж, ну что ж,— сказал мой собеседник разочарованно.— Ну догадались, так догадались. Ну тогда пойдем,— предложил он, не то прося, не то приказывая.

— Тогда пойдем,— согласился я.

Надо сказать, что хотя я и разговаривал с ним весьма непочтительно и насмешливо, я ужасно испугался. Пожалуй, я никогда так не пугался — ни до, ни после. Я был начинающим поэтом. Мне казалось, что из меня должно что-то получиться. Но в то же время во мне постоянно жило ощущение, что что-то должно произойти роковое, что помешает мне осуществиться. То ли обнаружится быстрая и неизлечимая болезнь, то ли попаду под машину, то ли что-то еще.

Между тем я был настоящим советским человеком. Советскость моя проявлялась вовсе не в том, что я любил советскую власть или верил в марксизм-ленинизм-коммунизм. Во все это я как раз совершенно не верил и всю советскую пропаганду считал пустыми словами для дураков. Как подавляющее большинство людей, которых я встречал в своей жизни, я ненавидел всю советскую словесную трескотню, презирал политзанятия, собрания, митинги, демонстрации, выборы и субботники, старался от всего этого уклоняться, но на рожон не лез. Много лет спустя я осознал, что именно в этом и проявлялась моя советскость. Я был тот пассивный член общества, от которого власть не ждет никогда для себя особенной пользы. Где бы я ни работал или ни служил, начальство административное и партийное всегда знало, что никакой идеологической актив-

ности от меня ожидать нечего. Меня никогда не приглашали вступить в партию и даже не пытались завербовать в стукачи (даже в этом случае, о котором я сейчас рассказываю), но в то же время как член общества я был совершенно безвреден. Как раз молодые люди, которые всерьез интересовались теорией коммунизма, погружались в Маркса, Ленина или Сталина, были для режима гораздо опаснее, и советская власть это в конце концов осознала. Человек, всерьез воспринимающий теорию, рано или поздно начинает ее сравнивать с практикой и в конце концов отвергает или то, или другое, а затем и то, и другое. Человек же, не обольщенный теорией, к существующей практике относится как к привычному и неизменному злу, к которому, однако, можно кое-как приспособиться.

Итак, я утверждаю, что я был вполне советским человеком. Советскость моя проявлялась, кроме того, в том, что я вполне ожидал от власти чего угодно, но именно поэтому неспособен был к протесту в самом главном. Мое правосознание было равно нулю. Хотя с пришедшим ко мне человеком я говорил в несколько ироническом и неприятном ему тоне, но в главном я с ним тут же вступил в негласное соглашение.

Я испугался и вполне допускал, что меня сейчас уведут навсегда и никто никогда не узнает, куда я делся. Представления о том, что, не совершив никакого преступления, я могу против такого увода протестовать, у меня не было. Я не проверил документы пришедшего, не оспаривал его права вести меня туда, куда он хочет.

Когда мы вышли с ним в коридор, там стояла хозяйка, уже одетая.

— Володя,— спросила она меня, стараясь не глядеть на моего провожатого,— вы надолго уходите?

Я повернулся к нему и спросил громко, давая понять хозяйке, кто он:

— Я надолго ухожу?

— Нет, нет, нет, что вы! — вернулся он к своей как бы смущенной манере.— Он очень, очень скоро вернется.

Я потом думал, как хитро дал я понять хозяйке, куда я ухожу.

Я думал, что на улице меня ждет «черный ворон», куда меня втащат, заламывая руки. Но никакого «ворона» не было, и мой провожатый предложил мне пройти пешком. Это меня удивило, но я пошел.

Дорогой он разговаривал со мной уже не заискивающе, а снисходительно. Он спросил меня, почему я пишу такие грустные стихи, и я, понимая, что меня можно расстрелять за то, что я пишу грустно, стал возражать, что стихи мои хотя и грустны, но содержат элементы внутреннего оптимизма. По его лицу я видел, что мои утверждения не кажутся ему убедительными. И он поглядывал на меня, как на заблудшего молодого человека, которого жаль, но придется все-таки расстрелять.

Мы шли очень долго какими-то кривыми переулками, и я насмешливо (во всяком случае, мне казалось, что я был насмешлив) спросил провожатого, не заблудились ли мы.

— Да, да, возможно,— сказал он с видимым беспокойством.— Может быть, заблудились. А впрочем, нет. Кажется, не заблудились.

И он указал на вывеску, на которой было написано:

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

— Вот видите,— сказал он еще раз, как бы гордясь своим знанием прилегающих переулков.— Все-таки не заблудились.

Совершенно не помню, через какие двери мы вошли, спрашивали ли у него или у меня документы, какие там были лифты или коридоры. Помню только, что мы вошли в какой-то кабинет, где за большим, но скромным столом сидел обыкновенный человек небольшого роста в сером костюме. Он подал мне руку, назвал себя по имени-отчеству, назвал и меня по имени-отчеству. Он предложил мне стул и сразу спросил:

— Владимир Николаевич, как вы думаете о себе, вы советский человек?

У меня немного отлегло от сердца. Если они еще не решили, советский я или не советский, значит, может, и расстреляют не сразу. Я тут же горячо заверил его, что я, конечно, советский.

— Правильно,— сказал он,— я в этом нисколько не сомневался. Вы советский человек и вы нам должны помочь. Вы нам поможете, мы вам поможем, а вы поможете нам и мы вам поможем.— Он потер руки и, предвкушая удовольствие, уставился на меня.— Ну, рассказывайте.

— Что рассказывать? — спросил я, искренне недоумевая.

— Расскажите, что знаете.

— Я ничего не знаю.

— Ну, Владимир Николаевич,— заулыбался хозяин кабинета и переглянулся с тем, который меня привел (тот сидел в углу).— Ну что-то же вы знаете!

— Что-то я, может быть, знаю, но я не знаю, что именно вас интересует.

— Нас все интересует.

— Я вас не понимаю,— сказал я.

— Владимир Николаевич,— всплеснул он руками в некотором даже как бы отчаянии.— Ну вы же советский человек?

— Ну конечно, советский, но я не понимаю, чего вы от меня хотите.

Тогда он мне сказал, что он хочет от меня, чтобы я ему откровенно (вы нам поможете, мы вам поможем) рассказал, с кем я общаюсь и где бываю.

Я не сомневался в его праве спрашивать, но и точно знал, что надо уклоняться от ответов на любые вопросы. И сказал, что ни с кем не общаюсь и нигде не бываю.

— Но как же, как же, как же,— встрепенулся тот, который меня привел.— Но вы же были на художественной выставке и там смотрели абстрактные картины.

Ах вот оно что! Хотя это была выставка совершенно официальная и никто не предупреждал, что ходить на нее не надо, но как советский человек я должен был понимать, что на абстрактные картины лучше все-таки не смотреть. Я не спросил своих собеседников, откуда они знают, что я был на выставке и что от абстрактных картин не отворачивался, но их осведомленность вселила в меня надежду, что они знают и то, что картины эти абстрактные мне самым решительным образом не понравились. Я им и сейчас охотно сказал, что мне эти абстрактные картины не понравились.

— Да, они никакому нормальному человеку не могут понравиться,— глубокомысленно заметил старший, и младший тут же его поддержал:

— Да, да, да, это профанация искусства.

— А что вы думаете о Пастернаке? — спросил старший.

Я сказал, что о Пастернаке ничего не думаю, и это было чистой правдой: читать Пастернака и думать о нем я стал гораздо позже. А в то время из всех советских поэтов я выделял Симонова и Твардовского, а из прозаиков — Шолохова, и это совпадало с их представлениями о здоровом вкусе нормального советского человека.

Но они все же были чем-то недовольны, и старший сначала вроде случайно обронил, а потом стал все чаще повторять эту фразу: «Ну смотрите, а то пеняйте на себя».

Однажды он вдруг прервал разговор и куда-то выскочил. Как только он исчез, младший подошел к его столу, взял обыкновенную деревянную линейку, вернулся на свое место и, держа линейку в виде пистолета, стал целиться в меня, загадочно ухмыляясь, но ничего не говоря.

Прибежал старший, и опять началось: «Вы нам поможете, мы вам поможем, а если вы нам не поможете, пеняйте на себя»

И опять ничего конкретного.

— Ну хорошо, а с кем вы дружите?

— Я ни с кем не дружу.

— А Литовцев и Польский? *

* Фамилии изменены.

С Литовцевым и Польским мы вместе учились в институте и читали друг другу свои стихи. Отрицать, что я с ними общаюсь, было бы глупо.

Я сказал:

— Ах да, Литовцев и Польский. Мы вместе учимся, мы все трое пишем стихи, ну и общаемся.

— А о чем вы разговариваете?

— Ну о стихах, например.

— А еще о чем?

— А больше ни о чем.

— Как это больше ни о чем? — он все чаще повышает на меня голос.— Даже о девушках не разговариваете?

— Нет, не разговариваем,— разозлился я.— Я человек женатый, у меня дочка родилась, и я ни о каких девушках не разговариваю.

— Ну, ну, ну, ну! — иронически отозвался из своего угла младший.

— Ну хорошо,— сказал старший,— оставим девушек. А о политике вы разговариваете?

— Не разговариваем,— сказал я.

— Как это вы не разговариваете? Вас что же, политика не интересует?

— Не интересует.— сказал я, и в то время это было чистой правдой.

— Как же это вы — советский человек, а политика вас не интересует?

— А вот так,— сказал я, все больше выходя из себя.— Я советский человек, а политика меня не интересует.

— Ну хорошо, девушки вас не интересуют, политика не интересует. А какие у вас отношения с иностранцами?

Тут я совсем вышел из себя и закричал:

— Какие иностранцы? Что вы глупости мелете? Я вообще ни одного иностранца не знаю.

— Как же, как же, как же,— забормотал из своего угла молодой.— А израильский дипломат?

Тьфу, черт! Я даже сплюнул с досады. Или мне сейчас кажется, что я сплюнул.

А история была такая.

Как-то, проходя с Игорем Литовцевым по Кузнецкому мосту, мы зашли в книжный магазин, и Литовцев обнаружил, что продают сборник стихов Аврама Гонтаря.

— Кто это Гонтарь? — спросил я.

— Ты разве не знаешь? Очень хороший еврейский поэт. Надо купить.

Мы стали в очередь в кассу и выбили чеки на два сборника. Но когда подошли с чеками к прилавку, оказалось, что сборник уже распродан, кучерявый гражданин перед нами взял последние четыре экземпляра.

Услышав наш разговор с продавщицей, кучерявый немедленно обернулся и сказал, что если мы интересуемся Гонтарем, он нам с удовольствием подарит по экземпляру, и тут же стал эти экземпляры вручать. Мы стали отнекиваться, он пристал, вшестером (с ним были двое маленьких и тоже кучерявых от четырех до шести лет мальчишек) вышли на улицу. Книжки мы у него взяли, но он тут же насел на Литовцева и стал спрашивать его, зачем СССР проводит антисемитскую политику. Литовцев начал что-то мямлить. Я, будучи действительно советским человеком и действительно не разбираясь в политике, ринулся на помощь Литовцеву и сказал, что никакой такой политики СССР не проводит. Кучерявый сказал, что как секретарь израильского посольства он точно знает, что говорит. И продолжал наседать на Литовцева, полностью меня игнорируя. Стал стыдить Литовцева, что он не знает еврейского языка и еврейской культуры. Я ему сказал, что Литовцев не еврей, а чистый русский и для русского он еврейскую культуру знает достаточно.

Не знаю, за кого принимал меня израильтянин, может быть, за комиссара, приставленного к Литовцеву, но он явно говорить со мной не хотел и все время поворачивался ко мне спиной, а Литовцева, несмотря на мои уверения, продолжал стыдить за то, что тот не признается в своем еврействе. Литовцев что-то

мямлил в ответ, из чего было видно, что он действительно стыдится. Дети дипломата тащили его за руки, он долго сопротивлялся, но в конце концов сдался, сел в свою машину и уехал. А мы с Литовцевым пошли дальше пешком.

Я все чаще срывался и сказал старшему:

— А зачем вы спрашиваете, вы же подслушивали и сами все знаете.

— Почему это, почему это вы думаете, что мы вас подслушивали? — донеслось из угла.

— А откуда же вы знаете про этого израильтянина, если не подслушивали?

— Ну ладно,— сказал старший раздраженно.— Откуда знаем, оттуда знаем. А почему вы сами к нам не пришли и не рассказали?

— А почему я должен к вам приходить?

— Как это почему? Вы же советский человек?

— Да,— сказал я гордо,— советский. Но я не думал, что если я кого встретил, то тут же немедленно должен к вам бежать.

— Как же вы не думали? Вы же видите, что это провокационная сионистская пропаганда. Ну да, вы же политикой не интересуетесь. Вы интересуетесь только стихами. А какие у вас в литобъединении «Родник» стихи читают?

— В каком литобъединении? — спросил я.

— Ну как ваше объединение в институте — «Родник» называется? — спросил старший и посмотрел на младшего.

— «Родник», «Родник»,— подтвердил тот авторитетно.

И тут мне стало совсем легко. Я-то думал, что они действительно обо мне все знают, а оказывается, кое-чего все же не знают.

— А вы знаете,— сказал я злорадно,— что я на этом «Роднике» ни разу в жизни не был?

Тут я заметил, что мой ответ чем-то их сильно обескуражил. Старший строго посмотрел на младшего, тот как-то съежился, виновато, как мне показалось.

— И вы даже не знаете, кто староста этого кружка? — спросил старший.

— Понятия не имею,— ответил я совершенно чистосердечно.

— Ну хорошо,— смутился старший,— тогда скажите, а о чем говорят ваши профессора на лекциях?

— А вот на этот вопрос,— съехидничал я (и до сих пор вспоминаю свой ответ с удовольствием),— мне бывает трудно ответить даже на экзамене.

— Почему? — не понял моей шутки старший.

— Потому,— сказал я злобно,— что если уж вы следили за мной, то должны были бы заметить, что в институте я бываю очень редко, да и то прихожу, в основном, за стипендией. И если бы вы проверили список у старосты нашей группы, то вы бы увидели, что против моей фамилии у него написано: не был, не был, не был.

На этом допрос закончился, но не совсем. Старший еще сказал мне, что, с одной стороны, он верит, что я настоящий советский человек, а с другой стороны, сомневается. И если я что-нибудь им не сказал или сказал не так, то я должен буду пенять на себя. И что я должен пойти еще и подумать и прийти к ним в следующий вторник.

— И заодно,— сказал он,— принесите ваши стихи. Мы почитаем, и мы вам поможем. Вы нам поможете, а мы вам поможем. А если вы нам не поможете, то пеняйте на себя.

После чего мне было предложено дать подписку о неразглашении, что я, как советский человек, сделал безропотно. А выйдя из КГБ, как советский человек, тут же побежал к своим приятелям и все рассказал. И уже от них узнал вот что.

Оказывается, не бывая в институте, я пропустил сенсацию. Староста нашего литобъединения «Родник» арестован за то, что писал антисоветские стихи. И я этого старосту знал, но не знал, что он староста. И даже знал некоторые его стихи. Однажды, прижав меня в угол, он читал мне стихи, из которых я запомнил две строчки:

...И те, кто ныне нами возвеличен,
Завтра задрожат на фонарях.

Стихи эти мне не понравились.

Будучи советским человеком, я такие стихи не любил. Будучи несоветским, не люблю тоже.

Сейчас, вспоминая эту свою первую встречу с КГБ, я думаю, какой я был невежественный в правовом отношении человек! Всякий, в ком есть хоть капля правосознания, скажет мне, что я допустил кучу элементарнейших промахов. Во-первых, еще на квартире я, как только узнал, что передо мной работник КГБ, должен был проверить его документы. Во-вторых, я должен был отказаться идти в КГБ без повестки. В-третьих, на допросе я должен был потребовать сообщить мне, по какому делу я вызван, и настоять на ведении протокола. Ну и насчет подписки, я не знаю, кажется, требование ее незаконно.

Но если бы я был такой умный, продемонстрировал кагебешникам знание законов и высокий уровень правосознания, они бы уже тогда взяли меня на заметку, и, как бы сложилась моя судьба, никому не известно. Но я был самый настоящий советский человек, который не верит ни в марксизм-ленинизм, ни в законы, ни в правду, ни в право. В своих тогдашних отношениях с КГБ я выбрал самую идиотскую линию поведения, и именно она оказалась самой правильной.

Прошло несколько лет. Мое положение резко изменилось. Из самого нижнего социального слоя я передвинулся не в самый высший, но все же довольно высокий: стал членом привилегированной касты советских писателей. Постепенно стало меняться мое мироощущение. Я начал осознавать, что у меня как у личности и члена общества есть какие-то обязанности и какие-то права. Я уже больше разбирался в советских законах и прибегал к их помощи в практической жизни. Но чем скрупулезнее я соблюдал эти законы, тем большими становились мои неприятности. В конце концов я из писательской касты был изгнан и лишился даже тех мизерных возможностей (например, возможности устройства хотя бы на самую низкооплачиваемую работу), которые у меня были, когда я был плотником или студентом. Меня, сначала практически, а затем и официальным указом, лишили звания советского человека и объявили врагом советской системы. И совершенно справедливо. Потому что, дойдя умом до того, что законы в Советском Союзе все-таки существуют, я забыл то, что раньше знал инстинктивно: никаких законов в Советском Союзе нет. Важны, как я уже говорил, вовсе не писаные законы, а неписаные правила поведения.

КАК Я ПИСАЛ ГИМН СОВЕТСКИХ КОСМОНАВТОВ

На вопрос, как я чувствую себя в эмиграции, я обычно отвечаю: спасибо, чувствую себя неплохо, потому что я эмигрант с большим опытом.

Так сложилась моя жизнь, что я с самого рождения очень много передвигался по территории Советского Союза. Некоторые из этих передвижений можно обозначить словом «миграция» без буквы «э», но зато другие иначе как эмиграцией не назовешь.

Так, например, в 1956 году я эмигрировал из Керчи в Москву. Хотя оба эти города расположены в пределах одного государства, переезжающий в столицу провинциал, если у него в Москве нет, как говорится, «руки», терпит все бедствия и лишения, какие выпадают на долю человека, попавшего в чужую страну. А то и похуже.

Говорят вроде на одном языке, но ничего не понятно. Работу не дают без прописки, прописку не дают без работы. В гостиницу не пускают, с вокзала выгоняют. В сквере на лавочке прикорнешь, а тут тебе «раковая шейка», то есть воронок милицейский. А в милиции зависит от того, на какого начальника попадешь. Если на плохого, то в двадцать четыре часа могут выслать. Если на хорошего, то, может быть, только морду набьют и отпустят.

Поэтому, когда эмигранты рассказывают мне, какие ужасы они переживали в Нью-Йорке или Париже, я только вежливо усмехаюсь, но не спорю. Кому не приходилось быть эмигрантом в Москве, тот не поймет.

Тогда, почти тридцать лет назад, эта московская эмиграция оказалась для меня не только географической. Работая на стройке плотником и учась в институте, я одновременно писал, а потом начал печатать стихи и прозу и довольно скоро стал членом Союза советских писателей, то есть эмигрировал из одного социального слоя в другой, в советских условиях очень привилегированный.

Попав в этот слой, я вскоре стал испытывать к нему быстро растущее отвращение и через какое-то время вынужден был эмигрировать в мир диссидентов и отщепенцев, в мир, из которого люди неизбежно эмигрируют, иногда на Запад, но чаще на острова архипелага ГУЛАГ.

Но сейчас я хочу вернуться в те первые свои московские годы и рассказать о том, как я стал автором известной песни о космонавтах, которую в нашей стране знал буквально каждый человек.

60-й год я встретил в своей новой комнате в большой коммунальной квартире. Квартира эта была коридорной системы, по обеим сторонам длинного коридора было 25 комнат, и жило в них соответственно 25 семей. На всех жильцов была одна кухня и одна уборная, ванной не было вообще, умывались на кухне. Зато был телефон, из-за которого между соседями велись бесконечные споры по поводу платы за него, кстати сказать, очень небольшой. Поскольку никакого закона по этому поводу не было, жильцы пытались установить свои собственные правила. Одни предлагали платить посемейно. Но семьи были побольше и поменьше, и возникал спор — как же так, вас четверо, а я одна, почему же я должна платить столько, сколько платите вы четверо? Хорошо, говорили другие, тогда будем брать плату по количеству членов семьи. Как же так, возражали третьи, у нас грудной ребенок, и он по телефону не говорит. Тогда будем брать плату, начиная с детей школьного возраста. Однако в процессе спора выяснилось, что возраст у детей бывает один, а рост разный, и не все дети школьного возраста могут дотянуться до телефона (он у нас висел на стене). Было внесено предложение ввести плату за каждый звонок, после каждого звонка честно расписываться на стенке, когда кто звонил. Этот вариант тоже не прошел, потому что встал вопрос, как считать звонки, которые бывают короткими и длинными. Споры эти велись бесконечно, иногда вяло, а иногда и страстно. Я рассказываю это потому, что, может быть, некоторые уже забыли, что между жизнью в отдельной и коммунальной квартире довольно-таки большая разница.

В те годы я писал очень много, писал упорно и фанатически. Писал, когда работал на стройке и когда ушел с нее, писал, когда поступил учиться в институт, в общем, писал все время, когда оно у меня было. Но часто писал лежа. Наша соседка пенсионерка Полина Степановна всегда все подмечала, а потом сообщала на кухне:

— Этот-то все лежит. Больной, что ли?

Правда, лежал я все-таки не всегда. Иногда я вставал и перепечатывал написанное на своей старенькой машинке, у которой не было вопросительного и восклицательного знаков, что, как считал один из моих приятелей, влияло на мой стиль, делало его спокойным и уравновешенным, без лишних вопросов и неуместных восклицаний. Перепечатав написанное, я разносил свои сочинения по редакциям, из которых потом на красивых бланках приходили вежливые ответы, что тему я затронул интересную и значительную, но исполнение, к сожалению, не достигло уровня замысла.

Вот так однажды и шел я в очередную редакцию с одним своим приятелем и по дороге встретился нам приятель этого приятеля, работавший тогда заместителем главного редактора редакции сатиры и юмора всесоюзного радио (не представляю, как сказать это короче). Редакция эта выпускала в эфир юмористические программы «Веселый спутник» и «С добрым утром!».

— Слушайте, ребята,— сказал заместитель главного редактора,— мне нужен срочно младший редактор. Нет ли какого-такого хорошего молодого человека, но без больших претензий?

— А вот,— сказал мой приятель, показывая на меня,— вот хороший молодой человек без больших претензий.

— Ты бы пошел младшим редактором? — заместитель главного редактора смотрел на меня с недоверием.

Боясь не упустить возможность, но в то же время не уронить себя, я сказал лениво, что, в общем, мог бы поработать.

— Да,— сказал он,— но зарплата, к сожалению, только тысяча рублей. Потом, может быть, прибавим.

Тысяча рублей! Каждый месяц тысяча рублей! Этот человек даже не представлял, какой баснословной казалась мне тогда эта сумма.

На следующий день около десяти часов утра, как мы договорились, я был у нового, только что построенного здания радиокомитета у метро «Новокузнецкая». У входа стоял милиционер, проверявший пропуска.

— Ты что опаздываешь,— накинулся на меня мой новый знакомый.— Я тебе сказал, а десять, значит, в десять. Ладно, пошли.

Я не успел сказать, что опоздал-то всего на пять минут, как он распахнул обитую черной кожей дверь, на которой было написано: «Н. Т. Сизов».

Мы оказались сначала в большой приемной, а потом еще через две черные двери попали в кабинет, а каких я до того никогда в жизни не бывал.

Паркет, старинная мебель, хрустальная люстра, за широченным столом сидит какой-то важный начальник и пишет что-то, наверное, тоже очень важное.

— Здравствуйте, Николай Трофимович! — радостно приветствовал начальника мой редактор.— Вот, пришли.

Я оробел и невольно скосил глаза на свою одежду. Пиджак у меня был, в общем, более или менее еще ничего, но брюки, брюки... Внизу бахрома, колени пузырятся. Ботинки стоптаны. Подобно герою одного из рассказов О'Генри, я быстро пересек широченное пространство кабинета и встал перед начальником, загородив свою нижнюю часть столом, готовый перегнуться через крышку и пожать руку, если она мне будет протянута. Впрочем, я бы не удивился, если бы сидящий за столом просто кивнул мне головой, как это делали другие начальники, на много рангов ниже.

Но этот повел себя совсем неожиданно. Что-то там дописав, он поставил точку, положил ручку и, цветя дружелюбной улыбкой, поднялся и стал медленно огибать стол, чтобы приблизиться ко мне. Демонстрируя свою демократичность, он при этом выглядел очень внушительно и даже показался мне немного похожим на Сталина, хотя был без усов и без трубки.

— Ну, здравствуйте,— сказал он, сердечно пожимая мне руку.— Мне о вас уже говорили. Значит, вы согласны у нас работать?

— Ну да,— сказал я,— мне это было бы интересно.

— Но вы знаете, что зарплата у нас небольшая?

— А, да. Я слышал, но меня зарплата не интересует,— сказал я, давая понять, что явился сюда исключительно ради высших идейных соображений.

— Ну почему же не интересует? — возразил он.— Мы материалисты, и нам незачем лицемерить.

Я смутился, чувствуя, что попал впросак. Мы, конечно, материалисты, но когда я, работая на стройке, выражал (очень редко) недовольство оплатой труда, меня попрекали отсутствием коммунистической сознательности и говорили, что мы, советские люди, родине служим не за деньги.

Вопросов анкетного характера он мне почти не задавал, только спросил, кто мои родители.

Я сказал: мать — учительница, отец — журналист, работает в городской газете в Керчи.

— Коммунист? — спросил Сизов.

Я растерялся. Мой отец когда-то был коммунистом, но только до 36-го года, когда его перед арестом и посадкой в тюрьму исключили из партии «за политическую близорукость».

— Ну, это вовсе не обязательно вашему отцу быть членом партии,— заметив мои колебания, опять демократично улыбнулся Сизов. (В те годы начала хрущевских перемен среди больших начальников была даже такая мода — проявлять такую вот демократичность. А Сизов и был большим начальником. Сле-

дующий его пост после радио был — начальник милиции города Москвы, потом — директор киностудии «Мосфильм».)

— Владимир Николаевич имеет в виду,— пришел мне на помощь мой новый приятель,— что если его отец журналист, то, конечно же, коммунист.

На этом прием был окончен. Мое дальнейшее оформление на работу прошло почти гладко, если не считать, что начальник отдела кадров пытался выяснить у моих будущих сослуживцев происхождение моей фамилии, которая имела подозрительное окончание на «ич». Ему объяснили, что на «ич» оканчиваются не только еврейские фамилии, например, Пуришкевич тоже был на «ич».

— А кто этот Пуришкевич? — заинтересовался кадровик.

— Известный дореволюционный антисемит,— объяснили ему.

Кадровик успокоился, и на следующий день я приступил к своей новой работе.

Хотя евреев принимали на радио неохотно, тем не менее они там были. В нашей редакции сатиры и юмора из десяти примерно человек половину составляли евреи и, как принято было тогда выражаться, полукровки.

Один из полукровок, сейчас известный писатель и театральный деятель при поступлении на работу тоже принимался высоким начальством. На вопрос о национальности родителей поступающий ответил, что его мама — гречанка.

— А папа? — спросило начальство.

— А папа инженер.

Само собой разумеется, мое поступление на работу было всесторонне обсуждено на нашей коммунальной кухне.

— Нет,— сказала Полина Степановна,— этот долго работать не будет. Зачем ему работать? Лежать-то лучше.

Ее скептицизм был основан не на пустом месте. Дело в том, что незадолго до этого я уже поступал на работу в газету одного завода, выпускавшего канализационные трубы. Газета так и называлась: «Московский канализатор». Через месяц по истечении испытательного срока я был уволен, потому что редактор взял на это место племянника директора завода. Но мои соседи не знали этих подробностей и решили, что я ушел с работы только потому, что хотел лежать на диване.

На радио я тоже был взят с испытательным сроком и тоже беспокоился, что больше месяца не продержусь.

Юмористические передачи нашей редакции составлялись из сочинений авторов, писавших, в основном, скетчи, фельетоны и юморески для эстрады и цирка. Материалов было очень много, но трудность для меня заключалась в том, что мои коллеги одни материалы выбрасывали в корзину, а над другими хохотали, как сумасшедшие. Мне же все эти тексты казались одинаково ужасными, и я никак не мог понять, в чем состоит эта разница.

Готовя первую передачу «Веселого спутника», я пытался ориентироваться на господствующий в редакции вкус и выбрал из кучи материалов то, что, как я думал, должно понравиться другим редакторам и начальству.

— Какой кошмар! — сказал, прочтя этот текст, мой ближайший начальник.— У тебя что, совсем нет чувства юмора?

Другая наша редакторша готовила в это время передачу, состоявшую из стихов африканских поэтов, и предложила мне написать к этой передаче вступление. Я взял стихи, прочел их и приуныл. Это была просто какая-то абракадабра, во всей подборке я не нашел ни одной живой строчки. Что хорошего мог я об этом написать? Тем не менее я отнесся к заданию очень ответственно. Я трудился два дня и в конце концов выдавил из себя полстраницы текста, который по бездарности мог вполне соперничать с этими самыми стихами. «Черная Африка, спящая Африка пробуждается от вечного сна» — так, помню, начиналось это мое творение.

Испытательный срок подходил к концу, и я с тревогой ожидал момента, когда мне объявят, что в моих услугах редакция сатиры и юмора больше не нуждается. Судьба, однако, на этот раз оказалась ко мне более благосклонной, чем раньше.

Как-то к концу рабочего дня я заметил, что одна из наших редакторов обзванивает подряд всех известных поэтов-песенников и просит их написать песню на «космическую тему». На вопрос, через какое время нужна эта песня, редактор ответила: «Через две недели».

Поэты-песенники были возмущены. Очевидно, что к этому жанру наша редакция относится несерьезно. А настоящая песня впопыхах не пишется, она должна быть задумана, выношена, выстрадана. После того как ее обругал последний из знаменитостей поэт Лев Ошанин, редакторша совсем расстроилась и продолжала листать справочную телефонную книгу Союза писателей уже без всякого смысла.

И тут я и решился сказать ей, что если у нее под рукой все равно никаких поэтов нет, то я могу попробовать написать эту песню.

— Ты? — она посмотрела на меня с недоверием.

— Ну да,— сказал я.— А почему бы нет?

— А ты разве писал когда-нибудь песни?

— Нет,— сказал я честно,— не писал, но могу попробовать.

— Да? — сказала она, не скрывая своего сомнения.— А сколько тебе нужно времени?

— Завтра принесу готовый текст,— пообещал я.

— Завтра? — удивилась она.

— Если тебе очень нужно, могу попробовать и сегодня.

— Сегодня не надо,— сказала она,— уже конец рабочего дня. А завтра... Неужели ты думаешь, что напишешь?

— Но ты же все равно уже ничего не теряешь,— резонно заметил я.

— Ну да, ты прав. Ну давай попробуй.

Сейчас я понимаю, что взялся тогда написать эту песню не только потому, что надеялся удержаться на работе. Мне хотелось доказать самому себе, что я достаточно профессионален и могу работать в любом литературном жанре. Потому что хотя у меня уже было к тому времени несколько приятелей, которым нравилось, как я пишу, и мне казались совсем неубедительными письма с отказами из разных редакций, но все же в минуты сомнений я думал, что, может быть, они и правы, что я преувеличиваю свои способности и взялся не за свое дело.

Утром следующего дня я принес редакторше обещанный текст и, пока она его читала, со страхом следил за ее реакцией.

Она прочла и тут же позвонила композитору Фельцману.

— Оскар Борисович, у меня есть для вас потрясающий текст. Пишите: «Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом, у нас еще в запасе четырнадцать минут». Записали? Диктую припев: «Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды...» Что? Вы считаете, от звезды до звезды получится неприлично? Что вы, Оскар Борисович, это только у вас такое испорченное воображение, а нашим слушателям такое и в голову не придет. Когда нужна песня? Видите ли, поэт написал ее за один вечер, ну а вам я могу дать пару дней.

К концу дня Фельцман позвонил: музыка готова, кто будет петь?

Я сказал:

— Дайте Бернесу.

Бернеса не нашли, нашли Владимира Трошина.

Песню записали на пленку, пустили в эфир, и она сразу же стала знаменитой.

Мое положение резко переменилось.

Стремительный рост моего материального благополучия на нашей кухне незамеченным не остался.

— Интересно,— говорила Полина Степановна, обращаясь к своей постоянной аудитории,— как люди исхитряются на одну зарплату столько всего покупать? Ну пусть он даже сто пятьдесят получает. Так все равно ж столько не

купишь. А он себе пальто купил, жене пальто купил. Вчерась телевизор пронес, как сундук.

На радио я к своим редакторским обязанностям относился чем дальше, тем безответственней и, по существу, скоро вообще от них отказался. Я писал и в этом качестве оказался очень удобным кадром. Любой редактор нашего отдела, составляя ту или иную программу, мог всегда заказать мне песню на нужную ему тему и мог не сомневаться, что она будет готова в нужный ему срок. Если надо, завтра. Если надо, даже сегодня. В день, когда был запущен в космос Юрий Гагарин, мне позвонили через несколько минут после старта. Когда Гагарин спустя сто восемь минут вернулся на Землю, Оскар Фельцман уже писал музыку к моим словам, посвященным этому событию.

Я проработал на радио около полугода и за это время написал десятка четыре песен. Были среди них однодневки, были и широко известные. Но сам я, едва начав работать в этом жанре, сразу же потерял к нему интерес. Я доказал себе, что могу работать в этом жанре, и теперь меня волновало другое. Я уже написал свою первую повесть, и мои главные надежды были связаны с ней.

Однако история моей «космической» песни на этом не кончилась. Несмотря на то, что она действительно очень быстро стала популярной и скоро ее стали даже называть «Гимном космонавтов», многие люди продолжали ее редактировать и переделывать. С самого начала один редактор заменил в песне эпитет: вместо «планета голубая» написал «планета дорогая». На вопрос, почему он это сделал, он сухо ответил, что так лучше. Потом мне позвонили из музыкальной редакции.

— Владимир Николаевич, мы хотим вашу песню про космонавтов записать на пластинку.

— Очень хорошо,— сказал я.— Давно пора.

— Но у нас к тексту есть одна претензия. Так у вас написано: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Почему эти тропинки пыльные?

— Видите ли,— взялся я объяснять.— На этих планетах дворников нет, а пыль оседает. Космическая пыль.

— Ну да. Может быть, оно и так, но вы как-то этим снижаете романтический образ. Давайте лучше напишем «на новых тропинках».

— Нет,— возразил я.— это никак не годится. «На новых» можно написать, только если имеется в виду, что там еще были и старые.

— Ну хорошо, тогда напишите «на первых тропинках».

— Не напишу я «на первых тропинках».

— Почему?

— Потому что на пыльных тропинках — это хорошо, а на первых — это никак.

Советские редакторы удивляли меня всегда не своей политической бдительностью, а способностью находить в тексте и убирать из него как раз те слова, строки и абзацы, которые делают его выразительным.

Я отказался менять эпитет, музыкальная редакция отказалась издавать пластинку. Но потом, летом 1962 года, песню дуэтом спели в космосе Николаев и Попович. А Никита Сергеевич Хрущев устроил им грандиозную встречу и, размахивая руками, прочитал с выражением с трибуны Мавзолея:

...На пыльных тропинках далеких планет
Останут...

Тут он запнулся, подумал и исправил ударение:

...Останутся наши следы..

Быть процитированным вождем — это больше, чем получить самую высокую премию. Вокруг песни и ее авторов начался ажиотаж. «Правда» напечатала песню в двух номерах подряд. Сначала красным шрифтом в вечернем экстренном выпуске и затем будничным черным шрифтом в утреннем номере.

После этого мне позвонила та же дама из музыкальной редакции.

— Владимир Николаевич, мы немедленно выпускаем вашу пластинку.

Пыльные тропинки ее уже никак не смущали.

Но и этим дело не кончилось. После встречи на Красной площади и в Кремле космонавтам было устроено чествование и на телевидении. Героев приветствовала толпа, состоявшая из так называемых передовиков производства, артистов, военных, поэтов и композиторов. Космонавты совсем ошалели от свалившихся на них почестей, но вели себя по-разному. Николаев как-то даже стеснялся, а Попович, не перенеся такой славы, выпячивал грудь, принимал импозантные позы и строил глазки актрисе Алле Ларионовой. А когда Владимир Трошин спел теперь уже специально для них, он решил показать, что и в этом деле тоже кое-что понимает.

— Вот у вас там поется «закурим перед стартом»,— сказал он,— а мы, космонавты, не курим.

— Это мы исправим! — закричал Фельцман.

И исправили. После этого случая песню пели так: «Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом...»

Трудно сказать, до чего бы они доисправляли песню, вполне возможно, что в ней вообще не осталось бы ни одного моего слова, но в конце концов меня исключили из Союза писателей, а песню поэтому просто отменили. Музыку, правда, все-таки отменять не стали, а слова отменили. Так эту музыку и исполняют до сих пор без слов, как песни Мендельсона. Впрочем, и это не совсем ново. Как вы помните, такая же история случилась уже однажды и с нашим главным гимном, «Гимном Советского Союза», когда после смерти Сталина слова его были отменены и долгое время гимн исполнялся без слов.

А бывало еще, что имена неугодных авторов песен просто вычеркивали, как будто бы их никогда и не было. А поскольку народ, тоже отчасти страдающий политической близорукостью, продолжал петь эти песни, вместо имени автора писали: слова народные. Так было, например, с песней Парфенова «По долинам и по взгорьям», с «Песней о встречном» («Нас утро встречает прохладой...») Бориса Корнилова, широко исполняющимися в Советском Союзе до сих пор.

Очень может быть, что и с моей песней произойдет то же самое. И если действительно с песней поработает еще некоторое количество народа, то вполне справедливо можно будет и о ней писать в сборниках песен: Музыка Оскара Фельцмана, слова народные.

ИСКЛЮЧЕНИЕ

Из Союза писателей СССР я был исключен, вероятно, 20 февраля 1974 года. Я употребляю слово «вероятно», потому что на 20 февраля было назначено заседание Секретариата Московской писательской организации, но состоялось оно в тот день или в другой, кто на нем выступал, что говорили, как сформулировано было решение, мне до сих пор неизвестно.

Руководители Союза писателей не только не сообщили о моем исключении в печати, как это бывало в подобных случаях прежде, но создали новый прецедент: не известили об исключении даже самого исключенного. Даже не потребовали, как это делали обычно с другими, возвращения членского билета, и этот драгоценный документ я до сих пор храню в своем архиве. Через некоторое время я узнал, что моя фамилия исчезла и из списка членов Литфонда, но кто меня исключал, когда и на каком уровне было принято это решение, для меня тоже осталось тайной.

Впоследствии я понял, что по отношению ко мне власти применили тактику полного замалчивания: с момента исключения и до самого моего отъезда в декабре 1980 года ни в одной советской газете мое имя не было упомянуто ни разу. Больше того, чиновники из Союза писателей делали вид, что они о таком писателе даже не слышали, и на вопрос иностранных гостей обо мне спрашивали: «А кто это?» или, порывшись в справочнике Союза писателей, объявляли, что там такой фамилии нет.

Если же на каких-то собраниях или так называемых лекциях о международном положении кто-нибудь из советских людей интересовался мною, то им

обычно тут же объясняли, что я давно покинул Советский Союз и живу... назывались самые разные страны: Израиль, США и даже Югославия, откуда в России появились мои предки по отцовской линии. Эти сведения внедрялись так упорно, что живший в соседнем со мной доме известный советский критик, встретив меня однажды на улице, сначала изменился в лице, приняв меня за привидение, а затем долго допытывался, когда и каким образом мне удалось вернуться из-за границы. И в ответ на мои уверения, что я за границу никогда не уезжал, недоверчиво усмехался, как бы понимая серьезность причин, по которым я не могу выдать ему этой важной тайны.

Но так или иначе, в один прекрасный день (думаю, что это было все-таки 20 февраля) секретари Московского отделения Союза писателей РСФСР собрались в одной из комнат на втором этаже Центрального дома литераторов, выключили телефоны и в обстановке строжайшей секретности, какой американский Пентагон мог бы лишь позавидовать, произнесли свои гневные речи, призвали друг друга к усилению бдительности, проголосовали (единогласно) и составили сугубо секретный протокол, окончательно лишивший меня высокого звания советского писателя.

Но этому последнему акту драмы или, если хотите, комедии, которую Лидия Чуковская назвала «процессом исключения», предшествовали три предварительных акта или, точнее, два акта и одна интермедия.

Первый акт начался за шесть лет до того, весной 1968 года, после подписания мною письма в защиту Гинзбурга, Галанскова, Лашковой и Добровольского. Выпущенное вскоре всем известное секретное постановление Пленума ЦК КПСС по идеологическим вопросам предписывало всем редакторам и цензорам Советского Союза не только прекратить немедленно публикацию книг, статей, стихотворений, то есть всех, как говорилось в постановлении, «произведений литературы и искусства и других произведений» провинившихся авторов, но и вообще не допускать в печати никаких упоминаний об этих людях, словно их вообще больше не существует. Дело, конечно, непростое, но в условиях тоталитарного государства с большим опытом осуществимое. Изъять старые книги писателя из библиотек, не издавать новые, не упоминать его фамилии в печати — и он сразу как бы перестает существовать. Мой случай в этом смысле казался одним из простейших. Одну тоненькую книжку, изданную за несколько лет до того маленьким тиражом, изъять ничего не стоило. Запретить издание двух лежавших в издательствах рукописей проще простого. Запретить шесть киносценариев, дошедших до режиссерской разработки,— и того легче. Но я работал еще в двух жанрах, справиться с которыми оказалось гораздо сложнее. Несколько песен, написанных на мои слова известными композиторами, стали настолько популярными, что исполнялись ежедневно не только по радио и телевидению, но входили в тысячи эстрадных программ, звучали в ресторанах и поездах. Больше того, одна из них вообще стала чуть ли не гимном советских космонавтов, ни одно связанное с космическими полетами торжество не обходилось без ее исполнения. С этой песней власти вообще долго не могли решить, что делать. То ее исполняли без упоминания имени автора, то вовсе без слов, но совсем отказаться от нее не могли.

Не менее трудно оказалось справиться с двумя моими пьесами «Хочу быть честным» и «Два товарища» (я инсценировал свои повести). Эти пьесы были поставлены полусотней профессиональных и бесчисленным множеством так называемых «народных» театров. Запретить все эти спектакли означало наказать не только автора, но и несколько тысяч участников этих спектаклей, которые перед советской властью ни в чем не провинились. Проблема эта оказалась довольно сложной даже для советских властей, и наиболее простым и удобным выходом для них был бы мой отказ от подписи под письмом в защиту осужденных. Этого требовали и от других «подписантов», но, пожалуй, самые мощные и массированные атаки были направлены на меня. Меня вызывали к себе чиновники Союза писателей, Министерства культуры, Моссовета, Политуправления Советской Армии, МГК и ЦК КПСС. В бесчисленных кабинетах меня уговаривали, умоляли снять свою подпись, мне льстили, мне угрожали, обещали стереть меня

в порошок. Особенно усердствовала секретарь МГК КПСС Алла Шапошникова, злобная дамочка, о невежестве которой ходили легенды. В ее глазах я вообще был исчадием ада. «А вы знаете, кого вы защищаете? — сказала она одному из вступившихся за меня режиссеров.— Вы знаете, что он говорит? Он говорит про нас: «Они». Она лично следила за всеми моими попытками найти хоть какую-то лазейку и заработать на кусок хлеба. Себя она называла на «мы». «Мы его выведем из Союза писателей. Мы ему не дадим заработать ни одной копейки. Мы знаем, что он пишет под чужими фамилиями, но мы и до этого доберемся». Не знаю, чем я вызвал столь бурную страсть этой хищницы, но она преследовала меня не просто по долгу службы, а вкладывала в это много личных эмоций. Не могу сказать, была ли она допущена к моему досье в КГБ или у нее была личная агентура, но все мои высказывания не только по телефону, но даже дома тут же становились ей известны, чего она и не пыталась скрывать. Справедливости ради следует сказать, что действительно мои высказывания о ней были настолько нелестны, что я даже сейчас не решаюсь их повторить. Она меня преследовала постоянно и неутомимо до тех пор, пока ее не перевели на другую работу.

К началу 1969 года власти, видимо, решив, что наказали «подписантов» достаточно, слегка разжали кулак. Запрещенные имена вновь стали появляться на страницах газет и журналов. В издательстве «Советский писатель» снова заговорили об издании моей книги. В нескольких (но уже не в пятидесяти) театрах вновь пошли мои пьесы. В Союзе писателей мне был объявлен строгий выговор. Так закончился первый акт моего «процесса исключения».

Однако антракт длился недолго, месяца полтора-два. Весной 1969 года в журнале «Грани», несколько неожиданно для меня, появилась до того ходившая в «самиздате» первая часть «Чонкина». Шапошникова и ее подручные такого шанса упустить не могли, и начался новый акт, который продолжался в общей сложности около четырех лет. В течение первой половины этого срока мной занимались секретари Московского отделения Союза писателей группой и в одиночку, специально созданная для этого комиссия (Сергей Болдырев, Михаил Брагин, Виктор Тельпугов), та же Шапошникова, работники ЦК КПСС Альберт Беляев и Юрий Кузьменко. В то же время Сергей Михалков на общем собрании писателей назвал меня специальным корреспондентом «Посева» и сказал, что я клоп, которого танком не раздавишь, но другими средствами уничтожить можно.

По этому поводу состоялось два заседания секретариата МО СП РСФСР. На первом, которое вел мой постоянный следователь, секретарь МО и генерал КГБ Виктор Ильин, писатель Тельпугов сказал, что это неважно, как повесть (вопреки моим протестам они называли часть романа повестью, чтобы считать ее **законченным** антисоветским произведением) попала за границу, неважно, кем она была напечатана, важно то, что она вообще была написана. «Если бы я даже знал,— сказал Тельпугов,— что эта повесть нигде не напечатана, а просто лежит в столе у автора или даже только задумана, я и тогда считал бы, что автором должны заниматься не мы, а те, кто профессионально борется с врагами нашего строя. И я сам буду ходатайствовать перед компетентными органами, чтобы автор понес заслуженное наказание».

После Тельпугова выступил писатель Михаил Брагин, полковник. (Как я заметил, среди членов Союза писателей полковников и генералов сконцентрировано не меньше, чем в Генеральном штабе. Причем сами о себе они часто говорят: «я генерал» или «я полковник», но никогда не говорят «в отставке» и никогда не говорят, к какому роду войск принадлежат. Я думаю, что, в основном, к КГБ.)

Так вот, этот полковник выступил очень взволнованно и сказал, что таких ужасных, так оскорбляющих его любимую армию людей он еще не встречал, и спросил, действительно ли мне в его любимой армии приходилось видеть что-нибудь подобное мною описанному. Я сказал: «Да, видел кое-что и похлестче». Эти мои слова так оскорбили святые чувства полковника, что он вскочил, покраснел, стал сучить ногами и кричать: «Это ложь! Ложь! Наглая ложь!»

На что я, уважая седины и звание этого человека, сказал, что если он припадочный, ему следует как можно чаще посещать доктора и как можно реже участвовать в столь нервных мероприятиях вроде этого.

«Но ведь вы же говорите ложь!» — не успокаивался Брагин.

«Я предупреждаю вас,— сказал я,— и предупреждаю всех, кто здесь есть. Если я еще раз услышу слово «ложь», я немедленно отсюда уйду».

Слово это, однако, было произнесено снова, и я ушел, сопровождаемый страстными призывами присутствовавших (как в греческом хоре): «Товарищ Войнович, вернитесь!»

В совершенно секретном коммюнике, которое было выпущено по поводу вышеописанной встречи, было сказано, что участники внеочередного заседания секретариата с активом, обеспокоенные судьбой своего товарища, собрались и дружески указали ему на недостойность его поведения, которое фактически привело его в лагерь наших врагов, но товарищ вел себя вызывающе и высокомерно, отрицая идейно порочную сущность своего так называемого «произведения», создал конфликтную ситуацию и, воспользовавшись ею, ушел. И дальше следовала заключительная фраза, которую, как мне кажется, я привожу дословно: «Только отсутствие кворума помешало членам секретариата вынести окончательное решение о дальнейшем пребывании В. Н. Войновича в составе Союза писателей СССР».

На самом деле это было вранье, кворум, когда он им для чего-то нужен, они без труда создают искусственно. Они меня не исключили, потому что намеревались еще поработать со мною, духовное уничтожение писателя для них всегда заманчивее уничтожения физического.

Осенью того же года я написал журналу «Грани» протест, которым некоторые люди попрекают меня до сих пор. Что и говорить, писать подобные протесты под давлением власти — дело довольно унизительное, но будь я в то время свободным человеком, мой протест был бы гораздо резче. Эта публикация выбила меня из колеи и помешала закончить работу над романом (он не закончен до сих пор). Текст «протеста» утверждался и редактировался в секретариате Союза писателей и в ЦК КПСС и был опубликован с добавками, истинным автором которых является генерал Ильин.

В декабре 1970 года состоялось второе заседание секретариата, на котором мне был объявлен еще один строгий выговор с «последним» предупреждением. После чего в моем положении ничто не изменилось.

Руководители Союза писателей считали, что одного протеста «Граням» недостаточно, и призывали меня найти «удобную форму», чтобы осудить свое недостойное поведение и свою идейно порочную повесть. Поскольку ни одна из возможных форм мне не казалась удобной, меня не печатали и лишали куска хлеба еще два года (до конца 1972), после чего власти, полагая, что я уже прочно стою на коленях, решили меня простить и даже издали одновременно две мои книги. И это была их большая идеологическая ошибка, потому что за прошедшее время я как раз с колен поднялся, властям ничего не простил и собирался предпринять новые действия, совершенно «несовместимые с высоким званием советского писателя».

На жизненной сцене, однако, события не всегда развиваются по плану, намеченному автором. Только я стал разворачиваться для нанесения давно задуманного удара, как под руку мне подвернулся полковник КГБ Иванько. Ничего не зная о моих враждебных намерениях, он всего-то хотел отнять у меня квартиру, чтобы поставить в ней свой заморский унитаз. И начался третий акт драмы или, может быть, интермедия, которую я подробно описал в своей книге «Иванькиада».

Мне никак не хотелось связываться с Иванько, я предпочел бы даже и до сих пор не знать, кто он такой. Но он продолжал упорствовать в порочном своем заблуждении, и мне пришлось весь запас накопленной ярости обрушить на него. Выставив против меня превосходящие силы, Иванько утверждал, что, выступая против него, я тем самым выступаю против советской власти. Должен сказать, что он был совершенно прав. Иванько это и есть советская власть. Тем не менее он на данном этапе потерпел сокрушительное поражение и, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, позорно бежал в Соединенные Штаты. (Впрочем, потом вернулся, разоблаченный одним из бывших агентов.)

А я уже не останавливался. В том же семьдесят третьем году я (на этот раз сам) передал тем же «Граням» свою повесть «Путем взаимной переписки». Потом подписал письмо (вместе с Сахаровым, Максимовым, Галичем) в защиту Солженицына. Потом передал на Запад продолжение «Чонкина». Потом стал следить за действиями советской власти, ища, к чему бы еще придраться. И придрался к созданию ВААПа. Когда мое сатирическое письмо шефу этой организации было передано западными радиостанциями, моей жене позвонил генерал Ильин и осторожно поинтересовался, не повредился ли я в уме.

Затем меня вызвал к себе другой секретарь Союза писателей Юрий Стрехнин (всего лишь полковник) и, не зная, что сказать, спрашивал меня, понимаю ли я, что делаю.

В декабре 1973 года для разбора моего «персонального дела» было объявлено, но не состоялось заседание бюро объединения прозаиков. Члены бюро сказывались больными, удирали из Москвы или просто не подходили к телефону. Наконец кого-то удалось все же собрать. Это было уже в январе 1974 года, между исключением Чуковской из Союза писателей и исключением Солженицына из Советского Союза. Большая комната, где проходило это событие, была набита битком людьми, из которых три четверти были мне незнакомы ни по лицам, ни по именам. Председательствовал Георгий Радов, почему-то ненавидевший меня с моего первого появления в литературе.

Надо сказать, что я пришел на это заседание с весьма агрессивными намерениями. Я собирался сказать «им», имея в виду грозных представителей грозной власти, что я о них думаю. А передо мной сидели жалкие запуганные людишки. Где-то в заднем ряду ежился от страха, что я его замечу, Герой Советского Союза Иван Парфентьев, который передо мной еще недавно заискивал. Григорий Бровман, жалкий критик, сам в свое время битый-перебитый. Только что его сын попал под машину, еще похоронить не успели, а он прибежал. Что их всех сюда привело? Ну, одни хотят отличиться перед начальством. А другие даже не отличиться, а избежать гнева или косого взгляда. Чтобы начальство не подумало, что они не свои. Только Радов не скрывал своего удовольствия от предстоящей расправы. (Радов вскоре умер, а года три спустя его сын сказал мне: «Мой отец был честный человек, но мне жаль, что он перед смертью совершил такой нехороший поступок».) Радов сообщил, что враждебные радиостанции передают такое-то письмо. Автор сидит здесь. «Что вы думаете по этому поводу?» — «Этот вопрос неинтересный,— сказал я,— давайте дальше».— «Когда вас спрашивают, вы должны отвечать»,— тоном педагога сказал Радов. «Я вам вообще ничего не должен,— сказал я.— Если бы я пришел вступать в Союз писателей, тогда был бы должен. А я пришел с вами прощаться». Это их как-то сбило с толку, потому что они приготовились припирать меня к стенке, а я вроде сам себя к ней припер. Радов прочел какую-то выписку из устава Союза писателей, что членами этого Союза могут быть только единомышленники. Я сказал, что, когда я вступал в Союз, мне никто этой выписки не читал, иначе я, может быть, не вступил бы. Потом Радов несколько раз, очевидно, ожидая каких-то моих возражений, сказал, что здесь собрались члены бюро с активом, и членов достаточно для кворума. Я сказал, что меня процедурные вопросы не интересуют, мне все равно, будут меня душить с полным соблюдением формальных правил или с неполным. Тогда они стали выкрикивать кто во что горазд, иногда отклоняясь от темы:

Березко: Войнович, вы не должны писать вашего ужасного Чонкина! Это очень плохая книга.

Лидия Фоменко: Я не понимаю, почему вы говорите о каких-то правах? Зачем вам права? Мне, например, не нужны никакие права!

Бровман: Мы должны понять, что перед нами наш идейный противник. И мы должны разговаривать с ним, как с противником. Вы Моська, которая лает из-под полы. Вы с презрением относитесь к нам, вы недооцениваете наши таланты.

Тут я не удержался и сказал, что его, Бровмана, талант я переоцениваю.

Радов: Почему же вы его оскорбляете?

Я: А вы думаете, что здесь можно оскорблять только одну сторону?

Радов (поспешно): А вас никто не оскорбляет.

Я: Ну да. Он меня называет Моськой, и это не оскорбление.

Бровман: Он на меня сердится потому, что я его когда-то критиковал.

Я: У вас мания величия. Неужели вы думаете, что я вашу писанину хоть когда-то читал?

Цирк этот закончился голосованием (единогласным, конечно): рекомендовать секретариату исключить такого-то из членов Союза писателей.

Секретариат был назначен на 20 февраля. Но за несколько дней до него я заболел воспалением легких. 20-го утром мне позвонил Ильин. «Я хотел бы, чтобы вы пришли до секретариата, нужно поговорить. Мы помним, что вы хороший писатель, мы не хотим с вами расставаться, никто не желает вашей крови, приходите, пожалуйста, я вас очень прошу».

Это были новые нотки, раньше он разговаривал со мной не так.

Я сказал: «До заседания нам встретиться не удастся, потому что я к вам не приду. У меня две причины. Первая — неуважительная — я болен...»

«Очень хорошо,— радостно прервал Ильин,— в таком случае я отменю заседание».

«Не нужно отменять,— сказал я.— Я, когда выздоровлю, тоже не приду. У меня есть еще одна причина, уважительная: нам не о чем говорить».

Ильин продолжал меня уговаривать. Я должен прийти. Со мной поговорят, исключать не будут. В крайнем случае, объявят еще один выговор.

Я спросил, какой же выговор, когда у меня уже два строгих, причем второй — с последним предупреждением.

«Пусть вас это не волнует, это процедурный вопрос, мы с ним как-нибудь справимся».

«Меня ваши процедуры больше не интересуют,— сказал я.— Выговоров ваших я больше не признаю. Я сам объявляю вам выговор».

«Вот очень хорошо,— сказал Ильин.— Приходите. Вы нас покритикуете, мы вас покритикуем».

Я еще раз сказал, что не приду, а свою критику сегодня же пришлю в письменном виде.

К началу заседания моя жена отвезла в секретариат письмо, которое начиналось словами: «Я не приду на ваше заседание, потому что оно будет происходить при закрытых дверях, втайне от общественности, то есть нелегально, а я ни в какой нелегальной деятельности принимать участия не желаю».

В тот день жизнь моя круто переменилась. Я физически почувствовал, что теперь я свободен. Меня можно убить, раздавить, но душа моя уже вырвалась из их когтей и им неподвластна больше.

В два часа ночи меня разбудил звонок московского корреспондента агентства Рейтер. Ему только что звонили из Лондона и просили проверить сообщение, правда ли, что я арестован. Я сказал, что, может быть, я арестован, но мне об этом пока еще ничего не известно. Повернулся на другой бок и спокойно заснул.

НО ПАРАЗИТЫ НИКОГДА...

И вот повадился ко мне ходить наш участковый милиционер Иван Сергеевич Стрельников. Такой высокий, седой, очень вежливый, между прочим, человек. Вот приходит он ко мне, нет, не вламывается, а вежливо звонит в дверь, вежливо спрашивает: «Можно, Владимир Николаевич?» — «Ну,— говорю,— можно, конечно. Кому-нибудь другому, может быть, и нельзя, а уж вам-то всегда можно». А он человек не только вежливый, но даже застенчивый, в комнату входит, шапку снимает. «Садитесь,— говорю.— Иван Сергеевич!» — «Ничего,— говорит,— я постою». Ну, я тоже человек вежливый, все-таки настаиваю на своем, садится Иван Сергеевич на краешек стула, и начинается у нас глупый такой разговор. «Вот, Владимир Николаевич,— мнется участковый,— вы уж извините, я, конечно, к вам не сам пришел, меня послали, но хотелось бы узнать, вы где-нибудь работаете?» — «А вот тут,— говорю,— прямо и работаю».— «И как это вы тут работаете, кем это вы тут работаете, если не секрет?» — «Совсем не секрет,— говорю,— Иван Сергеевич, не только для вас, но и ни для кого не секрет, писателем я здесь работаю».

«Да,— говорит,— писателем? А я слышал, Владимир Николаевич, что вас, извините, из Союза писателей исключили».— «Да,— говорю,— исключили, а Льва Толстого в свое время даже из церкви исключили, ну и что?» — «Ну, Владимир Николаевич, я не знаю, откуда там Толстого исключали, но вам надо бы трудоустроиться».— «Да я,— говорю,— в общем-то, трудоустроен. У нас в конституции записано, что каждый имеет право на труд по избранной специальности, а я специальность себе избрал и как раз по ней и работаю».— «Это все,— говорит,— хорошо, но если вы работаете, должно же быть какое-то доказательство».— «Ну, доказательств-то,— говорю,— у меня сколько хотите. Вот,— говорю,— книги, видите, и на них моя фамилия написана, книги-то,— говорю,— не работая, не напишешь». Ну, он смотрит на книги, уважительно, надо сказать, смотрит, со мной в душе даже вроде согласен, что тунеядцы книги не пишут, и очень даже смущается, но все-таки говорит: «Но, Владимир Николаевич, книги это, конечно, хорошо, но мне справка нужна». Ну, я дальше ему объясняю, что в конституции нашей чересчур демократической насчет справок вообще ничего не сказано, там сказано, что человек имеет право на труд, между прочим, тоже, если уж придираться, право, а не обязанность (между понятиями право и обязанность очень большая разница), ну а насчет того, что каждый человек обязан справку иметь, там и вовсе ничего не сказано...

Разговоры эти с участковым продолжались года четыре, иногда с большими, впрочем, перерывами. И не всегда протекали так спокойно, как я описал выше. Иногда я сильно раздражался. «Иван Сергеевич,— говорил я,— а вам вот не стыдно ко мне ходить? Вам не стыдно обвинять в паразитизме писателя, книги которого изданы тиражом в сотни тысяч экземпляров и переведены на три десятка с лишним языков? Если эти книги для вас ничего не значат, так может быть, вы примете во внимание, что я написал песни, которые пели вы, ваши дети и почти все поголовно население Советского Союза! Если, по-вашему, и этот мой труд ничего не стоит, так, может, вас убедит в том, что я не паразит хотя бы тот факт, что я с одиннадцати лет работал в колхозе, на заводе, на стройке, четыре года служил солдатом в Советской Армии. Или вам и этого недостаточно?»

Участковый смущался и сам начинал нервничать. «Но, Владимир Николаевич, я лично к вам с большим уважением. Но что я могу сделать, меня же послали».

В конце концов все эти наши разговоры кончились для меня, можно сказать, без последствий в том смысле, что власти так и не решились объявить меня официально паразитом. Но неофициально я вошел в разряд паразитов задолго до того, как лишился справки с места работы.

Когда я служил солдатом, нас довольно плохо кормили. А если мы жаловались, нам говорили, что мы паразиты, никаких материальных ценностей не производим и не заслуживаем даже тех восьми рублей (восьмидесяти копеек по нынешним деньгам), которые народ ежедневно на каждого из нас тратит. А мы, будучи, как говорится, солдатами сознательными, с этой точкой зрения соглашались, хотя сейчас она кажется мне идиотской. Потому что если народ нуждается в солдатах для своей защиты, он должен содержать их как нормальных членов общества. А если он в них не нуждается, зачем их иметь вообще?

А уж про писателей и говорить нечего. Писателя всегда попрекают тем, что он паразит, живет за счет народа, должен быть благодарен народу и должен служить народу, должен писать книги для народа и о народе. То есть прежде всего о рабочих и крестьянах. Но все это чушь.

Я сам писал и о рабочих, и о крестьянах, но я знаю, что человек, читающий книги, оценивает их не по классовому составу героев, а по тому, интересно читать написанное или не интересно.

Нормальный читатель, независимо от того, рабочий он, колхозник или академик, лучше прочтет увлекательный роман о графе Монте-Кристо или о королеве Марго, чем что-нибудь занудное о своих братьях по классу, вроде братьев Ершовых.

Если буквально следовать логике тех, кто учит писателей, как и для кого они должны писать, что и кто должен читать, то шпионские романы должны читать только шпионы, а рассказ Чехова «Каштанка» — только собаки.

Но я хотел бы сказать еще вот что. Конечно, нормальный писатель всегда живет с ощущением своих обязанностей перед народом, обществом и страной. Но эту обязанность он берет на себя добровольно. Писатель, который исполняет обязанности, спущенные ему сверху по партийной разнарядке, не писатель, а писарь. И, исполняя свои обязанности, писатель вовсе не должен быть все время кому-то благодарным за то, что его кормят. Он создает необходимые обществу духовные ценности, стоимость которых не измеряется рублями. А впрочем, измеряется и ими. Потому что книга, кроме всего, это и реальный товар, который можно взять в руки, можно купить, а можно и продать, и иногда довольно успешно. Многие книги издаются огромными тиражами и приносят их издателям огромные прибыли. Приносили бы советской стране огромные прибыли и книги некоторых изгнанных из нее тунеядцев.

Современное общество устроено сложно. Ему нужны и крестьяне, и рабочие, и инженеры, и врачи, и учителя, и ученые, и артисты, и писатели, короче говоря, ему нужны все.

Повторю еще раз: современному обществу нужны все. И никто никого не кормит. Или — все кормят всех. С одним, правда, исключением. Как уже было сказано выше, есть в Советском Союзе одна категория людей, которая не производит ни материальных, ни духовных ценностей, а только сидит на собраниях, хлопает в ладоши и издает указания, как крестьянину сеять хлеб, а писателю писать книги. Вот эти-то люди, по моему непросвещенному мнению, и есть настоящие паразиты.

В МАСКЕ КРОЛИКА

(Сценка, написанная с натуры)

Последние свои годы в Советском Союзе я жил довольно странной и для некоторых, прямо скажем, не очень понятной жизнью. Исключенный из Союза писателей, я был объявлен как бы вне закона. Люди, которые раньше общались со мной вполне охотно, теперь не только забыли номер моего телефона, но даже при случайной встрече на улице шарахались, как от чумного. Не все, конечно. Далеко не все. У меня были друзья, которые не покидали меня даже в самые тревожные дни, хотя некоторым из них намекали, что если они по-прежнему будут поддерживать со мной отношения, у них могут быть очень серьезные неприятности. Они эти угрозы игнорировали вовсе не из стремления к героизму, а просто потому, что были порядочными людьми.

Но мне приходилось встречать и таких, которые, как только я попал в немилость у советских властей, сразу перестали меня узнавать. Некоторые из них пережили сталинские времена, когда даже за шапочное знакомство с кем-нибудь можно было поплатиться головой. Они, кстати, может, и выжили только потому, что умели вовремя отвернуться от своего друга или знакомого, а иногда от папы и мамы. Понять и пожалеть таких людей можно, но уважать трудно.

Помню такую встречу. Пришел я как-то в писательскую поликлинику на улице Черняховского. Из Союза писателей меня уже исключили, из Литературного фонда тоже, но в поликлинике почему-то еще держали. И врачи даже настаивали, чтобы я прошел очередную диспансеризацию, проверил свое здоровье. Я долго уклонялся, но потом все же пришел

И вот сижу перед кабинетом врача.

Идет мимо писатель Л. Увидев меня, замедляет шаг. Может быть, я плохой инженер человеческих душ, но мне кажется, что его обуревают сомнения: подойти поздороваться или, вдруг вспомнив, что где-то что-то забыл, кинуться со всех ног обратно. Но пока он раздумывает, ноги его механически делают шаг за шагом, и вот он уже совсем близко. Теперь делать вид, что он меня не заметил, глупо. Теперь на лице иные сомнения. Как поздороваться? В прежние времена он бы остановился и спросил, как дела, хотя дела мои в прежние времена были ему совершенно неинтересны. Теперь мои дела ему интересны, но навстречу идет критик З., а сзади на стульчике сидит драматург И. Проходя мимо, Л. кивает мне головой и даже делает рукой незаметный «но пасаран», как бы мужественно выражая мне свою солидарность. Но «но пасаран» свой он делает так, чтобы критик З. и драматург И. не сомневались — это всего лишь проявление обычной вежливости, которая может существовать между людьми разных взглядов. И ничего больше.

Идет мимо в другую сторону переводчица Д., дама довольно преклонного возраста. Познакомились мы с ней в шестидесятом году, когда мне было еще под тридцать, а ей уже за шестьдесят. Я тогда дописывал свою первую повесть, главы из которой читал своей новой знакомой. А она потом в шутку говорила, что мы с ней вместе начинали наш путь в литературе.

И вот она идет мимо.

— Здрасьте! — говорю я ей.

— Здрасьте! — отвечает она мне как малознакомому, но, пройдя несколько лишних шагов, останавливается и возвращается.— Ах, Володичка милый, здрасьте, здрасьте, я так плохо вижу, я вас не узнала.— И с надеждой, что говорить со мной не опасно: — А вас из Литфонда все-таки не исключили?

— Исключили. Но в поликлинике оставили. Вот даже заставляют пройти диспансеризацию, хотя я не хочу.

Она почти в ужасе.

— Неужели вы и против диспансеризации выступаете? Почему? Здесь же нет никакой политики. Здесь просто врачи. Они вас проверят, сделают кардиограмму, возьмут анализы. Я понимаю, когда вы боретесь за какие-то права, но против диспансеризации!

— Бог с вами,— говорю я,— я так далеко не зашел, чтобы бороться против диспансеризации. Мне просто лень.

— Ах, Володичка, мне семьдесят шесть лет, я хочу легкой смерти. Меня сейчас пригласили в Америку. Я бы хотела туда полететь, а потом на обратном пути...— Жестом она изображает падение самолета.

— Не надейтесь, это не так легко,— говорю я.— Самолет летит высоко и падает долго.

— Володичка, не отговаривайте меня, я все выяснила. Там сразу теряешь сознание и потом уже ничего не чувствуешь. Вы знаете, я о вас часто думаю, но никогда не звоню, не потому, что я вас забыла, а потому что меня сейчас надо беречь. Да, да, Володичка, меня надо беречь, потому что у меня выходит очень большой перевод с английского.

Идет мимо известный юморист Е. Здоровается с моей собеседницей, замечает меня и тоже здоровается.

— Здравствуйте, Толя,— говорит переводчица,— очень рада вас видеть. Мы с Володей разговариваем просто о жизни. Никакой политики, совершенно никакой. Мы с ним вместе начинали наш путь.

— Зато порознь заканчиваете,— нашелся юморист и пошел дальше.

Своим поспешным уходом он как бы напоминает старухе, что сидеть со мной не совсем безопасно, но предлога просто так подняться и уйти нет, а уйти без предлога все-таки неудобно.

— Вы знаете, Володичка, мне семьдесят шесть лет, но я еще не в маразме. Я все помню. Помню, как мы жили в Переделкино, как сидели на терраске, как вы привезли мне первые экземпляры моей гослитовской книжки. Почему вы мне никогда не позвоните? Мой телефон очень легко запомнить (говорит номер). Но

меня надо беречь. Вы же знаете, я их боюсь. Я все пережила: голод, разруху. Я в политике ничего не понимаю, я никогда не читала ни Маркса, ни Ленина, ни Сталина.

— Я тоже.

— Вы по вашему возрасту должны были читать. Ой, Володичка, если б вы знали, как я их боюсь! Однажды мне пришлось посидеть там у них в коридорчике, и мимо меня водили одного человека под револьвером. Это так страшно!

— Это, безусловно, страшно,— соглашаюсь я,— но не страшнее, чем в падающем самолете.

— Нет, нет, Володя, вы мне не говорите. В самолете, я же вам сказала, сразу теряешь сознание, а потом все просто.

— Здесь тот же эффект. На вас наводят револьвер, вы теряете сознание, а потом все просто.

— Ах, Володя, вы все шутите. Неужели у вас еще есть силы шутить?

— Нет, я без шуток. Как только на вас наставляют револьвер, вы...

— А ну вас, Володя. Вы мне обязательно позвоните. На днях ко мне приедет один сумасшедший американец, он хочет вас переводить. Но не забывайте, что меня нужно беречь.

— Тогда лучше я вам не буду звонить.

— Да, пожалуй, лучше не звоните.— Переходит на шепот.— Вы приходите просто так, без звонка. Хотя да... у нас ведь лифтерши.

— Насчет лифтерши не беспокойтесь, я приду в маске.

Встревожилась.

— В какой маске?

— Ну помните, как у Высоцкого: «Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков...» Так вот у меня есть как раз маска кролика. Я дочке купил к Новому году. С такими большими ушами. Я надену ее и приду. Если у лифтерши спросят, кто приходил, она скажет: «Приходил кролик».

— Володя, не смейтесь надо мной, я старая. Вы знаете, этот американец, которого я сейчас перевожу, пишет мне, что ему постоянно приходится выступать в защиту каких-то русских, которых преследуют. А я ему написала: «Только, ради Бога, никого не защищайте, а то будет еще хуже».

— Кому это будет хуже?

— Всем, всем.

— Да, но есть люди, которым уже сейчас так плохо, что хуже, пожалуй, не будет.

— Володя, всем будет хуже, поверьте мне. Вы не забывайте, у них армия, флот, у них эти... как они называются... ядерные боеголовки.

— Да что нам с вами боеголовки? Для нас достаточно одного револьвера или одного падающего самолета...

Я не договорил, меня позвали к врачу. Когда я вышел, старушки у дверей уже не было.

После этого я прожил в Москве еще несколько лет, но переводчицу эту больше ни разу не встретил. Из поликлиники меня все-таки исключили, а зайти к старухе или хотя бы позвонить я не решался. Тем более что она просила ее беречь. Не зашел к ней, когда ей исполнилось восемьдесят лет. И когда уезжал, не зашел проститься.

А она, между прочим, все еще жива и, как я слышал, даже побывала в Америке. И самолет, на котором она летела, не разбился. Ни по дороге туда, ни по дороге обратно. И я лично этому очень рад, потому что, как я думаю, не все пассажиры этого самолета прожили свои восемь десятков лет. Так пусть поживут, сколько еще придется. И старушке я желаю, пусть еще поживет, пусть работает. Она, между прочим, переводчица очень талантливая.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВАЛЮТА

Прощание длилось несколько дней, и меня все эти дни не оставляло ощущение, что я присутствую на собственных похоронах. Приходили друзья, знакомые, малознакомые и совсем незнакомые люди. Из последней категории мне запомнились два молодых человека террористического вида. Они не хотели говорить вслух из-за предполагаемых микрофонов и подали мне записку, в которой сообщали, что их подпольной организации необходимо срочно послать своего человека на Запад и они просят меня найти этому человеку невесту иностранного происхождения. Не знаю, воображали ли они себя действительно подпольщиками, были ли своеобразными брачными аферистами, желавшими таким путем выехать за границу, или это была одна из последних провокаций КГБ. Кто бы они ни были, я им помочь никак не мог, так как свободной иностранной невесты у меня в то время под рукой не было, о чем я им и сообщил, и они ушли очень разочарованные и, кажется, мне не поверив.

Доступ к телу был открыт, и поток посетителей начинался с раннего утра и кончался далеко за полночь. Утренние посетители приходили поодиночке или небольшими группами, вели себя тихо, сидели со скорбными лицами и разговаривали вполголоса, как и полагается в присутствии усопшего. Но ближе к вечеру поток усиливался, все чаще хлопала за стеной дверь лифта, все чаще раздавался звонок в дверях квартиры, и в конце концов народу набивалось столько, что было трудно протолкнуться. Вечерние посетители тоже приходили со скорбными лицами, но толкотня, многолюдность и водка делали свое дело и пришедшие начинали шуметь, как обычно бывает с гостями, развеселившимися на поминках.

Однако все это прошло. Прошел поток посетителей, прошел прощальный вечер, устроенный Беллой Ахмадулиной и Борей Мессерером в его огромной мастерской на Арбате, и наступил последний день.

В седьмом часу утра измученные бесконечными прощаниями и последней бессонной ночью Ира, Оля и я спустились вниз, в темноту московского декабрьского утра, к толпе, нас ожидавшей, как ожидают на похоронах выноса тела. Толпа, как и полагается в таких случаях, состояла из людей близких и неблизких, из тех, с кем виделись почти каждый день, и тех, кто не появлялся, может быть, несколько лет, а теперь вот пришел проститься.

Пришли мои старшие дети Марина и Паша. Пришли близкие друзья. Приехали родственники из провинции. Высыпали во двор полуодетые соседи. Были среди прочих повзрослевшие Ирины ученики.

Почему-то в памяти осталось, как из темноты выделился и приблизился актер «Современника» В. Семь лет назад, когда меня исключили из Союза писателей, он позвонил и сказал, что непременно придет в самое ближайшее время, но не пришел (да и не обязан был, наше знакомство было шапочное), а теперь вот появился, и мы обнялись торопливо.

Но для объятий времени уже не оставалось, захлопали дверцы машин, и наш странный кортеж, состоящий из «Жигулей» и машин иностранных марок, понесся в аэропорт Шереметьево.

Закончился период странного и противоестественного противостояния еще одного человека государству, которое вело эту борьбу, не жалея ни сил, ни времени, ни зарплат вовлеченным в борьбу сотрудникам секретных служб.

И наступил последний акт. Наши небогатые пожитки (мы взяли с собой всего четыре чемодана, один из них — с дочкиными игрушками) проверяла целая бригада таможенников. Проверяли каждую вещь, каждый ботинок, каждую Олину куклу вставляли в рентгеновский аппарат. Ничего они не искали, кроме, может быть, повода подвергнуть нас последнему унижению. Но все пропускали. Заинтересовались медалью Баварской академии изящных искусств, по приглашению которой я уезжал сейчас в Мюнхен. Потом подумали, посоветовались с кем-то, пропустили. Я держался индифферентно. Мне было на самом деле все равно. Досмотр подходил к концу, и два наших чемодана уже поехали куда-то вниз по наклонному транспортеру, когда меня вдруг подозвали и попросили расписаться в каком-то бланке. Я спросил, в чем я должен расписаться.

— В том, что ваша рукопись конфискована.

Я удивился: какая рукопись? Мне показали пачку выцветшей и пожелтевшей бумаги. Это была глава, не вошедшая в одну из моих задолго до того опуб-

ликованных книг и которую я наверняка уже давно каким-то другим способом отправил за рубеж. Но, наверное, я не был тогда в самом спокойном состоянии, потому что тут же швырнул им их бланк назад, а язык уже произнес необдуманные слова:

— Хорошо, в таком случае, я возвращаюсь домой.

Я выхватил у рабочего третий чемодан, который он волок к транспортеру, и подошел к перегородке, отделявшей нас от провожавших.

Какой-то тип в штатском распростер руки.

— Стойте, подождите!

Я поставил чемодан и подошел к старшему таможеннику.

— И не стыдно позориться на глазах у всех людей? Из-за каких-то бумажек. Неужели вы думаете, что я доверил бы вам действительно что-нибудь ценное?

И вдруг — что это? Я не поверил своим глазам и ушам. Таможенник покраснел, опустил глаза и четко, почти по слогам произнес:

— Ваши отношения с таможней закончены. У таможни к вам нет никаких претензий.

Я растерялся. Я-то думал, что все они здесь кагебешники, кто в форме таможенника, кто просто в штатском. А оказывается, ему стыдно. Он не хочет, чтобы я считал его одним из них. Я отошел. Какой-то кагебешник в плаще побежал в дальний угол с карманным приемником-передатчиком и принялся быстро и возбужденно в него что-то бормотать. С кем он связывался? С Лубянкой? Воскресенье, раннее утро...

Жена сказала другому кагебешнику, который стоял рядом:

— И что вы суетитесь? Вы же все равно эти бумаги отдадите.

— А вот и не отдадим, ни за что не отдадим,— сказал тот злорадно. Приблизился тот, который бегал с передатчиком. Я встал у него на пути.

— И что ты бегаешь с этой штукой? Что ты там бормочешь? И не стыдно?

— А я ни при чем! — закричал он нервно.

— Врешь,— сказал я.— уж ты-то при чем. Это он,— я показал на таможенника,— может быть, еще ни при чем. А ты-то как раз при чем.

— Я ни при чем,— еще раз повторил он и кинулся от меня бежать.

Мне показалось, что и ему стало как-то неловко.

Это подействовало на меня отрезвляюще, и я успокоился. И стал думать, зачем я устроил этот скандал. Тем временем два первых наших чемодана появились из подземелья. Подошел рабочий и, как мне показалось, злорадно сказал, что двигатели запущены и самолет отправляется. Из толпы провожающих, молчаливо наблюдавшей эту последнюю сцену, раздался голос одного из друзей:

— Володя, что ты делаешь? Другого шанса не будет.

Я и сам знал, что не будет. Я уже жалел о том, что случилось. Случившееся даже отчасти противоречило моим правилам. Правил у меня вообще-то немного, но одно из них твердое и продуманное. Я стараюсь не говорить, что я что-то сделаю или что-то не сделаю, если я не уверен, что поступлю именно так, как говорю. И второе правило прямо вытекает из первого. Если я сказал, что я сделаю то-то и то-то, я должен это сделать. А уж в данном случае тем более. Раз я сказал, что я без рукописи не уеду, значит, я свое слово должен держать. А слово-то глупое, но ничего не поделаешь. Сейчас, задним числом, я думаю, что у кагебешников даже и шанса не было не сдаться. Вопрос о моем отъезде был решен на каких-то верхах, им недоступных. И нарушить решение верхов им было не под силу. Но тогда я этого точно не знал и, правду сказать, чувствовал, что из-за ерунды подвергаю себя большому риску. Но деваться было некуда...

Им тоже деваться было некуда, и рукопись мне вернули. Если сказать честно, при этом я испытал некоторое злорадство. Они меня хотели унизить, а унизил их я. Но я еще не знал, что меня ждет следующее испытание.

Только мы скрылись с глаз провожавших нас друзей и иностранных корреспондентов, как в каком-то коридорчике нам опять преградили дорогу таможенники и милиция. Оказывается, кроме общего обыска нам предлагают пройти еще личный обыск. Женщина-таможенница завела в кабинку мою жену и дочь и тут же выпустила их обратно. Настала моя очередь. Мы вошли в кабинку втроем. Толстый таможенник с большой звездой в петлице, капитан милиции, в отличие от таможенника худой, с коричневым дубленым лицом, и я.

— Выньте все из карманa! — приказал таможенник.

Я решил подчиниться.

Я вынул из карманов все, что в них было. Паспорт, какие-то деньги, которые я не пытался утаить, просто забыл о них на первом досмотре. Но таможенника мои деньги нисколько не заинтересовали. Потому что перед ним была поставлена цель не уличить меня в валютных операциях, а унизить. Я это понял. Но я знал, что унизить меня он не может, потому что я к нему отношусь примерно как к корове. Я знал, что могу сопротивляться и, возможно, даже без особого риска, но я мог и полностью подчиниться, ничуть не чувствуя себя оскорбленным. Я так и решил — подчиниться. Он приказал мне снять сапог, я снял. Он, сидя на корточках, сунул руку внутрь и что-то там шарил. И вдруг я увидел, что передо мной не какой-то там грозный страж чего-то, а немолодой человек, толстый и страдающий одышкой.

— Слушай,— сказал я ему нарочно на «ты».— а что ты там ищешь? Бомбу?

— Нет,— сказал он хмуро,— не бомбу.

— А что? Совесть свою?

— Снимите второй сапог,— сказал он и протянул руку.

Я снял сапог и швырнул мимо его руки на пол. И приказным тоном сказал: «Подними!» Он поднял и туда сунул руку. И тогда я, уже сильно разозлившись и даже уже готовый опять отказаться от полета (хотя это было бы все-таки глупо), сказал:

— И не стыдно тебе меня обыскивать? Ты же знаешь, что я не преступник, а писатель.

— А я ваших книг не читал,— сказал он, как мне показалось, агрессивно.

— И стыдно, что не читал,— сказал я.— И вообще, посмотри на себя. Что ты тут ползаешь по полу? Ты же потерял человеческий облик. Я бы на твоем месте лучше застрелился, чем делал эту работу. Что тебе еще от меня нужно?

И вдруг он закричал: «Ничего! Ничего!» — и выскочил из кабинки.

Я сначала подумал, что он побежал звать кого-то на помощь, но потом понял, что он просто сбежал. Потому что ему стало стыдно.

Я стал надевать сапоги и вдруг встретился взглядом со стоящим надо мной милиционером, который смотрел как-то странно, не понимая, что происходит.

— А куда он ушел? — вдруг спросил милиционер, обращаясь ко мне заискивающе, как к начальнику.

— А я не знаю. Наверное, пошел стреляться. Пойди и ты застрелись.

Я думал, что милиционер рассердится, но он вдруг как-то жалко улыбнулся и спросил:

— А вы надолго уезжаете?

— Ненадолго,— сказал я.— Я скоро вернусь.

Потом мы все трое бежали к самолету. Я еще кому-то выкрикивал какие-то проклятья, а служащая аэропорта бежала за нами и истерично восклицала: «Это для вашей же безопасности! Это для вашей же безопасности!» Она оправдывалась. Ей тоже было стыдно.

Мы оказались последними пассажирами, вошедшими в самолет. Только мы вошли, дверь закрылась и самолет порулил на взлетную полосу. Набрали высоту, и появилась стюардесса, которая везла на тележке разные напитки: пиво, водку, коньяк, виски, джин... Я взял чекушку водки и спросил, сколько стоит. Она мне сказала: в долларах столько-то, в западногерманских марках столько-то.

— А в рублях? — спросил я.

— Отечественную валюту не принимаем,— сказала она и покраснела.

Вот говорят: стыд не дым, глаза не ест. А я думаю, что все-таки ест. И покуда в людях еще существует чувство стыда, они живы, они еще люди. И, значит, еще не все потеряно.

Ян САТУНОВСКИЙ

Пикирующая луна

Яков Абрамович Сатуновский (1913—1982) — поэт, творчество которого широко не известно и по достоинству не оценено. Искусственно загнанный в детскую поэзию (более двадцати лет), он всю жизнь писал и серьезные, чуждые декламации, со своей особенной интонацией трагические стихи.

Мы публикуем незначительную часть его большого поэтического наследия, предваряя ее кратким словом самого поэта, которое написано им незадолго до смерти.

НЕМНОГО О СЕБЕ

Я родился в 1913 году в Екатеринославе — Днепропетровске. В этом городе я учился, окончил школу, университет, отсюда пошел «на немца».

«В деревне Большие Веснины был ранен (в грудь), затем лечился, был в Ной Лимбурге, Фрейбурге, Винер-Нейштадте, проездом в Дрездене и, кстати, где-то в Румынии, забыл». Сразу после войны перебрались в подмосковную Электросталь. Здесь я работал, похоронил своих стариков, здесь доживаю жизнь. Все.

С детства я мечтал о стихах...

Почти тысячу раз я чувствовал себя счастливым — когда мне случалось написать стихотворение. Без всякой причины неожиданно расстроишься, затоскуешь, отключишься от всего окружающего, и вот уже ты слышишь (не ушами!) какие-то слова, словосочетания, а они складываются в дольники, в ямбы, верлибр.

Стихи — моя жизнь... Переписываю далеко не все, хотя выбор для меня,—дело нелегкое. Ладно, как-нибудь.

* * *

Остосвинел язык
новозаветных книжиц.
азы, азы,
когда дойдем до ижиц.
когда откликнется аукнувшееся вначале?
Когда научимся сводить концы с концами?

Любимая русская река Москва,
набей мне мускулами рукава,
очисть мои легкие от слизи,
верни мне зрение жизни,
Москва-река!

1947

* * *

Не говорите мне, не врите,
не в рнтме дело,
и не в рифме,

а в том,
что
втравленное с детства
в мозг и кровь
ребенка:
Партия,
Народ,
Закон —
все обернулось русской правдой-кривдой.

1950

* * *

Спросите их, спросите инвалидов,
тех, для кого навекн кончилась война,
как долог мирный день, как ночь длинна,
и как является в проемах туч, в разрывах
пикирующая луна.

1958

* * *

...и каждый думал,
и молчал о чем-то...
М. Исаковский

По радио — военачальники.
А я́
с молча́нием
рифмую 9 мая, —
о том,
о чем мы молчали.

1970

* * *

Ты, вечно хныкающий
о своем больном здоровье,
ты, мнительный,
ты, слабовольный,
малокровный,
остерегающийся — сырой
воды,
очередей,
сигналов автомашин,
случайных скандалов,
уличных собак —
ты, как ты воевал, как?
Не знаю, ничего не знаю.
Ни зноя малинового, ни
звона,
ни сна и нн солнца, ничего;
а знаю — бьется, бьется
сердце,
бьется не переставая,
а с груди
простреленной — льется что-то,
медленно натекает в сапоги.

1947

* * *

Мутный день
с осадком на дне.
Весне нездоровится.
Вот так:
рыл, бежал в атаку,
и не знал, сыра ли мать-земля.

1977

* * *

Я не хочу воевать,
и никогда и нигде
я не смогу убнвать
грязных, вонючих людей,
жалких — коленки дрожат,
слезы стекают со щек,
страшных,
с кинжалом в зубах
братьев моих и сестер
я не смогу убивать.

1959

* * *

Сашка Попов, перед самой войной окончивший
Госуниверситет и как раз 22 июня
зарегистрировавшийся с Люсей Лапидус —
о ком же еще
мне вспоминать, как не о тебе? Стою ли
я — возле нашего общежития —
представляю то, прежнее время.
В парк захожу — сколько раз мы бывали
с тобой на Днепре!

Еду на Чечелевку и вижу —
в толпе обреченных евреев —
об руку с Люськой —
ты, русский! —
идешь на расстрел,
Сашка Попов...

1946

* * *

Я был из тех — московских
вьюнцов, с младенческих почти что лет
усвоивших, что в мире есть один поэт,
и это Владим Владимыч; что Маяковский —
единственный, непостижимый, равных нет
и не было;
всё прочее — тьфу... фет.

1968

* * *

Достану томик своего учителя.
Давно я Хлебникова не
перечитывал,
не поднимался на валы
Саянские,
в слова славянские
не окунался.

Исполненная детской мудрости
струится речь, двоится,
пристальная,
расчесывая кудри водорослям,
людские судьбы перелистывая.

1962

* * *

Своим потайным фонариком
иной раз всю ночь до рассвета,
знай, шаришь,
светя,
по словарикам,
по закромам,
по сусекам,
— в котором-нибудь да отыщется —
то слово,
что правду скажет.

А сами стихи не пишутся.
Их пишут, как землю пашут.

1961

* * *

За комиссиями,
за подкомиссиями,
за перекомиссиями,
за медицинскими освидетельствованиями,
за международными событиями —
за, за, за, —
за 300 лет до Рождества Христа
выяснено:
всё на свете видимость,
всё не истинно.
Истинны только —
атомы —
и пустота.

1969

* * *

Капитан Чернов
был убит наповал.
От взрывной волны
я свалился в подвал,
и лежу,
и кричу
из подвала:
не хочу, не хочу,
чтобы всех убивало.

И сказал мне
Господь Бог:
— Ну, вот,
вот я и сделал все, что мог,
а «катюши»
и танки
с водородной бомбой
стройте сами —
по образу и подобию.

1968

* * *

Ох, и пополито нашей кровушки,
пополито...

На снегах смоленских
навзничь,
смертью...

1942

* * *

Одни говорят:
в эпоху Солженицына
антисемитам нет числа.
Другие говорят:
в эпоху Солженицына
антисемитам грош цена.
Не знаю, кто прав,
кто виноват
в эпоху Солженицына.

1974

* * *

Поэзия гиблое дело,
дерьмо, и — какое мне дело?

В санбате, на прелой соломе
мы думали думу о доме.

Радисты морзят телеграммы,
а смерть отпускают на граммы.

1968

Публикация Петра САТУНОВСКОГО

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ

Лев Троцкий

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

«В революции происходит суд над злыми силами, но судящие силы сами творят зло».
Н. БЕРДЯЕВ

Глава вторая. БРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ

Старый «Монсерат» скрипел, переваливаясь с волны на волну безбрежной Атлантики. «Море было чрезвычайно бурно в эту худшую пору года,— писал Троцкий через полтора десятка лет,— и корабль делал все, чтобы напомнить нам о бренности существования... Но нейтральный испанский флаг снижал во время войны число шансов на потопление. По этой причине испанская компания брала дорого, размещала плохо, кормила того хуже» [1].

Здесь, в Америке, Троцкий, как окажется, проведет всего два месяца, с первых же дней пребывания посвятив себя чтению докладов в Нью-Йорке, Филадельфии, других городах. В США он встретил знакомых ему Бухарина, Коллонтай, Чудновского, некоторых других революционеров. Но не успел Троцкий толком оглядеться среди местных иммигрантов-социалистов, завалить русскоязычную газету «Новый мир» своими статьями, как стали приходить непонятные, будоражащие сообщения из-за океана о событиях в России. Корреспонденты сообщали из Петрограда: 2-го марта члены Государственной Думы Гучков и Шульгин прибыли к императору Николаю II в Псков, где приняли у него отречение в пользу брата Михаила Александровича. Буржуазные думцы делали все для того, чтобы спасти монархию. Об этом откровенно сказал в своей речи перед членами правительства Милюков: «Мы не можем оставить без ответа и без разрешения вопрос о форме государственного строя. Мы представляем его себе как парламентскую и конституционную монархию». Прочитав эти строки, Троцкий бросил газету на пол и с яростью сказал:

— Кадеты уже залезли в суфлерскую будку и талдычат свою линию!

— Лева, но этого следовало ожидать,— успокаивала мужа Наталья Ивановна.

Позже, уже в России, Троцкий узнал, что в те дни Г. Е. Львов, П. Н. Милюков, А. Ф. Керенский, Н. В. Некрасов, М. И. Терещенко, И. В. Годнев, А. И. Гучков — члены правительства вместе с членами Временного комитета Думы М. В. Родзянко, В. В. Шульгиным, И. Н. Ефремовым и М. А. Карауловым, принимая отречение Михаила, сами предложили ему текст, который оставлял возможность сохранения монархии. После их редакции главное место отречения гласило: «Принял я твердое решение в том лишь случае восприиять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому и надлежит всенародным голосованием своим через представителей своих в Учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства Российского...» [2].

Продолжение. Начало см. «Октябрь» №№ 5—8 с. г.
[1] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. I, с. 305.
[2] П. Н. Милюков. История второй русской революции. Париж, 1924, с. 87

А что же социалисты? Где сейчас Ленин? Как будут складываться отношения между большевиками и меньшевиками? Не утопят ли в крови с помощью Германии новую революцию? Вопросы, вопросы... В висках покалывало, кружилась голова, рядом с радостью притаилось смутное беспокойство... Сообщение о том, что над Зимним дворцом развевается Красное Знамя революции, казалось сладким мифом. На митингах в Америке толпа, вспоминал Троцкий, издавала восторженный рев. Дома почти не бывал. Мальчики ходили в школу и быстро овладевали английским. До этого во Франции они хорошо освоили французский, а еще раньше в Австрии — немецкий. Дети революционного Агасфера росли в космополитической обстановке и делили судьбу изгнанника. Троцкий после первых же сообщений о Февральской революции твердо и бесповоротно решил: его место на родине, где зажжен факел революции. Уже 27 марта со своей семьей и некоторыми другими соотечественниками на норвежском пароходе «Христиания-Фиорд» Троцкий отплыл в Европу.

Во время досмотра корабля в канадском порту Галифакс его семья и еще несколько русских пассажиров были арестованы. Оказывается, британское посольство распространило сообщение о том, что-де Троцкий ехал в Россию «с субсидией от германского посольства для низвержения Временного правительства». Однако и по сей день полной ясности в этом вопросе нет, хотя публикаций появилось множество. Одна из наиболее известных,— книга С. П. Мельгунова, бывшего редактора журнала «Голос минувшего», приговоренного большевиками в 1920 году к смертной казни, но затем высланного за границу [1].

После неоднократных выступлений «Правды» по поводу произвола британских властей Временное правительство было вынуждено телеграфировать в Галифакс о своей просьбе освободить интернированных русских граждан. Через три недели Троцкий достиг Скандинавии и поездом добрался до Петрограда. На перроне его уже ждали представители большевиков, меньшевиков, еще какие-то люди. Он пока не знал — с кем теперь будет, однако в одном был уверен твердо: с революцией!

Революционный паводок

После десятилетнего перерыва Троцкий вновь ступил на родную землю. Мальчики, уже подросшие в чужеземье, с удивлением озирались вокруг: везде слышалась русская речь, на вокзале необычное, даже лихорадочное оживление, у многих на лацканах красовались алые банты... Троцкий «приехал прямо в революцию» одним из последних известных зарубежных русских деятелей. Виной тому, как мы знаем, канадское интернирование. Кое-как заполучив однокомнатное обиталище в «Киевских номерах», Троцкий тут же поехал в Смольный, где заседал Петроградский Совет.

Председательствовал один из ведущих меньшевистских лидеров, хорошо знакомый ему Николай Семенович Чхеидзе. Встретили Троцкого в Совете довольно прохладно. Ни меньшевики и эсеры, составлявшие большинство Совета, ни большевики еще не знали, к кому прибыло «подкрепление». Троцкий, занимавший в последние годы обычно центристскую позицию (но ближе к меньшевикам), и сам бы не мог тогда точно сформулировать свою позицию. Однако, помня заслуги Троцкого в первой русской революции, его на этом же заседании ввели в состав Исполкома Совета с совещательным голосом. Пристроившись сбоку на свободном стуле, Троцкий с удивлением слушал, как его новые коллеги делили посты в правительстве Керенского, о котором в печати говорили как «симбиозе десяти капиталистов и шести социалистов».

Долгая эмиграция Троцкого, хотя он и внимательнейшим образом следил за событиями в России, как-то отодвинула его от отечественной действительности, сразу поставила перед ним много вопросов, на которые у него не всегда находились ясные ответы. По просьбе министров-социалистов Гучкова, Церетели, его бывшего ученика Скобелева выступил на заседании и Троцкий. Находясь

---

[1] См.: С. П. Мельгунов. Золотой немецкий ключ большевиков. Париж, 1940.

словно на распутье или подобно человеку, вышедшему сквозь туман к незнакомой реке, новый член Совета смог выразить свое отношение к революции весьма общими фразами. Мы видим, говорил он, вглядываясь в лица слушающих его людей, что Россия «открыла новую эпоху, эпоху крови и железа, борьбу больше не наций против наций, а борьбу угнетенных классов против их правителей»[1]. Церетели и Чернов, выступавшие за продолжение войны «до победного конца», вздернули головы. В словах Троцкого они увидели ясно выраженную опасность их курсу.

Троцкий уже знал о известной статье Ленина в «Правде» (7 апреля 1917 г.) «О задачах пролетариата в данной революции», содержащей его «Апрельские тезисы» с их радикальными установками на победу социалистической революции. В статье Ленин зло критикует Г. В. Плеханова за искажение своих взглядов в меньшевистской газете «Единство», за «оборончество» шовинистического толка. Однако Ленин в своей статье формулирует губительную позицию: «Не парламентская республика,— возвращение к ней от С. Р. Д. было бы шагом назад, а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху»[2]. Отвержение парламентаризма в стране, где только начали появляться первые ростки демократии, со временем жестоко отомстит самой социалистической идее. К злой тональности Ленина Троцкий давно привык, а вот Плеханов своим резким тоном его удивил. Чего стоило одно название его статьи: «О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас интересен»[3]. Троцкий, читая ответ, не очень узнавал стиль Плеханова: «Ленин никогда не был человеком сильной логики», «совершенно прав был репортер «Единства», назвавший речь Ленина бредовой», «первый тезис Ленина написан в том фантастическом мире, где нет ни чисел, ни месяцев, а есть только черт знает что такое...»

Кончалась же статья так: «я твердо уверен в том... что в призывах Ленина к братанию с немцами, к низвержению Временного правительства, к захвату власти и так далее, и так далее, наши рабочие увидят именно то, что они представляют собой в действительности, то есть — безумную и крайне вредную попытку посеять анархическую смуту на Русской Земле... если эта безумная и крайне вредная попытка не встретит немедленного и сурового отпора с их стороны, то она с корнем вырвет молодое и нежное дерево нашей политической свободы». То было провидчество.

Троцкий знал, что революционное ристалище не только объединяет, но и разъединяет людей. И часто навсегда. Но тем не менее ему нужно было определиться: революция не терпит аморфных позиций.

Центристский курс Троцкого вначале привел его к так называемым межрайонцам,— организации социал-демократов, возникшей в 1913 году, критиковавшей оборончество меньшевиков, но не терявших с ними идейной связи. Это сравнительно небольшое объединение социал-демократов все больше тяготело к большевикам. Когда в Петроград приехал Троцкий, в межрайонцах ходили его многие старые знакомые и друзья: Антонов-Овсеенко, Володарский, Мануильский, Иоффе, Луначарский, Урицкий, Юренев и некоторые другие. Как правило, это были интеллигенты социал-демократического настроя, прошедшие «западную» школу социалистического движения и делавшие мучительный выбор между радикализмом большевиков и парламентаризмом меньшевизма. В их среде Троцкий встретил и тех, кто два года назад активно сотрудничал с ним в парижской газете «Наше слово».

Петроград бурлил. Митинговая эйфория захлестнула улицы, как весенний паводок. Троцкий, рано утром уходя из своего номера, целыми днями жил политикой: заседания, митинги, встречи, обсуждения, выступления. Неделя-другая у Троцкого ушли на то, чтобы осмотреться, сориентироваться, разглядеть людей и их лидеров. Он видел, что в политическом раскладе сил большевики медленно, но неуклонно выходили на первые роли. Однако несколько лет идейной и газет-

[1] Л. Троцкий. Соч., т. 3, кн. I, с. 45—46.
[2] Ленин В. И. ПСС, т. 31, с. 115
[3] См.: Г. В. Плеханов. Год на Родине. Изд-во Поволоцкого, т. I. Париж, 1921.

ной войны с Лениным и большевиками пока еще цепко держали Троцкого. Выступая 10 мая на конференции межрайонцев, где стоял вопрос о политическом самоопределении группы, он все еще говорил: «Я называться большевиком не могу... Признания большевизма требовать от нас нельзя»[1]. Но категоричности в его словах уже не было.

Ленин заметил приезд Троцкого, увидел рост его популярности, но, возможно, почувствовал в этом проявление мелкобуржуазной революционности части населения, которой импонировала яркая левая фраза, радикальные выводы, обещания быстрых результатов. Не случайно, готовя план своего доклада об итогах VII (апрельской) конференции РСДРП(б), с которым Ленин выступил на собрании Петроградской организации, он в одном месте набросал: «Колебания мелкой буржуазии (Троцкий, Ларин и Биншток, Мартов, «Новая жизнь»)»[2]. Пока Ленин присматривался к Троцкому, читая его статьи, вслушиваясь в резонанс его речей.

В эти дни межвременья Троцкого можно было встретить в редакциях газет различной ориентации: «Правде», «Вперед», «Новой жизни»; его дороги в эти месяцы часто пересекались с Луначарским, Горьким, Сухановым, Скобелевым, Каменевым. Шло самоопределение актеров русской драмы.

Л. Б. Каменев — родственник Л. Д. Троцкого (Л. Б. был женат на сестре Л. Д.— Ольге Бронштейн) никогда по-настоящему не был близок к межрайонцу. Неоднократно встречаясь с Львом Борисовичем в эти дни у себя и на квартире Каменева, Троцкий исподволь прощупывал позиции большевиков, пытался выяснить, что думает сейчас о нем Ленин. Он знал об особой близости Ленина к Каменеву, которую лидер русской революции продемонстрировал, передав после революции во время болезни значительную часть своего личного архива Льву Борисовичу для публикации материалов в собрании сочинений. Прислушиваясь к словам Каменева, в глубине души Троцкий не мог избавиться от некоторой неприязни к свояку. Это чувствуется и в его письменных оценках Льва Борисовича. В книге «Февральская революция» он дает ему не очень лестную характеристику: «Большевик почти с самого возникновения большевизма, Каменев всегда стоял на правом фланге партии. Не лишенный теоретической подготовки и политического чутья, с большим опытом фракционной борьбы в России и запасом политических наблюдений на Западе, Каменев лучше многих других большевиков схватывал общие идеи Ленина, но только для того, чтоб на практике давать им как можно более мирное истолкование. Ни самостоятельности решения, ни инициативы действия от него ждать было нельзя. Выдающийся пропагандист, оратор, журналист, не блестящий, но вдумчивый, Каменев был особенно ценен при переговорах с другими партиями и для разведки в других общественных кругах, причем из таких экскурсий он всегда приносил в себе частицу чуждых партии настроений. Эти черты Каменева были настолько явны, что никто почти не ошибался на счет его политической фигуры...»[3].

Из бесед с Каменевым Троцкий пришел к выводу, что у Ленина и большевистского ЦК к нему пока весьма настороженное отношение. Это же он вскоре почувствовал и во время личной встречи с Лениным на совместном совещании большевиков и межрайонцев по поводу готовящегося вхождения последних в РСДРП(б). За плечами Ленина было уже более месяца со дня возвращения из эмиграции. Это был признанный вождь партии, лидер самого радикального ядра российских революционеров. Ленин глубже, чем кто-либо другой, чувствовал, что грядут крупные социальные катаклизмы, видел уникальный исторический шанс русских революционеров, который он не желал упускать. В этой обстановке Ленин хотел привлечь на свою сторону известных и популярных людей: Мартова, Плеханова, Троцкого. Но первые двое отпали как-то сразу; они уже давно стали убежденными социал-демократами и в большевики не годились. Оставался Троцкий.

Личные отношения между Лениным и Троцким стали налаживаться по мере

[1] Ленинский сборник, IV, с. 303.
[2] Ленин В. И. ПСС, т. 32, с. 442.
[3] Л. Троцкий. Февральская революция. Изд-во «Гранит». Берлин, 1931, с. 321

того, как Троцкий сближался с большевиками. Позже он напишет: «Отношение Ленина ко мне в течение 1917 года проходило через несколько стадий. Ленин встретил меня сдержанно и выжидательно. Июльские дни нас сразу сблизили. Когда я, против большинства руководящих большевиков, выдвинул лозунг бойкота предпарламента, Ленин писал из своего нелегального убежища: «Браво, т. Троцкий!» [1]

Через месяц после приезда Троцкого в Петроград он был уже одной из самых заметных фигур на пестром политическом поле революции. Осмотревшись и сориентировавшись, он безоглядно и бесповоротно погрузился в бурлящий поток человеческих страстей, споров, диспутов, политических притязаний. Летом и осенью 1917 года Троцкий был нарасхват; его приглашали балтийские моряки, рабочие Путиловского завода и трамвайного депо, звали на собрания эсеров и большевиков, студенчества и солдатских комитетов воинских частей. Оратор революции почти никогда не отказывался. Иногда ездил на митинги вместе с Луначарским. Этот тандем, а точнее — дуэт революционных агитаторов, был очень популярным в Петрограде в те далекие дни.

Особенно любил бывать Троцкий в Кронштадте у моряков. Его слова падали на благодатную почву; моряки были наиболее радикально настроенной частью революционных масс. Их исключительно благожелательное отношение к Троцкому выразилось, в частности, в том, что по своей инициативе они стали охранять оратора не только в Кронштадте, но и Петрограде. Весьма близко сошелся Троцкий с матросом Н. Г. Маркиным. «О нем надо сказать,— напишет потом Троцкий,— потому что через него — через коллективного Маркина — победила Октябрьская революция. Маркин был матрос балтийского флота, артиллерист и большевик... Маркин не был оратором, слово давалось ему с трудом. Кроме того, он был застенчив и угрюм — угрюмостью загнанной внутрь силы. Маркин был сделан из одного куска и притом из настоящего материала. Я не знал о его существовании, когда он уже взял на себя заботу о моей семье. Он познакомился с мальчиками, угощал их в буфете Смольного чаем и бутербродами и вообще доставлял им маленькие радости, на которые было так скупо то суровое время...» [2].

С помощью Маркина Н. И. Седова кое-как устроила дело с квартирой, определила своих детей в школу, мало-мальски наладила быт. Кстати, как вспоминал семьдесят лет спустя сын А. Ф. Керенского Глеб Александрович, он тоже учился тогда в школе, куда ходили Лев и Сергей. Он помнит, что, кроме двух сыновей Троцкого, сюда ходили Дмитрий Шостакович, сын Каменева Александр, кто-то еще из детей известных людей. Сыновья Троцкого только приехали из Америки, их дразнили «янки», другим детям не нравились в них хорошие манеры, аккуратность и независимость.

А тем временем шло быстрое полевение масс. Одна из причин заключалась в том, что Февральская революция, принеся свободу от самодержавия, не дала народу ни мира, ни земли. А крестьяне, рабочие ждали мир и землю больше всего. Большевики тонко уловили настроения огромных масс людей и непрерывно подталкивали их к осознанию необходимости новых радикальных шагов. Особенно все почувствовали это 4 июля во время грандиозной антивоенной демонстрации, которая фактически замахнулась на хилый режим Временного правительства. В это время пришли сообщения с фронта о провале наступления. Правая печать, буржуазные партии накинулись на большевиков как на виновников очередной военной катастрофы. На свет вытащили многочисленные «свидетельства» о том, что Ленин «связан с немецким Генеральным штабом», что большевики, преследуя свои цели свержения царского самодержавия, «подыгрывают» кайзеру. В сохранившейся в архиве рукописи статьи Троцкого «Политика дальнего прицела», где он касается событий этого времени, есть такие строки: «В июле 1917 года реакция всячески пыталась доказать, что большевики — в союзе с немецкими империалистами. Керенский, Бурцев, Дан «доказывают», что большевики если и не за деньги, непреднамеренно, не сознательно, то по крайней мере «объективно» способствуют, содействуют видам Гогенцоллерна... Но большевики не пошатнулись и не согнулись под громами и молниями мещанского общественного мнения в июле, не дали себя запугать травлей, ложью, клеветой... Они взяли дальний прицел, сократив сроки и приблизив события...» [1].

[1] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, Изд-во «Гранит», Верлин, 1930, с. 61.
[2] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 12.

Общественное мнение, однако, «клюнуло»; в той обстановке любой миф о предательстве, шпионаже, содействии большевиков Берлину как-то объяснял обывателю причины затяжных неудач русской армии. Так, уже в январе 1919 года Троцкий получил телеграмму от Чичерина, в которой, в частности, говорилось: «В январе 1918 года русские контрреволюционеры послали полковнику Робинсу серию документов, доказывающую связь между германским правительством и Троцким. Полковник Робинс произвел расследование и обратился к Гальпериину, который признал, что многие из этих документов были в руках правительства Керенского и являются несомненным подлогом... Бывший издатель «Космополитен мэгэзин» Сиссон согласился с Робинсом, что эти документы не заслуживают доверия, однако позднее Сиссон переменил мнение...» [2]. В истории есть тайны и мистификации. Похоже, это одна из тайн. Но большевики после Октября предпочитали не возвращаться к этому вопросу, тем более никто уже не смел и говорить на эту тему без риска для жизни... А тогда, накануне, все было по-другому: обвинение было серьезным, защищаться было трудно. О шпионаже и предательстве большевиков писали многие газеты. Впрочем, некоторые более поздние публикации показывают, по крайней мере, что немецкое правительство было очень заинтересовано в активизации борьбы большевиков против Временного правительства. Людендорф в своей книге «Воспоминания 1914—1918 гг.» пишет: «Помогая Ленину поехать в Россию (через Германию из Швейцарии в Швецию.— Д. В.), наше правительство принимало на себя особую ответственность. С военной точки зрения это предприятие было оправданно. Россию было нужно повалить» [3].

Временное правительство выдало ордера на арест Ленина, Зиновьева, Каменева и еще большой группы большевиков. Обсуждая вопрос, как поступить с явкой на суд, Троцкий высказал мнение, что нужно его использовать как революционную трибуну. Его поддержал Каменев. Но Ленин и большинство его соратников считали, что власти могут просто-напросто обезглавить революцию. Тем более что офицерские отряды уже громили редакцию «Правды», арестовывали большевистских руководителей, в печати шла травля лидеров революции.

Через три или четыре дня после того, как Ленин ушел в подполье, Троцкий опубликовал тщательно составленное открытое письмо Временному правительству, в котором говорилось:

«Граждане министры!

Я знаю, что вы решили арестовать товарищей Ленина, Зиновьева и Каменева. Но ордер на арест не выдается на меня. Поэтому я считаю необходимым обратить ваше внимание на следующие факты:

1. Я в принципе разделяю позицию Ленина, Зиновьева и Каменева и отстаивал ее в моей газете «Вперед» и во всех моих публичных выступлениях.

2. Моя позиция в отношении событий 3—4 июля совпадает с позицией упомянутых выше товарищей» [4].

В тот момент такое заявление мог сделать лишь мужественный человек. Продолжая выступать на митингах, он во всеуслышание говорил, что так же, как и Ленин, является непримиримым противником Временного правительства, а тот, кто говорит, что руководители революции — «немецкие шпионы», просто негодяй. Обычно большинство стояло за Троцкого, но многие выражали свое отношение к подобным заявлениям угрозами. Продолжая оставаться на свободе, Троцкий как бы провоцировал правительство, публично обвиняя его в преступ-

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 360, лл. 1—5.
[2] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 79, л. 90.
[3] Erich Ludendorff. Meine Kriegserinnerungen 1914—1918. Berlin, 1919. S. 47.
[4] Л. Троцкий. Соч., т. 3, кн. 1, с. 185—166.

ном продолжении империалистической войны, попытках отнять у народа плоды Февральской буржуазной революции, защищая Ленина от настойчивых нападок. Так продолжалось еще полторы-две недели, пока в квартиру Троцкого (к этому времени его семья переселилась к вдове одного либерального журналиста) не пришел офицерский наряд с ордером на арест члена Петроградского Совета.

Троцкого препроводили в переполненную тюрьму «Кресты», где он уже раньше, десять лет тому назад, сидел. Там он встретил своего напарника по выступлениям Луначарского, а также Раскольникова, Каменева, Дыбенко, Антонова-Овсеенко, некоторых других знакомых революционеров из числа большевиков, меньшевиков и эсеров. Когда на другой день Суханов — один из заметных теоретиков меньшевизма, заявил в цирке «Модерн», где ждали выступления Троцкого, что тот арестован Временным правительством,— в ответ поднялся невообразимый шум негодования. Как пишет Суханов, им с Мартовым едва удалось сдержать толпу и «выпустить из нее пар» принятием резолюции протеста. Вскоре революционный Петроград уже знал об аресте Троцкого. Все это свидетельствовало о быстром росте популярности человека, который пока даже не мог ответить, является он сейчас большевиком или меньшевиком.

Помня свой опыт пребывания в Петербургской тюрьме после поражения первой русской революции, Троцкий вновь взял в руки перо и книги. За время, проведенное в «Крестах», им написано немало ярких статей на злобу дня; его позиция стала еще более революционной.

Новое тюремное заключение Троцкого (а мы помним, что он почти хотел этого) резко прибавило авторитета революционеру. Через несколько дней после ареста Троцкого в полулегальных условиях открылся VI съезд РСДРП. Вначале заседания съезда проходили на Выборгской стороне, а затем за Нарвской заставой. Многих руководителей партии, вынужденных уйти в подполье или угодивших в тюрьму, не было на съезде. Но интеллектуальное и политическое влияние Ленина, однако, чувствовалось весьма сильно. По существу, на съезде прозвучала основная ленинская оценка момента: поскольку контрреволюция временно берет верх, резко уменьшилась возможность захвата власти мирным путем. На повестку дня выдвигается вопрос о вооруженном восстании. С этого момента радикальная линия большевиков проявилась еще более рельефно.

Для Троцкого съезд имел огромное значение. После прошедших переговоров и согласований в партию была принята большая группа (около четырех тысяч) межрайонцев. Это так называемые меньшевики-интернационалисты, центристы, большевики-примиренцы, куда организационно входил и Троцкий. Пока он был в тюрьме, решился по-новому и вопрос о его партийности. Троцкий стал большевиком. Авторитет Троцкого оказался уже столь высоким, что при избрании на съезде Центрального Комитета он сразу же был в него введен. Получив при этом лишь на три голоса меньше, чем Ленин!

Несмотря на все старания, власти не смогли выдвинуть сколь-нибудь серьезных обвинений против Троцкого. Его ораторскую деятельность было трудно изобразить как состав антигосударственного преступления. К тому же Троцкий пригрозил голодовкой и отказался отвечать на вопросы следователя. По требованию Петроградского Совета 2 сентября он был освобожден под денежный залог в три тысячи рублей. Вместе с Луначарским, Каменевым, Коллонтай, другими освобожденными революционерами Троцкий выходит из тюрьмы героем и с головой окунается в партийные дела. Вот как реагировали на эти события противники большевиков.

Генерал А. Лукомский, бывший в то время начальником штаба при Верховном Главнокомандующем Брусилове, позже вспоминал: после июльских событий, «к общему возмущению Временное правительство проявило себя после подавления большевистского выступления преступно слабо. Ленину, которого можно было легко арестовать, дали возможность скрыться. Арестованного Троцкого (Бронштейна) по приказанию Временного правительства из тюрьмы освободили. Предателей и изменников родины, работавших на германские деньги, открыто требовавших прекращения войны и мира «без аннексий и контрибуций», не только не покарали со всей строгостью закона, но дело о них было фактически прекращено и им была предоставлена возможность вновь начать в Петрограде и армии разрушительную работу»[1].

К слову сказать, в многочисленных книгах воспоминаний, вышедших в двадцатые годы за рубежом (М. В. Родзянко, В. В. Шульгина, П. Н. Милюкова, А. И. Деникина, М. И. Смирнова, С. П. Мансырова и других «бывших»), основной пафос негодования за все происшедшее обращен к Временному правительству.

В середине сентября в Петрограде открылось Демократическое Совещание, своеобразный форум политических партий, пытавшихся в диалоге определить дальнейшую эволюцию власти в стране. Пожалуй, это совещание могло еще сохранить возможность мирного развития революции. Но этот шанс не был использован. Для Троцкого оно было знаменательным: впервые ЦК партии поручил ему изложить позицию большевиков. Его выступление, по воспоминаниям современников, произвело огромное впечатление на собравшихся. Троцкий тщательно к нему готовился, понимая, что его первый «выход» в новый ранг будет значить очень многое. Троцкий потребовал, чтобы были приняты меры для вооружения Красной Гвардии, заявив также, что если предложения большевиков о мире будут отвергнуты, то «вооруженные рабочие Петрограда и всей России будут защищать отечество революции от солдат империализма с героизмом, неслыханным в русской истории»[2]. В конце речи оратор осудил подтасовку представительства на Демократическом Совещании и в знак протеста вместе с большевиками демонстративно покинул зал заседаний. Это был зловещий знак: большевики взяли курс на вооруженное восстание.

Ленин высоко оценил речь и позицию Троцкого на этом форуме. Авторитет революционера стремительно рос. Поэтому, когда 25 сентября проходили перевыборы Исполкома Петроградского Совета, большевики предложили на пост председателя Троцкого. После избрания новый председатель произнес под одобрительные возгласы зала речь, в которой выразил уверенность, что свое второе избрание в Совет (после 1905 года) он постарается ознаменовать более успешным итогом. В его речи были две показательные фразы, которые очень скоро будут напрочь забыты: мы «будем вести работу Петроградского Совета в духе законности и полной свободы для всех партий. Рука Президиума никогда не поднимется для подавления меньшинства»[3]. В Президиум Совета вошли: от большевиков Троцкий, Каменев, Рыков, Федоров, от эсеров — Чернов и Каплан, от меньшевиков Либер, Бройдо и Вайнштейн. И хотя на этот раз в Совете и Президиуме было обеспечено пока пропорциональное представительство, вскоре после победы Октябрьского вооруженного восстания Троцкий сам поддержит меры большевиков по ликвидации начал революционного плюрализма. А как же его заверения в отношении прав меньшинства? Он еще не знает, что через десять лет после своего октябрьского триумфа сам окажется жертвой той партийной монополии, которую вскоре начнет насаждать. Один из архитекторов будущей большевистской системы, мы знаем, свой драматический исход с вершины завоеванной власти сведет к проискам Сталина, еще не понимая, что первый генсек партии большевиков будет лишь неизбежным продуктом партийного монополизма и политической диктатуры одного класса. А для их укрепления сам Троцкий сделал очень много.

Итак, завершилось превращение Троцкого в большевика. Многолетний центризм меньшевистского толка был решительно отброшен. Противоречие, мучившее Троцкого и выражавшееся в тяге к левому радикализму, с одной стороны, а с другой — в приверженности к политической культуре западной социал-демократии, разрешилось как бы само собой в пользу первого. Троцкий, отвечая на вызовы смутного времени, предстал перед ним в облике левого революционера — радикального большевика. Будущая диктатура заполучила еще одного вождя.

---

[1] «Архив русской революции». Берлин, т. II, 1922, с. 89

[2] Н. Суханов. Записки о революции, т. 5, с. 306—307.

[3] Там же, т. 6, с. 188

Гипноз мифов

Думаю, что Ложь является универсальным Злом. Все беды, трагедии, катаклизмы человеческого бытия, как правило, связаны с Ложью и начинаются обычно с нее. Первой жертвой любой несправедливости всегда выступает Правда. Но наиболее уверенно, спокойно, а часто и просто уютно Ложь чувствует себя в истории.

Троцкий, которого Сталин сделал «шпионом», «извергом», «двурушником», «убийцей», «фальсификатором», «империалистическим агентом», до последних дней своей жизни боролся с этой ложью. Он писал: «Революция есть разрыв социальной лжи. Революция правдива. Она начинается с того, что называет вещи и отношения их собственными именами... Но сама революция не есть целостный и гармонический процесс. Она полна противоречий... Она сама поднимает новый правящий слой, который стремится закрепить свое привилегированное положение, и склонна видеть в себе не временное историческое орудие, а ее завершение и увенчание...» Так создается,— завершает свою мысль Троцкий, ложь против него[1]. Добавим: и ложь против истории. Но Троцкий никогда не признавался даже самому себе, что он один из творцов тех условий, где Ложь чувствовала себя нужной.

Я не намерен воспроизводить хронику событий дней октября 1917 года, но попытаюсь, опираясь на архивные и иные документы, показать действительную роль Председателя Петроградского Совета в Октябрьском вооруженном восстании.

Троцкому по сей день вменяется в вину его стремление совместить захват власти в Петрограде с открытием II съезда Советов.

Как обстояло дело в действительности? Троцкий не выступал против вооруженного восстания, которое так торопил Ленин, а напротив, всецело боролся за реализацию этой линии. Но он считал, что восстание должно подняться не только под эгидой и руководством ЦК партии большевиков, но и по воле съезда Советов. Едва ли можно возражать, что большевистский лозунг «Вся власть Советам!» имел целью создание значительно более широкой социальной базы революции и восстания. В этом лозунге, если хотите,— народное начало. Нетрудно представить, что «благословение» на восстание в этом случае будет исходить не от одной партии (что даст обоснованный повод для обвинений на многие десятилетия!), а от имени всего альянса революционных сил России. Именно всего! Мировая общественность могла бы воочию убедиться, считал Троцкий, что революционный переворот — дело не узкого «заговора» одной радикальной партии, а широких прогрессивных кругов российского общества. Угроза немедленной контрреволюции, сильной встречной контрреволюционной волны, чего некоторые так боялись, была, вероятно, не столь и велика. Но она, конечно, существовала. В фонде Троцкого хранится заявление начальника штаба Верховного Главнокомандования: «Фронт требует подчинения Временному правительству!», направленное в Петросовет, в газеты, в правительство в те переломные дни. В документе говорится:

«От имени армий фронта мы требуем немедленного прекращения большевиками насильственных действий, отказа от вооруженного захвата власти, безусловного подчинения действующему в полном согласии с полномочными органами демократии Временному правительству, единственно могущему довести страну до Учредительного собрания — хозяина земли русской.

Действующая армия силой поддержит это требование.

Начальник штаба Верховного Главнокомандования Духонин
Пом. нач. штаба по гражданской части Вырубов
Председатель общеарм. комитета Перекрестов»[1]

Угроза антибольшевистской волны существовала. Но самоуверенное заявление Духонина: «действующая армия силой поддержит это требование»,— далеко не учитывало деморализации войск, быстрой эрозии тех связей в военном организме.

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 11, л. 10

без которых идет неумолимый процесс его обессиливания. Армия хотела одного — мира. А его могла дать тогда лишь революция. Можно понять Ленина, находившегося по-прежнему на нелегальном положении и требовавшего 24-го вечером в письме к членам ЦК партии: «Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске... Надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, обезоружив (победив, если будут сопротивляться) юнкеров и т. д. Нельзя ждать!! Можно потерять все». И далее: «Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало!»[1].

Сама тональность: «добить» — указание на прямой курс с мирного пути на военный. К сожалению, вскоре эта установка будет господствующей в умонастроениях большевиков. Слабые попытки либеральными методами изменить этот курс, которые предпринимали меньшевики, только навлекли на них особый гнев радикальных большевиков. Пройдет совсем немного времени, и Троцкий будет призывать к тому, чтобы «чугунный каток пролетарской революции прошелся по позвоночнику меньшевизма»[2]. Непримиримость к социал-демократии, ставка на силу сдвинут со временем Октябрь на рельсы насилия.

Победителям не принято адресовать упреки. Но едва ли допускал ошибку и Троцкий, который связывал начало восстания с созывом съезда Советов, который уполномочит ликвидировать режим Временного правительства и утвердит революционную власть. Таким образом, Троцкий не выступал «за затяжку» восстания, как часто и долго утверждалось в нашей литературе, а просто хотел конституировать его на более широкой народной базе. Ему казалось, что съезд способен резче повернуть в сторону революции колеблющиеся элементы, создать более благоприятное отношение к перевороту за рубежом, активнее прорваться к сознанию крестьянских и солдатских масс.

Бесспорна роль Троцкого в создании и функционировании при Петроградском Совете Военно-революционного комитета — органа, руководившего подготовкой и ходом Октябрьского вооруженного восстания. Подчеркнем: ВРК создавался при Петроградском Совете, и, таким образом, его Председатель, естественно, занимал в нем ведущее положение. В своей, пожалуй, лучшей работе — двухтомной «Истории русской революции» Троцкий пишет:

«Решение о создании Военно-революционного комитета, вынесенное впервые 9-го, прошло через пленум Совета лишь спустя неделю: Совет не партия, его машина тяжеловесна... Совещание полковых комитетов успело доказать свою жизнеспособность, вооружение рабочих продвинулось вперед, так что Военно-революционный комитет, приступивший к работе только 20-го, за 5 дней до восстания, сразу получил в свои руки достаточно благоустроенное хозяйство. При бойкоте со стороны соглашателей в состав комитета вошли только большевики и левые эсеры: это облегчило и упростило задачу. Из эсеров работал один Лазимир, который был даже поставлен во главе Бюро, чтоб ярче подчеркнуть советский, а не партийный характер учреждения. По существу же Комитет, председателем которого был Троцкий, главными работниками Подвойский, Антонов-Овсеенко, Лашевич, Садовский, Мехоношин, опирался исключительно на большевиков... Это и был штаб восстания»[3].

Однако после смерти Ленина, когда почти сразу стала переписываться история, на первый план выдвинули созданный партийный Военно-революционный Центр по руководству восстанием в составе: Бубнова, Дзержинского, Свердлова, Сталина, Урицкого. Этот «Центр», который организационно входил в ВРК при Петроградском Совете, оказался символическим. Никаких архивных следов о его деятельности не имеется, да их и не могло быть, так как реальной подготовительной работой занимался Военно-Революционный комитет, на архивных документах которого почти везде стоит подпись Троцкого. Есть красноречивое свидетельство Ленина о роли Троцкого в Октябрьском вооруженном восстании. «После того, как Петроградский Совет перешел в руки большевиков,— говорит-

[1] Ленин В. И. ПСС, т. 34, с. 345, 346.
[2] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 3, д. 78, л. 24.
[3] Л. Троцкий. История русской революции, том II. Изд-во «Гранит». Берлин, 1933, с. 121—122.

ся в XIV томе первого Собрания сочинений В. И. Ленина,—Троцкий был избран его председателем, в качестве которого организовал и руководил восстанием 25 октября»[1].

Однако Сталин после смерти Ленина дает Троцкому в революции уже совершенно другую оценку: «Должен сказать, что никакой особой роли в Октябрьском восстании тов. Троцкий не играл и играть не мог, что, будучи Председателем Петроградского Совета, он выполнял лишь волю соответствующих партийных инстанций, руководивших каждым шагом Троцкого». И буквально здесь же еще одна аналогичная оценка: «Никакой о с о б о й роли ни в партии, ни в Октябрьском восстании не играл и не мог играть т. Троцкий, человек сравнительно новый для нашей партии в период Октября»[2]. По существу эти сталинские оценки, сохранившиеся в нашей партийной историографии по сей день, начинают постепенно меняться только в последнее время. После сталинского вердикта Троцкий надолго «выпал» из нашей отечественной истории. Как у Дж. Оруэлла: он был, но как бы и не был... Другое дело, как мы относимся к самой революции. По мере очищения нашего сознания от мусора догматизма, штампов и мистифицированной теории сегодня становится все более ясно, что именно тогда была допущена, возможно, одна из трагических ошибок. Не завершив задач буржуазно-демократической революции, был провозглашен переход к социалистическому ее этапу. Незрелый плод выдали за созревший. Оказалось, что в этом случае революция могла двигаться дальше, лишь все больше и больше подстегивая диктатуру в ее самых уродливых и страшных формах... Но что было — то было. Для нас важно сегодня подчеркнуть, что такие люди, как Троцкий, оказались незаменимыми именно для «недозрелой», «недоношенной» революции.

На основании знакомства с многочисленными документами, свидетельствами лиц, анализа ленинских работ того периода можно заключить, что Троцкий в Октябре проявил себя как один из главных руководителей революции. Передо мной третий, четвертый и пятый тома «Революции 1917 года» (июнь — октябрь), подготовленные Истпартом в 1924—1926 годах (т. е. в то время, когда Троцкий уже прошел зенит своей популярности и начал испытывать давление аппарата). В этих томах Сталин упоминается всего 10 раз, а Троцкий — 109! Свидетельство весьма красноречивое!

Представление о мистерии сталинских мифов дает письмо Л. Д. Троцкого в Истпарт 21 октября 1927 года. Накануне десятой годовщины революции Истпарт разослал многим участникам событий той поры «Анкету участника Октябрьского переворота». После долгих колебаний анкету выслали и уже отверженному Троцкому. Его совсем перестали публиковать и только с нарастающей ожесточенностью поносили и преследовали. Подавленный, но не сдавшийся и не сломленный Троцкий решает подробно ответить на множество вопросов, содержащихся в анкете Истпарта. Как проницательный человек, он понимал, что в лучшем случае его ответы надолго лягут в архивы Истпарта, но он также знал, что у истории есть одна коренная особенность: в конечном счете она ценит только истину. И даже если сталинские пигмеи до времени похоронят его ответы, у истории всегда остается шанс приподнять полог над любой тайной.

Троцкий до конца своих дней надеялся на историческую реабилитацию, верил в непобедимость человеческого интеллекта, этой, как многозначительно заметил Гегель, «розы на кресте современности»[3]. Он никогда не сомневался в своевременности социалистической революции и ее закономерности. Как, пожалуй, никто другой, Троцкий был уверен, что поток истории сорвет покровы со «второго Ленина» и явит его голым королем. Все написанное Троцким в его письме Истпарту и ответах на анкету представляется мне в большинстве случаев истиной или, в некоторых случаях,— субъективной точкой зрения, глубоко не расходящейся с исторической правдой. Уже в изгнании это письмо и свои ответы Троцкий положит в основу книги: «Сталинская школа фальсификаций». Думаю,

[1] Н. Ленин (В. Ульянов). Собр соч., т. XIV. ч. II, М. П., 1923, с. 482
[2] И. Сталин. Соч., т. 8, с. 328—329
[3] Гегель. Соч., т VII, с 16

это одна из лучших его работ, проливающая свет на сталинскую кухню фабрикации лжи. Прочитав книгу, еще рельефнее чувствуешь, как малозаметный тогда партийный функционер Джугашвили-Сталин, человек из десятого — двадцатого ряда партийной революционной колонны, настойчиво, но непрерывно переписывая историю, создавая теорию «двух вождей» Октября, развенчивая и сбрасывая, как ему казалось, навсегда, многих революционеров в реку забвения. Но история и память, к счастью, живут по своим законам, над которыми диктаторы не властны. Позволю себе привести несколько отрывков из письма Троцкого в Истпарт.

О подделке истории Октябрьского переворота, истории революции и истории партии.

Уважаемые товарищи!

Вы прислали мне подробнейшие печатные листы анкеты о моем участии в Октябрьском перевороте и просите дать ответ... Но я позволяю себе спросить вас: какой смысл спрашивать меня по поводу моего участия в Октябрьском перевороте, когда весь официальный аппарат, в том числе и ваш, работает над тем, чтобы скрыть, уничтожить, или, по крайней мере, исказить всякие следы этого участия?

Меня не раз уже спрашивали десятки и сотни товарищей, почему я молчу и молчу в ответ на совершенно вопиющие подделки истории Октябрьской революции и истории нашей партии, направленные против меня. Я совершенно не собираюсь здесь исчерпать вопрос об этих подделках: для этого пришлось бы написать несколько томов. Но позвольте в ответ на ваши анкетные запросы указать с десяток примеров того сознательного и злостного искажения вчерашнего дня, которое сейчас производится в самом широком масштабе, освящается авторитетом всяческих учреждений и даже вводится в учебники»[1].

Троцкий с присущим ему сарказмом, умело оперируя фактами, данными, цитатами, документами, убедительно демонстрирует убогость сталинских фальсификаций, которые часто ставят их авторов просто в смешное положение. Например, пишет Троцкий, нынешний Сталин решительно оспаривает высокую оценку, которую Ленин дал Председателю Петроградского Совета как организатору и руководителю Октябрьского вооруженного восстания. Но как же быть с заявлением самого Сталина, сделанным им 6 ноября 1918 года («Правда» № 241) по этому поводу:

«Вся работа по практической организации восстания происходила под непосредственным руководством Председателя Петроградского Совета Троцкого. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону Совета и умелой постановкой работы Военно-Революционного комитета партия обязана прежде всего и главным образом т. Троцкому»[2]. И это Сталин говорил в статье, где он предостерегал от преувеличения роли и заслуг Троцкого! Сам же опальный лидер к этой сталинской цитате лишь добавляет:

«Давно отмечено, что правдивый человек имеет то преимущество, что даже при плохой памяти не противоречит себе, а нелояльный, недобросовестный, неправдивый человек должен всегда помнить то, что говорил в прошлом, дабы не срамиться»[3].

Нельзя забывать, что все эти строки Троцкий писал в октябре 1927 года, когда Сталин уже набрал силу, а бывший член Политбюро, наоборот, оказался «загнан в угол» и стал постоянной мишенью для политической и пропагандистской травли. Опальный вождь дает нелицеприятную оценку роли Сталина в те дни:

«Как ни противно копаться в мусоре, но позвольте мне, как довольно близкому участнику и свидетелю событий того времени, уже в качестве свидетеля, показать следующее. Роль Ленина не нуждается в пояснениях. Со Свердловым

[1] Л. Троцкий. Сталинская школа фальсификаций. Изд-во «Гранит». Берлин. 1932. с. 13.
[2] Там же, с. 25.
[3] Там же.

я встречался тогда очень часто, обращался к нему за советами и за поддержкой людей. Тов. Каменев, который, как известно, занимал тогда особую позицию, неправильность которой признана им самим давно, принимал, однако, активнейшее участие в событиях переворота... Решающую ночь с 25-го на 26-е мы провели вдвоем с Каменевым в помещении Военно-Революционного Комитета, отвечая на телефонные запросы и отдавая распоряжения. Но при всем напряжении памяти, я совершенно не могу ответить себе на вопрос, в чем, собственно, состояла в те революционные дни роль Сталина? Ни разу мне не пришлось обратиться к нему за советом или за содействием. Никакой инициативы он не проявлял...»[1].

Далее Троцкий вносит ясность в вопрос с «военно-революционным центром», который сталинские апологеты типа Ярославского вытащили на свет лишь потому, что в ВРЦ входил Сталин. Троцкий буквально ловит с поличным:

«По явному недосмотру сталинских историков в «Правде» от 2 ноября 1927 года (т. е. после того, как было написано письмо Троцкого) напечатана выписка из протокола ЦК от 16 октября 1917 года:

«ЦК организует военно-революционный центр в следующем составе: Свердлов, Сталин, Бубнов, Урицкий и Дзержинский. Этот центр входит в состав революционного советского комитета». Заметьте, входит!

Другими словами, Троцкий развенчал сталинскую легенду об особой роли этого «центра», куда был приписан будущий генсек. Все пять товарищей лишь дополняли ВРК, председателем которого был Троцкий. «Ясно,— заключает он,— что Троцкого незачем было вводить вторично в состав той организации, председателем которой он уже состоял. Как трудно, оказывается, задним числом «исправлять» историю!»[2].

Звездный час Троцкого пришелся на революцию и годы гражданской войны. Именно их в его биографии постарался прежде всего закамуфлировать, затемнить, а затем и вытравить из народной памяти тот, кого с трудом можно было разглядеть в большую лупу в октябрьские дни 1917 года.

Оракул революции

Строго говоря — история не имеет смысла. Все течет из ниоткуда в никуда. Между этими полюсами пульсирует человеческое бытие, прерываемое конвульсиями попыток постичь или изменить то, что называется смыслом.

Любая революция создает иллюзию, что можно сразу, немедленно ликвидировать жизнь старую и открыть двери жизни новой. Впрочем, мы так думаем не только о своей революции, но и о попытке перестройки бюрократического государства на демократический лад. Немедленно, сразу социальную жизнь в масштабах государства изменить невозможно. Чрезмерные ожидания вскоре рождают большие разочарования. Обычно контрреволюция всегда использует такие разочарования, весьма скоро наступающие после революционного паводка. Однако давно замечено, что пик революционного кризиса, наивысший накал страстей в массах, готовых разрядиться революционным взрывом, создают не только подспудные социальные, экономические и политические процессы, но и люди, нагнетающие это напряжение. В конце концов, считал Н. Бердяев, «революция есть рок народов и великое несчастье». Ему принадлежат и слова о том, что «всякая революция есть смута»[3]. Напряжение таких смут поддерживают и нагнетают люди, для которых революция — перст судьбы. Это — трибуны революции. Троцкого можно назвать и грозным ее агитатором.

Не каждый умный, даже талантливый человек способен высечь искру из толпы, заставить ее поверить в истину выдвинутого лозунга, увлечь несколькими страстными фразами сотни, тысячи людей идти вслед за идеей. Троцкий обладал этим даром. Никто его не учил ораторскому искусству, просто в нем, видимо, соединились необходимые компоненты: высокая эрудиция, неподдельная личная

[1] Там же. с. 26.
[2] Там же. с. 27
[3] Николай Бердяев. Новое средневековье. Обелиск: Берлин. 1924. с. 61

увлеченность идеей, способность к парадоксальным, неординарным суждениям, умение быстро установить самый тесный контакт с массами. В его выступлениях было немало картинного, театрального, но они не были самоцелью: с помощью яркой фразы, афоризма, запоминающегося образа Троцкий доносил до сознания людей элементарные истины революции. В его выступлениях были простота сложности и сложность простоты. С высоты прошедших лет, как бы мы ни относились к Троцкому, нельзя сегодня не признать: это был Великий Агитатор революции. Он еще не знал, о чем напишет спустя несколько лет Бердяев: «В революции всегда погибают те, которые ее начали и которые о ней мечтали»[1]. Добавим — и те, кто был ее наиболее страстным трибуном. Но самое главное, люди, узнав Троцкого, ждали от него откровений. Даже почти повторяя то, что он сказал накануне,— трибун революции умел находить в каждой ситуации нюансы, которые увлекали людей.

Читая спустя многие десятилетия сказанное Троцким в годы великой смуты, убеждаешься в каком-то «магнетизме» его обращений. О власти его слов над сознанием людей мне рассказывали Д. Т. Шепилов, А. И. Купцов, И. М. Бородулин, О. Э. Гребнер, которым довелось видеть и слышать Троцкого в те далекие годы.

Сам оратор тепло вспоминал то революционное время. «Жизнь кружилась в вихре митингов,— писал человек, который, казалось, навсегда сбросил рубища изгнанника Агасфера.— Я застал в Петербурге всех ораторов революции с осипшими голосами или совсем без голоса. Революция 1905 года научила меня осторожному обращению с собственным горлом. Благодаря этому я почти не выходил из «строя». Митинги шли на заводах, в учебных заведениях, в театрах, в цирках, на улицах и на площадях. Я возвращался обессиленный за полночь, открывал в тревожном полусне самые лучшие доводы против политических противников, а часов в семь утра, иногда раньше, меня вырывал из сна ненавистный, невыносимый стук в дверь: меня вызывали на митинг в Петергоф, или кронштадтцы присылали за мной катер. Каждый раз казалось, что этого нового митинга мне уже не поднять. Но открывался какой-то нервный резерв, я говорил час, иногда два, а во время речи меня уже окружало плотное кольцо делегаций с других заводов или районов. Оказывалось, что в трех или пяти местах ждут тысячи рабочих, ждут час, два, три. Так терпеливо ждала в те дни нового слова пробужденная масса»[2]. Дочери Троцкого: Зина и Нина — старшей уже шел шестнадцатый, младшая была на год меньше — стали фанатичными поклонницами своего отца и редко пропускали его триумфальные выступления в «Модерне». Они восхищались человеком, которого почти не знали и могли видеть лишь здесь, на митинге. Троцкому иногда удавалось лишь пожать их еще детские нежные руки и бросить ободряющую фразу. С Соколовской за все время пребывания в Петрограде до его последней, третьей эмиграции в 1929 году Троцкий встречался всего два-три раза. Но в самое трудное время голода и лишений пытался порой как-то помочь своим первым детям. Драму старого разрыва плотно заслонили дела революции, которой он отдавал все свои силы.

Нужно сказать, что свое ораторское оружие Троцкий умело использовал не только на бесконечных митингах, но и на ответственных политических форумах: съездах, пленумах, заседаниях различных советов и комитетов. Логику аргументов он и здесь пытался всегда подкрепить пафосом красноречия.

Чем ближе было вооруженное восстание, тем чаще Троцкого приглашали для выступлений. Думаю, что ни один руководитель Октябрьского переворота так много не говорил и не общался с людьми в те дни октября. Одна из психологических тайн влияния Троцкого на людей заключалась, видимо, вот в чем. Сомневающиеся граждане (их всегда много) к убежденным, одержимым людям относятся так: или ненавидят, или боготворят. Ведь сомнение — это всегда неуверенность. А одержимость — это духовная непреклонность. Такие люди чаще всего имеют притягательную силу для колеблющихся, которые подсознательно желают моральной власти этих людей.

[1] Там же, с. 62
[2] Л. Троцкий. Моя жизнь. т. II. с. 14—15

Троцкий был кумиром митингового половодья. Конечно, реакцию, умеренных, либералов, попутчиков революции, да и просто проницательных людей словесные «фейерверки» Троцкого пугали и возмущали. «Новая жизнь» 31 октября 1917 года, характеризуя речи оракула-революционера, называла их: «безобразные выступления Троцкого в Петроградском Совете...»[1].

Никто не мог отрицать огромного личного воздействия слов, которые Троцкий бросал в толпу. То были искры, падавшие на сухой хворост... Весьма симптоматично, что в эти дни Троцкий добивался от масс поддержки Советов, значительно менее акцентируя внимание на партии большевиков. Он понимал (впоследствии ему это всегда ставилось в вину), что у Советов неизмеримо более широкая социальная база, нежели у любой партии. Этим он как бы ненавязчиво ставил вопрос о превращении «партийной» революции в подлинно народную.

Троцкий был одним из тех, кто искренне боролся за реализацию ленинской резолюции, принятой на конспиративном заседании ЦК РСДРП 10 октября, определившей курс на вооруженное восстание. Именно с этого момента, что может рассматриваться и как историческое «оправдание» или «обвинение», он — «верный ленинец». Для Троцкого то заседание памятно не только приближением дела его главной мечты — новой российской революции, но и еще двумя обстоятельствами. Человек, и двух месяцев не состоявший в партии большевиков, за две недели до восстания становится членом первого Политбюро ЦК партии, вместе с Лениным, Зиновьевым, Каменевым, Сталиным, Сокольниковым и Бубновым. Ну и, наконец, Троцкий увидел, что и в составе самой большевистской верхушки нет единогласия: Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев голосовали против курса на вооруженное восстание.

Троцкий решительно не мог понять этих колебаний. Он объяснял их больше духовной слабостью и боязнью исторической ответственности, нежели просчетами в анализе конкретной ситуации.

Троцкий мог колебаться лишь в период «межвременья», но только не в час, когда он слышал призыв судьбы. Участвуя по-прежнему в многочисленных митингах, проводя заседания Петроградского Совета или Военно-Революционного Комитета, Троцкий почти без обиняков, прикрываясь лишь слабым словесным камуфляжем, вел линию на подготовку вооруженного восстания. Однако позже его деятельность будет расценена Сталиным как предательство: «На заседании Петроградского Совета Троцкий, расхваставшись, выболтал врагу срок восстания, день, к которому приурочили большевики начало восстания»[2].

Октябрьскому апогею предшествовали словесные баталии в двух лагерях. В Петроградском Совете шли последние приготовления и распоряжения к свержению Временного правительства. Среди большевистских руководителей одной из самых видных фигур был Председатель Совета.

В правительственном лагере, кроме спонтанных действий по подавлению зреющего восстания, возлагали немалые надежды на влияние Предпарламента с его широким представительством политических партий (кроме большевиков, покинувших этот орган после официального заявления, которое произнес все тот же Троцкий).

В час дня 24 октября Керенский выступил с большой речью в Предпарламенте. Истпарт в хронике событий, составленной вскоре после революции, так излагает его речь:

«Я должен установить перед Временным Советом Российской Республики полное, ясное и определенное состояние известной части населения города Петрограда, как состояние восстания. В действительности это есть попытка поднять чернь против существующего порядка вещей, сорвать Учредительное Собрание и раскрыть русский фронт перед сплоченными частями железного кулака Вильгельма. Я говорю с совершенным сознанием — «чернь»[3]. После четырехчасового перерыва заседание возобновилось.

---

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 11, л. 14.
[2] История ВКП(б). Краткий курс. Гос. изд-во политической лит., 1950, с. 198.
[3] К. Рябинский. Революция 1917 года. Хроника событий. Т. V. Октябрь. Гос. издат. М.-Л. 1926, с. 168.

Левый эсер Камков заявил о недоверии Временному правительству. Меньшевик Гвоздев заявил, что рабочий класс не будет участвовать в восстании. Дан, еще один представитель меньшевиков: мы против восстания, но и против подавления этого восстания. От меньшевиков-интернационалистов, как всегда витиевато, говорил Мартов: за заключение мира, против кровопролития и насилия. Казачья фракция резко осудила большевиков и призвала правительство к решительным действиям... «Игралище власти», как видим, оказало весьма ограниченную поддержку Временному правительству. Естественно, в лагере большевиков были хорошо осведомлены о расстановке сил вокруг слабого правительства. Ленин торопил, требовал, звал к немедленным, решительным действиям. В тот же вечер, когда в Предпарламенте шли дебаты о том, что делать, Ленин в своем письме членам ЦК однозначно требовал: «Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало!»[1]. Смущает снова слово «добиты». Думаю, в последующем новые вожди, такие, как Сталин, оценят этот ленинский призыв на все времена и буквально, а не как конкретное указание на смещение правительства. Но в целом большевики были готовы безжалостно «добивать» правительство, эпоху, историю. Глубинный порок российского радикализма, связанный с абсолютизацией роли насилия в социальном движении, жестоко отомстит наследникам большевизма через многие десятилетия.

События развивались стремительно, особенно после того, как вечером 24 октября Ленин прибыл в Смольный. Хотя правительство еще заседало, часы его были сочтены. В ночь с 24-го на 25-е отряды красногвардейцев заняли Главпочтамт, Николаевский вокзал, Центральную телефонную станцию. Крейсер «Аврора» бросил якорь у Николаевского моста. Утром 25 октября Военно-Революционный Комитет утвердил воззвание «К гражданам России», написанное Лениным, где были знаменательные фразы: «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-Революционного Комитета...» А во главе комитета, его председателем, как мы знаем, был Троцкий. Долгие годы мы не имели права об этом даже упоминать, а молодое поколение и знать.

В то время как в Зимнем дворце продолжало заседать Временное правительство, в 10 часов 40 минут вечера 25 октября открылся Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Именно на этом съезде по докладам Ленина были приняты Декреты о мире и земле, провозглашена новая власть. Почти в это же время, ночью, пал Зимний дворец. «Октябрьский переворот», как тогда говорили, увенчался полным успехом. Троцкий, работая бок о бок с Лениным, оставляет для истории ряд важных документов и в том числе проект резолюции по поводу ухода со съезда меньшевиков и эсеров. Срывающимся от волнения, усталости и охватившей эйфории голосом Троцкий провозгласил:

— Восстание народных масс не нуждается в оправдании; то, что произошло, это не заговор, а восстание... Тем, кто отсюда ушел и кто выступает с предложениями, мы должны сказать: вы — жалкие единицы, вы — банкроты, ваша роль сыграна и отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть: в сорную корзину истории...[2].

Заявление Троцкого об отсутствии заговора не примут многие. Ни тогда, ни позже. Этот пункт, и не без оснований, долгие годы противниками Октябрьской революции будет оспариваться. Ведь еще за несколько часов до этого заявления Троцкий говорил:

— Обыватель мирно спал и не знал, что в это время одна власть сменяется другой...

Троцкий позже не раз вспоминал, что, когда начались прения по Декрету о земле, всплыл вопрос об арестованных министрах Временного правительства, где были и социалисты. А арестованы были Прокопович, Кишкин, Рутенберг, Пальчинский, Бернацкий, Коновалов, Маслов, Салазкин, Гвоздев, Малентович, Никитин, Вердеревский, Терещенко. Несколько эсеров на съезде стали катего-

---

[1] Ленин В. И. ПСС, т. 34, с. 436.
[2] Л. Троцкий. Соч., т. III, ч. 2, с. 61, 391.

рически требовать освобождения министров-социалистов. Особенно запомнилось взволнованное выступление одного солдата-депутата из эсеров:

«Вы здесь сидите и разглагольствуете о передаче земли крестьянам, а в то же время вы совершаете акт тирании и узурпации по отношению к избранным представителям крестьян. Я говорю вам, что если хотя один волос на их голове пострадает, вы будете иметь дело с восстанием...»[1]. Когда солдат закончил и вернулся на свое место, в зале наступила тишина и очень многие ждали, что́ ответит Председатель ВРК — Троцкий. Он сразу понял это и тут же взял слово:

«...Решено, что министры-социалисты, меньшевики и с. р. временно Военно-Революционным Комитетом будут содержаться под домашним арестом. Так было поступлено с Прокоповичем, так мы должны поступить с Масловым и Салазкиным...»[2]. И дальше он скажет фразу, которая сегодня кажется зловещей:

«...Второй вопрос,— это вопрос об обывательском впечатлении от этих арестов. Товарищи, мы переживаем новое время, когда обычные представления должны быть отвергнуты (выделено мной.— **Д. В.**)... Теперь эти представители приходят отрывать нас от деловой работы, мешают нам в важных делах, в которых они сами не могли ничего сделать, чтобы прокричать нам свои бессмысленные угрозы и проявить перед нами свое подмоченное негодование (Шумные аплодисменты)»[3].

О том, что у революции тяжелая рука, скоро узнают многие. В декабре 1917 года была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Скоро органы ВЧК получат право внесудебного рассмотрения дел за различные преступления, вплоть до «расстрела на месте». В декрете Совнаркома РСФСР от 21 февраля 1918 года говорилось: «Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления». В этот перечень могли попасть в зависимости от истолкования действий очень многие. Революция сбросила маску. Ее лицо стали определять такие люди, как Троцкий.

Революционная волна подняла Троцкого на самый гребень популярности. Пожалуй, с момента завоевания власти он безоговорочно стал вторым после Ленина человеком в России, которая с памятного дня 25 октября 1917 года постепенно погрузится в хаос, братоубийство и невиданные лишения. Может быть, был прав Н. Бердяев, утверждая, что «удачных революций не бывает»?[4].

Рядом с Лениным

Возможно, сам подзаголовок у некоторых вызовет активное неприятие. Долгие годы с действительно «первым вождем» Лениным, быстро иконизированным, никого нельзя было рядом поставить. На это решился, после многолетней фальсификации истории лишь Сталин. В действительности рядом с Лениным было немало крупных политических деятелей, наиболее заметным из которых в те годы был Троцкий. О Троцком как втором человеке России того времени говорили как творцы революции, так и ее недоброжелатели. «Рабочая газета» 6 ноября опубликовала заметку без подписи, озаглавленную: «Начало конца», где, в частности, сказано:

«Усиление террора и углубление гражданской войны — вот программа Ленина и Троцкого. Возврат к свободе и гражданский мир — это лозунг вчерашних друзей и сегодняшних противников. «Социализм» Ленина и Троцкого опирается на «военно-революционный комитет» и штыки петроградского и кронштадтского гарнизонов...»[5]. Подобные заявления не были единичными. М. Горький и его газета выпустили немало ехидных, злых стрел по революционному дуэту

[1] Л. Троцкий. Соч., т. III, ч. 2, с. 56.
[2] Там же, с. 391.
[3] Там же, с. 63.
[4] Н. Бердяев в сб. София. Проблемы духовной культуры и религиозной философии. Берлин. Обелиск. 1923, с. 125.
[5] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 11, л. 19.

Ленин — Троцкий. «Новая жизнь» 7 ноября 1917 года писала, например, в заметке «К демократии»:

«...Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия. Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся якобы по пути к «социальной революции» — на самом деле это путь к анархии, к гибели пролетариата и революции.

М. Горький»[1].

Вообще «Новая жизнь» была уверена, что большевики у власти — это досадный исторический эпизод. Мол, все скоро встанет на свое место. Вот пример подобных утверждений в газете, авторство которых принадлежит В. Базарову. Предупреждая о готовящемся срыве большевиками соглашения между демократическими силами, что, по мнению автора, погубит революцию, в статье утверждается: «...Само собой разумеется, однако, что этой элементарной истины никогда не усмотрит грозный президент Смольной республики Н. Ленин, одержимый маниакальной идеей «советского» государства. Эту элементарную истину никогда не захочет признать великолепный Л. Троцкий и примыкающая к нему фаланга революционных конквистадоров, играющих в современном большевизме первые роли. Ленинские мании, как показал опыт, неизлечимы,— что же касается конквистадоров... то им вообще нет дела до судьбы основываемых им учреждений; тут психология простая: хоть день, да мой, хоть часок, да покрасоваться в классической революционной позе, с печатью робеспьеровского трагизма на челе...»[2].

Меньшевики, буржуазные либералы вначале всерьез надеялись, что у новых вождей — «грибная», т. е. недолгая жизнь. Тогда, действительно, казалось маловероятным, что захват власти увенчается успехом. Но Ленин, его окружение, в котором теперь был и Троцкий, видели дальше своих критиков.

Через два дня после перехода власти в руки Петроградского Совета, а фактически большевиков, «Рабочая газета» — орган меньшевиков — опубликовала следующее воззвание:

«Всем! Всем! Всем!
Граждане России!

Временный Совет Российской республики, уступая напору штыков, вынужден был 25 октября разойтись и прервать на время свою работу. Захватчики власти со словами «Свобода и социализм» на устах творят насилие и произвол. Они арестовали и заключили в царский каземат членов Временного правительства, в т. ч. и министров-социалистов... Кровь и анархия грозят захлестнуть революцию, утопить свободу и республику, вынести на своем гребне реставрацию старого строя. Такая власть должна быть признана врагом народа и революции»[3].

Да, так говорили проигравшие. И они уже пустили в обиход зловещий термин, родившийся во времена Французской революции — «враги народа». Но и победившие метили своих противников тем же клеймом. Думаю, большевикам, при их радикализме и максимализме, все равно было бы не по пути с кадетами и другими буржуазными партиями. На заседании Совета Народных Комиссаров 28 ноября 1917 года под председательством Ленина (присутствовали, как указано в протоколе, Троцкий, Стучка, Петровский, Менжинский, Глебов, Красиков, Сталин, Бонч-Бруевич) был принят декрет, внесенный Председателем Совнаркома — «Об аресте виднейших членов ЦК партии врагов народа (кадетов.— **Д. В.**) и предании их суду революционного трибунала». К слову сказать, в этом протоколе зафиксирован необычный поступок Сталина — он единственный голосовал против такого решения[4]. Я уже как-то высказывал свое соображение по поводу столь необычного поведения наркомнаца. Прежде всего, он еще не созрел до диктаторской безжалостности — это придет к нему позже, с властью. Голосование

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 11, л. 1.
[2] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 11, л. 16.
[3] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 11, л. 11.
[4] ЦГАОР, ф. 130, оп. 1, д. 1, л. 20.

«против» — способ выделиться своей неординарностью и независимостью. Человек в глубине колонны незаметен, нужны знаки, сигналы, жесты. Этот «сигнал» был одним из них. Во всяком случае, Сталин не сразу стал вампиром — он проделал определенную, хотя и быструю, эволюцию.

Революционное крыло движения, особенно левые эсеры, меньшевики-интернационалисты продолжали сотрудничать с большевиками до лета 1918 года, но ни большевики, ни эсеры не сделали всего, чтобы этот альянс был прочным. Тяга большевиков к однодумству, монополии взяла верх. Думаю, здесь коренится один из дальних истоков «монолитного» единства, безальтернативности и, в конечном счете, цезаризма.

Троцкий безоговорочно поддерживал Ленина в вопросе об устранении так называемых «соглашательских партий» из правительства. Вероятно, здесь был упущен еще один исторический шанс. «Безгрешный» Ленин и его ближайший единомышленник в революции допустили роковую ошибку. Оставшись в одиночестве, особенно с середины 1918 года, большевики обрекли себя на изоляцию. Отныне удержаться у власти они могли лишь в союзе с насилием.

На 116 странице книги Троцкого «Сталинская школа фальсификаций» есть красноречивая вклейка второго экземпляра протокола рассматриваемого заседания Петроградского Комитета РСДРП. На нем выступали Фанигштейн-Далецкий, Луначарский, Глебов, Ногин, Слуцкий, Бокий, несколько раз Троцкий. Вопрос о соглашении (привлечении в правительство) с эсерами и меньшевиками не нашел поддержки ни Ленина, ни Троцкого. В копии протокола есть знаменательные и красноречивые слова Ленина, которые не вошли в сборники «Протоколов Центрального Комитета РСДРП(б)», изданных в 1929 и 1958 годах. Почему их там нет — понятно. Фраза Ленина такова:

«Я не могу даже говорить об этом серьезно. Троцкий давно сказал, что объединение невозможно. Троцкий это понял и с тех пор не было лучшего большевика...» [1]. Однако историческая истинность такой позиции в отношении объединения глубоко ошибочна. Социалистическому плюрализму было сказано — «нет».

Все ли приняли Троцкого как одного из главных вождей революции? Были ли у него оппоненты в собственной среде? Были. В основном из тех, кто не мог и не хотел ему простить меньшевистского прошлого. Но в обывательской среде особенно муссировалось его еврейское происхождение. Иногда недоброжелатели кивали на то, что вокруг Ленина «большинство были евреи», но Ленин не обращал внимания на эти разговоры, считая их выражением низкой сознательности. Можно с уверенностью сказать, что с октябрьских дней отношение Ленина к Троцкому характеризовалось глубоким пониманием его истинной роли ниспровергателя и сокрушителя, хотя Владимир Ильич так никогда и не сможет забыть старого «небольшевизма» революционера.

Учредительное собрание, куда Ленин рекомендовал Троцкого, открывшееся после многих проволочек 5 января 1918 г., представляло собой грустную картину: зал, разбитый на фракции, не понимал друг друга. Стояло улюлюканье, шум, выкрики. Эсер Чернов, которого избрали Председателем Российского парламента, громко говорил, пытаясь перекричать собравшихся: «Уже самим фактом открытия первого заседания Учредительного собрания провозглашается конец гражданской войны между народами, населяющими Россию» [2]. Как вспоминал участник этого памятного заседания М. Вишняк, «на эстраде расположилась командующая верхушка и служилые советские люди. Рослый, с цепью на груди, похожий на содержателя бань «жгучий брюнет» Дыбенко, Стеклов, Козловский. В левой от председателя ложе Ленин, сначала прислушивавшийся, а потом безучастно развалившийся то на кресле, то на ступеньках помоста и вскоре совсем исчезнувший» [3]. Всем было ясно, что большевики уже заранее поставили крест на этом всероссийском форуме, где они не имели большинства. Дебаты в такой обстановке шли до пяти утра, пока за председательским местом не появился матрос. Он тронул Чернова за рукав сюртука и в притихшем зале громко прозвучало:

[1] Л. Троцкий. Сталинская школа фальсификаций, с. 116, 119.
[2] Д. Анин. Революция 1917 года глазами ее руководителей. Рим, 1971, с. 463.
[3] Марк Вишняк. Дань прошлому. Изд-во Чехова, Нью-Йорк, 1954, с. 87.

— По приказу комиссара Дыбенко требую, чтобы присутствующие покинули зал.

— Позвольте, это решать может только само Учредительное собрание...— пытался сохранить реноме Чернов.

В дверях показались красногвардейцы и матросы с винтовками на ремень. А. Г. Железняков добавил:

— Предлагаю всем покинуть Таврический дворец, так как время позднее и караул устал... [1].

Большевиков поддержали левые эсеры. С русским парламентаризмом было покончено на десятилетия. Большевики, которые имели четверть мест в Учредительном собрании вместе с эсерами, собравшими около половины голосов, могли создать влиятельнейший альянс, но в начале 1918 года триумфаторы уже делиться властью ни с кем не желали. Как не особенно желали иметь своими партнерами большевиков и эсеры. Историческая ответственность их также велика.

Вообще, анализируя деятельность Троцкого, с некоторым удивлением отмечаешь, что его многочисленные разногласия с Лениным с октября 1917 года стали быстро исчезать. Но не путем компромиссов, а через однозначное согласие с Лениным по большинству кардинальных вопросов революции. Более того, с памятной ночи переворота между ними установились, как можно судить, не просто товарищеские, а дружеские отношения.

Октябрьское вооруженное восстание, гражданская война отмечены, за небольшим исключением (например, по вопросу о Брестском мире), полным взаимопониманием между Лениным и Троцким. Характерно, что Троцкий в своих работах везде защищает Ленина. До самой смерти он больше никогда серьезно не полемизировал с Лениным, ни с живым, ни с мертвым. Можно задаться вопросом: почему?

По моему мнению, тому есть несколько причин. Прежде всего, Троцкий понимал, если он еще раз сменит политические «азимуты», это будет его идейной кончиной. В политике, как свидетельствует историческая практика, можно не более раза коренным образом менять свои позиции. В противном случае из-за безудержного флюгерства будет потерян кредит и у старых, и у новых друзей. Далее, в октябрьских событиях Троцкий в позиции и установках Ленина увидел взгляды, весьма созвучные своим. Наконец, до последних своих дней Троцкий больше не вступал в спор с вождем русской революции и потому, что этим хотел развенчать миф: «Сталин — это Ленин сегодня». Всей своей теоретической и публицистической деятельностью Троцкий давал понять, что с октября 1917-го только он один всегда понимал Ленина и был верен его идеям и установкам. Люди всегда ищут покровителей. В облике ли Бога, Идеи или Великого человека. Ленин был лидером трагической революции, которого (уже после смерти) корыстно использовали и Сталин и Троцкий, ища аргументы в смертельной борьбе друг с другом.

Даже скрупулезно перечисляя ленинские предложения, в которых вождь партии не был поддержан и которые не нашли своей реализации в социальной практике, Троцкий не ставит это ему в вину. Думаю у Троцкого было верное отношение к Ленину: признавая его первенство, он не стеснялся выступать против его обожествления, что делалось десятилетиями в нашей общественной жизни. Троцкий увидел в Ленине и такую зловещую черту, как вера в силу диктатуры. «Владимир Ильич говорил: главная опасность в том, что добр русский человек... Когда освобождали генерала Краснова под честное слово, кажется, один Ильич был против освобождения, но, сдавшись перед другими, махнул рукой... Когда при нем говорили о диктатуре пролетариата, он всегда, сознательно преувеличивая с педагогической целью, говорил: «Какая у нас диктатура! Это каша, это — «тютя» (любимое слово Владимира Ильича)...»

Роль второго человека в революции была быстро принята самим Троцким, и нередко в своих выступлениях, статьях, воспоминаниях (особенно в более позд-

[1] Д. Анин. Революция 1917 года глазами ее руководителей. Рим, 1971, с. 463.

нее время) он сам ставил себя рядом с Лениным. В своих воспоминаниях Троцкий весьма часто касается личных встреч, бесед, доверительных отношений с Лениным, не без основания полагая, что в глазах простых людей общение с великими мира сего как бы автоматически поднимает и их собеседников. «25-го открылось заседание 2-го съезда Советов. И тогда Дан и Скобелев пришли в Смольный и направились как раз через ту комнату, где мы сидели с Владимиром Ильичем. Он был обвязан платком, как от зубной боли, с огромными очками, в плохом картузишке, вид был довольно странный. Но Дан, у которого глаз опытный, наметанный, когда увидал нас, посмотрел с одной стороны, с другой стороны, толкнул локтем Скобелева, мигнул глазом и прошел. Владимир Ильич тоже толкнул меня локтем: «Узнали, подлецы»[1].

В 1917 году Ленин увидел совсем другого Троцкого: в высшей степени деятельного, одержимого революционной идеей, как правило, без всяких возражений принимающего его взгляды и установки. То было совпадением устремлений. Возможно, Ленин был именно тем человеком, который глубже других понял революционно-разрушительный феномен Троцкого. Поэтому я допускаю правдоподобность того, что рассказывает Троцкий в своей книге «Моя жизнь».

Шло заседание Политбюро. Троцкий прознал, что кто-то усиленно муссирует слухи о его решении расстрелять командира полка и комиссара на Восточном фронте, которые увели полк с боевых позиций и собирались отплыть в Нижний. Он чувствовал, что об этом знают и члены Политбюро. Тогда, вспоминает Троцкий, он сказал:

— Если бы не мои драконовские меры, тогда, под Свияжском, мы не заседали бы здесь в Политбюро.

— Абсолютно верно! — отозвался, по словам Троцкого, Ленин и стал что-то быстро писать красными чернилами на бланке Председателя Совета Народных Комиссаров. Заседание приостановилось и через две минуты Ленин передал Троцкому чистый бланк, где внизу его рукой было написано:

«Товарищи!

Зная строгий характер распоряжений тов. Троцкого, я настолько убежден, в абсолютной степени убежден, в правильности, целесообразности и необходимости для пользы дела даваемого тов. Троцким распоряжения, что поддерживаю это распоряжение всецело.

В. Ульянов-Ленин»[2].

После этого добавил: Я вам выдам сколько угодно таких бланков...

Троцкий далее пишет: «Ленин ставил заранее свою подпись под всяким решением, которое я найду нужным вынести в будущем. Между тем от этих решений зависела жизнь и смерть человеческих существ. Может ли быть большее доверие человека к человеку?»

Посвященным было ясно, что сведения о расстрелах Троцким на фронте распространяют Сталин и Ворошилов (хотя и сами прибегали к подобным методам).

О репрессиях и терроре в годы гражданской войны, одним из инициаторов которых был Троцкий, мы будем говорить в следующей главе. Для нас важно сейчас подчеркнуть, что Ленин в принципе всегда был за самые «крутые меры», которые могли обеспечить боеспособность частей фронтов. Эту решимость «строгого характера» Председателя Реввоенсовета республики, готового навести порядок на передовой, пресечь дезертирство, паникерство, партизанщину, Ленин поддерживал. Троцкий видел в подобных фактах высокую степень доверия к нему признанного лидера революции.

Думаю, что революция и годы гражданской войны были самыми богатыми на события в жизни Троцкого как политического деятеля, публициста и писателя. Это был высший пик личной судьбы революционера. В значительной мере так произошло не только потому, что эпоха, время нашли в нем энергичного творца

[1] Л. Троцкий. Соч., т. III, ч. 2, с. 94.
[2] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 204.

радикальных, далеко неоднозначных перемен в России, но и потому, что он оказался рядом с первым вождем Октября. До самой смерти Ленина они были фактически единомышленниками. Взлеты, достижения, просчеты, насилие, надежды — сбывшиеся и несбывшиеся,— являлись общими. Интеллектуальное и политическое содружество основывалось на фанатичной одержимости идеей революции и радикального переустройства России. Ни тот, ни другой не уловили огромного трагизма русской революции, вызванного тем, что она произошла в отсталой крестьянской стране со слабыми демократическими традициями. И тот, и другой решили, что буржуазно-демократический этап можно фактически перескочить и сразу войти в полосу научного социализма. И тот, и другой «пришпоривали» историю, что является над ней недопустимым насилием. Революция, дав людям мир и землю, отобрала у них нечто более важное — свободу.

Брест-Литовская формула

Один из «секретов» беспрецедентного по бескровности и результату октябрьского переворота заключается в невиданном стремлении измученного войной народа к миру. Курс большевиков на мир, выраженный в первом декрете Советской власти, был исключительно популярным у миллионов простых людей. Но нужно было платить по векселям-обещаниям и выходить из войны. В истории это часто бывает так же трудно, как и решение ее начать.

После съезда Советов в столицы союзных России стран через соответствующие посольства пошла телеграмма-нота следующего содержания:

«Сим честь имею известить Вас, господин посол, что Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов организовал 26 октября новое правительство Российской Республики, в виде Совета Народных Комиссаров. Председателем этого правительства является Владимир Ильич Ленин, руководство внешней политикой поручено мне, в качестве Народного комиссара по иностранным делам.

Обращая Ваше внимание на одобренный Всероссийским съездом Советов Рабочих и Солдатских Депутатов текст предложения * перемирия и демократического мира без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения народов, честь имею просить Вас смотреть на указанный документ как на формальное предложение немедленного перемирия на всех фронтах и немедленного открытия мирных переговоров...»[1]. Солдаты, сидевшие до сих пор в залитых грязью и кровью окопах, заедаемые вшами, ждать больше не могли. Революция могла устоять, если большевики окажутся в состоянии дать исстрадавшемуся народу мир и реально — землю.

Троцкий, как он пишет, не хотел занимать официальных постов. «С довольно ранних, точнее сказать, детских лет я мечтал стать писателем. В дальнейшие годы я подчинил писательство, как и все остальное, революционным целям... После переворота я пытался остаться вне правительства, предлагая взять на себя руководство печатью партии... Но Ленин не хотел и слышать об этом»[2]. Он требовал, чтобы Троцкий стал народным комиссаром внутренних дел. Но тот, указав на национальный момент, этого поста избежал. И его тут же определили наркомом иностранных дел, каковым он, правда, пробыл всего три месяца...

Троцкий, вошедший в состав первого советского правительства, спустя и несколько дней после назначения еще не освоился в здании бывшего МИДа — его «заедали» текущие дела Петроградского Совета и Военно-Революционного Комитета. Однако, когда он выступал с заключительным словом на заседании Петроградского Совета 29 октября, ему посыпались вопросы:

Что он сделал за истекшие три дня в качестве народного комиссара иностранных дел? Как подвигается дело о мире? Когда будут опубликованы тайные договоры и т. д.

* Обращение рабоче-крестьянского правительства к народам и правительствам всех стран о заключении немедленного мира без аннексий и контрибуций.
[1] Л. Троцкий. Соч., т. III, ч. 2, с. 157.
[2] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 62.

Троцкий понял: пост народного комиссара требует конкретной работы и — самое главное — перенесения в практическую плоскость вопроса о мире. Но тогда, 29 октября, он смог лишь сказать:

— Работа в прошедшие три дня свелась лишь к полуторачасовому пребыванию в министерстве. Я считал нужным попрощаться со старыми служащими. К исследованию тайных договоров приступить еще не успел...

А было так. Когда впервые Троцкий приехал в старое Министерство иностранных дел, то встретивший его там князь Татищев сказал, что никого на службе нет. Однако, рассказывал Троцкий, когда он потребовал собрать всех,— оказалось, что здесь множество народу. Троцкий в нескольких словах объяснил чиновникам новые задачи и заявил: «кто желает добросовестно служить — останется на месте». Нового наркома угрюмо выслушали, но ни ключей, ни дел не передали. Назавтра Троцкий послал туда матроса Маркина, который не долго думая, для острастки, арестовал князя Татищева, барона Таубе и дело «пошло»... Появились ключи, выложили папки с документами. Маркин нашел каких-то молодых специалистов, кажется, Поливанова и Залкинда, которые стали разбирать секретные бумаги и готовить тайные договоры для публикации. Но лишь с назначением Чичерина в состав Наркоминдела начался подбор новых сотрудников, стала вестись работа, как тогда говорили, по-пролетарски...

Едва стали обозначаться контуры октябрьской победы, как тут же стало ясно: проблема прекращения войны требует первоочередного решения. Большевики, беря власть, сулили народу землю, хлеб, мир. Землю начали раздавать. Земля обещала дать хлеб. Ну, а мир зависел не только от большевиков. На заседании Совета Народных Комиссаров 27 ноября 1917 года был рассмотрен вопрос «О составе мирной делегации для переговоров с Германией и перемирии. Об инструкции для ведения переговоров».

«Постановили.

Назначить делегацию из трех членов: Иоффе, Каменева и Биценко. Инструкция о переговорах — на основе декрета о мире» [1].

Ведомство Троцкого отправляло советскую делегацию в Брест-Литовск, где 2 декабря было заключено соглашение о перемирии, а 9-го числа того же месяца начались мирные переговоры.

Троцкий ежедневно анализировал донесения и докладывал Ленину. Вначале все пошло как будто по плану. Представители центральных держав устами главы германской делегации Кюльмана заявили: они принимают предложение российской делегации заключить всеобщий мир без аннексий и контрибуций. Но для этого необходимо выполнить условие — страны Антанты должны согласиться с этим принципом. Троцкий в Москве вновь обратился к правительствам союзных стран с призывом — присоединиться к советской формуле: мир без аннексий и контрибуций. Ответом было молчание. Впрочем, этого следовало ожидать. А между тем советское правительство уже приступило к демобилизации русской армии...

Поскольку страны Антанты отказались поддержать призыв Москвы, Кюльман 27 декабря, следуя инструкциям из Берлина, заявил, что Центральные державы в таком случае не могут принять советской концепции мира. Одновременно было заявлено, что Германия и Австро-Венгрия будут согласны на мир лишь при условии аннексии у России более 150 тысяч квадратных километров ее территории. К Германии должны были отойти, по требованию немецкой делегации, Моонзундский архипелаг, Польша, Литва, часть Латвии, а граница на землях южнее Бреста — по согласованию с украинской Центральной Радой.

Это известие Троцкий получил уже в Брест-Литовске, куда он отправился по настоянию Ленина 24 декабря. Советский нарком, подъезжая к месту переговоров, неоднократно выходил из поезда, встречался с руководителями местных советских властей, жителями. Они, желая ему скорейшего подписания мира, рассказывали, что русские окопы уже почти пусты. Он не верил, выезжал на разные участки фронта и убеждался сам: немцам практически никто не противостоит.

[1] ЦГАОР, ф. 130, оп. 1, д. 3, л. 18.

«Немецкий офицер, который провел Троцкого и сопровождающих его людей через линию фронта, докладывал, как писал впоследствии министр иностранных дел Австрии Чернин, что советский комиссар, видя пустые русские окопы, все более и более мрачнел» [1]. Троцкий понимал, что ему предстоит бороться за мир, не опираясь на мощь вооруженных сил, то есть действуя отнюдь не с позиции силы.

Когда он доложил о ситуации Ленину, Председатель Совнаркома не колеблясь стал настаивать на подписании, как он выразился, «грабительского мира». Но подчеркнул, что должен посоветоваться в ЦК и Совнаркоме. Все мы хорошо знаем, какие острые разногласия вызвал этот вопрос у руководителей победившего октябрьского восстания. Мне нет нужды вновь возвращать читателя к этой известной в истории драме. Я постараюсь остановиться на некоторых нюансах той ситуации и позиции Троцкого. У представителей непримиримого крыла большевиков и эсеров, решительно выступивших против «грабительского мира» (их сразу окрестили «левыми коммунистами»), было твердое убеждение: революционная Россия сможет дать отпор германскому империализму с помощью международного пролетариата. Иллюзии близкого европейского революционного пожара были очень сильны. По настоянию левых коммунистов Совнарком принял решение о выделении 2-х миллионов золотых рублей на революционную пропаганду за рубежом. Кстати, и сам Троцкий, приехавший в Брест-Литовск, привез с собой несколько больших кип листовок и брошюр, адресованных солдатам Центральных держав. С этой целью он взял с собой на переговоры К. Радека, яркого пропагандиста, обладавшего бойким пером публициста. Троцкий не только верил в близкий революционный подъем в Германии и других странах, но и пытался сам, как только мог, инициировать этот процесс. Не случайно Кюльман и генерал Кофман на пленарном заседании делегаций 9 января 1917 года выразили протест против «агитационных воззваний советского правительства». На следующий день Троцкий решительно отмел этот протест: «Мы, представители Российской республики, оставляем за собой и за нашими согражданами полную свободу пропаганды республиканских и революционно-социалистических убеждений» [2].

Троцкий, прогуливаясь вечером вместе с Каменевым, Покровским и Караханом по булыжной мостовой двора старой крепости, где разместились делегации, мучительно думал о том, как, не теряя революционного лица России, вывести ее из войны. Он понимал, что российская делегация, ведя сепаратные переговоры, дает большие козыри четверному Союзу. Кюльман цинично, хотя и закамуфлированно, давал понять, что русская делегация приехала подписать лишь капитуляцию и что высокие рассуждения Троцкого о справедливости, праве наций на мир, самоопределение — лишь революционная косметика. Диктует тот, у кого сила. Едва ли он чувствовал, как писал впоследствии граф Чернин, что Германия и ее союзники, навязывая России кабальные условия, сами стоят на краю катастрофы. Проходя вдоль длинного забора из колючей проволоки, опутавшей крепость, Троцкий говорил членам делегации:

— Будем затягивать переговоры. Когда я встречался с Лениным в Петрограде во время перерыва на переговорах, он дал нам такую инструкцию: тянуть словесные баталии как можно больше. Если немцы предъявят ультиматум, то договор придется подписать на немецких условиях.

— Но нельзя же тянуть бесконечно... Немцы этого просто не позволят,— возразил Каменев.

— Есть надежда, что наша трибуна способствует повышению революционной напряженности в странах четверного Союза. Волна революции там пошла на подъем...

Когда приступили к обсуждению немецкого проекта мирного договора, Троцкий сражался почти по каждому пункту.

О ходе переговоров Троцкий регулярно информировал Ленина, ЦК партии, Совнарком. Некоторые документальные следы этой связи сохранились. Я хотел бы привести один документ, в подлинности которого даже засомневался, несмотря

[1] Ottokar Czernin. Im Weltkriege. Berlin, 1919. S. 232.
[2] Л. Троцкий. Соч., т. XVII, часть 1, с. 5.

на то, что он приведен в Полном собрании сочинений В. И. Ленина. Первоначальные сомнения появились тогда, когда выяснилось, что почти все, что содержится о Троцком в десятках томов ленинского наследия,— однозначно негативного содержания. Это можно понять, когда речь идет о периоде после первой русской революции до октября 1917 года. Тогда Троцкий действительно находился в состоянии «войны» с Лениным. Я своими руками перебрал немало документов октябрьского и послеоктябрьского периода с деловыми, благожелательными записями и обращениями Ленина к Троцкому, которых в Полном собрании сочинений Ленина нет. Понятно, что после публикации такого фундаментального труда всегда могут появиться не известные ранее документы, которые не попали в соответствующие тома. Могут. Но здесь линия однозначна: все позитивное о Троцком из собрания сочинений выпало, в то же время туда помещен очень любопытный документ, связанный с периодом брестских переговоров. Впрочем, приведу его полностью. Это — разговор по прямому проводу Ленина с Троцким:

1.

— У аппарата Ленин. Я сейчас только получил Ваше особое письмо. Сталина нет, и ему не мог еще показать. Ваш план мне представляется дискутабельным. Нельзя ли только отложить несколько его окончательное проведение, приняв последнее решение после специального заседания ЦИК здесь? Как только вернется Сталин, покажу письмо и ему.

Ленин.

2.

— Мне бы хотелось посоветоваться сначала со Сталиным, прежде чем ответить на Ваш вопрос. Сегодня выезжает к Вам делегация харьковского украинского ЦИК, которая уверила меня, что киевская Рада дышит на ладан.

Ленин.

3.

— Сейчас приехал Сталин, обсудим с ним и сейчас дадим вам совместный ответ.

Ленин.

4.

— Передайте Троцкому. Просьба назначить перерыв и выехать в Питер.

Ленин. Сталин [1].

Документ впервые напечатан в 1929 году в журнале «Пролетарская революция» № 5 уже после депортации Троцкого из СССР. В Биографической хронике указано, что Ленин обсуждал вопрос со Сталиным где-то между 22 час. 50 мин. и 23.30 мин. 3 января 1918 года [2]. Откровенно говоря, вызывает некоторое удивление то обстоятельство, что Ленин не может ответить Троцкому, пока не «посоветуется» с наркомнацем И. В. Сталиным. Возможно, в это время у Троцкого возникли на переговорах вопросы о самоопределении наций? Тем более, что на очередном пленарном заседании 10 января 1918 года глава немецкой делегации Кюльман спросил Троцкого: «каковы... способы волеизъявления у вновь возникшего народного целого, при посредстве которого оно могло бы фактически проявить свою волю к самостоятельности и, в частности, к отделению» [3]. На что Троцкий, как явствует из документов, ответил, что вопрос о будущей судьбе самоопределяющихся областей (Украина, Польша, Литва, Курляндия.— Д. В.) должен решаться в условиях полной политической свободы и отсутствия какого-либо внешнего давления. Но голосование должно происходить после вывода оттуда чужеземных войск и возвращения на родину беженцев и выселенцев [4]. Может быть об этих шагах хотел узнать Троцкий у Ленина, а он, чтобы ответить, непременно хотел «посоветоваться» по этим вопросам со Сталиным? Но Сталин был

[1] Ленин В. И. ПСС, т. 35, с. 225.
[2] Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Том 5. М., 1974, с. 176.
[3] Л. Троцкий. Соч., т. XVII, ч. 1, с. 16.
[4] Там же, с. 31.

слишком заурядным человеком и едва ли мог обогатить Ленина в этом сложном вопросе...

Настораживает и вот какое обстоятельство. Когда Троцкий был окончательно предан анафеме, пришла пора мрачных фестивалей сталинских фарисеев, приложивших руку к фальсификации событий прошлого. В сонм переписывавших историю порой попадали и субъективно честные люди. Я не знаю, по своей ли воле Е. Стасова и В. Сорин написали записку в ЦК по поводу необходимости «уточнения» протокольных записей ЦК по Брестскому договору и исправлении «неправильного освещения роли Сталина в этом вопросе». Впрочем, позволю привести несколько выдержек из этого пространного документа, написанного 7 мая 1938 года, который Сталин, после, видимо, одобрения, направил для информации Молотову, Ворошилову, Жданову, Кагановичу, Андрееву:

«Заседания ЦК в 1917—1918 гг. не стенографировались... Черновые записи набрасывались на самом заседании ЦК одним из следующих трех членов ЦК — тов. Стасовой, Свердловым, Иоффе, которые сами принимали участие в прениях и поэтому не могли вести мало-мальски обстоятельных записей... Слова, помещенные секретарями в записи речи Ленина на заседании ЦК 23 февраля: «Сталин неправ, когда он говорит, что можно не подписывать» («Протоколы», стр. 249, Сочинения Ленина, т. XXII, стр. 277), а равно фраза, приписанная товарищу Сталину в его речи на том же заседании: «Можно не подписывать, но начать мирные переговоры» (Протоколы, стр. 248),— представляют собой явное недоразумение, явное противоречие со всеми известными выступлениями товарища Сталина по вопросу о Брестском мире... Протокольная запись от 23 февраля написана рукой Иоффе, в то время ярого троцкиста, всячески боровшегося против заключения мира и нисколько, конечно, не заинтересованного в том, чтобы с максимальной тщательностью и точностью записывать речи своих противников — Ленина и Сталина...» [1]. Далее Владимир Сорин и Елена Стасова предлагают в новых изданиях ленинских работ, публикации его сочинений «внести исправления» по всем этим вопросам.

Нетрудно представить, в каком направлении могли идти «исправления» задним числом всего того, что относилось к Сталину или Троцкому. Будущий генсек большевистской партии занимал пассивную, выжидательную, центристскую позицию по вопросу о Брестском мире. Когда он стал «корифеем», потребовалось, чтобы его позиция была более четкой, ленинской, а линия Троцкого, естественно, предательской. Хотя сам Ленин с полной определенностью ее оценил еще 8 марта 1918 года в своем заключительном слове на VII съезде партии, где он совершенно ясно сказал: «...я должен коснуться позиции тов. Троцкого. В его деятельности нужно различать две стороны: когда он начал переговоры в Бресте, великолепно использовав их для агитации, мы все были согласны с тов. Троцким. Он цитировал часть разговора со мной, но я добавлю, что между нами было условлено, что мы держимся до ультиматума немцев, после ультиматума мы сдаем... Тактика Троцкого, поскольку она шла на затягивание, была верна: неверной она стала, когда было объявлено состояние войны прекращенным и мир не был подписан...» [2].

Такова была оценка Троцкого Лениным. Сталин, кстати, на том экстренном съезде даже не присутствовал и, следовательно, никакого влияния на окончательное решение вопроса не оказывал.

Троцкий, приступив к второму раунду переговоров, уже хорошо знал, что в ЦК, Совнаркоме, Петроградском Совете, в партии вообще с новой силой вспыхнули разногласия по вопросу войны и мира. Он помнит, что 8 января на совещании большевистских руководителей и некоторых делегатов, приехавших на III съезд Советов, после обнародования тезисов Ленина вспыхнули ожесточенные прения. Решили в конце дебатов проголосовать: за ленинскую позицию (сепаратный, аннексионистский мир) — 15 голосов, за «революционную войну» с Германией — 32 голоса, за позицию Троцкого «ни мира, ни войны» — 16 голосов. Назавтра состоялось обсуждение этого же вопроса в ЦК. Результаты были уже дру-

[1] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 3, д. 1075, лл. 36—42.
[2] Седьмой съезд РКП(б). Стенографический отчет 6—8 марта 1918 г. Госиздат. М.-П., 1923, с. 128—129.

гими. За «революционную войну» — 2, против — 11, воздержался — 1. За затяжку переговоров с Германией — 12, против — 1. За формулу Троцкого — 9 человек, против — 9. Пожалуй, тогда лишь Ленин и Зиновьев глубже всех понимали ситуацию. Троцкий же находился в тенетах своей теории перманентной революции. Его формула «ни мира, ни войны» целиком исходила из «революционной» оценки сложившейся международной ситуации. На самом деле вероятность европейского революционного пожара была значительно ниже, чем ее оценивал советский нарком по иностранным делам.

Троцкий в своих сочинениях утверждает, что на совместном заседании ЦК партии большевиков и эсеров 25 января его точка зрения одержала верх, и он расценил сей факт как директиву. Какие либо документальные свидетельства того заседания мне обнаружить не удалось. Вернувшись в Брест-Литовск, Троцкий почувствовал, что германская сторона резко ужесточила свою позицию. Троцкий сообщает Ленину, как явствует из документов, которыми располагал И. Дейчер, свою окончательную позицию: «Мы заявим, что кладем конец переговорам, но не подпишем мир. Они не в состоянии предпринять наступление против нас. Если они перейдут в наступление, наше положение не будет хуже, чем сейчас... Нам нужно Ваше решение. Мы можем затягивать переговоры еще один, два, три или четыре дня. После этого переговоры должны быть прерваны»[1].

Троцкий по-прежнему находился в плену иллюзий. Он продолжал верить в грядущий революционный взрыв в Европе и, несмотря на предостережения своих военных консультантов адмирала В. Альтфатера, генерала А. Самойло и капитана В. Липского, игнорировал реальность наступления германских войск. Троцкий верил в мифы, которые сам создавал. Даже когда граф Чернин конфиденциально посетил Троцкого в его номере и предупредил: «Немцы готовятся наступать. Они будут наступать! Не заблуждайтесь»,— глава советской миссии остался при собственном мнении. Что это было? Переоценка своих прогнозов, неверие в возможности немцев, стремление поразить мир, вызвать искусственно рост революционных настроений в Европе, или просто «затмение»? Едва ли кто теперь с полной достоверностью ответит на эти вопросы. Но одно несомненно: в Брест-Литовской эпопее нашли выражение глубоко индивидуализированные оценка ситуации и решение человека, никогда не связанного штампами и стереотипами заданного поведения. Личность Троцкого была такова, что она всегда накладывала свою ярко выраженную печать индивидуальности на любые вопросы. Такие люди бывают далеко не всегда предсказуемы. Свое «я» для них всегда слишком много значит. Зиновьев, например, проницательно подметив эту черту наркома, писал: «Троцкий иногда создает такую политическую платформу, на которой может стоять только один человек: сам т. Троцкий, ибо на этой «платформе» буквально не остается места даже для единомышленников»[2]. Для «романтика» революции свое «я» всегда значило слишком много, чтобы с этим не считаться. Но вернемся к драме Брест-Литовска.

28 января (10 февраля) генерал Гофман перед своим выступлением приказал своим помощникам повесить на стене политическую карту, где рельефно были указаны предполагавшиеся германские аннексии. Троцкому предстояло делать драматичный выбор. Германская сторона дала понять, что она больше не потерпит затягивания переговоров и «будет поступать согласно национальным интересам». На этом памятном, последнем заседании 10 февраля Троцкий выступил с заключительным заявлением, полным революционной убежденности и трагизма. Вот некоторые фрагменты этой речи Троцкого:

«...Наступил час решений... В ожидании того, мы надеемся, близкого часа, когда угнетенные трудящиеся классы всех стран возьмут в свои руки власть, подобно трудящемуся народу России, мы выводим нашу армию и наш народ из войны. Наш солдат-пахарь должен вернуться к своей пашне, чтобы уже нынешней весной мирно обрабатывать землю, которую революция из рук помещика передала в руки крестьянина. Наш солдат-рабочий должен вернуться в мастерскую,

[1] И. Дейчер. Вооруженный пророк, т. 1, с. 550.
[2] Г. Зиновьев. Большевизм или троцкизм?— Правда, 30.XI.1924 г.

чтобы производить там не орудия разрушения, а орудия созидания и совместно с пахарем строить новое социалистическое хозяйство...

Мы отказываемся санкционировать те условия, которые германский и австрийско-венгерский империализм пишет мечом на теле живых народов... Ни один честный человек во всем мире не скажет, что продолжение военных действий со стороны Германии и Австро-Венгрии явится при данных условиях защитой отечества. Я глубоко уверен, что германский народ и народы Австро-Венгрии этого не допустят...»[1].

Троцкий, выступавший обычно без текста, на этот раз не отрывался от заранее написанного документа. Закончив читать, он обвел зал своими голубыми глазами. Наступила звенящая тишина. Все были ошеломлены: война прекращается, армия демобилизуется, а мир не подписывается! Такого прецедента в истории никто не мог припомнить. Наконец генерал Гофман громко сказал:

— Неслыханно!

Троцкий, помолчав, словно собираясь с мыслями, произнес еще несколько фраз:

— Мы исчерпали свои полномочия и возвращаемся в Петроград. Вот текст официального Заявления делегации РСФСР о прекращении войны.

Троцкий положил на стол лист бумаги, где было всего две фразы:

«Именем Совета Народных Комиссаров, Правительство Российской Федеративной Республики настоящим доводит до сведения правительств и народов воюющих с нами, союзных и нейтральных стран, что отказываясь от подписания аннексионистского договора, Россия, со своей стороны, объявляет состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией прекращенным.

Российским войскам одновременно отдается приказ о полной демобилизации по всему фронту.

Брест-Литовск, 10 февраля 1918 г.

Председатель Российской мирной делегации
Народный комиссар по иностранным делам
Л. Троцкий

Члены делегации:

Народный комиссар госуд. имуществ В. Карелин,
А. Иоффе, М. Покровский, А. Биценко
Председатель Всеукраинского ЦИК Медведев»[2].

Едва ознакомившись с этим лаконичным документом, члены делегаций стали подниматься со своих мест. В помещении, казалось, стало темнее (переговоры проходили в зале бывшей офицерской столовой). Граф фон Кюльман, глава германской делегации, угрожающе заявил, что, ввиду случившегося, боевые действия будут возобновлены. Троцкий, выходя с делегацией из зала, не оборачиваясь, бросил Кюльману:

— Пустые угрозы!

Вернувшись в Петроград, Троцкий был глубоко убежден, что он не только обеспечил выход России из войны, но и неожиданным ходом «посрамил» империализм. Он никак не хотел понять, что его позиция, больше опирающаяся на нравственные параметры, совсем не учитывала цинизм политики. Выступая 16 февраля в Петроградском Совете, Троцкий, упиваясь неожиданным «успехом», заявил:

«Пусть Кюльман поедет в Германию, покажет своим рабочим свой мир и объяснит им, почему там нет нашей подписи. Я считаю в высшей степени невероятным наступление германских войск против нас, и если возможность наступления перевести на проценты, то 90 процентов против, а 10 процентов за... Если послать немецких солдат против России, которая громогласно заявила, что вышла из состояния войны, значит безусловно вызвать могущественный революционный про-

[1] Л. Троцкий. Соч., т. XVII, ч. 1, с. 103—105.
[2] Там же, с. 108.

тест со стороны германских рабочих... И этот наш шаг по отношению к охране нашей страны является в данный момент наилучшим...» [1].

Глубокое разочарование, равносильное жестокому поражению, наступило быстро. Через два дня после этой эйфорической речи Троцкого, 18 февраля австро-германские войска начали, не встречая сопротивления, наступление по всему фронту.

Потрясенный Троцкий шлет экстренный запрос:

«Берлин. Правительству Германской империи. Сегодня нами получено сообщение от генерала Самойло, что с 18 февраля 12 часов между Германией и Россией возобновляется состояние войны. Правительство Российской Республики предполагает, что полученная нами телеграмма не исходит от тех лиц, которыми подписана, а имеет провокационный характер... Просим разъяснения недоразумения по радио.

Народный комиссар по иностранным делам Л. Троцкий» [2].

Но недоразумения не было. Германские войска начали наступление по всему фронту. Немецкие сапоги вскоре топтали землю в Двинске, Вендеме, Минске, Пскове, десятках других городов и сел России. Вот как обернулись «90 процентов против того, что этого не случится». Самонадеянность, авантюризм и «революционная» дипломатия Троцкого были сурово наказаны. Вечером 18 февраля после ожесточенной борьбы с «левыми коммунистами» (7 — за, 5 — против, 1 — воздержался) ЦК партии по настоянию Ленина решил подписать «позорный и грабительский мир». На другой день, 19 февраля 1918 года Троцкий подготовил текст радиограммы правительству Германской империи, которую подписали Ленин и нарком по иностранным делам. Заявление о согласии подписать мир заключалось такими фразами: «Совет Народных Комиссаров видит себя вынужденным, при создавшемся положении, заявить о своем согласии подписать мир на тех условиях, которые были предложены делегациями четверного Союза в Брест-Литовске. Совет Народных Комиссаров заявляет, что ответ на точные условия мира, предлагаемые германским правительством, будет дан безотлагательно» [3]. Одновременно Троцкий, по поручению Ленина, написал воззвание СНК РСФСР «Социалистическое Отечество в опасности», опубликованное 22 февраля 1918 года в «Известиях».

Троцкий вспоминал позже, что «проект воззвания обсуждался вместе с левыми эсерами. Их смутил заголовок. Ленин же, наоборот, очень одобрил:

— Сразу показывает перемену нашего отношения к защите отечества на 180 градусов. Так именно и надо.

В одном из заключительных пунктов проекта говорилось о решительном уничтожении на месте всякого, кто будет оказывать помощь врагам. Левый эсер Штейнберг, которого каким-то странным ветром занесло в революцию и даже взметнуло до Совнаркома, восставал против этой жестокой угрозы, как нарушающей «пафос восстания».

— Наоборот,— воскликнул Ленин,— именно в этом настоящий революционный пафо̀с (он иронически передвинул ударение) и заключается. Неужели же вы думаете, что мы выйдем победителями без жесточайшего революционного террора?» [4].

Несколько позже, действительно, Совет Народных Комиссаров принял постановление «О красном терроре» (5 сентября 1918 г.), на основании которого классовых врагов, уличенных или заподозренных в контрреволюционной деятельности, предписывалось лишать свободы, а при «необходимости» и расстреливать [5].

Деятельность ЦК партии большевиков, Совнаркома, ВЦИК сейчас велась по двум направлениям: быстрейшее заключение крайне несправедливого мира и организация частей Красной Армии для отпора интервентам. Вся панорама этих

[1] Л. Троцкий. Соч., т. XVII, ч. 1, с. 115.
[2] Там же, с. 116.
[3] «Известия ВЦИК», 20 февраля 1918 г.
[4] Л. Троцкий. Соч., т. XVII, ч. 1, с. 859.
[5] Известия ЦК КПСС, 1989, № 10, с. 80.

событий известна читателю. Позволю лишь коснуться позиции Троцкого, его шагов по спасению своего лица.

Когда был получен германский ответ-ультиматум, стало ясно, что условия будут еще более тяжелые. Берлин отводил для ответа на ультиматум 48 часов. Состоялось заседание ЦК РСДРП. За поддержку предложения Ленина — немедленно подписать грабительский мир — голосовало 7 членов ЦК, против 4, воздержалось 4. Думаю, здесь сыграло большое значение заявление Ленина о том, что в случае непринятия его предложения он уйдет с поста Председателя Совнаркома.

В этот же день состоялось заседание ВЦИК, которое продолжалось до утра. Ленину удалось победить и здесь при 126 голосах за, 85 — против и 26 — воздержавшихся. В состав советской делегации для подписания мира были (с большим трудом) назначены: глава делегации Сокольников, члены Петровский, Чичерин, Карахан при консультантах — Иоффе, Альтфатере, Липском. Дело в том, что никто не хотел удостоиться «чести» подписывать этот договор, убийственный и в то же время спасительный. Советская делегация выехала утром 24 февраля. Железнодорожное сообщение было уже нарушено и часть пути делегации пришлось проехать на дрезине и даже пройти пешком. По сравнению с ультиматумом 21 февраля условия были еще более ужесточены (Турции дополнительно должны быть переданы ряд областей в Закавказье). Сокольников отказался от какого-либо обсуждения договора и сразу подписал его 3 марта, заявив: пусть весь мир видит в этом документе акт империалистического насилия.

Думаю, что бы ни говорил Троцкий позже, его позиция по сравнению с ленинской в те дни была явно ущербной. Однако так случилось, что время еще раз как бы подчеркнуло прозорливость Ленина и Троцкого: еще до конца года династии Гогенцоллернов и Габсбургов рухнули, что сразу привело к аннулированию Брестского мира. Ленин как бы видел, что этот договор для истории эфемерен. Долго он жить не будет. И оказался прав. Троцкий позже в общих чертах признавал историческую правоту Ленина, но считал, что и его позиция не была полностью ошибочной.

Для понимания позиции Троцкого по Брестскому миру следует напомнить о его речи на состоявшемся 6—8 марта VII экстренном и «секретном» съезде РКП(б), где присутствовало всего около 40 делегатов с правом решающего голоса. Ленину в общей сложности пришлось выступить на съезде 18 раз! и в конечном счете партийный форум поддержал позицию Ленина по Брестскому миру.

В своей почти часовой речи 7 марта Л. Д. Троцкий (8 марта он брал еще раз слово для заявления) был весьма откровенен, но и последователен в своих ошибках и пристрастиях, намерениях и оценках. Приведем некоторые положения его большой речи.

Характеризуя общую ситуацию в России, оратор заявил, что «сколько бы мы ни мудрили, какую бы тактику ни изобретали, спасти нас в полном смысле слова может только европейская революция». Взгляд, основывающийся на постулатах перманентной революции, остался у Троцкого неизменным.

Говоря о том, почему он воздержался при голосовании в ЦК 23 февраля, Троцкий откровенно заявил, что «по вопросу о том, где больше шансов: там или здесь,— я думаю, что больше шансов н е н а т о й с т о р о н е (выделено мной.— Д. В.), на которой стоит тов. Ленин». Далее Троцкий по существу пытается сказать, что он выполнял директивы партии. «Все, в том числе и тов. Ленин, говорили: «Идите и требуйте от немцев ясности в их формулировках, уличайте их, при первой возможности оборвите переговоры и возвращайтесь назад». Все мы видели в этом существо мирных переговоров... И только один голос в Центральном Комитете раздавался за то, чтобы немедленно подписать мир: это голос Зиновьева... он говорил, что оттягиванием мы будем ухудшать условия мира, подписывать его нужно сейчас». Но Троцкий настаивает, что его формула «ни мира ни войны» верна. «Если бы меня заставили повторить переговоры с немцами, я 10 февраля повторил бы то же, что я сделал».

Далее оратор констатирует: «Мы отступаем и обороняемся, поскольку это в наших силах. Мы выполним ту перспективу, которую предсказывает тов. Ленин:

мы отступим к Орлу, эвакуируем Петроград, Москву. Я должен сказать, что тов. Ленин говорил о том, что немцы хотят подписать мир в Петрограде,— несколько дней тому назад, мы вместе с ним думали так... Взятие Петрограда — угрожающий факт; для нас это — страшный удар... Все зависит от скорости пробуждения и развития европейской революции».

Троцкий касается одного вопроса, весьма неясного в истории, но который в гипотетическом плане («пророчество, обращенное назад»), может быть рассмотрен. Выступающий подчеркнул, что от его голосования в ЦК «зависело решение этого вопроса, потому что некоторые товарищи разделяли мою позицию. Я воздержался и этим сказал, что на себя ответственность за будущий раскол в партии взять не могу. Я считал бы более целесообразным отступать, чем подписывать мир, создавая фиктивную передышку, но я не мог взять на себя ответственность за руководство партией в таких условиях» (выделено мной.— Д. В.).

Что имел в виду Троцкий, говоря о своей ответственности за «руководство партией»? Подразумевал ли он возможность возглавить партию (ведь Ленин заявил, что если он окажется в меньшинстве при голосовании по вопросу о мире, то выйдет из ЦК и правительства) или это было выражение, предполагающее не персональное, а коллективное руководство? С полной однозначностью ответить на этот вопрос едва ли можно, хотя ясно, что в случае отставки Ленина на пост главы правительства, пожалуй, основным кандидатом был бы Троцкий. В этих условиях у него (как и у его сторонников Иоффе, Дзержинского и Крестинского) хватило мудрости при наличии позиции, отличной от ленинской, воздержаться при голосовании и дать перевес Ленину. Нельзя не признать в данном случае дальновидности Троцкого, который, будучи несогласным с позицией «мир любой ценой», сделал шаг, который помог избежать раскола в партии.

Вместе с тем едва ли не главное действующее лицо брест-литовской драмы сделало все, чтобы сохранить достоинство и свою революционную честь. Когда VII съезд партии в конечном счете одобрил предложение Ленина, Троцкий в своем кратком заявлении сказал: «Партийный съезд, высшее учреждение партии, косвенным путем отверг ту политику, которую я в числе других проводил в составе нашей брест-литовской делегации... Хотел этого или не хотел партийный съезд, но он это подтвердил своим последним голосованием, и я слагаю с себя какие бы то ни было ответственные посты, которые до сих пор возлагала на меня наша партия»[1]. К слову сказать, с тех давних пор добровольные отставки советских руководителей стали немодными.

Троцкий, судя по выступлениям того времени, поздним его воспоминаниям, искренне считал в январе — марте 1918 года, что «позорный мир с Германией» не просто нравственное поражение революции, но уже акт ее капитуляции. Ему казалось, что партия перешла предел, после которого шансы на выживание революции минимальные. По духу, по своей радикальности в те драматические дни он был, конечно, ближе к левым коммунистам, особенно когда Германия все ужесточала и ужесточала свои требования. Был момент, когда Троцкий увидел грозную надвигающуюся реальность полного поражения революции. Эта мысль также отчетливо прозвучала в его речи на VII съезде партии: «мы уступаем не только топографически, но и политически... Если мы дадим развиться этому отступлению во имя передышки с неопределенной перспективой.., то пролетариат России не в состоянии сохранить классовую власть в своих руках... Нынешний период передышки исчисляется в лучшем случае двумя-тремя месяцами, а вернее, неделями и днями. В течение этого времени выяснится вопрос: либо события придут нам на помощь, либо мы заявим, что явились слишком рано и уходим в отставку, уходим в подполье... Но я думаю, что уходить.., если придется — как революционной партии, т. е. борясь до последней капли крови за каждую позицию...»[2]. Ясно, Троцкий видел в Брестском мире призрак гибели революции, своего самого любимого детища.

[1] Л. Троцкий. Соч., т. XVII ч. 1, с. 134—144.
[2] Там же, с. 141—142.

Просчитавшись в намерениях и возможностях Германии, Троцкий из «героя» переговоров в один день превратился в исторического неудачника. На протяжении десятилетий в разных вариациях перепевалась сталинская ложь, заложенная в пресловутом «Кратком курсе»:

«...Несмотря на то, что Ленин и Сталин от имени ЦК партии настаивали на подписании мира, Троцкий, будучи председателем советской делегации в Бресте, предательски нарушил прямые директивы большевистской партии... Это было чудовищно. Большего и не могли требовать немецкие империалисты от предателя интересов Советской страны»[1]. Но история в конечном счете все расставляет по своим местам. Троцкий просчитался в конечном счете лишь в сроках. Революционный подъем в Европе все же наступил! Ноябрьская революция в Германии привела к краху династии Гогенцоллернов и как следствие аннулированию Брестского мира. Троцкий, «романтик» революции, слишком «программировал» революционные процессы, которые чаще всего идут спонтанно. У него хватило силы воли перешагнуть через собственное «я» во имя революции. Он об этом говорил в своей речи на съезде: «Мы, воздержавшиеся, показали акт большого самоограничения, т. к. жертвовали своим «я» во имя спасения единства партии... Вы должны сказать другой стороне, что тот путь, на который стали, имеет некоторые реальные шансы. Однако это есть опасный путь, который может привести к тому, что спасают жизнь, отказываясь от ее смысла...»[2].

Троцкий хотел в Бресте сразу слишком многого: вывести Россию из войны, поднять германский рабочий класс, сохранить престиж революционной России. Не его вина, а беда, что это были не выполнимые одновременно задачи. Троцкий еще раз показал, что революционер не может быть только исполнителем. Любые его шаги несут печать неповторимой индивидуальности и социального творчества, хотя часто и жестокого. Здесь были и ошибки, иногда — исторического масштаба. Троцкий, стремясь избежать их, не боялся ответственности в случае неудачи. Его брест-литовская формула оказалась ошибочной, но мотивы ее он черпал в музыке революции.

Больше всего Троцкого страшила возможность угасания революционного факела в России под сапогами германских солдат. В русской революции Троцкий видел великий Пролог мирового пожара, певцом которого был всю жизнь. То был редкий тип человека, одержимого одной идеей до своего последнего вздоха. Для реализации же этой идеи требовалось насилие.

У кровавой межи

В конечном счете все прошлые революции кровавы. Да, октябрьский переворот совершился бескровно. Но то было только начало. Переход власти к Советам, например, в Москве, был уже иным. Начало политического взрыва сопровождается очень часто гражданской войной. Классовая ненависть прокладывает кровавую межу между соотечественниками. Ее особенно боялись и старались избежать русские интеллигенты. Мережковский в своей книге «Больная Россия» еще за годы до событий 1917-го писал: «Во всякой революции наступает такая решительная минута, когда кому-то кого-то надо расстрелять и притом непременно с легким сердцем, как охотник подстреливает куропатку... Вопрос о насилии,— метафизический, нравственный, личный, общественный,— возникал во всех революциях...» Рассуждая далее о судьбах русских революций (минувшей, 1905 года, и, как он чувствовал, грядущей), русский писатель пророчествовал: «Кто знает, может быть, величие русского освобождения заключается именно в том, что оно не удалось, как почти никогда не удается чрезмерное; но чрезмерное сегодня — завтрашняя мера всех вещей»[3]. Мережковский, чувствуя приближение грядущей революции, по сути, говорил о ее преждевременности. И писатель был не одинок, пугаясь грядущих потрясений, несущих, по его словам «государственно-революционное — «убий!».

[1] История ВКП(б). Краткий курс, с. 207.
[2] Седьмой съезд РКП(б). Стенографический отчет.— М.-П., 1923, с. 86.
[3] Д. С. Мережковский. Полн. собр. соч., т. XV. Типогр. И. Д. Сытина М., 1914, с. 22—23.

Даже Плеханов, патриарх марксизма в России, испугался призрака насилия, который маячил за спиной революции. То было одной из причин однозначного осуждения им октябрьского переворота. Только при наличии большинства пролетариата в населении России, по его мнению, социалистическая революция была оправданна. По сути, он отодвигал ее в туманную даль будущего. Незадолго до своей смерти, мучаясь тем, что его, русского корифея научного социализма, многие петроградские газеты шельмуют как «буржуазного перерожденца» и «контрреволюционера», Плеханов все же решил остаться честным перед самим собой и сказать прямо то, что думает о свершившемся. В «Открытом письме к петроградским рабочим» он утверждал: «Несвоевременно захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит социальной революции, а только вызовет гражданскую войну, которая, в конце концов, заставит его отступить далеко назад от позиций, завоеванных в феврале и марте нынешнего года». Плеханов, став за долгие годы жизни на Западе типичным социал-демократом, никак не мог согласиться или примириться с наметившимся ходом событий. «Их последствия,— писал он в своем «Открытом письме»,— и теперь уже весьма печальны. Они будут еще несравненно более печальными, если сознательные элементы рабочего класса не выскажутся твердо и решительно против политики захвата власти одним классом или,— еще хуже того,— одной партией. Власть должна опираться на коалицию всех живых сил страны, т. е. на все те классы и слои, которые не заинтересованы в восстановлении старого порядка... Сознательные элементы нашего пролетариата должны предостеречь его от величайшего несчастья, которое только может с ним случиться» [1].

Среди других опасностей, которые теперь подстерегали Россию, Плеханову, как Мартову, Дану, Абрамовичу, другим меньшевикам, одной из самых грозных виделась гражданская война. Отношение к гражданскому насилию — один из водоразделов, который отделил большевиков, другие радикальные партии и группировки от меньшевиков и тех политических сил, которые прежде всего ценили демократию, пусть даже откровенно буржуазную. Уже далеко не кажущийся бесспорным ленинский взгляд на гражданские войны, «которые во всяком классовом обществе представляют естественное, при известных обстоятельствах неизбежное продолжение, развитие и обострение классовой борьбы» [2], полностью разделялся Троцким. Он не искал национального согласия в обществе. Троцкий полагал, что только «твердая рука» пролетариата, железная диктатура способны ослабить нарождающуюся гражданскую войну. Когда генерал Духонин выпустил из Быховской тюрьмы арестованных генералов Корнилова, Деникина, Эрдели, Покровского,— из Москвы последовала грозная телеграмма: «Почему противники революции на воле?». Уже назавтра над Духониным был совершен самосуд. Вооруженная толпа выбросила Духонина из штабного вагона на солдатские штыки... А Троцкий на пороге российской Вандеи н «теоретически» постигал исторический опыт гражданской войны. Так, ему вдруг понадобилось узнать об опыте Маркса в этой области:

«Хранителю библиотеки Румянцевского музея тов. Готье.

Прошу предводителю сего тов. Горяинову выдать из вверенной Вам библиотеки для передачи тов Л. Д. Троцкому книгу К. Маркса «Гражданская война во Франции» [3].

Ставка на силовое разрешение многочисленных противоречий в то время была главной.

Оппоненты революции, критикуя решительные, революционные шаги большевиков, чаще всего в качестве объекта своих нападок брали «тандем» Ленин — Троцкий, что помимо их воли свидетельствует о большом политическом весе Председателя Петросовета. Так, Максим Горький в статье «Вниманию рабочих» писал: «Владимир Ленин утверждал в России социалистический строй по методу Нечаева — «на всех парах через болото...» Заставив пролетариат согласиться на

[1] Г. В. Плеханов. Год на Родине. Полн. собр. статей и речей. 1917—1918 гг. т. II. Париж, 1921, с. 75.
[2] Ленин В. И. ПСС. т. 30, с. 133.
[3] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 1, д. 250, л. 282.

уничтожение свободы печати, Ленин и приспешники его узаконили этим для врагов демократии право зажимать рот, грозя голодом и погромами всем, кто не согласен с деспотизмом Ленина — Троцкого; эти «вожди» оправдывают деспотизм власти, против которого так мучительно долго боролись все лучшие силы страны» [1]. У контрреволюции, как и у попутчиков революции, слова о «диктатуре», «деспотизме» Ленина — Троцкого стали, и не без оснований, непременным атрибутом нападок на большевизм.

Я уже сказал, что гражданская война, по сути, началась сразу после переворота. Об этом, в частности, писал А. Ф. Керенский. В своей книге «Издалека» он напоминает, что сделал все возможное с 24 октября по 1 ноября 1917 года, чтобы задушить большевистскую власть. «В действительности дни нашего похода на Петербург были днями, когда гражданская война вспыхнула и разгорелась по всей стране и на фронте. Героическое восстание юнкеров 29-го в Петербурге, уличные бои в Москве, Саратове, Харькове и т. д., сражения между верными революции (февральской.— Д. В.) и восставшими войсковыми частями на фронте — все это достаточно свидетельствует, что мы были не совсем одиноки...» Керенский сожалеет, что приехавший с моряками Дыбенко распропагандировал казаков и ему не удалось осуществить свои планы вооруженного подавления большевистского восстания [2]. После начала германского наступления, после срыва брестских переговоров положение в стране еще больше обострилось.

В это время в судьбе Троцкого произошли большие перемены. Мы знаем, что после VII съезда РКП(б) Троцкий остался «без работы». Поскольку партийный съезд отверг ту политику, которую я проводил на переговорах,— заявил Троцкий в своем выступлении, «я слагаю с себя какие бы то ни было ответственные посты, которые до сих пор возлагала на меня наша партия» [3].

Вскоре после подписания Сокольниковым Брестского мира перед Лениным встал вопрос, кого поставить во главе военного ведомства. Кто сможет на развалинах старой армии создать революционную военную организацию? Кто вдохнет в нее жизнь? Ленин не мог решиться поставить руководителем создаваемых Красной Армии и Красного Флота крупного военного специалиста старой школы. Это не было бы понято народом и армией. После долгих размышлений и советов Свердлова Ленин остановил свой выбор на Троцком, не «износившем ни одних солдатских штанов», человеке, весьма далеком от «технологии» военного строительства, тактики и стратегии. Как можно объяснить это решение, которое оказалось для большевиков исторически весьма удачным? Думаю, «под рукой» у вождя революции был слишком бедный выбор крупных личностей, которые оказались бы способными за короткий срок решить чрезвычайно трудную задачу: создать новые вооруженные силы республики и организовать ее защиту.

Ленин более чем кто-либо понимал, что в этом деле главное значение будет играть способность политически оценить значимость военной организации как важнейшего элемента выживания революции. Здесь требовалось не ремесленничество, а революционная страсть, помноженная на решительность, способность лично воздействовать на массы, готовность твердой рукой пресечь партизанщину, неорганизованность, стадность. Человек во главе этого ведомства должен был обладать популярностью, партийным авторитетом и политическим весом. Нужна была революционная одержимость, огромная уверенность в возможности решения этой архисложной задачи. Ленин решил, что таким человеком является именно Троцкий. Лидер революции не часто ошибался в людях. Не ошибся он и в этом случае.

Троцкий вначале был удивлен неожиданному предложению и пытался возражать. Но Ленин настаивал:

— Назовите тогда — кого поставить?

Троцкий пишет: «Я поразмыслил и — согласился. Был ли я подготовлен для военной работы? Разумеется, нет. Мне не довелось даже служить в свое время в

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 2, д. 11, л. 25.
[2] См.: А. Керенский. Издалека. Сб. статей 1920—1921 г. Париж, 1922.
[3] Л. Троцкий. Соч., т. XVII, ч. 1, с. 144.

царской армии. Призывные годы прошли для меня в тюрьме, ссылке и эмиграции. В 1906 году суд лишил меня гражданских и воинских прав.

Я не считал себя ни в малейшей степени стратегом и без всякого снисхождения относился к вызванному революцией в партии разливу стратегического дипломатизма. Правда, в трех случаях — в войне с Деникиным, в защите Петрограда и войне с Пилсудским, я занимал самостоятельную стратегическую позицию и боролся за нее то против командования, то против большинства ЦК...»[1].

Так или иначе, но 14 марта 1918 года, в день открытия IV Чрезвычайного съезда Советов, в «Известиях» появилось официальное сообщение о том, что согласно личному ходатайству тов. Троцкого, Совет Народных Комиссаров освободил его от должности наркома по иностранным делам и назначил наркомом по военным делам. Постановление подписали Председатель Совнаркома В. И. Ульянов (Ленин) и два народных комиссара: имуществ Республики В. А. Карелин и национальностей — И. Сталин.

Вступление в должность совпало с переездом Советского правительства в Москву. Троцкий прибыл в новую столицу через неделю после Ленина, так как Петроградский исполком по предложению Зиновьева избрал его Председателем Военно-революционного комиссариата города. Правда, через несколько дней, перед отъездом 17 марта в Москву, Троцкий сложил с себя эти полномочия.

Революция — это не только планы, замыслы, заговор, но и безбрежная стихия. Видимо, в немалой степени был прав А. И. Деникин, назвав события 1917—1922 года «Российской смутой». Думаю, что стихийная часть революции, а по объему это ее больший элемент,— это стихия, это смута. Русский историк Ключевский, определивший смуту как «с о ц и а л ь н ы й р а з л а д» государства»[2], в немалой степени прав. «Социальный разлад» выразился и в стихии насилия, вседозволенности, агрессивности, завышенных требованиях. Большевистские руководители почувствовали это быстро; в ЦК стали поступать многочисленные жалобы о «реквизициях», «экспроприациях», «революционных карах», никем не санкционированных. Иногда это проявлялось в форме рвачества. Вот, например, Троцкий получает телеграмму от комиссара Позерна о том, что «вторая Петроградская конференция красноармейцев вынесла постановление о необходимости установления жалованья красноармейцам в триста рублей...»

Троцкий понимает: уступить раз — значит пойти на поводу у стихии. У него хватает характера:

«Петроград, Смольный, Позерну.

Брать на свою ответственность нарушение Вами декретов советской власти отказываюсь.
21.5.18.

Наркомвоен Троцкий»[3].

Затем на обороте телеграммы добавляет, для разъяснения красноармейской массе: «Вопрос о жалованье красноармейцам решается не петроградскими красноармейцами, а Советами рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов всей России... Установлено жалованье в 150 р. Тех красноармейцев, которые в трудные для республики дни занимаются требованиями повышения платы, считаю плохими солдатами революции...»

О военной деятельности Председателя Высшего Военного Совета Республики и наркома по военным и морским делам мы расскажем в следующей главе. Для нас важно сейчас выяснить его основные мировоззренческие и политические установки в преддверии русской Вандеи, которая через пару месяцев кровавой межой расколет Россию. Солдаты Колчака будут поднимать на штыки раненых красноармейцев в лазаретах. Троцкий будет отдавать приказы о расстреле командиров и комиссаров частей, без приказа оставивших боевые позиции. В схватках не будет милосердия. По фронтам будет гулять тиф. И белые, и красные будут расстреливать по оврагам заложников. Жизнь, как никогда, упадет в цене. Слепой классовый зов окажется сильнее сострадания, жалости, мудрости, рассудительности. Многострадальная Россия будет залита кровью соотечественников...

[1] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 72—73.
[2] В. Ключевский. Курс русской истории, ч. III. М., 1937, с. 53.
[3] ЦГАСА, ф. 1, оп. 1, д. 123, лл. 100—101.

Троцкий сочетал в себе качества прагматика с мечтателем. Он был способен от прозаических задач дня воспарять в высоты, откуда видны «коммунистические дали». Он умел зажечь людей верой в реальность того, о чем говорил. Когда Троцкий на рабочем собрании 14 апреля 1918 года рисовал перспективы грядущего, за которое нужно бороться, страдать, жертвовать,— в зале стояла звенящая тишина. Люди верили, нет, были убеждены, что все так и будет, что все это провидческий взор Троцкого уже видит. Слова оратора сеяли семена великой надежды: «...Мы создадим единое братское государство на земле (Троцкий говорил о «Мировой Республике Труда».— **Д. В.**), которую нам дала природа. Эту землю мы запашем и обработаем на артельных началах, превратим ее в один цветущий сад, где будут жить наши дети, внуки и правнуки именно как в раю. Когда-то верили в легенды про рай; это были темные и смутные мечты, тоска угнетенного человека по лучшей жизни. Хотелось жить более праведно, более чисто, и человек говорил: должен же быть такой рай хоть на том свете, в неведомой и таинственной области. А мы говорим, что такой рай мы трудовыми руками создадим здесь, на этом свете, на земле, для всех, для детей и внуков наших во веки веков...»[1].

Трибун революции говорил о «рае» на разоренной почти четырехлетней империалистической войной и двумя революциями до предела земле. Но еще долгих три года Молох войны будет собирать скорбную жатву на полях отечества. Мечты о «рае» покроют своей тенью бронепоезда, музыку свободы заглушат сабельный звон конных лав и залпы расстрелов; тиф и голод поглотят надежды на мир... На этом страшном небосклоне русской Вандеи стремительно взойдет звезда Троцкого...

[1] Л. Троцкий. Соч., т. XVII, ч. 1, с. 188.

(Продолжение следует).

Борис ПАРАМОНОВ

Пантеон

ДЕМОКРАТИЯ КАК РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОБЛЕМА

1

Русскому, выросшему в СССР, но сумевшему сохранить застарелые привычки «таинственной славянской души», постоянно кажется, что некие злоумышленники (скорее всего большевики) намеренно лишают его основополагающей Истины. Поэтому его усилия направлены главным образом на отыскание Книги, на поиск Единственно Верного Учения. Сдернутая с глаз повязка — такова у него метафора освобождающего знания, и эту метафору он склонен овеществлять, представлять освобождение от тьмы и зла как единовременный акт. Русский — это аргонавт, искатель философского камня. Этим поискам можно посвятить всю жизнь; золотое руно, однако, существует в единственном экземпляре, так же как и философский камень делает всю прочую таблицу элементов чем-то вроде груды булыжника для мощения провинциальных улиц.

У меня нет оснований выдавать себя за носителя какого-то света с Востока, и не истину я возглашаю, а делаю заметки на полях чужих книг. В таком контексте истина — это монтаж цитат. Однако эти заметки (и цитаты) концентрированы на одной теме: в русской литературе начала века, в период так называемого русского культурного ренессанса, эта тема называлась «религиозные аспекты общественности».

Здесь именно американский материал дает богатую пищу для размышлений.

Споры о религии, так обострившиеся недавно в Америке, затронули, конечно, много интересных вопросов, но самой религии коснулись, кажется, в очень малой мере. Как-то очень быстро разговор сбился с религии на аборты и на то, чему предпочтительнее учить детей в школе: молитвам или правильному употреблению противозачаточных средств. С другой стороны, не только содержание дискуссий, но и тон их оставляли желать лучшего. Создавалось впечатление, что все участники спора — или религиозные консерваторы-фундаменталисты, или атеисты. Не слышалось голоса людей (по крайней мере в массовой печати), которые бы внесли в дискуссию ноту раздумья; говорили только несомневающиеся, и говорили безапелляционно. Русскому трудно было чему-либо научиться, слушая эти споры, трудно было поверить, что спорят люди, выросшие в культурном регионе, обладающем колоссальной религиозной традицией. Не было увязки религиозных вопросов с базовыми основами здешней общественно-культурной жизни. А между тем такая связь просматривается под любым углом зрения: коснемся ли мы культуры, истории, даже географии Америки,— везде мы столкнемся с религиозной проблемой в первую очередь. Сама география Америки наталкивает на мысль о религиозном диссидентстве. Америка — это выселки инаковерующих, колония еретиков.

Вот, к примеру, тема, заслуживающая самого пристального внимания: верно или неверно утверждение о безрелигиозности демократии, об отсутствии среди ее духовных основ темы о вере? Николай Бердяев говорил, что демократия — это скептическая общественная гносеология. Для него эта черта демократии была несомненным минусом (если не просто злом) — манифестацией безверия, отказом от истины. Демократия ему виделась задающей сама себе пилатовский вопрос перед лицом Истины. При такой оценке трудно, конечно, говорить о вере — атеизм кажется не только явлением, стилистически сродным демократии, но ее единственным духовным фундаментом.

Между тем именно русский может многому научиться, размышляя о теме «демократия и религия». Под этим углом зрения он сможет по-новому увидеть русский опыт — и из этого опыта извлечь кое-какой небесполезный комментарий к событиям и тенденциям здешней жизни.

2

Начнем с упомянутого уже Бердяева — столкнем его с Петром Струве; обозначится очень интересная конфронтация. О Струве ценное двухтомное исследование написал Ричард Пайпс, и я отсылаю к нему читателей, интересующихся подробностями. Но одной из этих подробностей я и сам хочу воспользоваться.

В 1929 году, уже в эмиграции, Струве написал о Бердяеве статью под названием «О гордыне, велемудрии и пустоте». В ней есть такие слова:

«Несостоятельность и соблазнительность (Бердяева) — в двух прямо противоположных пороках. В отрешенности от живой жизни, с одной стороны, и, с другой стороны, в горделивой мании — от каких-то общих положений философского или богословского характера прямо переходить к жизненным выводам конкретного свойства. Это — та ошибка, о которой в свое время как о специфической слабости многих русских философствующих умов, и в частности и в особенности самого Бердяева, я уже писал,— **ошибка короткого замыкания**.

В этом отношении советская власть оказала воистину медвежью услугу таким людям, как Николай Александрович Бердяев, выслав их. Удаленные из той обстановки, в которой они были поставлены лбом к **стене**, а спиной — к **стенке**, люди, попав после этого на вольную волю пусть убогого, но свободного «эмигрантского» существования, свое собственное кошмарное стояние на коротком расстоянии между стеной и стенкой превратили в какую-то историческую перспективу, и эту воображаемую историческую перспективу одни стали для себя еще укорачивать, а другие наполнять мистическими туманами.

Вот почему случилось то, что ясные и простые, при всей их трудности и запутанности, проблемы конкретной человеческой политики они возжелали подменить апокалиптическими вещаниями, ненужными и соблазнительными, ибо никому не дано конкретно-исторически истолковывать апокалипсис, а тем менее его исторически-действенно «применять».

Эти слова — конденсат уже нажитого опыта. А опыт был колоссальным: крах великой империи и великой культуры — русской империи и русской культуры. Нельзя, конечно, говорить, что Струве в цитированных словах прямо обвиняет Бердяева — и его приемы мышления — в подготовке этого краха; он просто указывает, что с такими мыслями нечего делать в политике, что они не дают **политической** альтернативы нашему падению. С такими приемами мысли России не спасешь — вот точка зрения Струве.

Что же было утрачено в русской катастрофе? Да прежде всего свобода — элементарная свобода торговать с лотка или разрабатывать темы религиозной философии. Нельзя сказать, что Бердяева тема свободы не интересовала, наоборот, только ею он и интересовался. Бердяева называли апостолом свободы и даже ее пленником. Но свобода для Бердяева менее всего была вопросом политического характера. Бердяев — скорее бунтарь, анархист, чем либерал, свобода у него — понятие религиозно-творческое, а не общественно-политическое, вопрос экзистенциального назначения человека, а не практического общественного устройства. Но, религиозно обосновывая свободу (что вообще-то верно), Бердяев не имеет средств защитить ее в эмпирическом бытии — и не потому, что он не принимал участия в вооруженной борьбе с большевиками, как это делал Струве, а потому, что он не ищет такой возможности и не верит в нее. Подлинное бытие разворачивается для Бердяева в сверхэмпирическом плане, там же укоренена у него свобода и другие ценности высшего порядка. А Струве — принципиальный и бескомпромиссный номиналист, он говорит что либерализм (то есть свободу) можно утвердить и обосновать только номиналистически и плюралистически (как напомнил нам Р. Пайпс, он, Струве, сделал это еще в 1901 году в статье «В чем же истинный национализм?»). При этом сам Струве остается человеком верующим и убежденным в существовании ценностей трансцендентного порядка. И у него совершенно противоположный бердяевскому взгляд на «истоки и смысл» происходивших в России событий. Там, где Бердяев говорил об апокалиптичности русского сознания, Струве вел речь об эмпирически-конкретных фактах: например, о разобщенности государства и общества в России; там, где Бердяев утверждал коллективистскую, стихийно-христианскую душу русского крестьянина, Струве говорил о запоздавшей отмене крепостного права и крестьянской поземельной общины. Бердяев видел русскую историю в терминах судьбы, рока,— а Струве настаивал на том, что белые могли бы выиграть гражданскую войну, будь у них хорошо организованная кавалерия. Ничего «апокалиптического» в таком подходе нет, если не считать, конечно, четырех всадников Апокалипсиса.

3

Путь из России в Германию — тот, что проделал, среди прочих, Бердяев в 1922 году,— это путь на Запад. Сама Германия — это, однако, не Запад, это все еще путь. И здесь мы встречаемся еще с одним странником, пилигримом духа — Томасом Манном.

В мае 1983 года в Америке впервые на английском языке вышла знаменитая книга Томаса Манна «Размышления аполитичного» — и не была замечена, точнее, вызвала ряд снисходительно-пренебрежительных отзывов. Если это пренебрежение есть свидетельство непоколебимости духовных устоев здешней «атлантической» цивилизации, это, конечно, хорошо. Но не есть ли это просто невнимание, непонимание и глухота к вопросам, которые по самой сути своей были и остаются проблематичными?

Та критика **цивилизации**, которую дал Томас Манн, противопоставивший ей **культуру** (еще до Шпенглера или одновременно с ним), должна войти как интегральная часть в само понятие цивилизации, так же как и в ее духовную практику. Собственно, книга Т. Манна и есть тот духовный концентрат, который должен быть включен в число предметов здешнего аварийного запаса. Ценности Запада взяты у Т. Манна в движении, в критической рефлексии, в моменте становления. Именно в процессе критической рефлексии эти ценности осознаются у Т. Манна, они, как сказали бы русские формалисты, выводятся из автоматизма восприятия, делаются заново ощутимыми.

Томас Манн хотел в этой книге подвести итоги,— на самом деле она оказалась путеводителем или, лучше сказать, картой, на которую наносится маршрут исследователя. Путь его к демократии — это путь писателя, литератора, осознающего свою проблематическую природу. Литература оказывается моделью политики и в конечном счете — демократии, демократической цивилизации. Общее у них — ирония, ибо ни политика, ни литература не должны да и не могут по своей природе быть радикальными, ни та, ни другая не знают общеобязательной истины и не выносят аподиктических суждений. «Аполитичной» оказывается в конечном счете сама политика — когда она правильно понята. Это и есть то, что Бердяев называл скептической общественной гносеологией, говоря о демократии, но у Томаса Манна в признании того же факта содержится уже не осуждение, а готовность принятия. Впрочем, одну истину Т. Манн призывает понять до конца:

«Нужно до конца понять одну истину: тот, кто не привык говорить прямо и брать на себя ответственность за сказанное, но дает говорить через себя людям и вещам,— тот, кто создает произведения искусства,— никогда не принимает вполне всерьез духовные и интеллектуальные предметы, ибо его работа всегда стремится брать их как материал для игры, для репрезентации различных точек зрения, для диалектического спора, всегда позволяя тому, кто говорит в данное время, быть правым».

Эксплицируя Томаса Манна, можно сказать, что единственная реформа, которую он не отказался бы осуществить на англосаксонском и латинском Западе,— это превращение республики адвокатов в республику писателей. И это отнюдь не потому, что писателей он рассматривает как некий высший человеческий тип,— совсем нет; не наоборот ли? Именно проблематичная природа писателя, его фундаментальная двусмысленность, готовность его молиться многим богам — делают его фигурой, адекватной демократии. Томас Манн пишет в своей книге, что он достаточно рано открыл в себе способность думать двумя взаимоисключающими способами об одном предмете. Такая и подобные способности необходимы демократическому политику в первую очередь. Многочисленные критики демократии говорили в один голос о том, что она страшно снижает и мельчит тип политика. Манн готов считать такого «мелкого человека» более человечным. Демократия способствует скромности, критической самооценке людей. В этом, конечно, немалое ее достоинство.

Поэтому принципиальной ошибкой Томаса Манна в «Размышлениях аполитичного» являются не реликты романтического консерватизма, а понимание демократического двадцатого века как реставрации просветительской и руссоистской концепции человека — концепции некритического гуманизма, культа человека. Оказалось, однако, что нынешняя демократия — при мощной поддержке психоанализа — отнюдь не обольщается человеком. Она перестала строить гуманистический миф, что не мешает ей принять человека таким, каков он есть. Она склонна прощать, а не осуждать и карать. И что больше отвечает религиозному подходу к человеку: прощение или кара? Это вопрос не риторический, я действительно не знаю на него ответа. Не является ли, однако, такое незнание более адекватным религиозным состоянием, чем какой угодно догматизм?

4

В русской научной (или, если угодно, философской) литературе есть одна повсеместно известная книга — «Проблемы поэтики Достоевского» М. М. Бахтина. Считается, что в этой книге Достоевскому дана новаторская трактовка. Главное в этой трактовке — мысль автора о **диалогичности** творчества Достоевского, о **полифонии**, что якобы и отделяет его радикальным образом от прочих писателей,— по крайней мере новоевропейских, ибо корни указанной особенности Достоевского Бахтин находит в древнегреческой культурной традиции, в так называемой мениипповой сатире, или мениппее. Художественный космос Достоевского — это открытая система, в ней принципиально отсутствует завершающая и резюмирующая универсальная истина — или «монологическая» истина, употребляя терминологию Бахтина. Герой Достоевского — тоже незавершенный, необъективированный человек, а не носитель той или иной отчуждающей социальной маски,— он, этот герой, нетождествен самому себе. Система Достоевского строится как взаимодействие и сосуществование живых человеческих голосов, в ней столько же центров, сколько человеческих сознаний. Бахтин согласен с тем, что романы Достоевского идеологичны, но говорит, что идеи берутся здесь в качестве личностей и субъектов, а не как абстрактные интеллектуальные концепты. Это и есть полифония, установка на диалог. Мир Достоевского — не бытиен, а со-бытиен, в нем царит не единогласие, а согласие: единство не совпадающих друг с другом голосов. Идеи не имеют у Достоевского решающей силы, они не доминируют над человеком.

М. М. Бахтин всячески подчеркивает, что его интерпретация Достоевского имеет в виду прежде всего и единственным образом художественные особенности, а не философию или идеологию Достоевского. Если уж говорить об идеологии, то Достоевский-художник характерен в первую очередь тем, что у него идеологии не было. Один пример: в «Дневнике писателя» Достоевский строит идеологическую программу, близкую к той, что развивает в «Бесах» славянофильствующий Шатов; но в публицистике Достоевского это именно программа, идеология, а в романе — только один из «голосов». Другими словами, у романов Достоевского столько же авторов, сколько в них героев. Это и есть главная особенность художества Достоевского.

Настойчивые попытки Бахтина представить свою книгу исключительно в качестве эстетического трактата вполне понятны и, я бы сказал, извинительны — имея в виду культурную обстановку в Советском Союзе того времени. Книга Бахтина вышла первым изданием в 1929 году, написана же была лет на пять раньше. Это, однако, не может помешать нам увидеть в этой замечательной книге своеобразное философское сочинение, выдвинувшее некое целостное мировоззрение. Следует сказать об экзистенциальном звучании книги Бахтина. Достоевскому дана в ней чисто экзистенциалистская трактовка. Некоторые пассажи книги Бахтина звучат как цитаты из Сартра (например, о нетождественности человека самому себе). Но главная ассоциация, вызываемая книгой,— это, конечно, «Я и Ты» Мартина Бубера. Не исключено, что Бахтин был знаком с этим сочинением; учитывая хронологию обоих произведений, можно даже, пожалуй, допустить, что «Поэтика Достоевского» была написана под прямым влиянием Бубера. Маскировка своего мировоззрения под эстетический трактат — старый, испытанный прием русских авторов, идущий еще из дореволюционной России (где это получило название «реальной критики»). Не мог же в 20-е годы XX века русский автор, живущий в Советском Союзе, излагать то, что потом было названо экзистенциальной философией, от своего имени,— для этого требовалась некая крупная фигура, в тени которой можно было спрятаться. Безусловно, Достоевский был весьма удобен для такой маскировки: историки идей находят у него важнейшие основоположения экзистенциализма.

Все это, однако, не убеждает меня в том, что данная Бахтиным интерпретация Достоевского специфична именно для этого писателя. По существу, полифония, диалогичность, многоголосие являются всеобщей характеристикой литературного творчества, это его родовая черта. И если на этом выросла философия экзистенциализма, то ничего удивительного здесь нет: давно уже было замечено, что экзистенциализм можно понимать как философскую проекцию опыта художественно ориентированной личности. В этом контексте каждый писатель, более или менее отвечающий этому званию, может быть назван если не Достоевским, то уж экзистенциалистом во всяком случае. И понималось это — теми, кто вообще был заинтересован эстетическими феноменами,— более или менее всегда — по крайней мере, задолго до экзистенциализма.

Вот что писал Шопенгауэр:

«Природа — это не тот плохой поэт, который, изображая негодяя или дурака, делает это столь неуклюже, столь старательно, что вы видите, как он стоит за каждым из своих персонажей, постоянно снимая с себя ответственность за их слова и дела и указывая предупреждающим голосом: «Это мошенник, а это дурак; не обращайте внимания на то, что он говорит». Наоборот, природа действует, как Шекспир и Гете, в чьих произведениях каждый характер, будь это даже сам дьявол, **прав** — когда выходит на сцену и начинает говорить; мы привлечены на его сторону и вынуждены симпатизировать ему, потому что он взят столь объективно, потому что он развивается из своего собственного внутреннего принципа, как создание природы, и его речи и действия по этой причине кажутся естественными и необходимыми».

Речь у Шопенгауэра идет о природе, но основополагающая мысль высказывается об искусстве. Впрочем, понимание искусства как модели природы (скажем общее — бытия) всегда было интимным убеждением романтизма, с которым вполне можно связать и Шопенгауэра. Объективность природы у Шопенгауэра делается субъективностью идеи у Бахтина. Слова о правоте выходящих на сцену и начинающих говорить персонажей великих писателей вполне могли бы появиться на страницах «Проблем поэтики Достоевского». За всем различием терминологии — тождественное, в сущности, понимание экзистенции человека, как она явлена у гениальных писателей. Ибо эстетическое измерение литературы не должно быть самодостаточным и уводить от понимания того, что здесь, в литературе, дан некий идеальный вариант общественной жизни, той «политики», о которой писал Томас Манн.

В одном месте своей книги Бахтин обмолвился — и намекнул на то, как нужно понимать интимный план его трактовки Достоевского: он сказал, что наиболее адекватным аналогом художественной системы Достоевского является в историческом мире христианская идея Церкви как мистической общности неслиянных и нераздельных душ. За личиной нейтрального литературоведа таился верующий христианин. Возникает вопрос: нельзя ли обнаружить секулярный вариант такой

аналогии, и не будет ли этим секулярным вариантом — демократия? Так в нашем контексте демократия обретает если не религиозный смысл, то соотнесенность с религиозными содержаниями. Во всяком случае, у Томаса Манна в «Размышлениях аполитичного» обнаруживается подобное соотнесение понятия демократии с тем Достоевским, о котором писал М. М. Бахтин.

5

Здесь я хочу коснуться одного эпизода из истории русской мысли незадолго до ее насильственного прекращения: как русские философы искали смысл войны 1914 года. Это дает, между прочим, интересную параллель к Т. Манну и «Размышлениям аполитичного». Как и следовало ожидать, у русских, бывших в этой войне противниками Германии, в подавляющем большинстве их размышлений о войне не было никакой склонности к романтической идеализации Германии, каковая идеализация составляет основное задание книги Манна. Наоборот, русским Германия явилась в этой войне наиболее адекватным воплощением «цивилизации», тогда как Манн видел ее носителем «культуры». Напоминаю, что это различие было дано Манном совершенно независимо от Шпенглера. Вообще шпенглерианские темы и даже самый метод творца «сравнительной морфологии культур» носились тогда в воздухе *. Едва ли не лучший пример такого шпенглерианства до Шпенглера в России — статья молодого русского философа Владимира Эрна, ставшая сенсацией осени 1914 года. Она называлась «От Канта к Круппу». Эта статья нашумела тогда в России не меньше, чем в Германии «Мысли во время войны» Томаса Манна. Шпенглерианская установка прослеживается уже в самом названии: автор задался целью обнаружить единое стилистическое начало в самых разнообразных, казалось бы,— полярных феноменах германской культуры. Он против тезиса о «двух Германиях — плохой и хорошей» (осознавая опыт уже второй мировой войны, к такому же выводу придет и Томас Манн): нельзя отделять Германию Канта и Гегеля от тевтонских зверств.

Выбор Канта в качестве репрезентативной манифестации германского духа глубоко понятен: кантовский имманентизм и феноменализм деонтологизируют мир, отрывают его от Сущего — и тем самым суть «богоубийство». Отсюда — напряженный активизм германского отношения к миру, внесение в его объективный, но непонятный нам порядок субъективного законодательства «чистого разума», мнящего себя, однако, единственным источником всякой нормативности. Артиллерия Круппа, говорит Эрн,— это априори немецкого военно-политического опыта. То, что у Канта было формой организации теоретического мышления, ныне становится методикой и практикой прямого политического завоевания мира. Эрн говорит о «глубочайшей философичности» крупповских пушек:

«Феноменологический принцип аккумулируется в орудиях Круппа в наиболее страшные свои сгущения и становится как бы прибором, осуществляющим законодательство чистого разума в больших масштабах всемирной гегемонии».

Точку зрения Владимира Эрна разделял и по-своему развивал С. Булгаков. Им обоим возражал С. Франк. Среди контраргументов Франка один кажется особенно интересным:

«...если источник зла, с которым мы боремся в этой войне, есть «имманентизм» и «феноменализм» германской мысли, то как нам быть с родственными течениями позитивизма и эмпиризма у наших союзников, Англии и Франции?»

Сами по себе имманентизм или позитивизм в философии не являются злом, писал С. Франк, они морально и религиозно нейтральны, но приобретают злокачественную силу именно тогда, когда соединяются с традицией и навыками религиозного мышления: «ибо источник современного зла германской культуры заключается в **идолопоклонстве**, в обожествлении земных интересов и ценностей, а источник этого идолопоклонства заключен в соединении религиозного инстинкта с безрелигиозным позитивистическим миросозерцанием».

Получается, что уравнение «позитивизм минус религия» (Англия, Франция) дает более приемлемую формулу общественно-культурного бытия, чем та, в которой минус сменили на плюс (Германия и коммунистическая Россия: не забудем, как Бердяев двадцать лет спустя в «Истоках и смысле русского коммунизма» давал сходную формулу, трактуя вышеуказанный коммунизм как репрессированную, трансформированную религиозность, переключение религиозной энергии на мирские цели). Создается впечатление, что в современном мире, при господстве в нем секулярных и позитивистских концепций бытия, лучше вообще обходиться без каких-либо религиозных реликтов. Это, однако, только предварительный вывод, совсем не исключающий необходимости дальнейшего исследования.

6

Пора связать разделившиеся литературные и философские нити наших размышлений. Но задержимся еще немного на философской стороне: в статье Владимира Эрна не только ощущается шпенглерианская методология, но и — в содержательном отношении — наличествуют зачатки той концепции «диалектики Просвещения», которая столь суггестивно была представлена Хоркгеймером и Адорно и развивалась затем в многочисленных построениях Франкфуртской школы. У Эрна есть уже понимание технической экспансии человечества как некоего абсолютного зла. У авторов «Диалектики Просвещения», в свою очередь, кантианство выдвигается на первый план как важнейшая теоретическая схема пресловутой **доминации**. Интересно, что Хоркгеймер и Адорно, так же как и Франк, натолкнулись на необходимость соотнести опыт демократических стран с тоталитарными тенденциями позитивистской цивилизации,— но в отличие от русского западника Франка они не поколебались интегрировать этот опыт в сконструированную ими концепцию; правда, при этом оказалось, что ничего более зловещего, чем голливудские фильмы и вообще индустрия развлечений, западные демократии в этом плане не создали.

В русской литературе есть один писатель, творчество да и судьба которого при всей их элементарности глубоко философичны. Этот писатель — Максим Горький. Конечно, сам он не сознавал своих проблем,— это не Достоевский; он являл их инстинктивно, но этим он и интересен, в этом он и художник. Философская проблема, связанная с Горьким,— это как раз проблема «диалектики Просвещения». Этот, как принято его называть в Советском Союзе, «революционный романтик» был на деле истовым «классиком», «классицистом». Романтический культ стихий у Горького — это, конечно, его раннее «босячество». С ним Горький вошел в русскую литературу, этим и прославился. Но, войдя в «большой свет» русской культуры, Горький, как и всякий парвеню, поддался сильнейшему комплексу неполноценности. Отсюда пошли две тенденции, прослеживаемые у Горького до конца его дней: с одной стороны, хамские наскоки на культурные высоты (в частности, непрекращавшиеся выпады против Достоевского), с другой стороны — робкое и старательное ученичество, сделавшее Горького едва ли не самым горячим русским партизаном культуры, или, лучше сказать, просвещения. Известно, что Горький был одним из самых начитанных русских людей своего времени. Но культура у Горького неожиданно, парадоксально — и, в общем, крайне интересно! — осознавалась как жесткая система норм, как «доминация». С уст Горького не сходили слова о культуре как «борьбе с природой». Он, можно сказать, был в России стихийным «франкфуртцем». Именно с этой стороны подошел Горький к большевизму (первоначально довольно остро критиковавшемуся им): думая сперва, что большевики несут гибель русской культуре, он примирился с ними, когда увидел, что не анархические стихии они развязывают, а заняты жесткой организацией бытия. Другими словами, Горький понимал культуру как насилие — в точном соответствии с концепцией Хоркгеймера и Адорно, но только в отличие от них видел в этом насильничестве культуры не минус ее, а плюс. У Горького, в его публицистике, есть формулы, до удивления напоминающие высказывания философов Франкфуртской школы: например, о «технологии как идеологии». Поэтому Горький стал самым представительным выразителем коммунизма в его глубинно-психологическом смысле, куда более представительным, сказал бы я, чем сами Маркс и Ленин. У него нет никаких следов остаточных гуманистических иллюзий. Горький воспел большевистский террор, НКВД и ГУЛаг как **культурные явления**, большевизацию России он видел как ее европеизацию. Вообще Горький — самый пылкий и самый грубый наш западник. Публицистика Горького 30-х годов — кошмарное чтение, ее боятся переиздавать (даже в составе академического полного собрания сочинений Горького, которое приостановилось именно по этой причине): переиздать сейчас горьковские статьи того времени — все равно что вывесить на Красной площади портреты Ягоды, Ежова и Берия.

Но в то самое время, когда на страницах «Правды» и «Известий» появлялись его статьи, прославляющие строителей нового мира чекистов,— Горький писал роман «Жизнь Клима Самгина». Я не хочу сказать, что это произведение — художественный шедевр (хотя первый его том относится к лучшему из написанного Горьким). Это, однако, художественное произведение, Горький в нем снова и опять художник. Роман этот — род иронического комментария к горьковским статьям в советских газетах. Опять же оговариваюсь: ничего видимо антисоветского и антикоммунистического в «Климе Самгине» нет,— но в нем зато нет и ничего советского и коммунистического. Просто в этой вещи, как нигде у Горького, раскрывается ироническая, игровая природа художника.

Сам герой романа в этом отношении очень интересен. Это якобы тип интеллигента-скептика, из попутчика революции становящегося ее врагом. Горький всячески уверял своих корреспондентов в том, что Клим Самгин нехороший человек; но он не мог спрятать до конца одну истину о своем герое: что это его, Горького, психологический автопортрет. Скепсис Самгина — это ускользающая от определений, ироническая и, как сказал бы Томас Манн, проблематическая природа художника. «Не верь, не верь поэту, дева»,— сказал Тютчев. Горький в «Самгине» — вот этот самый поэт, которому не следует верить. Интересно, что когда появилась первая книга романа (1927), то есть в то время, когда Горький не был еще объявлен священной коровой «социалистического реализма»,— советские критики отозвались о романе примерно так же, как пишущий эти строки, а известный тогда литератор-коммунист Федор Гладков написал Горькому истерическое письмо, обвинив его в предательстве всех светлых идеалов революции. И Гладков был прав, поскольку он уловил **бессознательный** мотив у Горького. Эпиграфом к «Самгину» мож-

* В мемуарах Андрея Белого утверждается, что метод Шпенглера предвосхитил у нас Эмилий Метнер в своей книге о Гете.

но было бы взять шекспировское «чума на оба ваши дома». Горький уходил в «Самгина», чтобы разрушить самоотождествление со статьями в «Правде», вот почему роман так непомерно длинен: это было у Горького лекарство до конца дней, вроде инсулина у диабетиков.

Перевод первого тома «Самгина» на английский был озаглавлен «Свидетель»,— издатель тоже ощутил эту «внепартийную» природу горьковского героя, то есть в данном случае природу самого Горького, игровую природу художника. Необязательно было декларировать ненавнсть к марксистам, достаточно было передать ее Самгину.

Клим Самгин размышляет в четвертом томе: «Моя жизнь — монолог, а думаю я диалогом, всегда кому-то что-то доказываю. Как будто внутри меня живет какой-то чужой, враждебный, он следит за каждой мыслью моей, и я боюсь его». Это Горький сам себя боялся, обнаруживая в себе эти бездны ненависти и презрения к нашим культуртрегерам и европеизаторам. Главное слово в процитированном отрывке — «диалог», «бахтинское» слово. Роман Горького «Жизнь Клима Самгина» полифоничен, в нем нет единого идейного центра, и это не просто потому, что Горький бессознательно ненавидел то, чему в сознании поклонялся, но и потому, что полифонична, иронична, сомнительна и проблематична суть писательства как такового — не только писательства Достоевского. Нельзя верить поэту, потому что он сам по определению безверен.

Я хочу тем самым сказать не только, что Бахтин был неправ, приписывая исключительно Достоевскому общее свойство писательства, но и что литература может быть искуплением — как это показывает случай Горького. Искуплением могут быть безверие, скепсис, ирония, готовность предать любых богов, то есть все эти негативы могут дать в результате некий вполне ощутимый позитив.

Считается, что Россию всегда воспитывала ее литература, заменявшая ей и церковь, и парламент. Теперь выясняется, что это неверно: русский ум не был на высоте своей литературы — именно потому, что не ощущал «низость» этой высоты,— и поклонялся как святым профессиональным иллюзионистам. Русский религиозный пыл растрачивался не по адресу. Отсюда — обожествление тех начал, которые никакого обожествления не требуют, та духовная эксклюзивность, которая в конце концов обернулась «однопартийной системой».

Горький называл себя монистом. В этом качестве он отождествлял себя с большевиками — и печатал тогда статью в «Правде» под названием «Если враг не сдается, его уничтожают». Написав статью, он хватался за «Самгина», в котором мог делаться плюралистом,— уходил в «диалог». Плохо в этом было то, что установка на диалог не осознавалась в своей непосредственной, а не зашифрованной в художественном тексте ценности. Подлинно ли монистическое стремление — жажда Единой Истины — есть определение религиозного сознания и признак истинной веры?

7

В Америке существует книга, которую ее издательская аннотация называет «макиавеллически умной»: это «Истинно верующий» Эрика Хоффера. Рекламные приемы в данном случае недалеки от истины. Правда, я бы не стал судить по книге Хоффера о природе коммунизма, специфика этого явления неясна ему; лучше уж обратиться к Ханне Арендт. Коммунизм нельзя сводить к фанатизму его последователей; это не вера, а идеология, а в идеологию не нужно веровать, ее достаточно принимать. Вообще книгу Хоффера портит ее, сказал бы я, психологический редукционизм: на психологическом уровне делаются неразличимы адепты христианства, ислама, нацизма и коммунизма, содержание доктрин ускользает от внимания исследователя. Трудно, даже не будучи христианином, признавать единосущность христианства и его злейшего врага — коммунизма. Однако если взять «Истинно верующего» не как трактат, дающий компаративный анализ «массовых движений», а как исследование по социальной психологии, то ценность книги едва ли можно оспорить. В конце концов Эрика Хоффера интересовало не столько содержание доктрин, сколько психология их приверженцев. Как пишет об этом сам Хоффер, для «истинно верующего» важность представляет не объективная ценность его веры, а сам (психологический) факт верования. Отсюда — то явление, которое Хоффер называет взаимозаменяемостью вер. Обращаются к единой истине, но в течение жизни делают это дважды или трижды. Полюса сходятся — коммунист делается конвертированным нацистом и наоборот. Но обоим невозможно обратиться в либерала-скептика.

Я не встречал в Америке людей более близких к психологическому типу фанатика-коммуниста, чем старые русские эмигранты «правой» ориентации. Скажу больше: в самом СССР фанатик-коммунист — очень редкий ныне зверь. Господствующий сейчас там тип коммуниста отнюдь не фанатичен. Он, если угодно, прагматичен. Вот почему нельзя описания Хоффера (первое издание его книги — 1951) считать ключом к пониманию коммунизма и создаваемого им стиля жизни. Вообще о коммунизме трудно думать как о массовом движении того типа, который описывает Хоффер,— с самого начала он был у нас головной, идеологической революцией. Это готова признать и Ханна Арендт в «Происхождении тоталитаризма».

Но когда эмигрантская, а теперь уже и советская пресса говорит о религиозном возрождении в России — то ли в фактическом, то ли в гадательном и рекомендуемом смысле,— мне каждый раз вспоминается книга Хоффера, и я задаю себе вопрос: какого возрождения ожидают — возрождения идей или возрождения «истинно верующих»? *

И снова приходится спрашивать: не есть ли характерные признаки **истинной веры** (без кавычек) не столько рвение и прозелитизм, сколько скепсис и терпимость?

8

В России был, однако, философ, который не только учил истине, но учил тому, что Истина — та самая, с большой буквы,— искажает мир и порабощает человека. Это, конечно, Лев Шестов. Одна из книг Шестова («Апофеоз беспочвенности») носит подзаголовок «Опыт адогматического мышления». Значит ли это, что Шестов был неверующим? Мало сказать, что это был верующий, это был человек, упоенный Богом. Русский читатель, впервые знакомящийся с Шестовым, с трудом избавляется от соблазна зачислить его в разряд знаменитых наших «нигилистов» — и готов поначалу связать Шестова именно с этой весьма заметной русской традицией. И у Шестова, действительно, заметна некоторая стилизация под нигилистов как провоцирующий литературный прием; «Апофеоз беспочвенности», кстати сказать, вырос из книги о Тургеневе, которую Шестов оставил недописанной; он был очарован тургеневским Базаровым. На деле кажущийся «нигилизм» Шестова вводит в проблематику так называемого апофатического богословия: можно дать только отрицательное определение Бога, перечислить только те черты и качества, которые Ему не присущи. Конкретная полнота, бытийная целостность не поддаются определениям. У Шестова идет переход от этого отрицательного богословия к богословию положительному: попытка позитивных определений безначального, безграничного и бесконечного бытия создает ту ненавистную Шестову «истину», которая связывает человека — и готова связать самого Бога, поставив над Ним «объективный» миропорядок. Эти греческие идеи Шестов решительно отвергает, Афинам он противопоставляет Иерусалим. В этом смысле он действительно еврейский философ. Но еврейство Шестова надо брать не в локальном, а в универсальном смысле,— следует назвать его скорее «иудеем».

Пример проекции тем Шестова на русскую литературу дает его эссе о Чехове «Творчество из ничего». Основной объект анализа — повесть «Скучная история». Шестову глубоко родственна установка чеховского профессора, отвечающего на смятенные вопросы «ищущей мировоззрения» Кати одной короткой фразой: «Не знаю». Из Чехова Шестов извлек еще одно словечко «тарарабумбия», которое напевает в «Трех сестрах» доктор Чебутыкин. На философском языке эта «тарарабумбия» — называется абсурдом. Альбер Камю, сделавший из абсурда философскую категорию,— ученик Шестова.

Но для Шестова в этих «не знаю» и «тарарабумбия» — начало истинного богопознания. В ситуации растерянности, в ощущении полной негарантированности бытия происходит, согласно Шестову, пробуждение сознания о Боге. Скепсис у него сопределен вере, а не безверию, релятивизм и адогматизм — феномены религиозного, а не атеистического сознания.

Можно было бы сказать, что в этой установке сказалось выразительнейшим образом иудейство Шестова, если бы сходную структуру сознания мы не находили и в других местах, в христианской традиции. Вспомним Монтеня, его «Апологию Раймунда Сабундского» («Опыты», II, 12): религия, вера защищается аргументами именно скептицизма, в результате невозможности познать Бога путем рационального размышления, по принципу certum est, quia impossibile est * (один из любимейших афоризмов Шестова).

9

В 1906 году Максим Горький побывал в Соединенных Штатах, собирая деньги на русскую революцию. Денег он собрал много; дело, однако, не обошлось без скандала: американцы выяснили, что сопровождавшая экзотическую знаменитость — не жена Горького, что жена с ребенком осталась в России. Плюрализм существовал в Америке уже тогда, но он еще не доходил до терпимости к полигамии.

В Америке Горький свел знакомство с философом Уильямом Джемсом и неоднократно в дальнейшем высказывал восхищение этим человеком. Есть все основания полагать, что Горький, будучи вообще великим книгочеем, внимательно изучал книги Джемса (кстати, все до одной переведенные в дореволюционной России). Следы влияния джемсовского прагматизма легко обнаруживаются у Горького. Вся его идеология, вполне адекватно моделируемая по Хоркгеймеру и Адорно, с таким же успехом может быть моделирована по Джемсу; последний путь будет к тому же не только логически правильным, но и исторически правдоподобным, ведь в отличие от франкфуртских философов Джемс был современником Горького. Горьковский жесткий активизм, его «борьба с природой» как цель человеческого бытия и путь культуры находят свое обоснование в прагматической установке: истина — это не состояние сознания, а со-

* В одном из номеров бердяевского журнала «Путь» (за 1928-й, кажется, год) я обнаружил статью о признаках религиозного возрождения в текущей советской литературе; наиболее многообещающими в этом плане автор статьи считал Леонида Леонова и Валентина Катаева.

* Бесспорно, ибо невозможно (лат.).

стояние бытия, формируемого нами в соответствии с нашими целями. Сюда же, конечно, подключаются Ницше, воспринятый Горьким в молодости, и позднее усвоенный Маркс: если есть что-то общее у обоих (Маркса и Ницше), так это именно элементы прагматизма, позднее выделенные и методологически осознанные американским философом.

Так и получилось, что проповедь «классовой» ненависти, которую вел Максим Горький на страницах «Правды», была у него философски мотивирована мыслями одного из благороднейших американских умов. Если и была в таком толковании Джемса вина самого Горького, то она смягчается двумя обстоятельствами: тем, во-первых, что он, при всей своей начитанности, был и остался человеком малограмотным; во-вторых, тем, что все-таки, как мы уже знаем, в литературе своей он сумел остаться «полифоничным» — и показал большевикам не один кукиш в кармане. Но чем объяснить такой, например, отзыв о прагматизме, принадлежащий Бертрану Расселу:

«Во всем этом я чувствую серьезную опасность, опасность того, что можно назвать «космической непочтительностью». Понятие «истины» как чего-то зависящего от фактов, в значительной степени не поддающихся человеческому контролю, было одним из способов, с помощью которых философия до сих пор внедряла необходимый элемент скромности. Если это ограничение гордости снято, то делается дальнейший шаг по пути к определениому виду сумасшествия — к отравлению властью, которое вторглось в философию с Фихте и к которому тяготеют современные люди — философы или нефилософы. Я убежден, что это отравление является самой сильной опасностью нашего времени и что всякая философия, даже ненамеренно поддерживающая его, увеличивает опасность громадных социальных катастроф».

И тут мы снова должны вернуться к Шестову.

10

Шестов написал статью о Джемсе и опубликовал ее в своей книге «Великие кануны» (1912). Статья называется «Логика религиозного творчества». О Шестове говорили, что он всех авторов, о которых пишет, стилизует на свой манер, «шестовизирует». Но надо сказать, что именно в случае Уильяма Джемса такая «шестовизация» наиболее оправдана. Вот как передает Шестов основную мысль философии Джемса:

«Вероятно, если бы его спросили, в чем основной грех всех философских и теологических построений, он ответил бы: в постоянном стремлении подчинить вселенскую жизнь одной идее».

Шестов ясно видел необходимость плюралистического понимания прагматизма — то, чего не видел дилетант Горький и почему-то не заметил высокий профессионал Рассел. Джемс — автор «Плюралистической Вселенной», а книга его о религии называется «**Многообразие** религиозного опыта». Именно при допущении плюралистической установки прагматический активизм теряет все свои яды. Но и «сумасшествие», и «отравление властью» неизбежны, когда прагматистская позиция сочетается с монизмом: случай Горького, а лучше сказать — Маркса.

Что же касается «сумасшествия», то, как известно, Джемс исследовал его возможности в религиозном творчестве. Шестов вполне оправдывает эти попытки — находя их «верификацию» в словах апостола: «Мудрость мира сего — безумие перед Богом».

То, что Шестова не устраивает в Джемсе,— это все-таки старание последнего подчинить «безумие» некоему критерию, в данном случае — прагматически-утилитарному; здесь прагматизм Джемса, говорит Шестов, возвращается вспять — к рационализму.

Еще одно высказывание Шестова:

«Рыцарь свободного творчества, Джеймс, в конце концов потребовал для своего безумия санкции, общественного признания, иными словами, он, не давая себе в том отчета, с самого начала исходил из мысли, что его рассуждения все же сложатся в стройную теорию познания, которая найдет способ подчинить себе общественное мнение, станет общепризнанной, общеобязательной. Он стал делить «безумие» на категории и разряды и отбирал только такого рода безумия, которые могут оказаться общественно полезными. И эти отобранные, полезные безумия он возвел в высокий сан истины...»

Шестов распространяет на Джемса свой любимый тезис (не лишенный, кстати, некоего иронического прагматизма) — что «истина» признается таковой, когда она дает не теоретическое постижение мирового порядка, а реальную власть над людьми, «власть ключей», potestas clavium,— когда она социально организует массу, «стадо». То, что Джемс признает такое толкование истины уже не иронично, а всерьез,— это и есть, по Шестову, его грехопадение.

В толковании Джемса Шестов сделал одну ошибку: он не заметил, что в джемсовском прагматизме нет понятия «стада». Джемсу некого и незачем организовывать. В его плюралистической вселенной столько же центров организации, сколько самосознающих воль.

Джемс писал в книге «Воля к вере» — слова, которые не заметил у него «монист» Горький:

«...вспомните Зенона и Эпикура, Кальвина и Пэли, Канта и Шопенгауэра, Герберта Спенсера и Дж. Г. Ньюмэна и представьте себе, что они — не просто поборники односторонних идеалов, но учителя, предписывающие нормы мышления всему человечеству,— может ли быть более подходящая тема для пера сатирика?.. Мало того, представьте себе, что такие индивидуалисты в морали будут не просто учителями, но первосвященниками, облеченными временною властью и имеющими право решать в каждом конкретном случае, какое благо должно быть принесено в жертву и какое может остаться в живых,— это представление может прямо привести в ужас».

В философии Джемса, другими словами, достигнут тот же результат, что и в романах Достоевского, с той только разницей, что если, как полагает М. М. Бахтин, модель мира по Достоевскому — Церковь, то у Джемса такой моделью будет **демократия**. Его плюрализм в социальном соотнесении есть не что иное, как философская формулировка опыта гражданина демократического общества. Транскрипция установок русского сознания в терминах американского опыта делает религиозную заданность социальной данностью. Демократия сама в себе приобретает тот религиозный смысл, который американские партизаны религии хотят отыскать в каких-то внеположных ей (демократии) инстанциях.

Короче говоря, американский плюрализм имеет глубокий религиозный смысл. «Скептическая общественная онтология», как назвал Бердяев демократию, становится аналогом апофатического богословия — единственным методом религиозного гнозиса. Агностицизм оборачивается путем богопознания; такова религиозная парадоксия, явленная у Шестова философски, а у Джемса (коли мы говорим о глубинных истоках его философии) — в практически-социальном действии, которое называется демократией. Плюралистический прагматизм предстает у Джемса единством религиозной интуиции, философского познания и политической идеологии. В России же при ее склонности к «синтетическому мировоззрению», к целостной истине, не было понимания этой парадоксальной природы высших начал знания и бытия — понимания их многообразия, несводимости их к единому принципу. Опыт России показывает опасность монистического мировоззрения прежде всего. Опасна сама структура монистически ориентированного духа, а не содержательные его наполнения. В Америке индустриальное общество справляет куда большие триумфы, чем в Советском Союзе, но оно не перерастает в тоталитаризм, потому что не ограничивает истину единством «технологии как идеологии», потому что вообще здесь не ищут последней и всеразрешающей формулы бытия.

Еще одно небольшое замечание о шестовской статье, посвященной Джемсу: Шестов заметил, что первый немецкий перевод «Многообразия религиозного опыта» вышел без главы, в которой Джемс сделал попытку обоснования политеизма. Политеизм — это, видимо, все-таки то, что американцы называют too much. Достаточно того, что в Америке есть 240 миллионов свободных граждан. Приходилось читать в американской газете, что иностранцы никак не могут решить, что же такое Америка: нация или Церковь?

11

Русский эмигрант-интеллектуал, очутившись на Западе, тем паче в Америке, почти всегда обнаруживает весьма болезненный идейно-психологический комплекс: его монистическая духовная установка резко обостряется. В мышлении его нарастает эксклюзивность, чреватая фанатизмом; последний провоцируется зрелищем видимого распада духовных и социальных связей самой западной жизни, ощущением апокалиптичности здешнего бытия, катастрофических канунов — и приводит эмигранта к позиции некоего профетизма. Запад очень легко критиковать: что ни скажешь о нем обличающего — все попадает в цель. Это легкая, потому что **большая** мишень. Пессимистическое пророчество эмигранта становится мотивировкой неприятия этой, западной, жизни. Но основа указанного комплекса — чисто психологическая: проекция вовне собственного катастрофического опыта, ибо эмиграция и есть катастрофа, психологическая катастрофа. Мировоззрение такого эмигранта продиктовано элементарной ностальгией, и ему кажется, что неприятие и обличение должны сделаться его экзистенциальным статусом, его «посланием» и его «миссией». К сожалению, миссия не может стать профессией.

Следует произнести одну «низкую истину» об эмигранте-интеллектуале, обличителе Запада. За редкими исключениями это человек «не устроившийся», социально не реализовавшийся на Западе. Ироническая формула эмигрантского бытия — «зелен виноград», другими словами, сознание эмигранта определяется его бытием.

Имя автора последней формулы хорошо известно в Советском Союзе, оно сделалось «жупелом» и «металлом». Маркс для русского — враг номер один, исчадие ада. Между тем этот враг человечества был сам прежде всего — эмигрантом, то есть человеком, находившимся в состоянии фрустрации, как об этом говорит, к примеру, Британская энциклопедия. Это наш коллега по несчастью. Самый его «материализм», продиктовавший пресловутую формулу,— попытка психологической идентификации с ненавистным преуспевающим буржуа. Ведь не Маркс, а этот буржуа был материалистом. Маркс проповедует материализм по причине собственной незадавшейся жизни идеалиста, социального мечтателя. Вот так же Ницше говорил, что у больного нет права на пессимизм. Маркс, по-видимому, знал, что, будь у него деньги, он не стал бы пророчествовать.

В любом случае это более интересный вариант, чем ностальгирующее стояние на камне идеальной истины. В таком экзистенциальном повороте сказались талантливость Маркса, его чисто человече-

ская одаренность, если угодно — известный артистизм. Творец мифа не может быть бездарным человеком. «Низкая истина», провозглашенная Марксом, есть, несомненно, реактивное образование, убедительное в чисто психологическом плане.

И это не мешает ей быть **одной из истин**. Как ни странно, Маркс подлинен именно на Западе, а не в стране «победившего социализма», подлинен потому, что он здесь **частичен**. Мы и производим его частичную реабилитацию.

В «New York Times Magazine» появилась однажды статья Дж. Атласа, посвященная переориентации американских (даже нью-йоркских) интеллектуалов. Они на глазах «правеют». Происходит это потому, что общество сумело их институализировать. Механизм этой эволюции — конечно же, включение их в «общество потребления». Способствовали этому два обстоятельства: растворение бывших левых в mass-media и послевоенный университетский бум, наделивший вчерашних левых идеалистов вполне приличными заработками в бесчисленных университетах. И тогда они стали замечать нечто не замечавшееся ранее: к примеру, что «буржуазная» Америка много лучше небуржуазного СССР. В описываемом случае верность формулы о бытии, определяющем сознание (даже и не «общественное»), оказалась как нельзя очевиднее. Урок для «наших»: ведь американские левые в 30-х годах были именно эмигрантами, хотя бы и «внутренними».

Все это говорится к тому, чтобы «прозу» Маркса противопоставить его «поэзии», идеалистическому мифу о наконец-то обретенной единой истине. Маркс не стал на Западе патогенным фактором, потому что воспринимается здесь частично, его имя ставится, так сказать, в окружение запятых: Конт запятая Маркс запятая Спенсер — и так далее. Ему не дают здесь красной строки.

12

Русским, чающим религиозного возрождения, необходимо прислушаться к протестантскому опыту напряженно-личностного переживания религиозно-бытийных реальностей. В этом отношении Бердяев с его персонализмом более интересен, чем достаточно (для «отцов-пустынников» все же недостаточно) ортодоксальный о. С. Булгаков. Собственно, этим же — в религиозном плане — интересен и Солженицын, человек уникального, не генерализуемого религиозного опыта. Это ведь тоже «рыцарь веры Авраам», готовившийся принести в жертву своих детей. Именно о Кьеркегоре мы здесь должны говорить. И, даже не о Лютере, имея в виду чуждую русским протестантскую установку (хотя, как известно, неопротестантское богословие, идущее от Кьеркегора, вернулось как раз к Лютеру от построений так называемой либеральной теологии). У Кьеркегора религиозная истина не едина, а единична, это не экстраполируемый экзистенциальный опыт, то есть «безумие». Кьеркегор производит «устранение этического»: религиозная истина не может быть нормативной, не может быть всеобщим правилом, категорическим императивом — в отличие от этики, как раз и построяющей систему всеобщих и обязательных моральных норм. Тезис протестантизма «каждый сам себе священник» находит у Кьеркегора не теоретическое, а экзистенциальное обоснование. Авраам религиозен, потому что он безумен. Его пример невозможно возвести в (этическую) норму, потому что он «беспримерен». Религиозная истина ищется в одиночку, она не обладает качеством коллективной репрезентативности — и не может поэтому вести к коллективному спасению, к окончательному устроению. Она не объективируема, ей нельзя научить — следовательно, ее нельзя проповедовать. Она не социоморфна. Это и есть глубочайшая религиозная основа индивидуализма, понятого не как психологическое качество, а как метафизическое состояние свободы.

Социальным коррелятом протестантского типа религиозности стала демократия. И она же строит религиозно провокативную ситуацию. «Вызов», создаваемый демократией, апеллирует, как это ни парадоксально, к экзистенциальной глубине человека, к его способности выжить в одиночку. Этого не могут заслонить никакие социалистические прививки к демократии, никакие коллективно предпринимаемые поиски гарантированного бытия. В этом ключе должен быть понят и русский эмигрантский опыт. Его адекватная формулировка поможет осознать пороки и грехи русского прошлого, и главный из них — ничем до сих пор не истребимую веру в Единую Истину, способную организовать коллективное спасение. Русскому человеку не хватало до сих пор опыта одиночества. Эмиграция дает такой опыт. Она может дать и большее: то трансцендирование от наличной действительности, которое и есть самое ценное в любой религии. Русская жизнь была всегда слишком «массовидной», чтобы человек мог найти в ней собственную судьбу — или осознать необходимость таковой. Демократия, если она когда-нибудь утвердится в России, будет опытом всеобщей эмиграции от русской реальности и русских мифов. Она не сделает нашу жизнь «лучше», но сделает ее более отвечающей замыслу о человеке.

1985 год.

Вячеслав КУРИЦЫН

(. . .)

В этом и впрямь есть что-то дьявольское: будто кто-то дразнит нас, будто лукавит, подставляя грузинские, еврейские, латышские имена, подвергая соблазну свалить беды России на загадочные — прежде всего своей неизъяснимой мощью загадочные — нездешние, внешние силы. И хотя говорить о большой популярности этой идеи трудно, число ее сторонников, безусловно, растет — по двум простейшим причинам: за счет незатейливости и доступности такого умозаключения и за счет желания — в общем, вполне понятного — считать себя «беленьким», чистеньким, свою нацию — жертвой; это самый прямой путь к достижению нравственного комфорта.

Проблема русского, однако, смотрит во все окна — и чем дальше, тем больше; чем откровеннее мысли о сущности российской катастрофы, тем очевиднее факт, что российская она во всем, в том числе, — и в истоках. Шабаш вокруг имен Гроссмана и Терца весьма показателен в смысле очевидно «неколбасной» заинтересованности любителей «русского». Если раньше можно было говорить, что защищают жирные тиражи, места у кормушки, теплые кресла, то теперь абсолютно ясно: защищают идею, комфорт не телесный, а духовный. Отечественная сакральность подвергнута сомнению, и в ход пускаются все средства, вплоть до прямых подтасовок.

На аргументы записных русофилов ответить не сложно. Сложнее подступиться к другим вопросам: насколько русская история — р у с с к а я? Какие российские, а не сторонние силы сделали с Россией то, что сделали, — попросту разорвали ее изнутри? «Очевидно, что причины, столь долгое время удалявшие Россию от образованности, не могут быть случайными, но должны заключаться в самой сущности ее внутренней жизни, и хотя в каждую эпоху нашей истории находим мы особенные и различные обстоятельства, мешавшие нашему развитию, но совокупность сих обстоятельств заставляет нас заключать, что враждебное влияние их зависело не столько от их случайного явления, сколько от коренного образования первоначальных элементов нашего быта», — это славянофил Иван Киреевский. Особенные и различные обстоятельства — тема отдельная, важная, широко, активно и охотно обсуждаемая. Но сегодня нас интересует другой, коренной вопрос — та самая «сущность внутренней жизни», те самые «первоначальные элементы быта» России, которые долгое время отделяли страну от образованности, а в итоге привели к небывалому в мировой истории самоистреблению нации.

Объяснение всякому явлению следует искать прежде всего в его внутренних свойствах, внешнее может выступать лишь в качестве катализатора, — вряд ли нужно доказывать этот трюизм.

Опубликован роман В. Кормера «Наследство», который удивительно кстати пришелся в нынешнем отечественном воздухе. И вовсе не потому, что еще не доводилось и едва ли доведется читать такие полотна, посвященные диссидентскому движению, а потому, что текст переполнен спорами о России и русских, о России и русском, о народе и государстве, о национальном менталитете: честно говоря, трудно было представить в избалованный модерном век удачу текста с таким откровенно, безусловно и последовательно старомодным предметом речи. Как справедливо заметил В. Кантор, «через этот материал (то есть через диссидентство. — **В. К.**) как через увеличительное стекло писатель пытался понять судьбу России» («Знамя», 1991, № 4). Значит, все-таки русский вопрос не мода, не забота одних лишь специалистов, восторженных неофитов и одиозных почвенников.

— В романе Кормера есть — категория? понятие? термин? — вынесенное (-ая, -ый) в название этой статьи: (...). Эта штука, (...), то, во что упираются все русские споры, что составляет их непроизносимую, неисповедимую суть. В критические моменты дебаты превращаются в какое-то клятвенное, мистическое повторение одного и того же, главного — (...).

«...— То есть, безусловно, что-то есть. Но ведь, с другой стороны, вся ситуация уже иная. Они ведь (...).

— А разве там (...) — спросила Таня.

— Так-то оно так, но (...).

— Да, пожалуй (...).

Есть, конечно, и очень простая: при всех (...).»

Автор как бы обозначает предел, как бы очерчивает семантический или энергетический круг, внутри которого сокрыта последняя (и, возможно, единственная) тайна исторического российского бытия. Проникнуть в этот круг невозможно, отгадке, расшифровке (...) не поддается. (...) заменяет в тексте различные части речи, совершенно разные по потенциальному смыслу слова. В контексте всего романа вовсе не будет выглядеть странным предположение, что (...) и есть та самая русская величина, русский дифференциал, русское зерно, что определяет суть и соль нашего менталитета. И вряд ли можно вогнать в четкую формулу все значения этой противоречивой величины, можно лишь обрисовать контекст, выделить те или иные стороны.

Да, о русском говорят много. Традиционно много — постижение «тайны русской души», «русского пути», отечественной особости (или, предположим, неособости) — главный предмет нашей общественной мысли. Более всего говорят о русском в пяти-шести популярных изданиях, что открыто провозгласили борьбу за национальное возрождение своей главной задачей, делом долга и чести. И, вероятно, именно в этих изданиях мы вправе рассчитывать найти какие-то свежие сведения о «русской идее»: о ее, что ли, состоянии, о ее, интересно бы, развитии, о том, на худой конец, как ее сегодня принято понимать, трактовать и рассматривать.

Но, увы, все они относятся к категории «публикаций»: это перепечатки, архивные тексты или, например, статья иерусалимского профессора. Что касается сегодняшних и здешних критических и публицистических работ, так или иначе затрагивающих «русский вопрос», в них нет буквально ни одной свежей, нетривиальной мысли, ни одной интересной трактовки высказываний публикуемых «предшественников». Русская идея, говорят они,— это духовность, соборность и всемирная отзывчивость. Часто поминается православие. Я с большим уважением отношусь ко всем означенным категориям, но в том и дело, что для наших «патриотов» это и не категории вовсе, а лишь слова, за которыми, судя по контексту, мало что стоит, которые попросту мало что значат, а от употребления с невыносимой частотностью они не только не приобретают нового реального смысла, но и теряют тот последний, что еще был *. В общем, все по пословице насчет халвы (уж не знаю, русской ли). По этим словам-знакам, очевидно, определяют «своих»; о других их функциях говорить затруднительно. Русская идея для ее нынешних сторонников — это какая-то неподвижная, раз и навсегда данная штуковина, безусловно драгоценная и обладающая парой признаков: русская да всечеловечная, всечеловечная да русская. Что значит сакраментальная всечеловечность — это мы, очевидно, должны понять сами, по праву крови.

Если не говорят ничего нового «истинные патриоты», то чего уж ждать от просто сочувствующих, вроде автора этих строк? Потому мне остается лишь обратить внимание на настойчиво повторяющиеся у старых и авторитетных авторов мотивы там, где речь заходит о русском вопросе. В частности, на то, как настойчиво звучит мотив двойственности, антиномичности, родовой, природной антагонистичности русской души. Причем проявляется эта двойственность по-разному, в самых разных контекстах.

Бердяев говорил о том, что русские — самый безгосударственный и самый государственный народ, о том, что «Россия — самая нешовинистическая страна в мире» и одновременно «самая националистическая страна в мире», о том, что «творчество русского духа так же двоится, как и русское историческое бытие». Семен Франк указывал на русскую раздвоенность «между жизнью и верой». Алексей Хомяков отмечал, что «два воззрения, совершенно противоположные» на историю России (Россия — страна свободы; Россия — страна рабства), «одинаково оправдываются и одинаково опровергаются фактами неоспоримыми». Говорил о двух центрах русской души Г. Федотов. Е. Трубецкой вычленял в русской сказке два равновеликих идеала: подвижнический и воровской. И двуглавый российский орел — да, герб у нас импортный, но вполне отражающий именно русскую природную двойственность. Я специально привлек в свидетели столь разных авторов; можно привести и другие цитаты, доказывающие, что идея природной антиномичности России — трюизм, общее место многих концепций.

Но в чем «основание для классификации», в чем та главная антиномичная пара, по отношению к которой все остальные противопоставления — уже следствия? Какой мощный фактор обеспечивает все проявления российской раздвоенности? Что, как не сама Природа, способно определять такие последствия в такой стране? Кровь и география — вот традиционно сильные природные элементы, часто приводимые для доказательства и поддержки разных расовых и национальных концепций. И если на первом из них — на составе крови — сегодня уже совершенно невозможно строить серьезных рассуждений, то идея первичности географического фактора становится все более популярной. Причем и эта идея отнюдь не претендует на оригинальность. О факте географическом как о факте, «который властно господствует над нашим историческим движением, который красной нитью проходит чрез всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю ее философию, который проявляется во все эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер», говорил и П. Чаадаев. И — вот странный знак — именно на этих словах обрывается рукопись «Апологии сумасшедшего», в которой Чаадаев пытается объясниться с обществом, признавшим его невменяемым после опубликования первого «Философического письма». Подобные недоговорки, подобные обрывы рукописей на главных местах в принципе не могут остаться без продолжения: о русской географии как основе русской души после говорили многие авторы. Тот же Бердяев считал, что «необъятные пространства, которые со всех сторон окружают и теснят русского человека,— не внешний, материальный, а внутренний, духовный фактор его жизни».

* О том, что ревнители православия часто не в ладах с элементарным религиозным знанием, см., например, выступление О. Газовой, зав. отделом церковной жизни «Московского церковного вестника» в «Книжном обозрении» (№ 24, 90).

Ясно, конечно, что мистическая формула «основа русского характера — в русской географии» — это, скорее, символ; точно так же может она быть развернута в противоположную сторону: и беспредельная география — результат беспредельности русской души, ее тяги к странничеству, к овладению все новым и новым пространственным и эмоциональным опытом, ее безысходного, немотивированного стремления к пределам чувствования и бытия, ее тяги ко всему абсолютному, конечному, последнему. Национальный менталитет лишен тормозов,— происходит это «от географии» или от каких-то исторических причин (та самая уже упоминавшаяся дискретность развития, при которой часто теряется ясность причин и следствий и остается «абсолютное» конкретное переживание). И тотальная несвобода — постоянная спутница отечественной истории — работает на ту же особенность: рабство и, в случае срывания оков, анархический разгул («мужицкий бунт») — всё такие же крайние социальные состояния... Да, из этой особенности вытекают и былые фантастические взлеты русского духа — об этом у нас еще пойдет речь. Но именно отсюда же, из этих свойств, вытекают все наши прогрессистские кошмары, одиозная наша непредсказуемость, имеющая множество темных сторон; именно отсюда, наконец, происходит и страшная русская революция, сколь бы ни был велик соблазн объяснить ее «инородческими» началами.

Но должен быть и антитезис. Беспредельность души и просторов предполагает крепкий дом: когда за стенами беснуется стихия, по эту сторону должен скрипеть за горячей печкой сверчок, качаться люлька, играть ребенок, царить теплый уют. Иначе просто невозможно вынести стихию пространства; представьте модель в чистом виде — одинокий дом в продуваемом поле — и вы поймете, что без крепких стен и надежного очага очень просто сойти с ума. Святость дома, частной жизни — вот вторая половина ядра, способная уравновесить абсолютную душу. Увы, мы все-таки сумасшедшие. От теплых комнат дома Турбиных до бесприютности мастера — вот наш путь. Российские весы никогда не были в равновесии: всегда и смертельно перевешивала беспредельность. Дом, государство, частный интерес — все это, увы, не стало для русского духа верховной ценностью. Русская культура жаждала абсолютной свободы и добилась того, чего только и могла добиться: моря крови и трупов, уничтожения страны.

Вот несколько цитат, так или иначе соприкасающихся с этим вопросом.

«Русская идея есть идея свободно созерцающего сердца»,— говорит русский философ Иван Ильин, но тут же добавляет: «Однако это созерцание призвано быть не только **свободным**, но и **предметным**. Ибо свобода, принципиально говоря, дается человеку не для саморазнуздания, а для органически-творческого самооформления, не для беспредметного блуждания и произволения, а для самостоятельного нахождения предмета и пребывания в нем». «Чужой человек, иностранец, немец» (слова Бердяева об Ильине), автор, отличавшийся от большинства философов золотого русского ренессанса тем, что сохранял уважение к категорийной точности, к строгости мысли, он, на наш взгляд, очень удачно определяет необходимость второй, уравновешивающей составляющей русского ядра — необходимость предметности. Увы, русская практика слишком часто обнаруживала отсутствие уравновешивающего элемента. В «абсолютном» российском Космосе предметность не имеет законного места.

Точкам опоры у нас уделялось катастрофически мало внимания. «Славянофилы уважают дом, в котором живет русский крестьянин»,— восклицает А. Самарин в пылу полемики с Белинским, и ясно, что уважение это — отнюдь не оправдание бедности, убогости, отнюдь не оправдание настоящего, действительного состояния данного дома, а уважение к самой идее дома, к тому, с чем связана у конкретных людей их пусть скромная, но единственная жизнь, их покой, каким бы жалким он ни казался прогрессорскому сознанию.

«*Всякая революция есть смута*,— жестко формулировал С. Франк.— Как бы глубоки, настоятельны и органичны ни были потребности общества, не удовлетворяемые «старым порядком», революция никогда и нигде не есть целесообразный, осмысленный способ их удовлетворения». В начале XX века, впрочем, подобные мысли звучали часто — лучшие русские мыслители и порознь, и вместе («Вехи») старались предотвратить катастрофу, доказать губительность любого «прогрессорства», какими бы розовыми идеалами оно ни прикрывалось. Увы, было уже просто поздно. Пугачевщина, кажется, была в крови у российских революционеров. Тот же Франк писал: «ненависть Базарова к барской жизни и барскому либерализму Кирсановых по содержанию своему, так

сказать, по духовной своей субстанции совершенно тождественна с большевистской злобой».

«Взгляните вокруг себя,— предлагал Чаадаев.— Не кажется ли, что всем нам не сидится на месте. Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной формы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; **нет даже домашнего очага** (выделено мною.— В. К.)». Он же предупреждал, что Царство Божие должно быть не только на небе, но и на земле. И снова — увы.

Русская абсолютность, разверстость русской души и сегодня, после кровавых большевистских итогов, продолжает казаться многим священной ценностью. Я не говорю о тех «истинных патриотах», что бьются в экстазе при каждом упоминании слова «русское». Но вот серьезный исследователь Светлана Семенова публикует работу с показательным названием «Оправдание России», где замирает в восхищении перед национальной «неотмирностью» и «загадочностью». Для нее в этих наших началах — корни гениальных взлетов отечественной мысли, что нашла свое высшее воплощение в личности и идеях постоянного героя С. Семеновой Николая Федорова. Не соглашаясь, что только лишь Федоров — торжество сакральных потенций русской души, тем не менее нельзя не признать, что золотая русская философия — так же, как и литература,— ее прорыв в космос — действительно апофеоз русского. Но вот вопрос — может ли он служить «оправданием» другого, параллельного, что ли, апофеоза: окончательной гибели в XX веке российского менталитета и происходящей ныне на наших глазах формальной гибели российского государства? Словно русский дух, найдя свое высшее воплощение в планетарной мысли, обрушился всей своей мощью на тот народ, что долгие столетия таил в груди этот дух. Единство этих двух национальных результатов — предел «диалектической мысли», который с трудом выдерживает даже спокойный рассудок.

Тревожащее, пугающее и одновременно сладостное притяжение бездны: многие из россиян наверняка знакомы с этим сумасшедшим чувством, понимая при этом умом всю губительность русского абсолюта. Даже такой человек, как Николай Бердяев, давший блистательный набор характеристик русского зерна,— «Россия — фантастическая страна духовного опьянения, страна хлыстов, самосжигателей»; «Русские — града своего не имущие, града грядущего взыскующие»; «Дух этот устремлен к последнему и окончательному, к абсолютному во всем, к абсолютной свободе и абсолютной любви. Но в природно-историческом процессе царит относительное и среднее, и потому русская жажда абсолютной свободы на практике слишком часто приводит к рабству в относительном и среднем и русская жажда абсолютной любви — к вражде и ненависти»; «Россия всегда хотела лишь ангельского и зверского и недостаточно раскрывала в себе человеческое»,— Бердяев, так точно написавший о «темном вине» русской души, так тонко почувствовавший всю губительность (...), отлично понимавший, что кошмарная революция — именно русский продукт; Бердяев, однако, не мог притупить в себе восхищения и такой Россией.

Прекрасное, потрясающее, воздушное, величественное, призванность к высшему, божественная правда — эти определения по отношению к русскому натурально соседствуют у него с признанием того факта, что Россия — страна Гришки Распутина, самозванцев и пугачевщины. Восхищение в таком контексте безумно, так противоречить себе может только Россия...

Новое, «советское» переосмысление нашего исторического падения шло замысловатыми скачками. Сначала в виновные записали Сталина и кучку сотрудников-подлецов, допустивших отступления от поступательной прогрессистской теории (романы Бека, Рыбакова, Дудинцева). Не успели сделать следующий шаг — признать, что «отступление» состоялось несколько раньше,— грянули очередные идеологические заморозки: разрешенная общественная мысль покорно отступила назад. После восемьдесят пятого список «отщепенцев» стал неуклонно расти. Не без курьезов, конечно, все помнят огоньковские осанны Ф. Раскольникову и другим «невинным жертвам». Потом, правда, вот именно что *скрипя сердцем*, признали, что, сохранив в себе некоторую способность к здравомыслию, они лишь попытались, в меру отпущенных сил, заморозить свое участие в «торжестве зверя». Другое дело, что не получилось.

Список «чистеньких» в конце концов свелся к светлой фигуре Владимира Ильича, недалеко от которой временами еще маячили какие-то смутные лики то ли Кирова, то ли, что особенно смешно, Дзержинского. Но и Ленин недолго проходил в святых; да и, право, трудно же было это сделать автору пятидесятипятитомного доступного собрания откровенных сочинений.

Потом добрались до лакомой, приятной идеи: виноваты коммунисты, им и платить. Ну, или евреи виноваты,— обе этих идеи совершенно схожи по своей комфортности и несоответствию ситуации. Зарезали, сволочи, жиды-большевики старую добрую Русь... Тут, впрочем, вспомнили то, чему как раз все эти десятилетия их учили: царское правительство вело страну так престранно, будто специально провоцируя какую-нибудь всероссийскую гадость... Но и не только в правительстве дело; не только в том, что последний самодержец сам же, по большому счету, и подвел себя под «ипатьевские» пули.

И, наконец, дошел черед до понимания необходимости поисков более глубоких причин. Идея гибельности русского абсолюта появилась, как уже было сказано, далеко не сегодня. Но сегодня она, кажется, перестает быть достоянием горстки чрезмерно рефлексирующих интеллигентов, начинает — пусть и не особенно интенсивно — проникать в то, что называется массовым сознанием и что в конечном итоге определяет ход вещей... Многое еще, очевидно, в нашей истории будет подвергнуто серьезному пересмотру. Процесс, впрочем, идет уже вовсю: под большой вопрос поставлена суммирующая позитивность деятельности Петра I, слышны робкие еще, но все же попытки переоценки событий 988 года, бесспорной идеальности крещения Руси. Безусловно, возникает проблема оценки бунта в декабре 1825 г.

В этом смысле очень интересна недавняя прозаическая вещь Вячеслава Пьецуха «Романтический материализм». Интересна тем, что в ней параллельно отстаиваются две совершенно противоположные идеи: чисто национальное восхищение русским абсолютом и полное его отрицание. Сама такая двойственность — яркое проявление (...), всегда противоречащего самому себе. Открытым текстом Пьецух (любящий, кстати, по поводу и без повода потолковать о русском) утверждает, что восстание декабристов имело весьма позитивное значение, а именно — способствовало «распространению социальной нравственности» и «накоплению человеческого в человеке». То есть романтическая готовность идти на смерть за безнадежное дело, имея в виду в качестве результата лишь светлый пример для потомков и какую-то энергетическую полезность для истории такого абсолютного жеста — это и есть распространение нравственности, это «практический романтизм», который автор именует «драгоценной... чертой национального самосознания». Очевидно, что мы имеем дело с русской идеей в ее одиозном, беспредельном, чреватом далями и безднами ракурсе. Самоценность отвлеченного (от банальной пользы, от общественной необходимости, вообще от разумности) жеста, упоение абстрактным подвигом — вот эта русская зараза, что не оставляет нас с тех пор и вылилась в трагедию нового века.

Но есть в «Роммате» и линия отрицания, выраженная уже не в прямых авторских оценках, а в ракурсе описания. Скажем, откровенно пародийных сцен заговорщицких сходок, участники которых за ночь до выступления вдруг начинают выяснять друг у друга, сколько имеется штыков, или способны прервать возвышенный диспут о судьбах России глубокомысленным замечанием, что кофе тянет нынче на одиннадцать рублей ассигнациями. Имено «тянет», именно это слово... В успех эти люди, в общем, не очень верят. «Ах, как мы погибнем, как славно мы погибнем!» — восклицает в «Роммате» А. Одоевский, и в этом, пожалуй, апофеоз души, желающей быть ангельской или же никакой. П. Струве точно сказал (в сб. «Из глубины»), что декабризм прежде всего страсть.

И дальше Пьецух прокручивает вариант: освободительное движение виднейших представителей дворянства победоносно завершилось. И, в общем, не оставляет никаких сомнений относительно потенциала (...): брат идет на брата, гражданская война, резня помещиков, хаос, необходимость сильной личности, чтобы хоть как-то остановить почувствовавшую кровь страну; личность, ясно, является, ну и так далее, по известному сценарию. Личность эта, в варианте Пьецуха, «может быть, даже с какой-то очень смешной фамилией».

Да, этот вариант фантастичен. Да, за благородством и красотой декабристов зверства XX века так сразу и не видны. Но, что делать, прогрессорская червоточина — именно та, не иная, не латышская — жила в них; и их восстание действительно завершилось так, как показал автор «Романтического материализма», только на столетие позже. Декабрьский вольный вздох — из этой смертельной русской (смертельно русской) цепочки *.

Если спокойно прочесть программные работы теоретиков декабризма — Пестеля, Н. Муравьева, Муравьева-Апостола, С. Трубецкого, Бестужева,— видно, что и здесь не обошлось без (...), без внутренней противоречивости, без посылок, тяготеющих как к «идее простора», так и к «идее дома». С одной стороны — весьма разумные соображения о строительстве очага, о том, что благоденствие общества должно строиться по законам духовным и естественным (формула Пестеля), о том, что «душа действия — доброта» (Бестужев); с другой стороны — противопоставление частного блага общественному (второе выше), неприятные рассуждения о каре отступникам. А главное, что, «с другой стороны», это собственно действие, основанное вовсе не на доброте, смутное, кровавое, противоречащее «духовным и естественным законам».

Я очень люблю стихотворение Давида Самойлова «Пестель, поэт и Анна», в котором Пушкин и Пестель дискутируют, понятно, о судьбах России: Пестель говорит о том, что необходимо бороться, Пушкин — о том, что на гения свободы всегда отыщется злодей рабства, на ангела — зверь.

Шел разговор о равенстве сословий.
— Как всех равнять? Народы так бедны,—
Заметил Пушкин,— что и в наши дни
Для равенства достойных нет условий.
И потому дворянства назначенье —
Хранить народа честь и просвещенье.
— О, да,— ответил Пестель,— если трон
Находится в стране в руках деспота,
Тогда дворянства первая забота
Сменить основы власти и закон.
— Увы,— ответил Пушкин,— тех основ
Не пожалеет разве Пугачев...

---

* Бердяев, кстати, напрямую связывал Пестеля с коммунистами, а Чаадаев назвал декабризм «громадным несчастьем», отбросившим нас на полвека назад.

— Мужицкий бунт бессмыслен... —
За окном
Не умолкая распевала Анна.
И пахнул двор соседа-молдавана
Бараньей шкурой, хлебом и вином.
День наполнялся нежной синевой,
Как ведра из бездонного колодца.
И голос был высок, вот-вот сорвется.
И Пушкин думал: «Анна! Боже мой!»

«Анна! Боже мой!» — этот далекий от судеб России выдох несет в себе то самое непосредственно-чувственное, частное начало, которого так не достало (...). У Сергея Довлатова в повести «Иностранка» есть эпизод: диссидент Караваев тянет Марусю на какое-то очередное правозащитное мероприятие. Она отказывается, не с кем оставить ребенка.

«— Если каждый будет заботиться только о своих детях, Россия погибнет.

— Наоборот. Если каждый позаботится о своем ребенке, все будет хорошо».

Истина, проще не придумаешь. Увы, мы слишком привыкли отдавать предпочтение с л у ж е н и ю, некоей общественной пользе, болеть сразу за всех, а не за каждого в отдельности. Гоголь с Бульбой учили нас, что Родина выше любви. А теперь, когда Солженицын оправдывает «предательниц», что «путались» в Великую Отечественную с немецкими солдатами, объясняет, что человек и его чувство важнее отечества и долга, на многих это продолжает производить впечатление разорвавшейся мины...

Да, декабристы, повторяю, неизмеримо симпатичнее всех последующих поколений революционеров (освободительное движение словно специально выбраковывало из своих рядов благородных людей). Но черное зерно — шло отсюда, где еще вряд ли можно найти большевистские происки или следы «жидо-масонского заговора».

Еврейского вопроса, впрочем, все равно придется коснуться. Нет, не о том, что среди деятелей нового режима было много евреев. Хотя и это вопрос, не стоит от него отмахиваться, не стоит, назвав распространение фальсифицированных списков первого советского правительства, составленного сплошь из инородцев, черносотенной деятельностью, ставить на этом точку. Проблема есть. Мне кажется, что ее достаточно полно освещают уже опубликованные работы — статья Виктора Франка «Ленин и интеллигенция» («Родник», № 2, 90) и книга Нортона Кона «Благословение на геноцид» (М., Прогресс, 1990) — оба автора приходят к двум основным выводам. Участие евреев в революционном движении неизбежно вытекало из официального государственного антисемитизма в царской России. И второе — это были, в основном, евреи «эмансипированные», утратившие национальный менталитет и уже зараженные вирусом русской беспредельности.

Но здесь еврейский вопрос интересует меня в другом плане. Вот весьма интересное рассуждение из уже упоминавшейся работы С. Семеновой «Оправдание России» (замечу, что рассуждение явно восходит к некоторым текстам Бердяева). «Только два народа на земле осознавали себя осененными особой метафизической, религиозной миссией: еврейский и русский». Но мессианство их принципиально разнится — евреи узурпировали «привилегию конечного спасения» лишь для себя, русские считали, что «России предстоит указать путь спасения всему миру».

Мы, однако, знаем, к чему привела русская всемирность, абсолютность: к самосожжению своей страны во имя будущего Счастья и к установлению во многих частях света человеконенавистнических режимов. Прекраснодушный порыв, лишенный предметности, обернулся торжеством зверя — увы, тут нет никакого парадокса; иначе не могло, наверное, и произойти. Так вот — может быть, именно еврейской конкретности нам и не хватило? Предметность формулы «спасаемся мы» обеспечивает возможность контакта с носителями иных предметных формул. В ходе развития цивилизации становится ясно, что спастись можно только всем вместе. С развитием культуры приходит понимание, что вместе — интереснее, полноценнее, естественнее. Наконец, с ходом истории,— что народ, вообще говоря, величина, действующая лишь на коротком историческом отрезке, этносы не вечны, идея богоизбранности, собственно, теряет реальное содержание. Обратный же путь — путь от исходной абсолютности к идее дома — пройти, очевидно, сложнее. Дай Бог, чтобы события последних десятилетий заставили нас наконец-то вступить на него... «Еврейских» дрожжей нам всегда не доставало. Абрам у нас всегда жид, купец, лавочник, «нэпман». Да — купец, лавочник, но как бы кстати пришлось (...) это начало предметного отношения к миру.

В 1989 году в «Литературной учебе» была опубликована статья Г. Гачева «Частная честная жизнь», которая, как и повод для ее написания, «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков», не получила, кажется, серьезного резонанса, несмотря даже на громкий, провоцирующий подзаголовок — «Альтернатива русской литературе». Между тем эта работа — один из редчайших примеров понимания опасности неуравновешенности русских весов, как книга Болотова — один из уникальнейших золотых фактов национальной культуры, пронизанный духом и смыслом дома. Именно о домашности этой болотовской, о благоразумности, о совестливости Гачев и ведет речь, совершенно справедливо полагая, что только внутренний человек, живущий своею душой, а не глобальными проблемами, способен быть «создателем действительности».

«Мы захватим власть и прикажем из Центра учредить везде рай! Так устрой его сам у себя, князь Трубецкой, владетель тысячи душ, микрогосударство образуя с благими нравами и полезными

трудами! Как Оуэн. Терпи и просвещай — и радуйся поприщу возможной тебе цивилизаторской работы — как вот Болотов, кто разбил сады, научил крестьян агротехнике, построил больницу, себе по немецкому образцу распланировал дом, читал, писал — и печатая, и для себя — основное,— и был рад и доволен, и кругом себя видел так много хороших людей, ибо сам был хорош, а не как наши излюбленные «лишние люди», что с критико-сатирическим направлением духа в отношении строя общества и людей...»

Не правда ли, как странно, как инородно (и н о р о д ч е с к и?) звучит в нашем национальном контексте эта очевиднейшая, тривиальнейшая мысль? Да и не мысль это — лишь наблюдение; наблюдение обычного природного факта, естественного начала, сплошь и рядом попираемого россиянами.

«Но частный человек мало понимался в России как ценность, субъект бытия и источник творчества»,— продолжаю цитировать Гачева. «Не уважали материю и телесность, а лишь дух и душу в ценностной шкале русской культуры. Стыдились строить счастье свое, если народ несчастлив. А в итоге стали нахлебниками: все-то дай и получи и проси, а сам ничего не можешь». И еще — о Болотове. «Ну просто а н т и г е р о й р у с с к о й л и т е р а т у р ы — этот персонаж! И очень это скверно говорит о русской литературе».

Ответственность литературы, ответственность интеллигенции за российскую катастрофу — тема вполне отдельная. Тот факт, что большинство гениев русской литературы были, в большей или меньшей степени, заражены вирусом абсолюта, требует, конечно, специального рассмотрения. Здесь мы, увы, вновь упираемся в то же самое противоречие. Нет никаких сомнений, что русская литература, часто ориентированная на конечное, предельное, последнее, приближала кошмар. Но нет сомнений и в том, что сама ее гениальность — во многом плод этой абсолютности...

«Их ужаснула бы русская коммунистическая революция своим отрицанием духа, но и они были ее предшественниками»,— писал Бердяев о Достоевском и Толстом. Он же считал, что «вся история русской интеллигенции была подготовкой к коммунизму». Можно, разумеется, спорить с этим тезисом, как и с тем, что истоки всех наших бед — в русском менталитете. Можно не соглашаться, считать, как Рената Гальцева, что под таким взглядом «нет никакой реальной почвы» (Литературная газета, № 31, 89). Но нельзя, мне кажется, не признать, что такая точка зрения внутренне целостна, непротиворечива, что она, во всяком случае, последовательна — это, во-первых, а во-вторых — она удовлетворяет важному условию: объясняет явление в основном и главным образом изнутри; вовсе не отрицая влияния сторонних обстоятельств, она уделяет им ровно столько внимания, сколько они заслуживают: они могут играть роль катализатора, они — подробности, они — условия проявления имманентных тенденций. Это вовсе не фатализм: складывайся история по-другому, мы могли и в принципе не иметь исходной посылки — т а к о й державы в э т о й географии; будь у нас в свое время иной расклад общественных сил, обладали бы люди, понимающие необходимость «русской альтернативы», большим влиянием, прояви интеллигенция и самодержавие благоразумие, авось и можно было бы предотвратить взрыв. Но, увы, случилось то, что случилось.

«Явление русской революции объясняется совпадением того извращенного воспитания русской интеллигенции, которое она получала в течение почти всего XIX века, с воздействием великой мировой войны на народные массы: война поставила народ в условия, сделавшие его особенно восприимчивым к деморализующей проповеди интеллигентских идей»,— это Петр Струве. И далее он рассуждает о фатальном, гибельном разрыве интеллигенции с государством: две великие силы, рассорившись, не смогли сдержать темного брожения в российских просторах (сейчас неважно, какими причинами этот разрыв обусловлен, хотя и не стоит уменьшать в этом роль самодержавия).

Но вот уже в нынешние времена критик Михаил Золотоносов публикует исследование «Музыка во льду», посвященное судьбам русской интеллигенции, которую автор считает золотом нации, а дело интеллигенции — правым. Золотоносов видит основной «жанрообразующий» признак интеллигенции и ее социальную функцию в противостоянии власти. В поддержку своей мысли он ссылается на П. Струве, на его статью в «Вехах». Там Струве писал все о том же отщепенстве, отчуждении интеллигенции от государства. Но если, по Золотоносову, это — достоинство и вообще позитивная суть интеллигенции, то, по Струве, то, это — ее вина, во всяком случае — беда; в этом — одна из причин национальной трагедии. И Золотоносов о точке зрения Струве, разумеется, знает, но, во-первых, использует его мысль в поддержку прямо противоположного тезиса и, во-вторых, вообще не считает нужным заострить внимание на существовании принципиально иной теории.

Так что и сегодня мы далеко не свободны от всяких-разных радикализмов. «Правые» радикалы продолжают кричать о национальном возрождении, причем одному Богу известно, что они имеют в виду, кроме (безусловно необходимого) восстановления храмов и проведения фестивалей народных хоров. «Левых» же по-прежнему доводит до экстаза прелесть противостояния властям по любому поводу (тем более, что ныне это безопасно), у «левых», в общем, нет идеи,

есть только различные соображения по поводу отдельных вопросов, но сегодня столь странная ситуация, что можно, кажется, обойтись и без идеи; частные соображения, основанные всего лишь на здравом смысле, оказываются достаточными, чтобы придумывать, предлагать и продвигать разумную политику, которая может спасти нас от голодной смерти и гражданской войны.

А, впрочем, в нынешнее смутное время очень трудно говорить о том, какие тенденции в отношении (...) преобладают. Есть, например, очень, на мой взгляд, позитивная: реальное и, кажется, в перспективе серьезное воздействие на текущую литературу двух-трех авторов, преодолевших страсть к бездне. Это прежде всего Набоков — чистый пример «альтернативной» линии. Набоков — это колоссальное чувство дома, ценности очага и уюта, приобретающее, в зависимости от обстоятельств, формы любви, тоски по детству, ностальгии (впрочем, все эти вещи для Набокова едины). Персонажи Набокова — сплошь кочевники, но кочевники вынужденные, изгнанные из единственного дома и не желающие другого, да просто и не умеющие его обрести: на этом фоне свет дома еще пронзительнее и теплее. Никто, наверное, в полной бар и дачников русской словесности не обладает такой фантастической привязанностью к покою. И хотя последователи Набокова ориентируются, конечно, не на эту «содержательную», а на чисто литературные идеи — на его царственный эстетизм, на пряную вещность,— главное не может не просачиваться через поры «формы».

Далее — Платонов: автор, вывернувший наизнанку российские пространства; сделавший онтологическую бездомность своих персонажей тем, чем она, собственно, глубинно является,— основой их бытия, и показавший (в трех главных вещах), насколько губительна и, кстати, вот важно и в русской традиции непривычно — насколько безобразна эта бездна. И, наконец, более близкий пример — Бродский, неизъяснимо гармонично сочетающий верховенство частной жизни при полном контакте с космосом...

Но и «идея простора» еще, безусловно, в действии: достаточно привести строки Юрия Кузнецова.

По строке катать можно яблоко,
А в самой строке только смерть искать.
На конце она обрывается,
Золотой обрыв глубже пропасти —
Головой вниз манит броситься.

Ну, даст Бог, не бросимся...

И все же — вновь вспомним о том, что русский путь завершился не только лишь кровью, не только лишь торжеством зверя. Глупо отрицать, что в пути была создана уникальная культура. И, конечно, русский результат — это и космические, планетарные идеи философов золотого века, в том числе Всеобщее Воскресение Николая Федорова (в нынешней теологии отношение к идеям Федорова очень разное: от признания их безусловной ересью до почитания в качестве гениального продолжения православной традиции). Но не только религиозный смысл Воскресения, не только его безусловно удивительный поэтический образ имеют серьезное значение. Тут хитрее. С. Семенова сетует на Достоевского, который не понял, что идея Федорова — «единственная Идея», на Флоренского, который не имел «смелости выдвинуть христианский идеал спасения мира от греха и смерти как реальное дело всех...» Я не буду говорить о принципиальной возможности претензий на «единственность Идеи», дело в другом. Для Семеновой христианский смысл — абсолютный и главный; я обязан уважать это чувство, но меня — может, это кощунство — интересует **физический** смысл этой религиозной идеи.

Всеобщее Воскресение — это вечное «соборное» бытие всех в космическом всегда. Но хочется пощупать пальцами: как это возможно? Вера — это, наверное, прекрасно, но соборной веры не бывает, общее всегда хоть в каком-то смысле материально. Вечный дух, всеобщий, всемирный дух, космический дух... Но ведь Флоренский, которому С. Семенова противопоставила Федорова, высказал мысль о материальности духа: о пневматосфере, о том, что материя духа реально существует в космосе. А Вернадский не просто высказал, но подробно обосновал идею материальности планетарной мысли, появление ноосферы *. И, если память не изменяет, Циолковский говорил о грядущем превращении человека в «животно-растения» — отнюдь не в религиозном, а в практическом плане. Не один Федоров — сразу несколько русских гениев работали на (здесь действительно великий) русский абсолют: человек физически изживает себя, одухотворяя космос; результат эволюции — растворить себя в межпланетных пространствах ради установления царства вечного духа: религиозный смысл превращается в смысл физический. Русское абсолютное, святое и зверское, выполнило свою великую миссию — ценой самоубийства страны. Да, это конец. Это (...)

Быть может, верны теории о конце цивилизации: пост-культура, пост-история— вот нынешнее состояние мира. Русская мысль постигла значение человека; русская практика дала такой колоссальный урок, как не надо жить, что теперь невозможно подумать о принципиальном возрождении тоталитаризма, о том, что абсолютная «пространственная» душа может определять бытие.

г. Свердловск.

---

* Я понимаю под ноосферой буквальное бытование в Космосе полноценной энергии мысли и духа; Вернадский имел в виду не совсем это (но «это» — потенциально заложено в его идее). Такое видение совершенно не совпадает с точкой зрения академической науки (см. напр. книгу Н. Н. Моисеева «Человек и ноосфера». М., МГ, 1990).

Варлам ШАЛАМОВ

Критические заметки. Эссе. Воспоминания

ОТ ПУБЛИКАТОРА

Варлам Тихонович Шаламов оставил обширный архив, формировавшийся в 1949—1982 годы (отдельные документы начиная с 1923 года): от первых колымских тетрадей, сшитых грубой черной ниткой, до свидетельства о смерти, до собранных позже воспоминаний о нем.

В 1966 году он начал передавать свои документы в ЦГАЛИ СССР — подлинники «Колымских рассказов», переписку, стихи. В дальнейшем архив пополнялся рукописями по мере их завершения: «Воскрешение лиственницы», «Четвертая Вологда» и др. В 1979 году перед переездом в пансионат Шаламов вызвал меня и попросил срочно забрать все рукописи, письма, все бумаги до последнего клочка. В настоящее время этот архив описан и по мере изучения и расшифровки рукописей готовятся публикации из него.

Хотелось бы сказать вкратце и о принципах подготовки текстов Шаламова к публикации. Шаламов не гладкописец. Плутон, поднявшийся из ада, не может изъясняться изящно. Варлам Тихонович сказал об этом в письме о своей прозе, опубликованном в № 12 «Нового мира» за 1989 год. Единственный инструмент, единственный радар «новой прозы»—душа писателя. Ее постижение сути мира и времени, людей и вещей — новая проза. Ничему нарочитому, искусственному, внешнему, украшающему (литературно или интеллектуально) в ней нет места. Читатель не чувствует ни малейшей отстраненности, ни малейшего отчуждения между собой и автором: ни его превосходства, ни литературной искушенности, сделанности вещи. Человеческая душа гола, проста и неисчерпаема в своей причастности всему мирозданию. Это — обращение к своей душе и значит,— к душе каждого человека. Когда-то в отрицательной рецензии на рассказы Шаламова проницательный критик сказал, что герои его рассказов лишены социальной принадлежности, а автор — «абстрактный гуманист». Это значило тогда уничтожить автора совершенно. Но критик верно почувствовал, что автор не отождествляет себя с классом, группой или другой социальной категорией. Он человек, в страшные времена живущий на земле, и обращается к Богу и людям. Не к интеллигенту, крестьянину, русскому, еврею, рабочему — а к человеку, к душе человеческой, к Богу. Да, он, неверующий, он, говоривший, что Бог умер, он обращается к Богу, который внутри каждого. Можно ли литературно править эту прозу, эту речь? Оборванная фразо («В этой фразе нет подлежащего», как говорят иные редакторы, «непонятно, что он хочет сказать...»). Так задумайтесь над этой фразой! Это не беллетристика. Это чтение, которое предполагает сердечное соучастие, сочувствие. Поэтому я не считаю возможным подчищать, подправлять прозу Шаламова, кроме очевидных описок. Считаю необходимым также точно соблюдать, авторскую композицию сборников рассказов.

Л. Тимофеев в своей статье «Поэтика лагерной прозы» («Октябрь», 1991, № 3), интересной и глубокой, высказывает, к сожалению, необоснованные упреки отечественным публикациям Шаламова. («Шаламова усиленно подгоняют под традиционный принцип русской гуманистической школы: «от тьмы к свету»). А с другой стороны, им преподносятся как образцы публикаций зарубежные издания Имка-пресс, которые даже парижские издатели отнюдь не считают образцовыми. И это понятно — издание готовилось без должного участия автора, без изучения его рукописей. «Впервые книга Варлама Шаламова выходит на русском языке. Со всей возможной полнотой. Со всей возможной — в отсутствие автора — точностью, по рукописи, распространявшейся в самиздате»,— пишет в предисловии М. Геллер. Святое дело сделали зарубежные издатели, кто их упрекнет в неточностях, неполноте? Полное двухтомное издание Колымской эпопеи подготовлено сейчас и, если будет бумага, выйдет в этом году.

Однако и те сборники, что вышли, («Воскрешение лиственницы», «Левый берег»—1989 г., «Перчатка или КР-2»—1990 г., «Колымские рассказы»—1991 г.), содержат тексты 147 рассказов Колымской эпопеи. Конечно, лучше бы сразу опубликовать двухтомник «Колымских рассказов», но, увы, приходилось считаться с издательскими реалиями Почти все сборники шли сверх темотических планов, второй сборник «Левый берег»

даже перегнал первый, но я ощущала всей душой, всем сердцем — надо торопиться, отечественному читателю нужен Шаламов. Все сборники дают читателю Шаламова, ими явлена в авторской композиции страшная Колымская эпопея, а исследователь, взыскующий не только душевного впечатления, но и полного знания, обретет его по мере изучения, расшифровки рукописей и публикации наследия Шаламова. Уже расшифрован и впервые опубликован сборник «Перчатка или КР-2», «Вишерский антироман». Готовятся новые тома — эссе, воспоминания Шаламова, переписка... Конечно, хотелось бы, чтобы, прежде чем высказывать категорическое суждение, исследователь изучил бы предмет. Но это кропотливая работа, которая по плечу лишь профессионалу-специалисту.

В данной публикации раскрывается еще одна ипостась творческой личности Шаламова — эссеиста, исследователя, стиховеда. Записки, собственно, трудно отнести к какому-то жанру. Это и отрывки из воспоминаний, и исповедь, и размышления поэта, записанные в общем потоке творческой работы — вместе со стихами, рассказами, письмами. Записки частью завершены автором, частично извлечены из черновиков. Но чем случайнее запись, чем менее она отделана, тем больше говорит она о личности автора, раскрывает его противоречивую и в то же время единую, духовную сущность.

Одно надо сказать, Шаламов всегда предельно искренен в том, что он высказывает, истоки его суждений—в его чувстве, мысли, памяти. Оглядки, приспособляемости к кому-то (или чему-то) не было ни в его характере, ни в его работе. Он писал, не имея иной цели, кроме записи того, что свершалось в нем или через него. Он был Поэтом по самому способу связи с миром—через глубочайшую свою сущность, через душу.

Не приспосабливаясь, не кривя душой ни ради власть имущих, ни ради врагов, ни ради друзей, он прожил свою жизнь «не обращенным» ни в одну веру. Он пишет, чтобы «разгадать самого себя на бумаге», а значит—то всечеловеческое, глубинное, что есть в каждой душе.

Разговор о своей профессии — о поэзии, об искусстве Шаламов считал очень важным. При этом эстетические ценности связывал он с этическими. Знакомясь с его эссе 60—70-х годов, можно проследить определенную эволюцию его взглядов, его литературных пристрастий.

Не надо искать у Шаламова канонических, окончательных формул и суждений. Его мысль всегда находилась в движении, в развитии, в поисках истины. Поэтому противоречивыми кажутся на первый взгляд и его литературные пристрастия. Он, всегда работавший в технике классического русского стиха, в то же время высоко оценивал новаторство ранних футуристов («Поэт Василий Каменский»). Это, однако, не мешало ему весьма критически относиться к ЛЕФу. С другой стороны, наряду с прямо-таки апологетическими высказываниями об акмеизме («Анна Ахматова»), имеются и более поздние очень сдержанные суждения Шаламова об этой литературной школе. Его пристрастия всегда были широки и многообразны и не укладывались в узкие рамки литературных течений: Каменский и Есенин, Пастернак и Мандельштам, Ходасевич и Цветаева...

Развитие русского стиха шло разными путями, и каждый поиск приносил свои плоды. А Шаламов был человеком, страстно влюбленным в русскую поэзию, и, естественно, не мог ограничить эту влюбленность рамками отдельных школ. Хотя сам отдавал предпочтение линии философской лирики в русской поэзии (Баратынский, Тютчев, Пастернак). Поэзия для Шаламова была судьбой и светлой звездой в мире, где слишком много темного зла, слишком много троп, уводящих в болото. Вот его признание, обращенное к поэзии:

Если сил не растрачу,
Если что-нибудь значу,
Это сила и воля — твоя...

И. СИРОТИНСКАЯ

Секреты стихов или стихи стихов

Меня часто спрашивают: помогли ли вам стихи в вашей двадцатилетней каторге. Дало ли вам жизненную силу, опору сознание того, что вы — поэт, что вы причастны высшим тайнам.

Попробую ответить — «издалека», хотя любое мое «прекрасное далеко» будет находиться либо в стенах тюрьмы, либо в траншеях каторжных каменоломен.

Первую половину 1937 года — я арестован в Москве 12 января, а приговор мой от 2 июня 1937 года — я провел в следственной камере Бутырской тюрьмы, 69-й камере на 25 койко-мест, где на койки были настланы деревянные щиты и сразу входило 80—85 человек. Щиты эти были крашеные, стало быть, летом где-то на складе ожидали худших времен. И времена эти пришли. Уже в этапной камере бывшей тюремной церкви щиты выдавались только что сбитые на живую нитку, на живой гвоздь — еще пахнувшие елью, сосной. Но в бутырской следственной камере все щиты были приготовлены заранее — или начальник Бутырской тюрьмы, рыжеусый Попов, разжалованный начальник тюремного отдела НКВД,— берег это богатство где-то на складах, чтобы не отстать от Европы, показать свою запасливость, предусмотрительность, суметь спланировать и включить в генеральный план страны свои потребности.

Почти четыре месяца я был выбранным старостой в этой камере. Это — большое дело. Оглушенному арестом новичку не легко разобраться во всех проблемах тюрьмы и воли. Староста должен амортизировать этот духовный и физический удар государства, должен показать, что не все потеряно, укрепить дух новичка. Каждый арестованный в 1937 году думал, что он завтра будет освобожден, и поведение свое приспосабливал к такому пониманию — иногда до самой своей смерти где-нибудь в золотом забое Колымы или в воркутинской шахте.

Когда-то я делил весь мир на «да» и «нет», на героев и подлецов. Эта юношеская схема давала мне возможность жить и на каторге. Вишерский лагерь — почти три года я провел, называя каждого подлеца подлецом. Большие нравственные силы были затрачены и были обнаружены в это время: жертва эта была ненужной, бесцельной. Люди, ради которых эта жертва приносилась, не только не оценили ее, но отнеслись к ней с некоторым отчуждением, если не осуждением.

В 37-м году я смотрел на все эти проблемы иначе, чем в 28-м и 29-м, но еще не понял самого главного: что человек не имеет права судить кого-либо, учить кого-либо жизни, что любое насилие над человеческой волей — это преступление. Мир для меня в следственной камере Бутырской тюрьмы еще делился на белый и черный цвет. Там я понял, что все люди, попадающие в тюрьму,— это либо порядочные люди, либо подлецы.

Если подлец арестован невинно, он считает, что власть допустила страшную ошибку, посадив его в тюрьму рядом с врагом народа, с настоящим преступником, которому место только в тюрьме или в лагере. «НКВД не арестовывает невинных», «кто не виновен — тех выпускают после проверки»,— вот ходячее предарестное мышление подлеца. Так подлец держится и в тюрьме, а иногда даже в лагере,— умирая под сапогом надзирателя, донося на своих соседей по бараку, помогая власти строить новое общество, убивая до самой своей смерти.

Если в тюрьму попадает порядочный человек, он должен с неизбежной логикой честного человека, отдышавшись, чуть успокоив нервы, прийти к мысли: если он, честный человек, был арестован невинно, то ведь так же может быть и его сосед по нарам.

Это главная мысль следственной сталинской тюрьмы, которая может сохранить доверие к людям. Это доверие логически обращается в недоверие к государству. Вот разбудить эту тюремную главную мысль в следственном арестанте и есть задача тюремного старосты.

Новичок привыкает постепенно. Он уверен, что в тюрьме те же люди с теми же страстями и теми же надеждами.

В следственной камере Бутырской тюрьмы весной 1937 года было много дискуссий. На следствии еще не били, и поединки каждого со следователем иногда казались выигранными.

Уже тогда на следствии применялись «выстойки многочасовые», горячий и холодный карцер, стоячий карцер — для приведения в сознание, но все это, конечно, было еще далеко от метода «номер 3». Арон Коган, доцент Воздушной академии, мне знакомый по университету 1927 года, попавший в нашу камеру как переведенный после расформирования одной из камер, рассказал, что на очной ставке был его сослуживец, который дал на него, Арона, показания — чистую ложь, невиданную и неслыханную.

— Я готов был убить его.

— Ты не только не убьешь, но если судьба тебя сведет с этим человеком, то будешь мирно разговаривать, найдешь оправдание. Да не так он и виноват, его вынудили.

Так и случилось. Была еще одна баня (переводы в Бутырках всегда приурочены к баням), и Коган встретился со своим свидетелем. Разумеется, тот за свое поведение не был освобожден от тюрьмы, от следствия.

Было очень много споров, куда идет страна, куда идем все мы. Александр Филиппович Рындич, историк и брат историка, не видел в будущем яркого просвета. Лапин, напротив, верил: завтра отворится дверь камеры и ему, Лапину, скажут, что он — не виновен, произошла ошибка. Михаил Вавилов, сосед мой, работник промимпорта, был убежден, что идут какие-то тайные процессы, человеческие схватки подземные, и жалел, что в тюрьме сидя, он, Вавилов, не может разгадать этих схваток, их движения, удара, направления.

Я был старостой камеры, а Вавилов, мой сосед, пытался разгадать меня. Ему казалось, что я — представитель какого-то глубокого партийного подполья, о котором даже он, Вавилов, не знает, иначе зачем бы меня арестовали в 29-м году. Зачем я здесь, в тюрьме, на должности старосты.

Мне с давних пор отвратительна кружковщина с ее искусственностью масштабов, оценок и репутаций. Кроме чисто нравственной оценки, никаких личных характеристик вождям движения дать я не мог, и этим сильно разочаровал Вавилова. А в одной из возникших ссор, я, наученный прошлым опытом, старался глушить всякие ссоры в тюрьме. Ссора в тюрьме при абсолютной ее бесполезности — уходит еще много нравственных сил. Вот в одном таком разговоре-ссоре Вавилов сказал, желая меня уколоть:

— Ты мальчик, который выучил три десятка стихотворений.

Да, это так. Только этим я и отличаюсь от Вавилова, разница была именно в эти тридцать стихотворений. Эти тридцать стихотворений, написанных или заученных, все равно, и составляет главное, что отличает поэта от обыкновенного человека. Поэт — это обыкновенный человек, который заучил или написал тридцать стихотворений. Эта формула меня устраивала вполне, в нее входит все, что

считается чудом, что считается высшим началом.

Разве в пушкинском «Поэте» не сказано то же самое?

Я знать не хотел и не хочу деятелей подпольных кружков с психологией болельщиков футбольных команд. Самоотверженность, твердость дали мне именно стихи. Не в прозаическом толковании поэзии, как это делал Белинский,— и что считается несчастьем русской поэзии, Белинский подходил к стихам, как к прозе. Можно к стихам подходить и так, но это чрезвычайно узкое понимание поэзии.

Стихи вовсе не заполняли моего свободного времени. Я не твердил чужие стихи или собственные стихи, все равно, чтобы отвлечься от грохота арестантского барака, хотя, может быть, подсознательно стихи и играли в моей жизни и эту отвлекающую роль.

Я писал стихи всегда. Плохо, хорошо ли — я всегда делал попытку фиксировать свои жизненные впечатления, суждения в какой-то поэтической форме. Уйти от нее было выше моих сил.

У меня всегда была потребность изложить в стихах не проблемы какие-то в некрасовском плане, а какие-то свои мысли и чувства, которых я сам еще не знал, и в поэтической работе пытался их найти. Или находил, или останавливался на полдороге.

Опыт этот копится подсознательно, вне воли поэта, и появляется также вне воли поэта, даже вопреки воле иногда. Вот почему говорят, что в стихах лгать нельзя. На самом деле в стихах можно лгать, поэзия не составляет исключения. В любом искусстве можно лгать. Тут поправка вот в чем. Нервный организм поэта такого рода, что может откликнуться, дать отзвук там, где не дает отзвука политик, общественный деятель.

Пример Пушкина — самый простейший, самый ближайший пример. Когда Пастернак пишет о Сталине, а Пушкин о Николае I, не осуждай ни Пушкина, ни Пастернака. Гейне был полицейским провокатором, Салтыков-Щедрин — вице-губернатором, Некрасов — богач и картежник. Все это так, однако бывают такие общественные обстоятельства, когда от поэта требуются не только стихи, когда в понятие поэзии входит и поведение. Для современников почти всегда поэт — нравственный пример...

Итак, мы остановились на формуле: поэт — это человек, который написал или заучил тридцать стихотворений. Могут ли эти заученные стихи помочь жить в житейски-обывательском смысле. Нет, именно стихи нарушат связь человека с духовным миром эпохи, с нравственными требованиями практической жизни, именно стихи не позволят завязать позорные знакомства, за которые человек будет стыдиться потом, именно стихи создадут оптимальные для всякого человека условия одиночества. Нет одиночества, если есть стихи, или точнее, есть одиночество, достигнутое своими и чужими стихами. Стихи спасают, значит, это время полезно? Чепуха. Значение этого времени неизмеримо сложнее, выше и глубже.

По воскрешении моем, как непрерывное самопишущее перо, двигались на индикаторе духовной моей жизни в тетрадку, в тетрадку из грубой оберточной бумаги, выходили записанные чернилами, а то и карандашом строки — которые не представляли художественной ценности никакой, но неотрывны от моего воскресения, от моего преображения, от моего явления миру. В этих многочисленных тетрадках нет еще стихов настоящих. Я выходил на лед ключа Дусканья каждый день и успевал замерзшей рукой наработать, начертить на обрывке газет, в рваной тетради все новые и новые строчки, все новые и новые стихотворения. Стихотворения были беспомощные. Потребность стихосложения была невероятная. Любое событие жизни исходило размером, любая картина природы. В лирическом этом потоке не было еще настоящего, по-своему своего. Почему это так, почему это настоящее пришло позже? Тут два объяснения. Первое и самое главное

Во время работы на прииске, этих десяти лет скитаний от забоя до больницы и обратно все стихотворное было вытравлено, выбито, высушено, выдавлено из моей души и тела. Ни одного стихотворения за эти десять лет не написалось. Ни чужие, ни собственные стихи мне не были нужны в тогдашней моей жизни. Они скорее мешали жить тому зверю, тому доходяге, которым я был. Но едва я получил передышку, даже ничтожную, я пытался как-то отметить это в стихотворной форме.

В 1943 году я попал в больницу Беличью, лежал там с весом костей 40 кг и написал стихотворение — «Мечта поливитаминозника». Чуть позднее, через год, в той же больнице я какие-то стихотворные подписи делал для стенной газеты больницы.

А в 1949 году я уже работал фельдшером, и меня, как графомана, нельзя было удержать от писания стихов. Эти тетради у меня сохранились, там нет стихов, заслуживающих печатания. Причина та, что после голода и холода даже письма было мне писать мучительным трудом, даже буквы в словах казались чуть ли не чудом из чудес, а уж соединенные в стихотворную строку — тем более. До настоящих стихов был один шаг, и я этот шаг сделал на Колыме же.

Второй причиной позднего рождения подлинностей было позднее мое знакомство с лучшими образцами русской лирики XX века. В детстве моем не было человека, родственника, учителя, который открыл бы мне поэзию, которую я мог бы понять, ощутить и превзойти, если не повторить. В мое время лучшей поэзией считались стихи Некрасова, а то, что есть вовсе другое, нам старшие не говорили. И Пушкин, и Лермонтов, не говоря уж о Баратынском и Тютчеве, вошли в мою жизнь позднее. Я шел очень медленно —

от книги к книге, пропуская порой такие имена, как Случевский или Григорьев, от книги к книге сам воспитывал свой поэтический вкус, сам размерял свои поэтические силы. Но еще в школе столкнулся я с Северяниным и Есениным. Подлинность обоих не вызывает у меня сомнений и сейчас. Есенинский сборник, который мне пришлось взять из рук товарища, вызвал насмешки всех моих друзей.

Облаки лают.
Ревет златозубая высь.
Пою и взываю:
Господи, отелись!

Это все считали бредом, равно как <нрзб>

Во всех этих стихах было одно что-то очень важное, очень правильное, очень верное для поэзии. Когда я взял в руки «Поэзоконцерт» Северянина, я даже не думал, что такие стихи можно писать. Почти одновременно я познакомился с Маяковским, Асеевым, конструктивистами, будетлянами. Со стихами Пастернака я встретился позднее, уже в Москве, с «Сестрой моей жизнью». Встреча с Есениным и Северяниным заставила меня заняться Блоком, Бальмонтом, Гумилевым. В Брюсове я не нашел поэзии, и холодные его строки взволновать меня не могли.

Стихов я писал очень много, но не печатал, ибо чувствовал, что в них нет главного: новизны и — судьбы.

Я был в кружке «Нового Лефа» у Брика, а позже у Третьякова на Бронной, был у Сельвинского в «Красном студенчестве», где тот руководил кружком. Во всех этих кружках я не видел и не нашел главного: ради чего надо заниматься поэзией. В Гендриковом был балаган, кто кого грубее перехамит, кто грубее оскорбит Блока или конструктивистов. Третьяков отрицал искусство, а у Сельвинского была вообще абракадабра. Мне было тошно в этих кружках. Постоянный посетитель всех литературных вечеров того времени, я, студент МГУ, не встречал никогда ни одного живого поэта, который подействовал бы на меня как поэт, как носитель важных для меня поэтических истин. Так продолжалось до того времени, пока я не познакомился со стихами Бориса Пастернака, не стал ходить на его выступления. Вот, казалось мне, единственный поэт нашего времени. С Пастернаком я познакомился позднее, об этом я написал отдельно.

Конечно, когда я написал стихи «Камея» в 1951 году в Оймяконе, Пастернак-поэт был мне уже не нужен, найден был свой язык, свое лицо. Вот это позднее мое появление было связано, во-первых, с тем, что жизнь сделала все, чтобы уничтожить во мне поэта, поэтическое начало, а Пастернак сделал все, чтобы это начало сохранилось. Не в личном смысле и не в смысле подражания, повторения его идей, а просто в стихах Пастернака и в его прозе было о чем поговорить и о чем поспорить, что признать. Все, что я говорю о стихах, о поэзии, все это относится, конечно, и к прозе. Я и прозу пишу всю жизнь, и проза выходит на свет по тем же законам, что и стихи.

Итак, вернемся к этой формуле: поэт — это мальчик, написавший 30 стихотворений. Это 30 общений с Богом, 30 раз появляется чудо в знании бытия.

Если ж это мальчик, заучивший 30 стихотворений,— это тоже очень много, пусть эти стихи — чужие. В каждом стихотворении раскрывается тайна не сразу. Стихотворный сборник требует многомесячного чтения в отличие от романа, который можно просмотреть за одну ночь. 30 стихотворений разных поэтов — это огромный мир чувств и мыслей. Если сердце открыто для восприятия такого огромного количества впечатлений, оно, безусловно, обогатится, обогатится подспудно, подпольно, пока ты шепчешь на память стихи, вовсе не желая переводить эти строки на язык журнальных статей. Это обогащение особого рода. У нас почти ничего не сказано о стихах путного. Школьные рекомендации находятся вне постижения истины. Это старая история, старая русская беда. В известных воспоминаниях Водовозовой есть место о посещении знаменитым педагогом Ушинским женского института, где русскую литературу преподавал поклонник Пушкина Старов.

— Чем вы занимались на уроке?

— Читали «Евгения Онегина», «Полтаву».

— Ну,— обратился Ушинский к ученице,— расскажите мне содержание «Евгения Онегина».

— Этим мы не занимаемся.

Старов посрамлен, Ушинский торжествует. Торжествующий автор мемуаров не замечает, что в замечании Ушинского присутствует все антипоэтическое, что только есть в поэзии, литературе и критике. Этот спор некрасовских времен дошел до нашего времени. До сих пор мы в плену у антипоэтической концепции.

Конечно, стихи не облагораживают, искусство вне нравственности. Знание тонкости Фета более важная для поэта тайна, чем моральные императивы Некрасова. На свете тысяча правд, а в искусстве одна правда. Это правда таланта. Вот почему наши вечные спутники — Достоевский и Лесков.

А вот во время войны устраивали праздничный концерт примерно такого рода, что описан у Достоевского, только страшнее, ибо голод и холод всегда вносят свои краски, свои поправки. Я предложил на таком концерте прочесть «Василий Шибанов» Толстого, но администратор в лице бригадира Нестеренко и заместителя бригадира Кривицкого отклонили стихотворение Алексея Константиновича Толстого. Я помню, что я вспомнил стихи поэта с физической болью в мозгу. Слова скреблись в мозгу, двигались очень медленно, но все же двигались. О прозе я и думать позабыл. Четыре года — 1937-й, 38-й, 39-й, 40-й — я не

касался книг, а на Кадыкчане в бараке был освобожден от работы по болезни, и там дневальные всегда еще заставляли больных убирать барак: как это ты не можешь, температуры нет, значит, можешь! Бери метлу, а то... И в самом деле, как ни мучительно было двигаться, но я часа за три вымел барак, пока дневальный пил чай. Вот у него на нарах лежала книжка, которую я развернул с опаской. Вообще мои руки, обмороженные, гниющие пальцы не были приспособлены, чтобы держать и листать книгу — пальцы сгибались по черенку лопаты, по кайловищу и не были приспособлены перелистывать страницы. Я все же взял книгу в руки, развернул, полистал, попробовал вчитаться и положил книгу на нары. Это было «Падение Парижа» Эренбурга, в Магадане изданная. Но дневальный понял мое движение иначе:

— Не бойся, не бойся, отрывай.

Я оторвал листок на курево и увидел, что четверть книжки уже искурено. Бумага была плохая, для курева хороша. Дневальный берег эту ценность тогдашнюю, украл где-то и берег.

Стихов «на дне» никаких нет, и не нужны они там. Я делал попытку предложить для чтения на концерте к октябрьским или майским праздникам в Джелгалинской спецзоне, там заставляли праздновать в отличие от 37-го, 38-го и 39-го годов, когда всех троцкистов собирали в изоляторе на праздничные дни, чтобы они не спели «Интернационал» или не допустили другую какую-либо провокацию. Это то самое пение «Интернационала» в тюрьме, которым гордился шолоховский генерал. Об этом пении начальство было хорошо осведомлено и боролось как могло. Я был изолирован в лагере в мае 1938 года и в ноябре 1938 года. Оба раза, хоть изолятор был битком набит КРТД *, никто даже подумать не мог о том, чтобы спеть. А если б какой-нибудь псих попытался бы запеть «Интернационал» среди голодных, избитых, обмороженных людей, ему, наверно, перервали бы глотку его товарищи.

И еще одно. Как только стало видно, что стихи — подлинность, что в них есть и кровь, и судьба, и эмоциональный напор, и новизна интонационная, как только стало видно, что я могу рвануться почти по собственному желанию на некую высшую ступень, где нет ни зрения, ни слуха, ни одного из человеческих чувств, ибо все отключено, а мобилизовано лишь одно — познание мира с помощью стихов. Когда я понял, что могу сделать это волевое усилие, я уже в полубреду, в стихах, стал считать себя поэтом. Не всегда это волевое усилие приводило к успеху. Иногда ничего не писалось, и я бросал писать, прекращал, выключал тайну. Мне раньше казалось, что если я брошу писать, все кончится, завтра я уже не напишу ни одной поэтической строки. Я боялся прекратить писать, и на следующий день действительно ничего не писалось. А потом опять наступал день, когда я с удовольствием, с радостью брался за перо и писал до изнеможения, до боли в мышцах. Я перестал бояться перерывов. Вот это было как-то важно — не бояться перерывов. Нужное придет само. И в свое время.

По утрам так торопишься к бумаге, чтобы наскоро записать рожденное, вернее, рождающееся стихотворение. В моем <мозгу> существует запас канонических русских размеров, который и может быть запущен по первому требованию моему, и обычной дорогой движется мозг, выталкивая из гортани то, что скопилось там. Это не обязательно стихи, но именно стихам дается зеленая улица, все остальное вернется, <не> возвратятся стихи.

Утраченное, повисшее в воздухе, не доведенное карандашом до бумаги обязательно пропадет безвозвратно. Я не очень горюю об этих пропавших — запас неиспользованного еще велик. Что там хранится, что ожидается, я этого знать не могу. Наверно, весь мой жизненный опыт, какие-то факты, <чужие> суждения, афоризмы знакомых и мои собственные остроты. С профессиональным интересом я всегда следил, хотя и не всегда запоминал, изречения, размышления, суждения поэтов и поэтесс. Но это все в той черной яме, которой я не распоряжаюсь. Я буду распоряжаться только той крошкой, строчкой, которая вдруг состоялась. Мне становится легче дышать, и я пишу стихотворение.

Анна Андреевна Ахматова сказала Межирову: «Винокуров — хороший поэт, но нет тайны». Что это значит?

Это значит, что в стихах Винокурова все известно заранее, что литературная неожиданность не помогла ему, не подстегнула литературное молчание. Когда-то Пушкин-импровизатор почувствовал приближение Бога. Винокуров нарушил закон, закон тайны при начале творческого процесса, понадеялся более на логику, грамматику, чем на неожиданно выступающие из каких-то глубин сознания уже зарифмованные стихи. Многие считают стихи чудом, загадкой. Я не считаю, и самым удовлетворительным, вполне материалистическим образом объясняю их появление в тетради. В тетрадь стихи попадают путем письменной записи. Эта фиксация и своеобразна, и подвержена другим законам, чем просто устная речь. Мандельштам, Маяковский набалтывали свои стихи, расхаживая в комнате или по городу. Центр письменной речи находится не там в мозгу, где центр устного слова. Звуковой сигнал из гортани, с губ должен вернуться в мозг и появиться уже в виде записи на бумаге. Тут выявляется и чисто контрольный механизм, не всегда записываешь точно, что написалось, наговорилось. Иногда возникают и посторонние мысли вне размера, ритма и отвлекают. В общем-то эти посторонние мысли не мешают творческому процессу. Он должен быть достаточно силен, чтобы заставить тебя дописать стихотворение (речь о первой части стихотворения, предварительной записи, неполной записи).

* Имеется в виду осужденные за «контрреволюционную троцкистскую деятельность».

Не будучи согласен ни с чудом, ни с загадкой, я попытался дать стихотворное толкование, стихотворное размышление, стихотворное изыскание этой вообще-то знакомой и не новой для меня темы. Я беру карандаш, остро отточенный карандаш, и начинаю писать, сразу улавливая и размер. Размер ищется наиболее лаконичный.

Пусть не тайна, не загадка...

Я бормочу эти найденные <строки>, самые лаконичные, какие может позволить себе эта тема.

Пусть не тайна, не загадка,
Ну же, что же...

Только кроссворд. Строчки привели бочку, важный символ пушкинской сказки о Гвидоне. Что же было нужно Гвидону? Ветра, ветра в бочке. Я задерживаю окончание стихотворения на несколько дней, дольше нельзя настроение удержать, первичность исчезает. Стихотворение уже написано. Я вспоминаю, что в моих прежних стихах большую нагрузку выполняло слово «ада». «Шарада». Сам бог дает в руки эту рифму. Но я запрещаю себе применять эту рифму для своих стихов. Для темы подходит, хотя, конечно, в голове не было (или мне казалось, что не было). Вот я уже пустился в путь бумажный. Ход — рифма, размер, экономное слово, стихи, чье решенье очень кратко, очень просто, делал без всякой задержки. Мозг подает на бумагу материал, как бы обусловленный «кроссвордом», за рифмой не слежу, только отсекаю, отсекаю и сушу. В тетради появляется:

Буриме, пускай, шарада
Скрыта в строчках...

Тут я чувствую, что могу разрешить эту тему уровнем выше, чем задумал, глубже, шире, словом, находишь больше, чем хотел.

Стихи — это такая область человеческой деятельности, которая всегда представляет некую тайну, неожиданность и для поэта, и для читателя. Вся стихотворная область такова, что нет стихов, понятных всем, нет стихов, понятных самому поэту до конца. Друзья или время дописывают, а главное додумывают, дочувствовают за него все остальное опять-таки по своему аршину, по своей мере понимания и по мере своей нужды. Казалось бы, такое ощущение непонимания наверняка должно было бы охладить поэта. На самом деле этого не происходит. Поэт строчит, не надеясь на признание в будущем и на успех в сегодняшнем дне, не понимая истинного значения стихов в современном обществе — или, скажем, в обществе 20-х годов.

Поэзия вся национальна и не может быть иной. Но именно поэтому в национальное море, вечно меняя берега, вливаются новые течения, иностранные течения, которые тоже обновляют язык поэтической речи без риска его разрушить. Эти иностранные слова внедряются в русский язык и сами становятся русским языком. Этот поток благотворный, неудержимый, необратимый. Чем больше будет вброшено в поэтическую речь иностранных слов, тем лучше, как свидетельствует интернационализм, обогащает любую культуру, в том числе и культуру языка поэтической стихотворной речи. Именно потому, что поэзия национальна, она должна без забот, без искусственных препятствий, без охранительных <барьеров> открыть путь в поэтическую речь иностранным техническим терминам без боязни, что они исказят, нарушат естественную структуру поэтического языка. Язык именно потому, что он национален, все равно уцелеет.

Душа поэзии — современность, абсолютная и сиюминутная. В этом-то и есть гражданственность — в отклике на все события эпохи и страны, на сиюминутности, сейсмичности. Современность, гражданственность отнюдь не представляют собой конформизма. Душа поэзии — современность, и пейзаж в русской лирике только тогда становится пейзажем, когда он говорит человеческим языком. Достаточно очеловечить камень, и камень заговорит на любом международном форуме на любые темы, волнующие человечество. Это ли не пример гражданской лирики. Пейзажная лирика — это как раз лучший род гражданской поэзии. Вопрос о форме и содержании касается возникновения стиха, приоритета в начале, кому принадлежит начало: Гете или неандертальцу. Я глубоко убежден, что главное все же не Гете, а неандерталец, его звуковая магия у вечернего потухающего вечного костра.

Одним людям стихи нужны меньше, другим больше. Но нужны они всем. Поэтам, кстати, стихи нужны меньше всего, чужие стихи их портят, смущают.

Техника стихосложения: определить в ритме, в размере какую-нибудь бытовую фразу, а потом пустить по спирали смысла и звукоподражания во все более высшие области — вот и все. Потом очистить лишнее. Новинка в стихе — в первой строфе. Эта первая строфа оправдывает все стихотворение, потом в последней строке.

Меня всегда удивляла готовность, постоянная «заряженность» на старые свои стихи, на популярные, известные: Маяковский, например, читал «Левый марш». Поэт должен интересоваться завтрашним, сегодняшним, тем, что еще бродит в мозгу, а если читать в концертах или на разных, так называемых литературных вечерах, то только не напечатанные еще стихи. В чем тут дело? Ведь поэту должны быть неинтересны и просто мучительны старые свои стихи. К стихам относятся слишком серьезно. Двоякая ошиб-

ка. Стихи читатель принимает за исповедание веры. На самом же деле в стихах нет ничего, кроме стнхов. Стихи ие учат, не обманывают, они вне мира добра и зла. Пейзажная лирика имеет такие же права, как инструментальная музыка. Не надо искать того, чего в стихах нет.

Маяковский мой и всеобщий

Я присутствовал при издыхании Лефа, можно сказать при распаде распада, при ликвидации Нового Лефа. Оглядываясь назад, много раз удивлялся, какие глубины вспахивал Леф, каких глубокнх пластов касался: от попытки создання первой советской прозы до первого советского кино «Броненосец «Потемкин».

Политехнический музей был постоянной аудиторией Маяковского. Он жил там рядом в Лубянском проезде, где сейчас музей, но не надо думать, что это былз сзоя любимая аудитория. Напротив, это была чужая, враждебная аудntория, состоящая из иэпманов, которую поэт должен был подавить, укротить, оскорбить, оглушить своим басом. Это была коммерческая аудиторня, где Маяковский выступал за деньги, аккуратно внося в свою финансовую декларацию все заработки из Политехнического музея. Организаторы этих вечеров не были склонны к благотворительности. Контроль милицейский стоял очень строгий, и практически туда попасть было можно лнщь во второй половине вечера, когда контроль сннмался и милиционеры и билетеры садились послушать страстные споры спорщиков — Маяковского, его друзей и врагов.

Я жил тоже тогда рядом с Политехиическим музеем н билетную ситуацию на вечерах Маяковского знал очень хорошо. Маяковскому не было разрешено давать кому-либо контрамарки, и он имел право провести с собой не более пяти человек, которых и пропускал через контролера, прямо за плечи считая: раз, два, три, четыре, пять... Ну, пошли.

Положение менялось в тот самый миг, когда кассир объявлял об аншлаге, что «все бнлеты проданы», и тогда появлялся все у того же входа-выхода кто-нибудь из друзей Маяковского или он сам, и тут пропускали более щедро.

Такие вечера с полным аншлагом были довольно часто. Если прийти к началу и дождаться самого начала, на это обычно уходили полчаса, или жди до перерыва, тогда уж всех пустят. Комсомольские аудитории, рабочие аудитории, студенческие эстрады — все это были эстрады, привлекавшие Маяковского гораздо больше, чем аудитория Политехнического. Но и там, на коммерческой основе, Маяковский не менял ни души, ни шкуры. Выступления его здесь были выступлениями советского поэта, утверждавшего новое искусство во всеоружии слова, во всем этом блеске, готовности к отражению каждого удара, и сейчас же на глазах у аудитории, все равно из каких бы нзпмачей она ни состояла, наносящего умелый, убийственный ответный удар.

Маяковский читал:

Впрячь бы это время
в приводной бы ремень,
спустят с холостого —
и чеши и сыпь!
Чтобы не часы показывали время,
а чтоб время честно
двигало чвсы.

Это «Кемп «нит гедайге» — первое стихотворение, которое я услышал от живого Маяковского на литературном вечере, как тогда назывались концерты, ибо слово «концерт» касалось в те времена лишь музыкально-вокального искусства и не имело никакого отношення ни к поэзии, ни к ораторскому искусству, двум рычагам, двигавшим тогдашнее время.

Нынешнее время не пользуется этими рычагами. Оно мчится стремительно по трем направлениям: микро-мир атом, макро-мир космос, и скорость вычислений, скорость подсчета, кажется, вот-вот достигнет скорости света и подойдет вплотную к скорости искусства.

Я искал истокн. Это была непростая задача. Не только потому, что нужно было самостоятельно проделать путь через горы времени и горы книг, а потому, что в октябре 1917 года были разрушены многие литературные кумиры, а Брюсов вместо того, чтобы быть раздавленным грядущим гунном, вступил в коммунистическую партию в 1920 году и возглавил Лнтературный инстнтут. Все свои знакомства, всю свою культуру употребил, чтобы кого-то чему-то важному научить. Конечно, Брюсов не был поэтом, но его экспериментаторство, его колоссальная общественная роль как просветителя — крест, который он на себя возложил и нес до конца жизни. Или Федор Сологуб, идол русской интеллигенции предвоенной и особенно военного временн. Где он? Какие манифесты он подписывает, какие новаторские стихи он пишет? А особенно какую новаторскую прозу? «Мелкий бес» заслужил похвалу Ленина <нрзб> Где все это печатается, где издается? Где Андрей Белый? С его гениальным «Петербургом» и «Россией», «Москвой»? А Александр Блок здесь, он написал «Двенадцать», «Скифы». Где чирикает Чириков? Шмелев? Где Розанов, где Дорошевич? Я искал не современные маски давнишних литературных сражений, а истинные истоки футуризма, истинные истоки Лефа, моего современника, моего сверстника.

Все сочиненные Владимиром Маяковскнм книжки, вызубренные еще в Вологде, в школе, и еще с Вологды таинственным образом уменьшились в размерах: кто-то вырвал листок, кто-то потерял обложку — все на самой легкой, на самой худшей газетной бумаге. То строки сольются нз соседних двух стихотворений в одно, изменится вдруг смысл самого знакомогс. Я не учил стихи на память — они запоминались сами.

Вот это, пожалуй, первая книжка в уменьшенном виде, которая попала мне на глаза. Много позже было «Простое, как мычание», еще позже издания МАФа, литературные вечера, как тогда называли концерты. «Концерт» было словом табу, неким символом мещанства, отсталости, рабской буржуазной психологии, не подобающей строителям нового мира. Леф привлекал наше внимание и симпатии, споры вокруг тогдашнего времени были нам дороже стихов. Нам было мало дела до того, какие внутренние противоречия раздирают этот Левый фронт искусств. Нам было достаточно, что журналом «Леф» руководит В. Маяковский, привлекающий к себе все самое лучшее, все самое передовое, все самое новое, отнюдь не самое модное. Леф — Левый фронт — отнюдь не был течением моды литературной. Он брал какие-то рубежи, не доступные еще никаким другим литературиым течениям. Поэтому закрытие Лефа как журнала в 1925 году вызвало удивлеиие. Какие там распри, какая там идет подводная война, мы не зналн. Вскоре стало известно, что Леф возрождается в виде Нового Лефа. Толстый журнал сжался до тоненького, и это нас не смущало. Редактор был тот же, сотруднки те же.

В Ленинской библиотеке я уже искал истоки этого полюбившегося мне столь мощного н полноводного литературного течения, которому в какой-то час насильно прервали путь, и Леф растекся по десяткам других ручейков. Ранние альманахи раннего футурнзма, вроде альманаха «Взял», «Пощечииа общественному вкусу» — в это же время проштудированы мной в тех же читальных залах.

Я старался ие то чтобы записать, вэять на заметку, а просто ощутить этот воздух новой литературы, которому я поклонялся еще с детства, вдохнуть лишний раз в самой Москве порцию этого литературного озона. Истоки Лефа были весьма разнообразны. Леф имеет свои законы, и самым, пожалуй, главным признаком и мерой бывают чужне достижения, приписываемые символу, не просто повторение, как стнхотворение Саши Черного нли Петра Потемкина. Василий Камеиский, все его творчество может быть сравнено в истории с деятельностью В. Ф. Раевского, декабриста до декабристов. Таких случаев очень много, даже иэ самого близкого нам времени. «Народная воля», например. Миф Желябова и Перовской. Совершенио забыта и даже в романах не упоминается Марня Николаевна Ошаннна — Баранникова — Оловянникова — заграничный представитель Исполнительного комитета «Народной воли», — организовавшая убийство Судейкина и проведшая всю дискуссию со Степняком.

С именем Маяковского мы связываем все новаторское, все передовое, все революционное в литературе. И вносить поправки в этот образ — <иепрнличное> занятие даже для Пастернака, тем более, что Пастернак прибавил к этому пересмотру еще и все лучшее в своих стихах, чего он добился не то, что рядом с Маяковским, а то, что не противоречило Лефу. «Высокая болезнь» была напечатана именно в «Лефе», хотя была, конечно, не вполне по вкусу Маяковскому. Зато «Лейтенант Шмидт» и кусочки из «1905 года» напечатаны Пастернаком уже в «Новом Лефе» и заслужили похвалу редактора как творческие свидетельства перестройки и сближения позиций. К сожалению, нменно в это время взорвался сам «Новый Леф» — Маяковский вышел из журнала вместе с Асеевым, Кирсановым, Кассилем, Бриком. На стороие нового редактора, Сергея Михайловича Третьякова, остался Шкловский.

Маяковский давио стал мифом, и вносить какие-то фактические поправки в этот канонизированный образ я не счнтаю нн возможным, ни достойиым. Попытка Пастернака во «Второй автобиографии» явно не достигает цели, и можно только удивляться той эиергни, с которой Пастериак опровергал самого себя из «Охранной грамоты», чей стиль и язык, чья проза покрепче прозы «Второй автобиографии».

Суть новаторства Маяковского заключается отиюдь ие в лесенке, не в своей стихотворной практике, не в особениости своей рифмы, не в гениальной своей драматургни. Суть новаторства заключается в том, что Маяковскнй дышит будущим и поддерживает все новое, все передовое, что возникает на литературном пути тогдашней советской России. Горький и тогдашний крупный деятель литературы Воронскнй вели борьбу не просто зв новое, а стремились организационно привлечь на сторону новой советской власти крупнейших представителей старой культуры, тогдашние старые таланты заставить работать, стоять на платформе новой власти. Вопрос же о спецах — важный вопрос первых лет революции. Маяковский, будучи сам «спецом», подходил к вопросу иначе: поставил свой талант иа службу новому миру. Он не только не ждал и не требовал доказательств доверия нового мира к иему, а сам «наступал на горло собствеиной песие», сам сражался без всякой оглядки на прошлое. В этом особенность и его индивидуальной позиции, и некое объяснение его кружковой иетерпимости, его литературного иигилизма. Собственную совесть Маяковский счнтал высшим прибором, дающим самые точные показания в лнтературной лодке.

Все это в общем известно из историн литературы, ие только из мемуаристики, а из более солидных, более ответствеиных изданий, вроде многолетнего исследования В. О. Перцова. Следует лишь заметить, что сам Перцов во время раскола, вернее, распада, «Нового Лефа» был целиком и полностью против Маяковского. «За» были Брик, Лиля Юрьевна Брик, Асеев, Кирсанов и Кассиль. Эти лица и составили группу «Рефа», явно ие нашедшего себе места в такой, казалось бы, многокрасочной картине литературной

жизни 20-х годов. «Реф» был быстро распущен личным письмом Маяковского, и Маяковский вступил в РАПП, не видя никаких других путей, достаточно ясных и обещающих горизонтов.

Тогда были блаженные времена Румянцевского музея, только что ставшего Ленинской библиотекой и не построившего еще нового своего, серого здания. Дом Пашкова — там я встретился впервые с футуризмом. В те блаженные времена выписка книг не ограничивалась ни в количестве, ни в продолжительности чтения. Поэтому книга за книгой, журнал за журналом воздвигались ежедневно передо мной на кафедре библиотечной, похожей на церковную кафедру проповедника, и мы не знали, для кого заказывали эту мебель: для храма Христа или для Ленинской библиотеки. Мне это не было важно. Я ежедневно уносил свою добычу на несколько часов в угол за один из столов и лишь поздно вечером возвращал. В библиотеке был и буфет, не очень богатый, вроде бутербродов с кетой и черным хлебом, но в те дни, когда буфет работал, я оставался в библиотеке допоздна. Выписок я никаких не делал, я просто вдыхал воздух этих ранних футуристических книг. Однажды во время сдачи, а книг была целая гора,— рядом со мной раздался резкий женский голос:

— Вот эти книги, которые нам нужны. Когда вы их сдадите?

— Когда сдам, тогда и сдам.

— Ну, все-таки, зачем вам ранний футуризм?

— Затем,— отвечал я вполне логично,— что я интересуюсь ранним футуризмом.

— Вы, что же, студент литературного отделения МГУ?

— Студент, но только не литературного отделения.

— А не хотите ли вы прийти на кружок, где изучают вопросы раннего футуризма? Вот, запишите адрес: Гендриков переулок, квартира Маяковского. Маяковский сейчас за границей, а наш кружок ведет Осип Максимович Брик. Запишите: занятия по четвергам. Приходите, пожалуйста.

Так я пришел в Гендриков, познакомился с Бриком и с другими участниками кружка: с Леонидом Филипповичем Волковым, который писал под псевдонимом Ланнит.

— Это Маяковский дал мне еще во Владивостоке такой псевдоним в редакции «Настоящего». И я теперь пишу под псевдонимом Ланнит. Работы в Москве мне Маяковский найти не мог, да <я> и сам не нуждался в такой помощи — я был заместителем редактора журнала <«Слесарь»?>, но я это все оставил и перешел на вольные хлеба.

— Но ведь вольные хлеба требуют...

— Да, я знаю, что требуют, карточку я получаю через журнал «Борьба за технику», где и работаю.

Тогда каждая литературная группа искала свою молодежь, воспитывала свою молодежь. Воспитание на школьной парте РАППа или «Перевала» было попроще, чем воспитание в Гендриковом переулке. Из молодого «Лефа» такая группа создавалась, но не успела оформиться из-за смерти самого «Лефа». Вошли Харджиев, Лев Кассиль и «подходили» Волков-Ланнит, Наташа Соколова.

Конструктивисты имели свою молодежь при журнале «Красное студенчество». Митрейкин был ее тенором, а дирижером — Сельвинский, который в те времена назывался не Илья, а Элий-Карл.

Жил я тогда в общежитии МГУ на Черкаске, время у меня было, интерес к раннему футуризму тоже. В Гендриковом переулке и не пахло ранним футуризмом, обсуждались самые современные проблемы, от участников молодого «Лефа» требовалась не верность футуристической и лефовской традиции, а способность изготовлять оружие для современного литературного боя, подавать патроны и пистолеты старшим для поражения конструктивистских силуэтов при появлении бегущего оленя. Никакой другой роли для молодежи тут и не ждали.

Что осталось от Брика, от тогдашнего вождя левых в живописи, в литературе, в архитектуре? Ленинская библиотека хранит немного карточек — его оригинальных и законченных работ после 1917 года. «Евгений Базаров», «Иван Грозный», «Камаринский мужик», либретто опер — все это самая обыкновенная халтура. Есть кое-что и более серьезное. «Непопутчица», например (1923 г.), которую «Леф» выдавал за классику лефовской прозы. «Непопутчица» — это сценарий на вечную тему роковой женщины со всеми атрибутами западного детектива, вплоть до переодевания. И, наконец, целый ряд изданий, которыми и закрепилось место Брика возле Маяковского: «Школьный Маяковский», «Певец революции», «Альманах с Маяковским» и т. д. Конечно, Брик издал «Облако в штанах», этим и интересен, если пользоваться словами Маяковского. Но только ли этим? Брик много работал для кино, для первых лет кино, был редактором, соавтором ряда сценариев, но только ли это? Брик был автором ряда интересных работ, напечатанных в сборниках ОПОЯЗа, «Ритм и синтаксис» в «Новом Лефе». Это работа ценного характера. Идеи структурной поэтики Лотмана в большой мере перекликаются с работами Брика, только во времена Брика не было вычислительной машины.

«Непопутчица», которую предъявляли когда-то Лефы в качестве если не образцовой, то экспериментальной, истинно лефовской прозы, была литературной поделкой невысокого уровня. Немудреную очередную комбинацию на вечную тему женщины. «Непопутчица» с ее роковой женщиной-вамп была подражательством Западу и беспомощной <литературно>. «Непопутчица» никаких барьеров не брала, а скакала в хвосте многочисленных западных фильмов, на «Непопутчицу» нельзя было поставить. Второй опыт — биографический — был еще слабее.

— Подождите, подождите,— сказал Брик, выходя из-за стола,— вы заглянули ему в глаза,— сказал Брик, обращаясь к Волкову и помахивая офтальмоскопом.

— На самое дно, на самое дно.

— Да, не пишу я никаких стихов,— вмешался в спор я.

— Вот мы сейчас проверим,— сказал Брик и сел на свое место, положил на стол офтальмоскоп, и офтальмоскоп оказался обыкновенной лупой, поблескивал, впрочем, не хуже офтальмоскопа.— Ну, прочтите что-нибудь свое.

— У меня нет ничего своего.

— Ну, прочтите чужое.

— Пушкина что-нибудь?

— Нет, Пушкина здесь не надо. Прочтите кого-нибудь из современных поэтов.

— Багрицкий годится?

— Годится.

Я прочел стихи «О поэте и романтике», которые ходили тогда по рукам.

— Вот видите, подвывает, под Есенина работает. Нет, нет, пишет, пишет стихи, да и Багрицкого — наизусть. Нет, нет, пишущим стихи сюда вход воспрещен.

— Он исправится, Осип Максимович,— сказал Волков-Ланнит.

— Но смотрите, вы за него отвечаете. Как только увидите строчку этой отравы, сейчас же мне сообщите, и вон, вон.

На одном из следующих занятий, посвященных станковой картине, почему она плоха и все-таки бессмертна, Брик вышел из-за стола, долго отцеплял брюки, зацепившиеся за какой-то гвоздик на письменном столе. Письменный стол был невелик, сам Брик был невысок, помятый диван, на котором мы сидели, стоял чуть не впритык к столу хозяина, на стене не было книжных полок, и крошечная этажерочка под рукой хозяина прижималась к столу, едва давая место одному стулу впритык. Вот и весь кабинет, весь кружок молодого «Лефа» в Гендриковом переулке. Пять-шесть человек, а может быть, три-четыре человека, оставивших одежду в прихожей. Из прихожей было две двери. Прямо, в кабинет Брика, где и сидели, и направо, где была столовая, маленькая, тесная, низкая, но не темная, и из столовой две двери: одна в спальню хозяев, другая в комнату Маяковского, низкую, тесную, узкую, но все же особую комнату. Вообще весь Гендриков производил впечатление тесноты, малости, узости. После смерти Маяковского Брик жил в Спасопесковском вместе с Примаковым, там было гораздо больше воздуха и движения. «Леф» как литературная группа имел еще одну загадку, один парадокс. Никто не был столь предан принципиальной «левизне» в то время, как Брик, не натаскал столько камней для строительства здания нового искусства. Никто не боролся столь энергично со стихами, как Брик. И при расколе, при закрытии «Нового Лефа» Брик остался со стихами. Манифест «Рефа» подписали Маяковский, Асеев, Кирсанов, Брик, Лили Брик и Кассиль. В «Новом Лефе», вне «Рефа», остались все остальные во главе с новым редактором Сергеем Михайловичем Третьяковым, здесь были Шкловский и Перцов. Правда, это был арьергардный бой, «Новый Леф» вскоре закрыли, «Левый фронт» не оправдал надежд правительства.

Я тоже был на стороне Третьякова, написал ему письмо, получил ответ. Литературные группы в расколах дорожили каждым единомышленником. Встречался с ним на последнем году существования «Нового Лефа». «Новый Леф» закрыли, «Реф» с его амнистией Рембрандта уже был вовсе худосочным изданием, бесперспективным направлением. Почувствовав это и нуждаясь в широкой аудитории, Маяковский вступил в РАПП, что было, в общем-то, вполне логично для тогдашних его настроений. В 1930 году Маяковский покончил с собой, но не из-за разочарований в РАППе, а из-за крайней, удивительной неустроенности личного быта. Ровно через два года после смерти Маяковского правительство закрыло РАПП, но, конечно, не из-за смерти автора поэмы «Во весь голос». РАПП закрыли бы и без самоубийства Маяковского. РАПП в общем-то ничего, кроме добра, Маяковскому не сделал. Никаких троцкистов в РАППе, конечно, не было, сторонники Троцкого скорее ориентировались на «Перевал» и тоже очень усердно. Кроме Воронского, в «Перевале» никаких сторонников Троцкого и не было, поиски же их шли по самым разным направлениям, самым разным этажам советского общества. В момент самоубийства Маяковского меня не было в Москве. Доктор Жидков, мой сослуживец, бросил мне на стол газету с траурной рамкой. Какая «лодка», какой «быт»? Письмо предсмертное явно патологического содержания. Свои творческие суждения, кредо по этому вопросу Маяковский уже высказал, и совсем недавно, в стихотворении «Сергею Есенину», которое я слышал из уст Маяковского не один раз. Письмо переворачивало все представления о Маяковском, как о лидере какого-то нового движения. Оказалось, незащищенность такова, что просит пули. У Маяковского немало стихов о любви, об угрозе самоубийства, но все они написаны другой женщине. Сначала я представлял все это самоубийство несколько иначе. Мне кажется, что Маяковский преувеличивал прямо патологически отношение к женщине как таковой, не мог ухаживать, не вкладывая всю душу в женский вопрос, где вся

душу вкладывать не надо. Маяковский был самым обыкновенным неудачником, профаном по женской части и даже измены; изложенное <в> «Лиличке вместо письма» <оно> гениально, но не серьезно, пользуясь выражением Дмитрия Ивановича Менделеева в отношении Льва Толстого. Пастернак также немало славил женщину, но в общей форме, свои же личные роли Борис Леонидович умело растолкал в несколько очень похожих женских фигур, и, конечно, вопрос о самоубийстве из-за женщины никогда перед Пастернаком не мог и встать. Сами стихи давали разрядку, уход от вопроса. Стихи не дали такой разрядки для Маяковского, и роковым и нелепым образом увеличилась зависимость от этой проблемы. Роман с Татьяной Яковлевой — в том же ряду маяковских страстей. В сущности, Маяковскому было все равно, куда приложить усилия, и Вероника Полонская — отнюдь не худший образец. Самоубийств из-за женщины немало в истории...

Поэт Василий Каменский

Василий Каменский оставил после себя огромное литературное наследство. Паралитик, прикованный к телевизору, умерший в Москве в возрасте 77 лет, до последнего часа жизни возводил все новые и новые здания в своем городе литературы, проводил все новые и новые литературные пробы, ставил новые заявочные столбы. Огромное наследство опубликовано: романы, статьи, пьесы, юмористика самого высшего сорта. Целый Монблан — неопубликованный, все это еще ждет лопаты исследователя. Каменский не то чтобы забыт, а слишком недостаточно оценен.

Его издавали на родине в Перми вроде как по линии краевой литературы. Между тем Каменский — яркая фигура русского, а то и мирового масштаба, занимавшая свое место рядом с Маяковским и Хлебниковым во времена раннего футуризма, а кое в чем Каменский и сам выразительнейшая страница истории русской культуры, русской поэзии. Н. Л. Степанов, подбирая том Каменского для «Библиотеки поэта» после смерти Каменского в 1961 году, отпустил руль и не справился с задачей. После этого издания мы не стали знать Каменского лучше. Степанов взял лишь 75 стихотворений, по неизвестным мотивам собранных. Почему 75, а не 175, 275? Н. Л. Степанов включил пьесы Каменского (которых также очень много). Правильнее было бы включить «Стеньку Разина» — поэму, пьесу, которая как раз и дала место Каменскому в истории русской поэзии и русского театра. Но вовсе не нужно было включать такое из избранного: пьесы «Болотников» и «Пугачев». Да, Каменский интересовался народными восстаниями. Но в литературном отношении в наследстве Каменского много более ярких вещей. Например, роман «Стенька Разин» или «Биография великого футуриста» и «Путь энтузиаста» — биографический кусок, написанный в 1931 году самим автором. К продолжению «Пути энтузиаста» Каменский более не возвращался.

Луначарский в своей статье «К 25-летию творческой деятельности Каменского» снисходительно уподобил поэта немецким мейстерзингерам или французским шансонье — что по стилю в устах Луначарского должно было звучать высшей похвалой. Каменский был огромный поэт-новатор и неустанный экспериментатор, выдержавший давление многовековой культуры всех народов. Все открытия, которые принес Маринетти в Россию, давно были сделаны русским футуризмом — Хлебниковым, Маяковским, Каменским. Если уж и уподоблять творчество и жизнь Каменского какой-нибудь эпохе, надо вспомнить эпоху Возрождения — по универсализму, новаторству в любой области искусства или человеческой деятельности вообще. Это совсем не мейстерзингер, не современный французский шансонье.

Как Бенвенуто Челлини, Каменского тянуло к личному участию в каждом деле, будь то искусство или политика.

Как Леонардо, Каменского тянуло в воздух, и если Леонардо оставил нам только чертежи воздухоплавательных аппаратов, то Каменский поднимался сам на хрупком творении конструкторской мысли Блерио, Фармана, Таубе, был одним из первых русских летчиков. Еще в Тагиле на Урале Каменский сидел в тюрьме около года как председатель забастовочного комитета, а после революции был первым советским писателем — членом Моссовета. В первые годы революции Каменский много выступал с чтением стихов на тех же митингах, где выступал Владимир Ильич Ленин, и лично они были знакомы хорошо.

Каменский брался за кисть, он был участником, и активным участником, всех первых выставок русских футуристов. Он дебютировал импрессионистической картиной «Березки», на первом фестивале все 9 картин Каменского были проданы.

По образованию Каменский был агрономом, окончил в Москве Высшие сельскохозяйственные курсы. Кроме яркой новаторской мемуарной прозы, у Каменского есть и сухие статистические обследования («Липецк в 1922 году»).

Соприкасаясь с любым искусством, Каменский старался попробовать себя в любом жанре и роде творческой деятельности, самоотдачи на подмостках.

Он был профессиональным актером (псевдоним Васильевский), чью обещающую карьеру твердой рукой оборвал не кто иной, как Мейерхольд, считавший, что такого поэта нельзя убить в театре.

А самое главное, он был русским поэтом, создателем нового жанра на переломе русской культуры. Он был автором первой советской пьесы «Стенька Разин», был создателем идейного и принципиального «Жонглера».

Остановимся подробно на «Жонглере». Это длинное стихотворение. Н. Степанов включил его в число своих 75 избранных, поэтому не будем приводить его текста полностью, а ограничимся главным, что и составляет суть стихотворения.

Сгара амба
Сгара амба
Сгара амба
Амб

Амб сгара амба
Амб сгара амба
Амб сгара амба
Амб

«Жонглер» был стихотворением принципиальным потому, что в нем было дано практическое решение возможности создания стихотворения с помощью одного ритма без слов. Без слов с помощью только одной интонации впервые в русской лирике создаются бесспорные стихи. Интонация есть, а слов нет — вот что такое «Жонглер». Многолетние попытки Алексея Крученых взорвать русское стихосложение с помощью всевозможных «Дыр бул щыл» не имели успеха. А «Жонглер» имел успех колоссальный.

Правда, Каменский и в этом стихотворении отступил от уже завоеванной позиции, добавив все остальное, многократно подтверждая и декларируя.

Искусство мира — карусель,
Блистайкость над глиором
И словозвонная бесцель,
И надо быть жонглером.

Вся эта декларативность только портила суть «Жонглера», именно на эту декларативность и стали ссылаться критики из собственного лагеря, и Каменский покинул «Леф». В «Новом Лефе» он уже не принимал участия. Впрочем, и родной «Леф» был вынужден отречься от «Жонглера». «Жонглер» был напечатан в номере первом журнала «Леф», был его украшением, чрезвычайно принципиальной удачей. Но это было именно то наследство футуризма, от которого «Новый Леф», да и «Леф» тоже отказался начисто вместе с трудами Крученых. Да, Маяковский уступил своим «левым», это было ошибкой, конечно. «Литература факта» ничего, кроме «литературы факта» не дала. Ни одной работы Каменского никогда не печаталось в «Лефе», этой живой струей «Леф» не захотел начать, чтобы воскресить прежнюю силу. Мускулы «Лефа» сохли.

«Жонглер» пользовался успехом и потому, что Каменский был исключительно хороший чтец. Асеев покривил душой, когда сказал, что у Каменского слишком много держалось на чтении. «Жонглер» был очень большой находкой, принципиальной удачей целого ряда экспериментаторов левого фланга, завершением целого ряда споров о сути «божественного ремесла».

Талант — это прежде всего количество, а качество — вопрос более, чем второстепенный. Никто в искусстве не может сказать сразу, что хорошо, что плохо и как будет оценено через горы времени. Поэтому задача таланта — попробовать талант прежде всего в тяге к значительному труду, в желании увеличить количество страниц, полотен.

Есть и другой закон в этом тонком деле. Талант тратит одинаковое количество энергии — нервной, духовной, душевной — на рубку дров и на какого-нибудь «Фауста». Поэтому большое количество написанных Каменским разнообразных проб не должно смущать ни литературоведов, ни читателей. Это не минус таланта, а плюс, вернее, важнейшее качество, уважение к своему перу, к своему времени, которым Каменский, очевидно, распорядился наилучшим образом.

Каменскому обеспечено место в истории русской поэзии и русской лирики начала XX века, где он занимает наряду с Маяковским самое первое место.

Асеевские опусы — это в сущности варианты поразительной «звучали». Каменский был отнюдь не доморощенным мейстерзингером. Этот сомнительный комплимент Луначарского, для которого все немецкое стихотворчество от трубадуров до Гете было предметом благочестивого обожания. Каменский был новатором русского стихотворения, русского стихосложения. Неутомимый новатор, он обновил пути поэтической интонации вплоть до принципиального «Жонглера». Это было экспериментальным доказательством, что ритм важнее слов. Да кроме «Жонглера», у Каменского есть десятки стихотворений, где открыты новые пути именно русской народной, а не какой-то мейстерзингеровской поэзии.

Каменский оставил превосходные мемуары «Путь энтузиаста», написанные за 30 лет до смерти в 1931 году, первую часть своего превосходного сочинения.

Надо еще иметь в виду, что формально эти мемуары — оптимистические, жизнерадостные — были новой мемуарной формой. И здесь в «Пути энтузиаста» Каменский был тем же новатором, не только новатором действия, но и новатором слова, подобно Бенвенуто Челлини. Любая главка мемуаров могла бы быть легко удесятерена, но, занятый новой работой, Каменский не вернулся к «Пути энтузиаста».

Итак, новаторское, экспериментаторское обновление русской поэзии, сделанное Каменским в сборниках раннего футуризма, обеспечило Каменскому место в самых первых рядах обновителей русского стихосложения.

Революция пришла к Каменскому так же, как и к Маяковскому, раскрепощенным словом, поставленным для реальных задач реального советского дня. У Каменского тоже есть «Приказ по армии искусств». Как и Маяковский, он выступал день и ночь со словами «за».

В чем были заслуги Каменского в замечательном освоении фонетических богатств русского стихосложения? Асеев также занимался экспериментами фонетического рода, но более как аспирант филологического факультета, тогда как у Каменского это был <нрзб> поток рифм, созвучий. Открыты были такие шлюзы, что, казалось, запас будет неисчерпаем. В домике близ Перми ежедневно выливались потоки стихотворных рифм. Этот его метод работы напоминает хлебниковский — кран творчества должен быть закрыт посторонней рукой. Конечно, дело тут не только в том, что таланту пишется легко, но и в неразработанной ниве, закрытой для всех предшественников. 15 часов в день — средний рабочий день Каменского в Каменке. С Каменского в русской поэзии шло нечто иное, чем просто заготовки языка, просто обновление. С ним шел поток услышанного в народе среди грузчиков Камы, где вырос Каменский и где он провел детство и юность и возвращался вновь, как в поток живой воды. Изучение грамматики велось эмпирическим способом, а не в книгах Потебни и других филологов. Потебня его мог только проверить. Потебней мог только проверить себя: правильно ли он оценил и подумал. И, конечно, много превосходил по своей страшной реальности баргузин, который «пошевеливал вал».

Конечно, как универсал, подобный авторам Возрождения, Каменский брался и за прозу. Им написан роман на тему, которая сводила первая воедино людей разных политических направлений, чаяний от Амфитеатрова до Цветаевой, которая пробовала точить на этом оселке свое перо.

Роман «Стенька Разин» у Каменского не получился. Не то, что он был плох — он был написан и издан в 1916 году,— просто в то время, когда заканчивался роман, можно было сказать гораздо больше, Каменского увлекла новая мысль, и на том же материале он пишет свою первую пьесу «Стенька Разин», свое самое знаменитое произведение. «Стенька Разин» — это первая советская пьеса вообще, ведь: «Мистерия-буфф» еще только писалась, когда «Разин» Каменского буквально заполнил все эстрады, все театры, все клубы молодой республики. Актеры переписывали пьесу друг у друга. Без «Стеньки Разина» Каменского театр не смог бы открыть сезон.

У меня есть и личное воспоминание об этой пьесе Каменского. В 1919 году я жил в Вологде и болел всеми театральными болезнями тех лет. Интеллигенция не спеша двигалась к советской власти, выдавая за высочайшее одолжение перемещение своего тела в пространстве на несколько метров ближе к Советам, все надеясь на какое-то чудо.

Либерал из либералов, новатор из новаторов, пославший Мамонта-Дальского по его провинциальному пути, Борис Сергеевич Глаголин играл в эти годы в Вологде несколько сезонов, угощая публику то эксцентричным решением «Жанны д'Арк» («Почему я играю «Жанну д'Арк»?» — диспут, вызвавший сенсацию) или «Дмитрием Самозванцем», Суворином и «Павлом I» Мережковского.

После каждого спектакля Глаголин выходил на авансцену, брал стул, и начиналось бурное обсуждение постановки. Его критиковали или одобряли, жизнь словно кипела, и каждый чувствовал себя красноречивым солдатом из Джона Рида.

И вот среди этих постановок, этих миллиметров измерения декоративности, бутафорности, увеличенной мерой вдруг в вологодский театр вклинилась новая пьеса. Глаголин, когда его обвиняли в старомодности и в отсталости, ссылался на драматургию — пьес, мол, нет.

Драмкружок с армией поставил в вологодском театре «Стеньку Разина» Каменского. Актеры из самодеятельности призвали профессиональных артистов к ответу, заставили Глаголина изречь хулу или хвалу. Актеры «Стеньки Разина» и были главными ораторами против во время встреч с глаголинскими премьерами. Я помню, вся Вологда кричала:

Сарынь на кичку,
Сарынь на кичку,
Ядрена лапоть,
Пошел шататься...

Пьеса была поставлена как стихи. Но не как подают пушкинский, скажем, текст или «Песню про купца Калашникова», где в общем-то режиссеры не выходили из рамок приличия, а иначе. Сама постановка, произнесение стихотворного текста было сродни «Синей блузе» в его позднейшем выражении, допускавшем не только аппликации, но и костюмы. Глаголин был раздавлен, подавлен, сражен этой постановкой. Сейчас внук Бориса Сергеевича Глаголина что-то ставит на Таганке у Любимова. Каменский был бы подходящим автором для театра на Таганке.

«Россия и русский народ не примут таких интеллигентских фокусов, как в вашей «Землянке», обсуждений и рецензий не будет, вся Россия повергнута в состояние душевной тревоги: дом покинул и исчез в неизвестном направлении солнце и совесть русского народа граф Лев Николаевич Толстой. Вы сами понимаете, что какие-то общения с новаторами в этот скорбный час немыслимы».

«Землянка» и сейчас выглядит новаторским нововведением — прямой предшественницей знаменитой советской прозы 20-х годов. Журналисты острили, что с автором «Землянки» можно говорить только на птичьем языке — настолько было много там разных «чурлю — чурлю».

Можно числить «Землянку» по ведомству экспериментальной прозы, но Каменский всегда был экспериментатором. Каменский, как и Маяковский, как Хлебников, чувствовал приближение большого читателя и чувствовал в себе силы для этой встречи. Тем не менее, издательская катастрофа «Землянки» привела ее автора в небеса. Целых два года, 1911 и 1912, Каменский не пишет стихов. Не пишет он и прозу. Он занят авиацией, юной тогда авиацией.

Каменский оставил красочные воспоминания об этом периоде жизни, который одновременно был периодом овладения воздухом и словом в воздухе. Каменский не ставит рекордов, как Уточкин, как Заикин, как Лебедев. Он считает своим долгом овладеть самым современным средством передвижения. Он едет в Берлин, в Париж — тогдашнюю авиационную Мекку, где имен авиаконструкторов и перечислить нельзя, это Блерио, Фарман и другие.

Все эти фирмы поднимались часто в воздух <оживляя его>. Каменский стал проходить курс авиационной науки у Блерио, первого человека, перелетевшего через Ламанш. Англия отстает в авиационном деле, и именно поэтому в Лондоне проводится Всемирная выставка воздухоплавания. Там 80 проектов французских фирм. Каменский летит туда с Лебедевым, русским пилотом, не имея еще прав авиатора. Оба они обсудили, что такая погрешность не велика, только формальна. Для герцога Эдинбургского, главного судьи воздухоплавательного сражения, это будет все равно: имеет русский пилот нужное свидетельство или нет. «Для меня,— пишет Каменский,— это тоже было все равно». Авиационный экзамен на право пилотажа Каменский сдаст в том же году в Варшаве на машинах Таубе. Получив права, Каменский возвращается в Россию, делает ряд полетов рекламных и просто любительских — последний полет сделан на родине, в Перми, не видевшей самолета с сотворения мира. Здесь Каменский терпит катастрофу, но остается живым и возвращается в воздух и в поэзию.

Уже тогда, когда писали стихи для «Контрагентства муз» и «Рыкающего Парнаса», стало ясно, что пришло время для прозы Каменского. Это был роман «Стенька Разин». Это было новаторское произведение лирической прозы, перемежающейся стихами, где были использованы звуковые находки, ритмы «Землянки» и писавшейся тогда же его «Биографии великого футуриста». Сама тема «Стеньки Разина» была выбрана очень удачно.

Дело в том, что цензурные рогатки снимались именно в сторону народных восстаний, и «Разин» приобретает черты легальности. На «Стеньке Разине» сходилось много направлений и архаиков, и новаторов, либералов, и черносотенцев, Амфитеатров и Цветаева, Хлебников и Каменский улавливали пульс времени, брали перо для прославления волжского богатыря. Хлебников оставил знаменитый «Уструг Разина», Цветаева — «Сон Стеньки Разина», Амфитеатров — многословные куплеты с рифмой «народ». Словом, Стенька Разин был вынесен на первых писателях всей России.

Удивительное тут в том, что все, буквально все авторы произведений о Разине той поры пользовались не архивными материалами, новыми или старыми, а известной популярной песней Садовникова «Из-за острова на стрежень», где утопление княжны было центром мелодраматического сюжета, не имеющего никакого отношения к подлинным событиям жизни Степана Разина.

Мелодраматическая сторона дела тут сыграла главную роль. Либреттист или автор стихов не хотел упускать такого выгодного поворота, выразительного штриха в теме Тараса Бульбы, ибо песня Садовникова — это в сущности пересказ «Тараса Бульбы» с конфликтом Андрея и Тараса. Ссылаться на фольклорную основу стихотворения Садовникова — безусловно народную песнь того времени — нет оснований, ибо чисто литературно популярная песня «Из-за острова на стрежень» определила интерес авторов к разинской теме. Тем же сюжетом пользуется и Каменский, правда, у него Мейран сама просит утопить ее в Волге.

Роман «Стенька Разин», посвященный великому народу русскому, вышел в самое время: в 1916 году. Написанный годом раньше, он отражает и формально достижения новаторской русской прозы и сближает на теме Разина в военный час все круги русского общества. Теме «Стеньки Разина» Каменский остается верен всю жизнь, но не роман дал автору поистине всенародную известность. Это была поэма «Сердце народное Стенька Разин», вышедшая в 1918 году и тут же переделанная для театра, поэма-пьеса «Стенька Разин». Эта поэма-пьеса и явилась первой советской пьесой, поставленной не только в Москве, но и по всем городам Советского Союза.

Ахматова

Самое важное в наследстве Ахматовой, в личности Ахматовой, в жизненном явлении, называемом «Ахматова»,— в единстве человека и его дела: стихах, жизни?

Это — великий нравственный пример верности своим поэтическим идеалам, своим художественным принципам. Защищая эти принципы как жизнь, как быт, Анна Андреевна много пережила, много приняла горя, не выпуская своего поэтического знамени, держала себя в высшей степени достойно. Премия Таормины, посещение Италии через полвека («Последний раз я была в Италии в 1912 году»,— говорила Анна Андреевна), оксфордское чествование, мантия доктора наук — все это ведь события последних двух-трех лет «Бега времени».

Я расскажу вам один эпизод из жизни Анны Андреевны. Несколько лет на-

зад на одном из своих приемов (а ее суетность, потребность в болельщиках хорошо известны) на ней лопнуло платье, шерстяное, старое платье, которое Анна Андреева носила с десятых годов, с «Бродячей собаки», со времени «Четок». Платье это пришло в ветхость и лопнуло на одном из приемов, и гости зашивали это платье на Анне Андреевне. Другого не было у нее, да и приема не хотелось прерывать. Так вот, это лопнувшее шерстяное платье в тысячу раз дороже какой-нибудь почетной мантии доктора наук, которую набрасывали на плечи Анне Андреевне в Оксфорде. Это лопнувшее шерстяное платье в тысячу раз почетнее оксфордской мантии, в тысячу раз больше к лицу Анне Андреевне.

Что поражает в Ахматовой последних лет? Ее молодая сила. Стихотворение «Родная земля» — великолепное стихотворение.

Что лучше — Ахматова первых стихов или Ахматова «Бега времени»? Акмеистические идеи ранней Ахматовой обогащены введением подтекста, обращением к вечности, символикой, вторым планом, «утяжелением» стиха, что ли.

Я не знаю, лучше ли эти стихи ранних или нет, знаю только, что стихи «Ты письмо мое, милый, не комкай...» и «Звенела музыка в саду...» были стихами юности моей, и вот я состарился и читаю эти стихи всегда с теплой улыбкой.

Может быть, поэтическое имя Ахматовой и не так велико по сравнению с именем Блока или Пастернака, оно в том же высшем ряду русской лирики XX века, который включает имена: Анненского, Белого, Пастернака, Мандельштама, Цветаевой, Ходасевича. Эти имена — лучшее, что есть в русской поэзии XX века. И чем они мекьше, хуже, чем поэты пушкинской поры? И без этого наследства нет русской лирики.

Даже второстепенные имена значительны: Гумилев, Маяковский, Хлебников, Есенин, Волошин, Кузмин, Бальмонт — составят славу поэзии любого народа. Это наследство включает так много — Блок — совершенно неизученный огромный поэт — что каждая публикация Пастернака, Мандельштама, Цветаевой показывает, что целый ряд наших поэтических имен живет по чужому литературному паспорту, все это лишь эпигоны, подражатели, мародеры, а не новаторы и открыватели новых путей. Сказать «я открываю мир» — вовсе не значит этот мир открыть.

Конфузы эти объясняются тем, что нарушена связь времен, нарушена преемственность русской поэтической культуры. Изучение Ахматовой и любовь к стихам Ахматовой как раз и помогут эту связь восстановить. Попутно: Ахматова была ревностной сторонницей классических русских размеров стиха, канонических размеров, прекрасно понимая всю бесконечную силу, бесконечное разнообразие, безграничную возможность русского классического стиха. В этом Ахматова — тоже пример бескомпромиссности.

В Ахматовой жил живой интерес к современности, к любому событию общественной или литературной жизни. Анна Андреевна писала пьесу. Всякий поэт, вообще всякий пишущий человек хочет написать пьесу, это закон. Написать пьесу очень трудно. Из русских писателей разве только Леонид Андреев писал настоящие пьесы. Вот она увлеченно читала куски, пьесу пыталась решить, ну, если не в плане театра абсурда, то далеко от классических образцов, объясняла замысел сложный, сюжет извилистый. Ее спросили:

— А чем кончается ваша пьеса?

Анна Андреевна живо прищурилась — своим знаменитым прищуром, описанным еще в десятых годах — и ответила резко и живо:

— Нынешние пьесы ничем не кончаются.

Сейчас нет стихов, и хотя не кто иной, как Анна Андреевна, так недобро пошутила насчет золотого века — все же это только шутка. Масштабы смещены, оценки искажены.

На похоронах, на этом самом московском прощании, что ли, я не знаю, как назвать утро во дворе морга Склифосовского 9 марта 1966 года. Я стоял на улице, и ко мне подошел мой знакомый, работник одной из редакций, и говорит:

— Вы, Варлам Тихонович, все время на улице?

— Да.

— Ах, боже мой, я завозился там около гроба, задержался. Говорят, сам Евтушенко приезжал. Какая честь! А я-то там около гроба и просмотрел самое главное.

Вот какие печальные бывают события. Это тоже свидетельство, что связь времен разорвана, что нужно сделать очень много, чтобы ее восстановить.

Ведь это звучит в высшей степени неприлично в некрологах. Еще месяца не прошло с ее смерти: много занималась переводом, обогатила перевод. Так и о Пастернаке писали: выдающийся переводчик. Хотя занятия переводом были вынужденные. Половина стихов Анны Андреевны издана античным тиражом — в одном экземпляре.

У Анны Андреевны были и ошибки. Это ее некоторая суетность, желание давать интервью не всегда удачные. Ей было бы к лицу быть судьей времени, а хотела выступать подавальщицей мечей в литературных турнирах. Я еще надеюсь рассказать об Ахматовой.

Мне уже приходилось указывать на важность изучения принципов акмеизма. Символизм не менее важен, но его важность бесспорна, я считаю Пастернака последним символистом и его роман считаю скрытой попыткой дать символ романа. О символизме как литературном течении написано мало, все еще впереди.

Еще одно. Анна Андреевна была представительницей русского Ренессанса XX столетия, характером современным, ничуть не менее значительным, чем пресловутые характеры Возрождения.

С Анной Андреевной Ахматовой я познакомился в 1965 году уже после своего воскресения из мертвых наряду с многочисленными эксгумациями того времени. И эксгумация, и воскрешение из мертвых шли по самым различным каналам. Коса эта косила очень широко. Я возвратился не с семьей — вот особенность моего тогдашнего личного возвращения, а вместе с тем кругом — Пастернак входил в это число,— к которому принадлежала и сама Анна Андреевна. Так что все милости, все поливки приходили именно на эту почву. Это не была почва репрессированных военных, вроде Тухачевского и Якира, не была также кругом таких людей, как Крыленко. Это был круг людей искусства со всеми его качествами, не историков, как Лукин (Антонов) или Фридленд, не ученых, не героев, жертв пятилеток, вроде Грановского. Я уже жил в Москве, печатались кое-где стихи, отгремело дело Пастернака. Анна Андреевна была волею судеб зачислена в ряды прогрессивного человечества и энергично выдавала как таковую причастность к тайнам большой политики, тайнам вечной страсти. Словом, всячески разъясняла суть, вес и интерес к такого рода времяпровождению. Анна Андреевна всячески и сама дула в это кадило. Зная мой характер, меня тогда предупредили о, мягко выражаясь, эгоцентризме будущей моей собеседницы, эгоцентризме, к которому она привыкла.

— Давайте вовсе не пойдем.

— Нет, надо идти, раз уговорились. Если будет кто еще, скажете, что вы просите встречи завтра.

Но просить завтрашней встречи не пришлось. Нас приняли сейчас же. После Анна Андреевна говорила, что разговор не получился. Как бы он мог получиться? Я смотрел на нее как на медицинский сюжет. Потом Анна Андреевна жила в Ленинграде, в Комарове, а в Москву приезжала время от времени по делам или без оных, останавливалась у знакомых и «давала приемы». Эти приемы Анна Андреевна собственноручно регистрировала в бархатной книге. Попасть на этот прием считалось честью, о времени сговаривались... (нрзб) Я просто хотел ей рассказать кое о ком из личных ее знакомых, о судьбе которых я наводил справки на Колыме. Никаких таких сведений не потребовалось. Анна Андреевна, подбоченясь, излагала, как она боялась Парижа, <боялась> поехать в Италию. На ней давно уже не было того самого единственного шерстяного платья, которое лопнуло во время неосторожного и слишком резкого движения во время одного из приемов. Я мог бы обо всем этом напомнить, переспросить, авторизировать, так сказать, этот роскошный эпизод. Вместо этого я слышал только трескотню о том, как она боялась в Париже — чего, неизвестно. Все выглядело низкопробным балаганом, ординарным спектаклем, и я попробовал прервать эти ламентации, почитать стихи, чего в сущности слушать я не люблю и сам не читаю в гостях. Анна Андреевна развернула свою бархатную тетрадь и читала, читала рукопись пьесы какой-то. Наконец, мы распрощались. Антенна моя так была настроена четко, так отлично работала, что, несмотря на этот реприманд неожиданный, я легко написал несколько стихотворений о ней. Анне Андреевне было о чем заботиться, таланта у нее большого не было, и выяснилось это в первых же книжках, в «Четках», в «Белой стае». Москву приучали тогда к «Поэме без героя». «Поэму без героя» я читал еще на Колыме сразу после войны не то у Португалова, не то у Добровольского, а потом перечел ее повнимательнее в Москве. Хочется возразить самым решительным образом Чуковскому, который хвалил эту поэму за новизну стихотворного размера, гениальное новшество. Это гениальное новшество было плагиатом Анны Андреевны у Михаила Кузмина. «Форель разбивает лед». Заимствование поэтической интонации еще у современника — тяжкий грех поэта, тяжкий грех и критика, не заметившего грубого плагиата. Время было какое-то шаткое, Журавлев отомстил Ахматовой, напечатав ее собственные стихи под своей фамилией. Чего не бывает в поэзии, чего не бывает в поэтическом быту? Все стихотворения Ахматовой последних лет — не более, как возвращение на позиции символизма, победа символизма над акмеизмом — этой узенькой тропой русской поэзии, где не удержалась ни Ахматова, ни Мандельштам, ни Гумилев, ни Зенкевич, ни Нарбут. Начинала Ахматова, прямо сказать, отлично, и хоть Троцкий называл ее «гинекологической поэтессой», это-то не должно было смущать Анну Андреевну. Даже я, существо и поэт нынешнего, послеахматовского века, прошедший через футуристический нигилизм Маяковского, Асеева, испытавший личное давление фактовика Сергея Михайловича Третьякова, отдал должное ахматовским строкам. Даже один из моих романсов начинался цитатой из Ахматовой:

Не гляди так, не хмурься гневно.
Я любимая, я твоя.
Не пастушка, не королевна
И уже не монашенка я.

Нина БЕРБЕРОВА

Курсив мой

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Два предместья Парижа в юго-западном его углу слились в одно: сначала был Биянкур и была Булонь. Потом стал Булонь-Биянкур, департамент — Сена, тот же, что и Париж, конечно. Слово Булонь звучало нарядно: напоминало Булонский лес, намекало на близость к нему. В Булони был стадион, в Булони были скачки. В Биянкуре был автомобильный завод Рено, кладбище, река и грязные, бедные, запущенные кварталы. В Булонь люди переходили из Парижа по широкой зеленой аллее, в Биянкур — по пыльной некрасивой торговой улице. В Булони улицы назывались как придется, в Биянкуре каждая улица была отдана деятелю рабочего движения — от Коммуны до наших дней. В Булони были дорогие рестораны, в Биянкуре — трактиры, русские и французские. Шестов и одно время Ремизов жили в Булони, в Биянкуре жили Зайцевы и мы. Пригородов, где жили русские, было очень много: Бердяев жил в Кламаре, Цветаева — в Медоне. В Нуази жили старообрядцы, в Озуар — генерал Скоблин, похитивший генерала Миллера. В Аньере был даже цыганский табор, и цыгане (говорившие между собой по-русски) жили в Аньере в кибитках. Когда люди начали селиться в предместьях, это были предместья, через несколько лет они становились частью города, сливались с Парижем.

<...> В Биянкуре была улица, где сплошь шли русские вывески и весной, как на юге России, пахло сиренью, пылью и отбросами. Ночью (на «Поперечной» улице) шумел, галдел русский кабак. Он был устроен, как отражение кабака монмартрского, где пел цыганский хор, или еще другого, где плясали джигиты с перетянутыми талиями, в барашковых шапках (в те годы входивших в моду у парижанок и называвшихся «шапска рюсс»), или еще третьего, где пелись романсы Вертинского (пока он не уехал в Советский Союз) и Вари Паниной, пелись со слезой и разбивались рюмки — французами, англичанами и американцами, которые научились это делать самоучкой, понаслышке, узнав (иногда из третьих рук) о поведении Мити Карамазова в Мокром.

В кабаке на «Поперечной» улице всего было понемногу: безработный джигит в отставке шел вприсядку во втором часу ночи, пышногрудая, в самодельном платье с блестками певица с двумя подбородками (днем обрубавшая цветные шарфики), выходила к пианино, у которого сидел старый херувим, видавший лучшие времена. Она пела «Я вам не говорю про тайные страданья» и про уголок, убранный цветами, и «Звезду», текст которой, между прочим, взят у Иннокентия Анненского. Она тоже пела как романс стихотворение Блока «Она как прежде захотела», переложенное на музыку, вероятно, не кем иным, как старым херувимом, и четыре строчки Поплавского, которые вкраплялись в «Очи черные»:

> Ресторан закрыт, путь зимой блестит
> И над далью крыш занялся рассвет.
> Ты прошла, как сон, как гитары звон,
> Ты прошла, моя ненаглядная!

Потом выходила Прасковья Гавриловна. Ей уже тогда было под шестьдесят. На ее строгом темном лице еще горели глаза. Истрепанный платок закрывал ее плечи, ситцевая юбка в цветах ложилась вокруг худых колен. Она когда-то пела у Яра, в Стрельне, и ее подруги сейчас допевали на Монмартре, на Монпарнасе, выпестовав свою цыганскую смену. У Прасковьи Гавриловны голоса больше не было, она не годилась туда, где шампанское было обязательно, где у входа стояло ваше превосходительство с веером расчесанной бородой (не то пермский, не то иркутский губернатор). Она годилась только здесь... Она больше бормотала, чем пела, она хрипела иногда почти шепотом, сидя между двумя «цыганами» (армянином и евреем), которые наклонялись к ней с гитарами. Да, она была теперь з д е с ь, а Настя Полякова, Нюра Масальская, Дора Строева были т а м, где румыны со своими смычками, свежая икра и крахмальные салфетки.

Тут же на столиках с грязными бумажными скатертями стояли грошовые лампочки с розовыми абажурами, треснутая посуда, лежали кривые вилки, тупые ножи. Пили водку, закусывали огурцом, селедкой. Водка называлась «родимым винцом», селедка называлась «матушкой». Стоял чад и гром, чадили блины, орали голоса, вспоминался Перекоп, отступление, Галлиполи. Подавальщицы, одна другой краше, скользили с бутылками и тарелками между столиками. Это все были «Марьи Петровны», «Ирочки», «Тани», которых знали все чуть ли не с детства, и все-таки после пятой рюмки они казались полузагадочными и полудоступными, вроде тех, которые дышали духами и туманами в чьих-то стихах (а может быть — романсе?) когда-то... черт его знает когда и где!

На углу была парикмахерская, где меня стригли и не брали на чай: «Читаем вас, премного вам благодарны, не гнушаетесь нашим житьем-бытьем». А за углом воскресная детская школа (рядом с церковью, где еще недавно было «бистро»). В школе по воскресеньям дети поют про каравай («вот такой каравай»), поднимая руки, приседая на корточках, беленькие, худенькие. Мальчики ценятся больше девочек: это будущие солдаты Франции, и за них родителям дадут французское подданство. Девочки из состояния «апатридов» эмигрантов не выведут. Дети картавят, когда произносят русское «эр», папа — у Рено или шофером такси, или лакеем в «Московских колоколах» (у Елисейских полей); мама — вышивает белье гладью или делает шляпы; старшая сестра — манекеном у Шанель; брат — рассыльным в гастрономическом магазине Пышмана. Летом дети поедут в лагерь, по утрам будут собираться у русского трехцветного флага и петь хором «Отче наш». Учительница жалуется, что они не понимают «Горе от ума», особенно про чай: «Не от болезни, чай, от скуки», — какой такой чай? От какой болезни его принимают? Кто его пил? С чем? Объяснять надо каждое слово. Учительница, тоже беленькая и худенькая, кажется, дочь священника, вернее — дочь одного из священников: в Биянкуре много церквей, одна в бывшем «бистро», другая — во втором дворе, в старом гараже, третья — в брошенной (за отсутствием клиентуры) католической церквушке.

Гудит заводской гудок. Двадцать пять тысяч рабочих текут через широкие железные ворота на площадь. Каждый четвертый — чин белой армии, воинская выправка, исковерканные работой кисти рук... Люди семейные, смирные, налогоплательщики и читатели русских ежедневных газет, члены всевозможных русских военных организаций, хранящие полковые отличия, георгиевские кресты и медали, погоны и кортики на дне еще российских сундуков, вместе с выцветшими фотографиями, главным образом — групповыми. Про них известно, что они а) не зачинщики в стачках, б) редко обращаются в заводскую больничную кассу, потому что у них — здоровье железное, видимо, обретенное в результате тренировки в двух войнах — большой и гражданской, и в) исключительно смирны, когда дело касается закона и полиции: преступность среди них минимальна. Поножовщина — исключение. Убийство из ревности — одно в десять лет. Фальшивомонетчиков и совратителей малолетних, по статистике, не имеется.

Я видела их «в деле»: льющих сталь в мартеновых печах, рядом с арабами, полуголых, оглушенных работой автоматических молотов, маневрирующих этими молотами, завинчивающих болты в бегущем конвейере, под свист трансмиссий, когда все дрожит вокруг и ходит ходуном, и высокий потолок гигантского цеха не виден вовсе, так что кажется — все это ходит ходуном под открытым небом, черным и грозным, и сейчас — глубокая ночь. Но сейчас не ночь, а день, солнце на площади сверкает, и под ним, у самых ворот Рено, блестят две металлические тележки продавцов снеди: одна тележка — кофе и булки, другая — горячее вино. Продавцы переминаются с ноги на ногу и ждут (зимний холодный день). Вот какого-то русского философа провозят мимо них на кладбище. За гробом шагают три женщины, по ветру летят концы их траурных вуалей. Среди десятка мужчин шагает худенький, маленький, давно примелькавшийся мне русский призрак: сегодня он с бородкой и без мандолины. Я заприметила его с того дня, как он пришел однажды в тот подвал в кафе на площади Сен-Мишель, где мы читаем стихи. Кто только там не бывал! (Один раз был даже Б. Кохно, сотрудник и друг Дягилева, либреттист и поэт.) Там, среди табачного дыма, кофе, пива и коньяка, этот прозрачный, тоненький, словно сделанный из папиросной бумаги человечек тоже, кажется, читал — тоненьким голосом, смахивая со лба сероватую прядь волос. Фамилии у него почему-то не оказалось... Вот мимо меня везет детскую колясочку беременная француженка, дочка булочника. В колясочке — два китайчонка. Им тоже холодно. А я все стою, и собаки обежали за это время вокруг дерева раз восемьдесят.

В гастрономическом магазине Пышмана выставлены консервы Киевского пищетреста: баклажанная икра, фаршированный перец. В магазине — водки и наливки всех сортов, тянучки «Москва», пирожки «филипповские» и в углу, на полке, иконы и деревянные раскрашенные ложки. Мадам Пышман сидит за кассой. Она бывает ежегодно на балах русской прессы, всегда жертвует на буфет либо пирог с капустой, либо заливное из рыбы. Международное положе-

Продолжение. Начало см. в №№ 10, 11, 12 за 1988 год.

ние ее волнует. Она вздыхает и говорит:

— Что делает Сталин? Он убивает, и убивает, и убивает. Что делает Гитлер? Он проходит университет. Он учится убивать. Он скоро получит диплом. И неужели не придет какой-нибудь новый Иисус Христос, чтобы остановить все это?

Я чувствую, что в ее глазах «старый» Иисус Христос как-то скомпрометирован.

В придачу к покупке мадам Пышман дает мне тянучку: она говорит, что любит меня за то, что я занимаюсь «литературным трудом» и «художественной деятельностью», и что она, когда продает мне продукты, чувствует, что она сама тоже отчасти причастна «литературно-художественной деятельности». Ее муж выходит из заднего помещения. Он улыбается и кивает мне, но сказать ничего не может: он предпочитает улыбаться и молчать, потому что он глух; Петлюра отбил у него слух в погроме.

Есть привычные фигуры: на фоне этих улиц, где-то между почтовым отделением и заводом, они двигаются днем и ночью (или это только так кажется?), словно делают круги, попадаясь мне ежедневно на глаза. Это нищий, у которого грудь колесом и которого пугаются французские дети, потому что у него низкий бас, какого здесь никто никогда не слышал. Он ходит и поет церковное. Ночует он в Армии Спасения, днем пристанища не имеет. Два раза в год он моется (на рождество и на пасху) и тогда поет в хоре в одной из биянкурских церквей и в «Верую», говорят, дает такое «фа», что дрожит красная лампочка над иконостасом, изображающая лампадку. Потом — мадемуазель Фурро, ее все знают. Она — председательница Общества б ы в ш и х ф р а н ц у ж е н о к. Так называется странный «профсоюз», в котором членами состоят бывшие гувернантки, вернувшиеся после русской революции домой в Париж. В Париже они никого не нашли, сбережения их в России из царских рублей они перевели в заем свободы и потеряли их, а главное — Парижа такого, какой они знали, они не нашли, и после того, как две из них покончили с собой в тоске по России, и «прелестной жизни, которая была как один сладкий, незабываемый, прекрасный мираж» (как выразилась однажды при мне мадемуазель Фурро), они решили соединиться в общество и поддерживать друг друга. Их к концу тридцатых годов оставалось не более шести-семи, но мадемуазель Фурро все еще бегала по Биянкуру на своих коротких толстых ножках, пока в бомбежке 1942 года не окончила свою жизнь.

<...> Преступность была, но она была незначительна. Тем не менее были случаи убийства (из ревности) — два, убийства с целью получить наследство — одно, кражи со взломом — одна, обыкновенного воровства — девятнадцать, относительно крупного мошенничества — четыре, двоеженства — четыре и так далее. Все это за тридцать лет среди населения в семьдесят пять — восемьдесят тысяч. Эта статистика приблизительна и, конечно, только среди тех, кто попался. Я знала двух русских (профессиональных, не случайных) сутенеров и несколько уличных женщин; они, собственно, работали не на улице: пять из них состояли при ночных ресторанах и приблизительно столько же можно было насчитать в публичных домах (которые были закрыты законом во второй половине тридцатых годов). О тех, кто полупроституировал себя, я не говорю, равно как и о тех, кто незаконно торговал валютой, хранил краденое или продавал наркотики и презервативы (тогда запрещенные).

Здание суда в самом центре Ситэ было одно время местом, которое я хорошо знала: залы, где судили мелких преступников, подравшихся консьержек или матроса, запустившего в уличный фонарь бутылкой, и другие, где шли сложные гражданские процессы и, наконец, — где присяжные судили убийц, которым могла грозить гильотина.

<...> И вот я сижу в этом зале и слушаю вранье Надежды Плевицкой, жены генерала Скоблина, похитившего председателя Общевоинского союза («рюсс блан») генерала Миллера. Она одета монашкой, она подпирает щеку кулаком и объясняет переводчику, что «охти мне, труднехонько нонече да запомнить, чтой-то говорили об этом деле, только где уж мне, бабе, было понять-то их, образованных грамотеев». На самом деле она вполне сносно говорит по-французски, но она играет роль, и адвокат ее тоже играет роль, когда старается вызволить ее, но ей дают пятнадцать лет тюремного заключения. А где же сам Скоблин? Говорят, он давно расстрелян в России. И от этого ужас и скука, как два камня, ложатся на меня. Через десять лет, после смерти Плевицкой в тюрьме Рокетт, ее адвокат скажет мне, что она вызвала его перед смертью в тюрьму и призналась ему в о в с е м, то есть что она в похищении Миллера была соучастницей мужа. Куда бежать от этих игр, шуток и тайн, от центральной фигуры, не могущей встать и сойти с полотна картины, шагнуть в серое парижское небо, по которому идут трамваи, в вечернюю глубь освобождения и одиночества?

Но театральность ведь не только в судах: она во всех наших ц е р е м о н и я х, и я ненавижу их еще сильнее, чем ненавидела в детстве елку, — они на наших свадьбах, где «так нужно», и на похоронах, где «так принято». Их чуть-чуть меньше сейчас, чем пятьдесят лет тому назад, но только чуть-чуть. Смирительная рубашка предрассудков и приличий до сих пор время от времени надевается на человека в самые, казалось бы, «собственные» его минуты (или

часы, или дни). Смирительная рубашка мертвого обычая, когда свободному человеку свойственно ходить в том, что в данную минуту у него под рукой: подштанники или бальное платье, или медвежья шуба, которая иногда может укрыть и двоих... В перерыве я бегу вниз, в кафе, где гудят голоса адвокатов и журналистов, в кафе, похожее на вокзальный ресторан — по старой моде он обшит деревом, он неуютен, грязноват, и здесь на ходу говорят только «о деле», не о делах, а о деле, которое слушается наверху. Репортер коммунистической газеты уверяет двух молодых адвокаток, что генерала Миллера вообще никто не похищал, что он просто сбежал от старой жены с молодой любовницей. Старый русский журналист повторяет в десятый раз:

— Во что она превратилась, боже мой! Я помню ее в кокошнике, в сарафане, с бусами... Чаровница!.. «Как полосыньку я жала, золоты снопы вязала...»

Знаменитый французский адвокат, стройный, красивый седеющий человек, автор книг, друг министров и послов, сидит один и с отвращением на лице ест пирожное с кремом. Его внезапно окружают: что вы думаете, мэтр, какое ваше мнение?

Он говорит свое мнение, подбирая ложкой крем с тарелки.

— «Ах, утомилась, утомилась, утомилась я!» — напевает про себя русский журналист. Я выхожу. На набережной горят огни, и деревья, сухие и черные, склоняются к воде; закрываются ларьки букинистов, на Эйфелевой башне мигает красный огонь. Его видно далеко. Когда самолеты летят из Лондона и Рима, они видят этот огонь. Но они не видят, например, меня. Никто не знает меня.

<...> Десять лет жизни вдвоем, рядом и вместе с другим человеком, «он» и «я», которые думают о себе как о «мы». Опыт соединения «его» и «меня», где не было многого, что бывает у других, где отсутствуют какие-то элементы, составляющие семейную жизнь других людей. Я все время сознаю отсутствие этих элементов, я внутренне констатирую неприложимость нормальных мерок к нашей жизни. И прежде всего я вижу в ней полное отсутствие какой-либо конкуренции между «ею» и «им», что бывает почти всегда и у всех: Ходасевич и я — люди одной профессии, но нет и не может быть моего с ним соперничества ни на людях, ни когда мы вдвоем, с первой нашей встречи и до последнего его часа не было мысли о возможности хотя бы когда-нибудь для меня сравняться с ним. Он — всегда первый, сомнений в этом нет, нет борьбы за первенство, нет спора, это — непреложный факт нашей жизни. Я иду за ним, как ходят женщины на шаг позади мужчины в японском кино, и я счастлива ходить на шаг позади него. Если мне дается право выразить себя, я пользуюсь им свободно, я г о л о с у ю, не спрашивая его, з а с в о е г о к а н д и д а т а, но я мысленно хожу на шаг позади него.

Затем: решительное отсутствие «женского» соображения, что он — добытчик. Я зарабатываю, что могу, и он зарабатывает, что может, и деньги у нас общие. Ни разу у меня не было мысли, что он — «кормилец», и если он уйдет из «Возрождения», где ему временами так тяжело, то совершенно нормально, чтобы вся тяжесть этого шага легла на меня. Кругом нас, «у людей», дело обстоит иначе, но ведь мы с ним прежде всего два товарища, два друга, попавшие в общую беду. Он ли, я ли — не все равно, кто «добывает»? Иногда мне даже кажется, что собственно главным добытчиком должна была бы быть я: я сильней, здоровей, моложе, выносливей, я могу делать многое, чего он не может, и сносить многое, чего он не в силах сносить. И я умею делать многое, чего он не умеет. И — постоянная мечта моя — я могу научиться быть наборщицей, работать на линотипе. Тут я уже хожу с ним в ногу и даже на полшага впереди него.

И еще: мы никогда друг друга не обижаем. Ни тогда, когда мы вдвоем, ни когда мы среди людей, ни устно, ни печатно. Все, что он делает, — хорошо; все, что я делаю, — хорошо. Он говорит, что я буду когда-нибудь писать гораздо лучше, чем пишу сейчас. Мне кажется, что он совершенно серьезно верит в это.

— Через десять-пятнадцать лет, — говорит он.

При этих словах я холодею: так долго ждать! Но ждать-то именно и нельзя, в газете я каждый месяц печатаю два рассказа, они должны быть по мерке, но они иногда «не выходят». Ничего не поделаешь! Надо стараться, иначе мы пропали.

Он зависит от меня. Я от него не завишу. Мы оба это знаем, но об этом не говорим. Он болеет, он падает духом. Он говорит, что высыхает и не может писать стихи. Ему нужен кто-то, кому он может пожаловаться, вслух пожалеть себя, сказать о своих снах и страхах, — он раздавлен ими, и он перекладывает их на меня, но ни ему, ни мне и в голову не приходит, что в этом перекладывании есть что-то недолжное и, может быть, опасное.

Он уходит иногда на весь день (или на всю ночь) в свои раздумья, и эти уходы напоминают мне его «Элегию» — стихи 1921 года о душе:

Моя избранница вступает
В родное древнее жилье,
И страшным братьям заявляет
Равенство гордое свое.
И навсегда уж ей не надо
Того, кто под косым дождем
В аллеях Кронверкского сада
Бредет в ничтожестве своем.
И не понять мне бедным слухом,
И косным не постичь умом,
Каким она там будет духом,
В каком раю, в аду каком, —

с его шестью «у», поющими виолончелью.

Он возвращается «в свое ничтожество», то есть к себе домой, ко мне, к нам. Он видит мое страстное желание — с ним я родилась и с ним умру — расти, меняться, зреть, стареть. Он не любит этой тяги во мне, он любит мою молодость и не хочет перемен, он хочет затормозить меня в моем росте, но не тормозит, ничего не делает для этого — это только его желание, и он знает, что оно неосуществимо, он знает, что не имеет права опустить предо мной шлагбаум. Кроме того, он еще знает, что через все шлагбаумы я все равно прорвусь, нравится ему это или не нравится. Мне нельзя давать красный или зеленый огонь, я, может быть, сама — зеленый огонь.

Все вопросы мы так или иначе разрешаем в нашем разговоре, который продолжается годами. Ничто не разрешается само, ласковым, примирительным словом или минутой молчания. Все договаривается и разрешается *мыслью* — его и моей. Мы оба и *существуем*, и *становимся*, на глазах друг у друга. Существуем вместе и становимся вместе — по-своему каждый. Но он любит думать и говорить только о нашем *существовании*. И я начинаю понимать, что наше — его и мое — *становление* — один из его страхов.

Он боится мира, а я не боюсь. Он боится будущего, а я к нему рвусь. Он боится нищеты, как Бодлер в письмах к своей матери, и обид, как Джойс в письмах к жене. Он боится грозы, толпы, пожара, землетрясения. Он говорит, что чувствует, когда земля трясется в Австралии, и правда: сегодня в газетах о том, что вчера вечером тряслась земля на другом конце земного шара, вчера он говорил мне об этом. Мне все равно, что где-то землетрясение, для меня, по правде сказать, земля трясется все время, грозы бояться — для меня все равно, что бояться дождика. Пожар? Ну так возьмем подмышку кое-какие книги и бумаги (он — свои, я — свои) и выйдем на улицу. Что касается толпы, то так как я не ношу ни перьев, ни фруктов на шляпе, ни накрахмаленных юбок, то я не боюсь, что меня сомнут. Почему мне бояться толпы? Я сама — часть толпы. И я не хочу, чтобы меня боялись.

Страх его постепенно переходит в часы ужаса, и я замечаю, что этот ужас по своей силе совершенно непропорционален тому, что его порождает. Все мелочи вдруг начинают приобретать космическое значение. Залихватский мотив в радиоприемнике среди ночи, запущенный кем-то назло соседям, или запах жареной рыбы, несущийся со двора в открытое окно приводит его в отчаяние, которому нет ни меры, ни конца. Он его тащит за собой сквозь дни и ночи. И оно растет, и душит его.

Он уходит — на этот раз не к «страшным братьям», а в эмигрантские редакции или «пить чай к знакомым», или играть в карты в кафе, или на литературное собрание. Он все беззащитнее среди «волчьей жизни». «Человек человеку — бревно»,— сказал Ремизов из своего de profundis'а, Ходасевич сказал бы, вероятно, что это бревно находится еще и в движении, оно катится и вот сейчас раздробит тебе ногу или руку, или скорее всего — череп, если ты не отойдешь от него в сторону (но куда? Отойти некуда). Бревно, так сказать, в действии. Я вижу, что страхи и обиды не всегда реальны, большинство из них преувеличены. Они только *могли бы быть*. Но реальное и нереальное уже не дифференцируется и от нереального иногда даже больнее. Он возвращается в единственное место, какое у него есть на свете, где его письменный стол, его бумаги, его книги, его печка, и где я. «Быта» у нас нет, но у нас есть крыша, есть *домашность*, и он по-своему любит ее. И я люблю домашность, и в разной степени и в разные годы я всегда любила ее. В образе домашности, когда это не «гнездо», не биологическая обязанность, есть что-то теплое, милое и свойственное человеку, что-то свое, свободно им выбранное и устроенное, в плановой бедности, в организованной трудности, что-то, что можно иногда разделить и с другими, когда эти другие приходят в твой едва держащийся мир из своего еще не построенного или уже развалившегося мира.

— Смотрите, пожалуйста: петух на чайнике! — воскликнул однажды Бунин, войдя в нашу столовую.— Кто бы мог подумать! Поэты, как известно, живут под забором, а у них, оказывается, петух на чайнике.

(Петух был нам прислан в 1928 году из Ленинграда, вышитый «собственными руками» тою, которую позже сослали — может быть, за этого самого петуха? — за «сношения с заграницей».)

В 1932 году, когда я навсегда ушла из нашей бианкурской квартиры, один не слишком злой остряк так рассказывал об этом:

— Она ему сварила борщ на три дня и перештопала все носки, а потом уехала.

Это была почти правда.

Медленно начала расшатываться моя крепость.

Однажды я вернулась домой после двух недель отсутствия (это было весной 1930 года, когда я ездила гостить в Ниццу) и вдруг заметила, что моя «чугунная» порода собирается дать трещину. Не жизнь собирается треснуть,— до этого было еще далеко — но я сама. «Если я распадусь на куски,— подумала я,— я никому, ни себе, ни тем более ему, не буду нужна». И мне вдруг пришло тогда на ум, что человек (то есть я сама) не котел, который чистят кирпичом, а, может быть, что-то более тонкое, более хрупкое, более «хрустальное». Я вспомнила, как Виржинчик однажды, в минуту своей милой и нежной иронии, сказала мне:

— Ты — моя этрусская ваза,— и как я громким хохотом ответила ей на это.

Мне вспомнилась скребница, которой Селифан чистил дедушкиных лошадей и как я тогда непременно хотела попробовать, не лучше ли будет расчесывать мои длинные косы (которые, приехав в Париж, я срезала) этой лошадиной скребницей, чем частым гребешком, как это полагалось? Мне вспомнилась бархатная подушечка, которой дед причесывал свой цилиндр. Я никогда не думала, что, может быть, мне тоже нужна бархатная подушечка, а не толченый кирпич, не скребница, не борона, на которой я сама столько лет, сколько себя помню, ездила по собственной душе, туда и обратно.

— Итак, бархатной подушечки захотелось,— сказала я себе, пораженная воспоминанием.

Но трещина во мне обозначилась, и я теперь смотрела со смешанным чувством любопытства и недоумения на то, как она разрасталась.

Приведу письмо Ходасевича, написанное мне в Ниццу:

«18 февраля 1930.

...Сейчас вторник, утро. Только что получил твое письмишко, рад, что тебе хорошо, обо мне не беспокойся, мои дела тоже не плохи.

В воскр. я весь день сидел дома, а вечером отнес К. 100 франков и пошел в кафе. Вчера был в «Совр. Зап.». Там встретил Буниных. Вера Ник. стала чем-то вроде тихой и улыбчивой идиотки. Объявила, что собирается ко мне. Я говорю: «Как, помилуйте, рад бы, да вот Н. Н. в Ницце».— Это, говорит, ничего, я именно к вам хочу прийти. Вы когда дома бываете? — Бунин ее урезонивает: «Да куда ты пойдешь? Позови его к нам, он же на холостом положении...» — Нет, я именно к нему хочу! О Господи, неужели придет? Что я с ней буду делать?

Потом пошел в «Табак». Там Зина скрипом скрипит, о тебе — ни звука. Позвала меня в пятницу обедать. Пойду. Еще звали К. и Вишняки. Но я отказался. Пойду только к Мережк. и в субботу к Жене.

Вчера после обеда (чудного, домашний стол — великая вещь!) я отдыхал, потом брал ванну (или меня брала ванна, что гораздо точнее, живописнее и как-то сладострастнее), потом писал. Всего написал я после твоего отъезда, за два дня, 4 страницы. Это нормально, но сегодня я все написанное буду переделывать, это уже хуже. Вечером иду на писательский обед. Но весь день буду работать, а потом завтра весь день, послезавтра и т. д. Хронику я отвез еще в субботу, и теперь у меня до будущего понедельника только один обязательный дневной выход — в субботу к Жене. Даже забавно.

Вишняк сказал, что Алданов меня собирается звать к себе на четверг, у них «прием».

С Кутеповым что-то осложняется, ибо сегодня прочел в газетах, что кабинет Тардье пал. Пал он по второстепенному финансовому вопросу, но *накануне запроса о Советах*. Коммунисты, социалисты, рад.-соц. и радикалы соединились так, как я предсказывал. Ты надо мной смеялась. Все «поражены неожиданностью», а я не поражен. Посмотрим, что будет дальше. Вся эта публика оказалась умнее, чем я думал: она свалила кабинет *накануне* интерпелляций, что, конечно, очень находчиво и тонко.

Я заказал не 3, а 4 бутылки лекарства, вчера получил и начал пить.

Пиши мне всю мелюзгу, я хочу знать, что и как, где был кто, что ел, а что только нюхал. Будь здоров, не уставай. Я по тебе еще совсем не скучаю, время дьявольски заполнено. Работа, хозяйство, то да се... Пасьянсов не раскладываю совсем. За все время — два разложил вчера вечером... Целую ручки-ножки и бегу опускать это письмо и менять 100 фр., потому что того и гляди придет прачечная девчонка. Открытки пошли обязательно... а также нашей консьержке, из которой бьет фонтан материнской нежности ко мне.

Как ты хорош! Я молю Бога о хорошей погоде в Ницце. У нас второй день мороз, а сегодня ночью был снег, все белое. Я не простужусь.

Пиши чаще!»

Два следующих письма относятся к тому же году. Ходасевич осенью поехал в русский пансион Арти, работать над «Державиным».

«Арти, 29 окт. 930.

...Я доехал благополучно и поселился в проколенковской комнате, где, оказывается, теплее. Впрочем, топят на совесть.

В комнате просторно. Два стола (общей длиной больше сажени) сдвинуты у меня рядом. Бумаги и книги на них разложены в упоительном порядке. Перед столами два стула, и я не двигаю книг, а пересаживаюсь сам. Очень удобно. Лампа пристроена и сияет, озаряя все поле действий. На правом фланге — машинка.

30 октября.

Вот так выспался! С 10 до половины девятого. Видел во сне, будто Гукасов устроил тир из живых детей и подстрелил одного мальчика. Еще видел царевича Алексея. Одним словом — мальчики кровавые в глазах. Должно быть, это потому, что меня немножко тревожит Хроника. Не можешь ли вечером в пятницу послать мне 2 страницы, от руки написанных? Я получу их утром в воскр., перепишу, прибавлю кое-что от себя (у меня есть тема на целую страницу) и пошлю в тот же день. Ах, если бы ты это сделала! Ну — хоть *утром* в субботу пошли!

Напиши, кого и что видела и вообще разное, а то вдруг я заскучаю. Поцелуй себя и кису. Промывай ему уши».

«3 нояб., понедельник.
Перед ужином.

...Вчера кончил Министерство и сегодня послал Маковскому. Нынче день ясный, ходил гулять. Воздух такой прозрачный, что видно домики вдали, которых не видно летом. Потом читал, делал выписки и фишки для дальнейшего. После ужина надеюсь написать переход от службы к Шишкову (конец 8 главы), а завтра засесть за Шишкова.

До сих пор не брился, но завтра приезжает какая-то мамаша с какой-то дочкой — и я решил окраситься, чтобы их не путать. Они — в первый раз: пожалуй, и без моей бороды ужаснутся: мокровато, скучновато, грязновато да как-то и хамовато, С. М. мало сносный мужчина, хотя дружба наша отнюдь не омрачена ничем. Но есть с ним за одним столом скучно. Вот, Державин все у императрицы обедал (а меня и Цетлины не зовут).

За сим — иду ужинать. Завтра утром еще напишу что-нибудь, если будет что. Впрочем — всегда можно поговорить о моей любви к Вам, Нися,— это тема неиссякаемая. Боже, как ты хорош!..

4-го вторник.

Спасибо за деньги. Получил сразу три пакета газет...»

Что-то медленно, едва заметно начало портиться, изнашиваться, сквозить, сначала во мне, потом, в течение почти двух лет — вокруг меня, между ним и мною. То, что было согласием, осторожно начало оборачиваться привычкой к согласию, то, что было утешением, постепенно стало приобретать свойства автоматичности. То, что было облегчением, поворачивалось механически, включалось и выключалось по желанию. Мера всех вещей вдруг перестала быть, вернее, потеряла смысл и, как пар, рассеялась. Я портилась и портила все вокруг себя, и начала опасаться, что испорчу наше с ним общее, не замечая, что этого общего уже нет такого, каким оно было еще недавно. Во мне образовались какие-то узлы, и я стала бояться о них думать, чувствуя, что надо уже не думать, а поступать и действовать. Я стала бояться свободного времени и впервые в жизни мне стало казаться, что время остановилось. Куда ему двигаться и зачем? Но мне хотелось, чтобы оно шло скорее и привело меня к решениям. Вся жизнь вокруг оказалась «не то»: не то было утром, когда я слонялась без всякого дела по комнатам (Ходасевич просыпался иногда в одиннадцать, иногда в двенадцать), и днем, когда я не могла ни читать, ни писать, и наконец — вечерами, которые и всегда были немного меланхоличны, а теперь были страшно печальны. Я помню, что много ходила по городу, по далеким, незнакомым мне до того кварталам, где-то у Пер-Лашез или за Бютт-Шомон. Помню одну прогулку по берегу канала Сен-Мартен, помню хорошо, хотя хотела бы забыть ее.

Я иногда больше не чувствовала себя живой, я чувствовала себя надломленной внутри всеми этими годами, этой жизнью, всем, что случилось со мной. «Да, я сломалась,— думала я,— и теперь я никому не нужна, а главное — себе не нужна, и, конечно, ему». И мелочи раздражали меня, пустяки, о которых не стоило и думать, которых я раньше не замечала. И кажется, они раздражали и его, но он этого не показывал. Может быть, я и сама раздражала его? Может быть, он видел все то, что происходило со мной, но молчал и ждал. Думал, что в с е о б р а з у е т с я. Но никогда ничего не образовывается — таков закон жизни. «На что я ему такая,— думала я,— и себе на что? Хорошо было бы приходить к нему раз в неделю в гости, и тогда все опять было бы по-прежнему: я была бы опять не разбитой, цельной, не сломанной. И могла бы, как прежде, быть для него тем, чем он хотел, чтобы я была».

Действительность научила меня, что даже тогда, когда ничего не происходит, ничего не стоит на месте; может ровно ничего не случиться, а человек — не тот, что был. Мир не стоит, мир движется, сегодня не похоже на вчера и зафиксировать что-либо даже в себе самой — невозможно. С утра до вечера человек уходит далеко. Происходят таинственные процессы, ни на мгновение не прекращается возникновение звеньев цепи, мутаций, переходов. И я знаю теперь, чего не знала тогда: что я не могу жить с одним человеком всю жизнь, что я не могу делать его центром мира навеки, что я не могу принадлежать одному человеку всегда, не калеча себя. Что я не с к а л а, а р е к а, и люди обманываются во мне, думая, что я сказала. Или это я сама обманываю людей и притворяюсь, что я скала, когда я река?

В моем н е п о с т о я н с т в е, каким я вижу его теперь, в свете собственной жизни и в свете жизни других людей, моих современников, я принадлежу к огромному большинству живых. Не все считают нужным признаться в этом непостоянстве даже себе: одни считают, что они все равно ничего в себе изменить не могут, и значит — надо это принять и с этим примириться; другие подавлены чувством вины, но бороться не в силах; третьи считают, что до подходящего случая — если таковой представится — они кое-как будут терпеть и надеяться, что все обойдется; четвертые ждут, что они с годами изменятся, завянут, устанут и примут status quo; и наконец пятые думают, что иначе и быть не может, что это следствие процесса жизни.

Сначала — трещина во мне, затем — трещина в нашей общей жизни. Эта жизнь начинает идти к концу. В те годы мы начали время от времени разлучаться — иногда на три дня, иногда на неделю, иногда на две, и каждая разлука все явственнее показывала мне, что скоро я начну другую жизнь. Разлуки

были случайные, но естественные: он уехал в Версаль дописать главу «Державина», которая не давалась, я уехала на три дня к Мережковским, в Торран, на два дня к Виржинчик, в Пэра-Каву, он уехал на две недели в Арти, под Париж, измученный трудностями в «Возрождении», я вернулась в Париж с Ривьеры (где мы жили с Вейдле и его будущей женой) одна, чтобы подготовить все к его приезду... И каждый раз я чувствовала все сильней, когда оставалась одна, тот «полубезумный восторг» быть без него, быть одной, свободной, сильной, с неограниченным временем на руках, с жизнью, бушующей вокруг меня, с новыми людьми, выбранными мною самою.

Когда мы опять возвращались друг к другу, смирения во мне уже не было. Он теперь вечерами раскладывал бесконечные пасьянсы под лампой и садился работать после полуночи, после того как я ложилась спать. Мое беспокойство, быть может, мешало ему, я сама чувствовала, как оно распространяется по всему дому. Проработав часов до шести утра, он ложился и просыпался около двух. В это время, большую часть утра убив на домашние дела и позавтракав, я уходила — в библиотеку, в редакцию, бродить, возвращалась часов в пять, готовила обед и после обеда уезжала от пасьянсов и его жалоб и страхов на Монпарнас, в «Селект», в «Наполи», где в тридцатом, тридцать первом, тридцать втором году собиралось иногда до двадцати человек за сдвинутыми столами, и не только «младших», но и «старших» (Федотов, Зайцев). Иногда уходил и он, играть в бридж в кафе Мюрат, у порт Отей, и когда я возвращалась, его часто еще не бывало дома. Засыпая, я слышала поворот его ключа в замке, я вставала, готовила ему чай, сидела с ним, пока он не уходил к себе и не садился за письменный стол.

Теперь я знала, что уйду от него, и я знала, что мне надо это сделать как можно скорее, не ждать слишком долго, потому что я хотела уйти н и к к о м у, а если эта жизнь будет продолжаться, то наступит день, когда я уйду к к о м у-н и б у д ь и это будет ему во много раз тяжелее. Этой тяжести я не смела наложить на него. Я должна была уйти н и к к о м у, чтобы не нанести ему слишком большой обиды. Я не обманулась, когда обдумывала все это. Первым его вопросом было:

— К кому?

И в ту минуту, как никогда, я почувствовала огромное, легкое счастье чистой совести:

— Ни к кому

Но через несколько дней он спросил еще раз:

— К кому? к К.? к С.? к А.?

Мне стало чуть-чуть смешно, и я сказала:

— На чем мне поклясться? На Пушкине?

В последние недели нашей общей жизни его стали заботить мои денежные дела: как я собираюсь сводить концы с концами? Расчет моей плановой бедности был следующий: комната в гостинице — 300 франков в месяц, еда — 10 франков в день. Итого — 600. Эти 600 франков в месяц я могла заработать в «Последних новостях» — два обязательных фельетона, иногда — литературная заметка, кинокритика, по воскресеньям — работа машинистки в редакции. Ну, а починка туфель? Прачка? Книжки? Одежда? — Как-нибудь. Что-нибудь придумаю. Набежит из «Современных записок». Он не мог помочь мне, но обещал оставить мне литературную хронику Гулливера. Я за это была благодарна ему.

Я оставила в квартире все, как было. Я взяла два ящика своих книг и книжную полку, два чемодана с платьями и бельем и картон с бумагами. Все кругом продолжало стоять, как если бы ничего не случилось: петух на чайнике, мебель и мелочи, лампа и диван, гравюры старого Петербурга, которые я когда-то купила в Латинском квартале на его карточный выигрыш. Он стоял у открытого окна и смотрел вниз, как я уезжаю. Я вспомнила, как, когда я снимала эту квартиру, я подумала, что нам опасно жить на четвертом этаже, что я никогда не буду за него спокойна. Но его внимание было в последние дни обращено в другую сторону: нынче днем он сказал мне, зайдя на кухню (где я варила ему борщ на три дня):

— Не открыть ли газик?

Теперь, в открытом настежь окне, он стоял, держась за раму обеими руками, в позе распятого, в своей полосатой пижаме.

Был конец апреля 1932 года.

Я нашла комнату в «Отель де Министэр», на бульваре Латур-Мобур, между Сеной и Эколь Милитэр, в квартале, который всегда любила — его широкие улицы, обсаженные деревьями, были тогда еще тихи и пустынны. Дворец Инвалидов был виден из моего окна, а по другую сторону мигала огнями по ночам Эйфелева башня. Комната была на шестом этаже, подниматься надо было по узкой крутой лестнице; окно было в скошенной крыше; за ширмами, где был умывальник, стояла спиртовка, на которой я могла вскипятить себе чай, так что не всегда я обедала всухомятку. В тот первый вечер я расставила книги и повесила платья в шкаф, разложила бумаги на маленьком, шатком столе и повалилась в постель, как только стало темно. От усталости я ничего не понимала, в голове не было ни одной мысли, в теле вовсе не было сил. Я спала до четырех часов следующего дня, когда он пришел посмотреть, как я устроилась, и повел меня обедать, а вернувшись, я опять повалилась, едва успев раздеться, и опять спала до следующего вечера. И так продолжалось трое суток, пока на четвертый день я не проснулась в обычное время.

часу в девятом, и взглянув на потолок моей мансарды поняла — в одну единственную, закругленно-обнявшую всю меня, сияющую радугой минуту все, что я сделала.

Я ходила в тот день по каким-то садам, сидела под зеленевшими деревьями, слушала, как идет под мостами река, с тем же, сквозь всю меня, движением, с каким идет городская толпа. Я, кажется, перед самым закрытием забрела в Лувр и там бродила в Египетском отделе, где раньше не бывала. А услышав звонок, бросилась к выходу и опять сидела под деревьями, и опять стояла на мосту. И потом одним махом взбежала к себе, все шесть этажей, и открыла какую-то книжку, взятую с полки, потом другую. Все было моим, и сама я была ничьей. Это казалось таким невероятным, невозможным, непомерным счастьем. Что я буду делать с ним? Куда его дену? Как спрячу?

Все месяцы этого жаркого лета в пустом городе, с долгими знойными днями и короткими грозовыми ночами, я читала. Я с утра, еще лежа в постели, открывала книгу и так продолжалось до ночи. Я уходила на Шан-де-Марс и там продолжала читать или садилась в кафе и за чашкой кофе продолжала чтение. В комнате моей под крышей было невыносимо жарко и невозможно было спать, и я продолжала читать ночью. Из всего, что было прочтено тогда, самым драгоценным были великие нашего века: Лоуренс, Хаксли, Вирджиния Вулф, Джойс (в переводах, конечно), Валери, Клодель, Жид, Кафка и перечитанный той осенью Пруст. Книга для меня — всегда двуострое оружие: она беспокоит меня и организует меня, переворачивает меня и ставит на место, строит. Она накладывает мне на глаза собственный свой рисунок и снимает с моих глаз пелену. С этого (1932 года) я редко стала возвращаться к старой литературе и начала остро любить все «наше». О старой литературе Шатобриан когда-то выразил замечательную мысль, только его XVIII век я заменяю XIX-ым. Он сказал (в «Замогильных записках»):

«Когда я перечитываю большинство писателей XVIII века, я смущен и тем шумом, который они произвели, и моим прошлым восхищением ими. То ли язык пошел вперед, то ли он отстал, то ли мы шагнули в сторону цивилизации, то ли отступили от нее в варварство, но только мне совершенно ясно, что я нахожу что-то поношенное, что-то вылинявшее, что-то тусклое, едва живое и холодное в авторах, которые составляли упоение моей юности. Даже в самых великих я нахожу недостаток чувства, бедность мысли и стиля».

Я поняла в тот год, что все новые современные нам политические, экономические, психологические и любовные отношения лучше всего выражаются интеллектуальной инверсией и иронией художественного слова, когда снимаешь инверсией и иронией тысячелетний покров и обнажаешь жизненные отношения между людьми, чтобы через инверсию и иронию, в косвенном подходе, приблизиться к ним и ухватиться за них. В мире остался только человек — описания природы, в которой он живет, прогулки в его семейные дела, производственные отношения имеют второстепенный интерес. Только он сам важен в своей современности, а все остальное есть двухмерное прошлое, в котором действовали слабые в функциональном смысле законы. Для всей великой старой литературы — кроме нескольких исключений, к которым принадлежат греческие трагики, Шекспир и Сервантес, — я должна делать усилие исторического воображения, и это усилие затем удерживать; и только новая литература, как воздух, входит в меня. Новый человек, живущий в условиях новой технологии, есть прежде всего — новая идея о человеке, но новой идеи не бывает без обновления стиля, и потому в обновленном стиле все наслаждение, идущее на меня от нового искусства. Нашим несчастьем, трагедией нашей, «младших» в эмиграции, было именно отсутствие стиля, невозможность обновить его. Стиля не могло быть ни у меня, ни у моих сверстников. Один Набоков своим гением принес с собой обновление стиля. Не вопрос тем, не вопрос языка был для эмигрантской литературы роковым. Роковым был для нее вопрос стиля. «Старшие» откровенно признавались, что никакого обновления стиля им не нужно, были старые, готовые формы, которыми они так или иначе продолжали пользоваться, стараясь не замечать их изношенности. Те из «младших», которые были талантливы, только могли модулировать эти формы. «Не может быть обновления идей без обновления стиля»,— говорит Шатобриан. Ни в структуре фразы, ни в словаре мы не принесли в литературу ничего нового.

Наше новое тогда могло быть только в мутациях содержания. Этих мутаций ждал от нас наш малый круг читателей, критиков, «сочувствующих». Но мутации содержания без обновления стиля ничего не стоили, не могли оживить того, что по существу мертвело. «Безвоздушное пространство» (отсутствие страны, языка, традиций, и — бунта против них, как организованного, так и индивидуального) было вокруг нас не потому, что не о чем было писать, а потому, что при наличии тем — общеевропейских, российских, личных, исторических и всяких других — не мог быть создан стиль, который бы соответствовал этим темам. Эта драма литературы в изгнании есть еще одно доказательство (если оно кому-нибудь нужно), что «содержание» произведения есть его «форма», а «форма» есть «содержание». Кое-что в нашем эклектизме иногда как будто бы обещало настоящее искусство или указывало направление, откуда оно могло прийти,

но в итоге осуществлено было слишком мало. Здесь я сужу не только мое поколение, но и себя самое, конечно, вполне допуская, что через пятьдесят лет будет вынесен нашему периоду русской литературы иной, более мягкий приговор.

Было также усиленное давление со стороны тех, кто ждал от нас продолжения бунинско-шмелевско-купринской традиции реализма (их термин, не мой). Попытки выйти из него никем не понимались, не ценились. Проза Цветаевой — едва ли не лучшее, что было в эти годы — не была понята. Поплавский был прочтен после его смерти. Ремизова никто не любил. Я сама слышала, как Милюков говорил: «Окончил гимназию, окончил университет, а Цветаеву не понимаю». Если человек не понимает чего-то, значит, он не годится для того места, на котором он сидит, но на это дерзкое замечание, сделанное за его спиной вполголоса, ответ был один:

— Газета, прежде всего, политическое (и коммерческое) дело, литературу мы только терпим.

И вдруг перед самой войной раздались голоса: а что если от всей четверти века изгнания останется только литература? Пусть даже плохонькая, пусть едва живая, едва самостоятельная, но все-таки что-то сказавшая, а вся политика (непримиримости, соглашательства, «засыпание рва» и «углубление рва») есть нуль, который рассеется дымом, не оставив и следа? А что как «стишки» и «рассказики» (требование редактора газеты было всегда одно и то же: «с сюжетцем») будут жить дольше, чем передовые самого Павла Николаевича, чем исторические рассуждения (не без симпатии к российским монархам) Фондаминского или «белая идеология» правых, самые имена которых исчезнут без следа? Откуда впервые раздались эти голоса, я не помню. Может быть, это сказал Ходасевич, может быть,—Федотов, может быть, кто-нибудь из «молодых» что-то «ляпнул», или случайный оратор какого-нибудь литературного или политического собрания изрек это с эстрады? Или вопрос этот был сформулирован в гостиной Цетлиных как парадокс, над которым посмеялись?

Эстетических идей не было почти ни у кого, словно из века символизма мы шагнули назад, когда считалось, что для писания стихов нужны известные правила, а проза пишется самотеком. Их не было в «Современных записках», потому что ни Фондаминский, ни Руднев, ни Вишняк не имели ничего общего с литературой. Их не было и в «Числах», где были сделаны некоторые попытки, однако не была найдена терминология, чтобы сказать о насущной беде: редактор «Чисел» жил верой в чудо, что было естественно, так как к этому времени он впал в религиозный фанатизм и сравнивал свою подругу с Христом, потеряв всякое чувство меры. Но чуда не произошло. Русский бог отказывался помогать нам.

Я пришла к прозе в середине двадцатых годов. Первые мои рассказы были напечатаны в «Днях» и в «Новом доме». В этих рассказах видна полная неопытность слова, но где-то между строками можно найти что-то похожее на живое воображение и попытку символизации. Затем, когда я пришла в «Последние новости», я начала свой цикл «Биянкурские праздники», которые продолжала несколько лет. Это была лирико-юмористическая, иронико-символическая серия рассказов о жизни русских в Биянкуре — русских нищих, пьяниц, отцов семейств, рабочих Рено, певцов, поющих во дворах, деклассированных чудаков. Был рассказ о двенадцатилетней девочке, подобравшей чужого ребенка; о бывшей графине, стоящей в воскресенье на паперти православного собора с «памятником» Николаю Второму у левого клироса; о генералах, подающих в ресторанах, и полковниках с выпяченной грудью, которые ночью — шоферы такси, а днем пишут мемуары об ошибках врангелевского отступления. Рассказы были неровные, некоторые написаны наспех, с невысокого уровня эффектами, но по крайней мере половина из них любопытна; есть в них следы Гоголя, Зощенки, «Скверного анекдота» и Антоши Чехонте, и следы меня самой — ищущей «бытового слова», сюжета с лирико-комической стороной жестокого романса, и со слезой, напоминающей не человеческую, но сырную слезу.

Рассказы эти имели большой успех. «Последние новости» в это время выходили тиражом в тридцать — тридцать пять тысяч экземпляров ежедневно, их читали буквально все, и не только в Париже. Все меня знали. Мадам Пышман норовила положить мне в мешок банку консервов, русский сапожник однажды набил мне подметки даром, перевозчики, когда мы переезжали в Лонгшен (русские), отказались взять на чай. На русских вечерах меня узнавали, и однажды, в вагоне метро, ночью, все головы повернулись ко мне: с какого-то русского праздника человек тридцать русских ехало домой (в Биянкур, конечно), и я услышала шепотом произнесенную мою фамилию.

В «Современных записках» я печатала повести. Они были сначала подражательны, каким был и мой первый роман «Последние и первые», о котором было довольно много сочувственных отзывов. Достоевский в эти годы подавил меня сверх всякой меры. И я вышла из него только для того, чтобы пуститься в более легкую литературу — как бы назло ему. Второй роман, а отчасти и третий были реакцией на это подавление, но уже в середине тридцатых годов я начала понимать, что самая подходящая для меня форма есть повесть (длинный рассказ). В моей книге «Облегчение участи. Шесть повестей», вышедшей в Париже (издание YMCA) в 1948 году, собраны мои лучшие вещи того периода. О «Ро-

канвале» с большой похвалой писал Савельев-Шерман в «Современных записках». Рассказы «Облегчение участи», «Воскрешение Моцарта» и «Плач» я считаю до сих пор отличными рассказами. О рассказе «Лакей и девка» Бунин говорил мне, что сделал большое количество замечаний на полях своего номера «Современных записок» (он был напечатан в первый раз в журнале, в книге 64) и обещал мне когда-нибудь показать их. Где этот экземпляр? В каком архиве? В каком подвале антикварной книжной лавки?

Книги тогда издавались в количестве восемьсот—тысяча пятьсот экземпляров. Бунин издавался в 1500 экземпляров, мои книги печатались в 1000 экземпляров. Пьеса в русском театре шла самое большее десять — двенадцать раз (пьесы Тэффи и Алданова), моя комедия «Мадам» в 1938 году прошла четыре раза. Один раз — значило провал, два раза — небольшой успех. Публика хотела театра реалистического, она мечтала видеть на сцене, как пили чай из самовара, а Набоков давал ей «Событие» и «Изобретение Вальса», где Вальс оказывался не танцем, а человеком, и где одна из женских ролей была написана стихами, и бывшая актриса МХТ не знала, как их читать. Когда в конце моей пьесы одна часть действующих лиц усомнилась в существовании другой части, никто ничего не понял, а М. Н. Германова (это было незадолго до ее смерти) даже нашла, что тут «не без Леонида Андреева». Кстати: не забыть мне спектакля, где она играла Грушеньку, а Рощина-Инсарова — Катерину Ивановну: обе выглядели на сцене, будто были бабушками этих героинь Достоевского или как будто это были т е с а м ы е Грушенька и Катя, которые были молоды в семидесятых годах прошлого века и сейчас все еще живут на свете.

Старый театральный критик «Последних новостей» довольно добродушно отнесся к моей пьесе. Я вышла на сцену, когда меня вызвали, и даже получила цветы. Зато критик «Возрождения», Сургучев (с которым я уже много лет не кланялась), автор в свое время нашумевших у Станиславского «Осенних скрипок», отчитал меня за то, что в последнем акте, по ходу действия, у героя пьесы не было достаточно времени, чтобы сходить в баню.

Так писал критик «правого» «Возрождения», но ведь и «левые» в эмиграции, обладавшие полнотой власти в литературном журнале, были не менее невежественны, когда дело касалось искусства: Милюков не понимал Цветаеву, Руднев — Набокова, а Н. В. Вольский (он же Валентинов, он же Юрьевский) напечатал свои воспоминания о Белом и Блоке, где обозвал их полоумными шутами. Впрочем, Вольский поражал меня не только своими мнениями о литературе, но и признаниями совершенно другого характера: однажды будучи у него уже в 1960 году, я сказала, что негритянский вопрос в США в конце концов будет разрешен и черные и белые через сто лет сольются. Старый социал-демократ с ужасом посмотрел на меня:

— Какие же у них будут дети?

— Вероятно, серые,— сказала я,— лет через тысячу — серые, с легким коричневатым оттенком.

Он покачал головой:

— Нет, не согласен. Все, что хотите, но как же Венера Милосская? Она тоже будет серая?

Что он хотел сказать словами «все, что хотите»? Он тогда же признался мне в разговоре, что ямба от хорея не отличает и думает, что Эдуард Манэ — последнее слово в живописи.

Две интеллигенции делали русский ренессанс XX века: одна была более или менее безграмотна в политике (во всяком случае — Ленина не читала), к ней принадлежали большие поэты и прозаики, художники, композиторы, театральные деятели. Другая жила целеустремленно в том или другом активном революционном действии. Вторая отчасти накладывала на первую критерий, которым судилась русская история и действительность. Первая своего эстетического критерия на вторую наложить не сумела. Цели их были различны, и различен был «дух» — первая, несмотря на все свои уклонения, зависела от Европы и Запада, вторая — несмотря на зависимость свою от Энгельса и Маркса, была теснейшим образом связана с исконно-русскими народными чертами. Такой видится мне сейчас первая четверть нашего века.

В моих стихах, как и в прозе, была в то время та «полуформа», которую можно найти в стихах почти всех моих сверстников тех лет. Я так и не издала сборника стихов и думаю — хорошо сделала. В поэзии нашей даже Набоков ничего не мог поделать со старой нашей просодией, которая должна наконец быть сломана, иначе у русской поэзии нет будущего. Впрочем, одно мое стихотворение тех лет почти все знали наизусть:

Гитара

В передвечерний час,
В тумане улиц старых,
Порой плывет на нас
Забытый звон гитары.
Или открыли дверь
Оттуда, где танцуют?
Или в окне теперь
Красавицу целуют?
Над этой мостовой
Та песнь звучит, как прежде,
Старинною тоской
По счастью и надежде.
Ее поет другой
Теперь, в часы заката,
Она осталась той,
Какой была когда-то.
А ты? Прошли года
Речной волны быстрее,
Ты любишь, как тогда,
Ты стал еще нежнее,
Ты стал еще верней,
Чем в первые свиданья,
Твой жар мучительней,
Мучительней признанья.

Это «А ты», появляющееся неожиданно, и это «мучительней», которое хочется произнести с ударением на последнем слоге, дают ключ всему стихотворению как к пародии жестокого романса. Тогда осмыслится и «речная волна», и «туман улиц», и «звон гитары» как осмеянные банальности, и выходит наружу параллель «ее поет другой» и «она осталась той», поддержанная обращением-вопросом, где человек, конкретный, сегодняшний, противоположен не только тому, прежнему, но и песне, звучащей в «вечерний час».

Много позже, после перерыва в двадцать лет, я вернулась к стихам, но уже белым.

Связь с прошлым России в те годы значила для меня меньше, чем связь с Россией сегодняшней. Постепенно революционное лицо ее менялось: Троцкий был отстранен, затем изгнан. Горький вернулся и жил там, умиленный всем виденным, лишенный дара предвидеть ближайшее будущее — свое и русской литературы или, по своей привычке, закрывший на будущее глаза. Он умер, и за тридцать лет тайна его смерти только сгустилась — о ней ни слова нигде, только о болезни и о похоронах! Затем начали исчезать люди — в журналах Москвы и Ленинграда пропали десятки имен, зато на каждой странице появилось имя того, кто стал в центре так называемого «культа личности». Для меня всегда было и есть что-то глубоко омерзительное во всяком «культе», в фанатизме в любой форме, фанатизм мне кажется самой страшной, безобразной, унизительной и опасной чертой человека. Как это ни покажется странным, но он вызывает во мне прежде всего физиологическую реакцию: я чувствую всю его противоестественность, то есть противность моему естеству, сама моя природа ему противится, и весь мой организм реагирует на него легким, отдаленным позывом к тошноте. Меня начинает мутить, и тогда я знаю, что это не только отвратительно, но и противоестественно: этот пробный камень физиологической реакции еще никогда не подвел меня.

Кое-кто вернулся в СССР в те годы: Билибин, Н. В. Серова, Е. А. Софроницкая, С. Прокофьев, позже — А. И. Куприн, еще позже — Цветаева. Почти все эти люди рассчитывали там на лучшую жизнь — не материальную, а личную и, может быть, творческую. Билибина французы художником не считали, и он уехал, кляня французских издателей за то, что они лишь изредка приглашали его иллюстрировать детские книги (переводы русских сказок). Наташа Серова, дочь художника, после смерти брата-актера стала заниматься фотографией. Дела ее не шли. Маленькую, толстенькую, ее никто не принимал всерьез как женщину, между тем молодость уходила. Помню, однажды она вернулась из советского консульства, куда ходила за визой, и рассказывала, что там все двери автоматически запираются на замок и все называют друг друга на «ты», что произвело на Алданова большое впечатление: он в это время печатал свой роман «Пещера», где изображал советских, вполне приличных послов, атташе и машинисток. Елена Софроницкая, дочь Скрябина и жена пианиста (дочь Скрябина от первого брака с Верой Ивановной и сводная сестра Ариадны, позже жены Д. Кнута), приехав в Париж с мужем, обратно в Москву с ним не вернулась, она несколько лет колебалась и, наконец, уехала в Советский Союз, говоря, что ей обещали место в музее Скрябина. Отъезд С. С. Прокофьева прошел для меня незаметно. Софроницкая говорила мне, что он посадил жену и двух детей в автомобиль, прицепил прицепку с багажом и покатил на родину. Сомневаюсь, чтобы это было так, но, будучи в Америке, он не раз говорил: «Мне здесь места нет, пока жив Рахманинов, а он проживет еще, может быть, лет десять или пятнадцать. Европы мне недостаточно, а вторым в Америке я быть не желаю». Тогда-то он и принял свое решение.

Самое любопытное в отъезде Куприна (и что я узнала много позже) было то, что его уговорила поехать в СССР дочь, красавица Киса, но в последний момент Киса осталась в Париже, а старики уехали. Они очень бедствовали во Франции. Елизавета Мавриикиевна держала маленькую библиотеку в 15-ом округе Парижа, где жило много русских. Писать Куприн уже не мог. Главным членом семьи был кот Юю, который был так ленив, что, когда он лежал на радиаторе и ему делалось слишком жарко, он орал на всю квартиру, чтобы пришли и сняли его — сам спрыгнуть не желал. Киса позже вернулась в Москву. А Юю давно

...в тех садах за огненной рекой,
Где с воробьем Катулл
И с ласточкой Державин,

— и где находится, очевидно, и Мурр, вдохновивший Ходасевича на эти замечательные стихи, которых сам он не ценил по достоинству.

М. И. Цветаеву я видела в последний раз на похоронах (или это была панихида?) кн. С. М. Волконского, 31 октября 1937 г. После службы в церкви на улице Франсуа Жерар (Волконский был католик восточного обряда) я вышла на улицу. Цветаева стояла на тротуаре одна и смотрела на нас полными слез глазами, постаревшая, почти седая, простоволосая, сложив руки у груди. Это было вскоре после убийства Игнатия Рейсса, в котором был замешан ее муж, С. Я. Эфрон. Она стояла, как зачумленная, никто к ней не подошел. И я, как все, прошла мимо нее.

В эти годы, в связи с отъездом в СССР некоторых политических эмигрантов, многие из нас, в том числе и я, задавали себе вопрос: что именно мешает нам принять советский режим? Литераторам прежде всего мешала политика компартии в делах литературы. Сейчас, через тридцать лет, после открытой «реабилитации незаконно репрессированных»,

каждому ясно, что угрожало тем, кто, вернувшись, попытались бы писать «полным голосом». Об этом никогда не могло быть и речи. Но другая мысль приходила нам в голову: что если отказаться от литературы и вернуться, чтобы стать мелким служащим в провинции, или культурным работником в Сибири, или, проработав на лесоповале несколько лет, затем попытаться устроиться на интеллигентную работу? Ответ был один: Сталин. Лично я могу сказать, что в течение двадцати пяти лет не было ни дня, когда бы я не чувствовала его присутствия в мире, не чувствовала бы негодования, отвращения, унижения, страха перед этим именем. В марте 1953 года если не во всем, то во всяком случае в огромной его части мое отношение к советскому режиму изменилось. Я вижу конец обожествлению тирана — и в этом факте, как мне думается, заложена возможность эволюции коммунистического мышления. Окаменению идеологии и жестокости практики — часто бессмысленной — пришел конец. Начался ход истории, который был остановлен,— духовной истории (вернее — интеллектуальной) жизни целой страны. Так по крайней мере мне думается сейчас, когда я пишу эти страницы, в эпоху «оттепели». Но, конечно, все возможно. И если не будут пересмотрены основы, на которых возник в свое время «культ личности», окаменение мысли, заледенение идеологии может вернуться в любой день.

Нет ничего страшнее, чем окаменение мысли, как у отдельного человека, так и у многомиллионного народа. Если это происходит от естественных причин старческого склероза, то это хоть и тяжелое зрелище, но мы принимаем его как неизбежное, как начало слишком медленно идущего конца. Но когда это происходит по деспотической воле одного человека и мы наблюдаем окостенение разума целой нации, скованной страхом «ревизионизма», тогда тирану нет оправдания, потому что мысль есть энергия, которая не может быть остановлена или заморожена, и не может быть народ отрезан от общей эволюции цивилизации.

Связь, разумеется, есть явление двухстороннее, и потому связи с советской литературой у меня не было и быть не могло, но было одностороннее (с моей стороны) знание о ней, постоянное вникание в нее, интерес к ней, к стихам, к прозе, к литературной полемике, к съезду 1934 года, к малым, ползущим по лестнице вверх, и к большим, вытолкнутым в забвение. Оттуда все мало-мальски ценное доходило до нас. С Запада же на Восток ничего не доходило, если не считать «образцов эмигрантской печати» для пополнения мало кому доступных советских «секретных фондов».

Между СССР и уходящими постепенно крупными людьми старой России, между собственными немощами и каменным лицом новой Франции мы жили два десятилетия. Я говорю «мы», потому что, несмотря на то, что никакой действительной связи, никакого общего делания, действия, работы, идей у нас не было, я не могу себя оторвать от моего поколения, я не настолько самоуверенна, чтобы раз и навсегда отъединить себя от всех, и, с другой стороны, я — не тот обыватель, который дрожит за собственными четырьмя стенами, заперев дверь на ключ — не только от воров, но и от соседей. Я не чувствовала и не чувствую потребности в коллективных переживаниях, но я также знаю, что такое esprit de corps. Коллективность во всех видах мне чужда, я лучше соглашусь делать тяжелую работу одна, чем более легкую коллективно, но я в то же время помню, что связана законами пространства и времени с людьми моей судьбы. Коллективные поиски культуры — такое характерное русское явление,— коллективные поиски ответов на «проклятые» вопросы меня не соблазняют. Я как могла разрешила эти вопросы сама для себя и только скажу, что эти ответы ни от кого не скрываю.

Каменное лицо послевоенной Франции, обращенное к нам, были дадаисты, сюрреалисты, начинающие абстракционисты и заканчивающие свою карьеру кубисты, поэты, давно пишущие вольным (и конечно белым) стихом, все еще смотрящие на Москву как на покровительницу конструктивизма, жадно хватающиеся за переводы на французский Маяковского, производственных романов, пьес Сейфуллиной, за кино Эйзенштейна, за «перманентную революцию» Троцкого, впрочем, не совсем понимая, почему Стравинский не там, а здесь, почему Дягилев умер в долгах в Венеции, когда ему наверное дали бы место директора советских театров, почему Эренбург не переиздает своих старых книг. Старое поколение эмиграции было ими понято следующим образом: люди потеряли текущий счет в банке, именье, теплое местечко — потому они тут. Мережковский, может быть, был губернатором (французские писатели в большинстве имеют по две профессии), Бунин — банкиром, Бальмонт командовал гвардейским полком. Все понятно. Но откуда взялись эти, которым в год революции было пятнадцать, а то и десять лет? Вероятно, отцы их были великими князьями? В таком случае тем хуже для них!

Тридцатые годы — эпоха американской депрессии, мирового экономического кризиса, восхождения Гитлера, абиссинской войны, испанской войны, «культа личности» в Советском Союзе, разоружения одних и вооружения других. Страшное время в Европе, в мире, отчаянное время, подлое время. Кричи — не кричи, никто не ответит, не отзовется, что-то покатилось и катится. Не теперь, но уже тогда было ясно, что эпоха не только грозная, но и безумная, что люди не только осуждены, но и обречены. Но, как я сказала в другой части этого рассказа: что было миру до нас, Акакиев Акакиевичей вселенной? Тише воды, ниже травы... Мы затурканы, мы забиты, подданства нам

не дают, в будущей войне пошлют в окопы. Мы чувствуем себя так, будто во всем виноваты и несем ответственность за то, что творится: за восхождение Гитлера, за «культ личности», за то, что убит французский президент. Кем? Да русским, русским же, конечно, эмигрантом, который сидел в клинике для умалишенных и пожелал привлечь внимание мира к своему бедственному положению (еще нам говорят, что он писал стихи). И вот теперь мы все виноваты в этом. Кто же как не мы? И нас выгонят отовсюду, нас выпорют... Русский репортер приходит бледный в редакцию газеты:

— Отец, все пропало, все что мы делали десять лет здесь, все пошло к чертовой матери.

А на следующий день безымянный казак, un cosaque russe, эмигрант и доблестный сын Добровольческой армии, выбрасывается в окно: ему стыдно соседей, хотя президента убил и не он.

На похоронах вдова, француженка, рыдает, дети плачут, церковь полна народу. Эта смерть, эти похороны — карикатура, ироническое отражение реальности в эмигрантской деформированной страхом, унижениями, нищетой и отверженностью психике. Коллективное переживание коллективной вины — столь любезное русскому сердцу.

— Как мы им все на-до-е-ли,— говорит Ладинский,— Боже, как они устали нас терпеть! Да я бы на их месте давно выгнал бы всех эмигрантов на Сандвичевы острова, со всеми нашими претензиями на безработное пособие, на бесплатное обучение детей, на стариковскую пенсию. Вот будет война...

Это теперь у него присказка.

— Вот будет война,— говорит и Ходасевич, с которым я теперь встречаюсь раза два в неделю: он приходит ко мне, мы обедаем у меня и потом до ночи играем в угловом «бистро» на биллиарде; или я еду к нему, и мы завтракаем у него; или встречаемся недалеко от редакции «Возрождения», в подвале кафе «George V». Потом я провожаю его, или мы долго гуляем по улицам. Он по-прежнему ложится под утро.

Приведу отрывки из двух его писем ко мне этого времени:

«26 августа 932.

...я приехал сюда вчера. Комната у меня на деревне, но близко от пансиона, лучше той, где мы жили с тобой в Арти. Есть даже зеркальный шкаф, а кровать — с балдахином, чуть-чуть съехавшим набекрень. Чисто. Парк оказался садом. После Арти — сущий Довиль. Есть даже роскошные женщины в демонических пижамах — и собой вполне ничего! ...Публика чище артийской на 90 проц. и моложе — на 95. Это утешительно. О «Возрождении» никто не слышал, о «Посл. Нов.» многие слышали, но получают одни К. Прочие либо ничего не читают, либо Matin и Journal. Сегодня одна дама (без пижамы) предложила другой (в пижаме) книжку. Та ответила: «Я еще не старуха, чего мне книжки читать?» Одна барышня читала русскую книжку недавно — года три тому назад. Очень хорошая книжка, большевицкое сочинение, но смешное,— про какую-то дюжину стульев. Все это тебе сообщаю потому, что прикоснулся к «читающей массе» и делюсь сведениями.

Напиши мне о Париже и о себе. В эти наши свидания очень ты был мил и утешен. Напиши также о котике — как ты его нашла и что он? Мне здесь очень отдохновенно. Боже мой, что за счастье — ничего не писать и не думать о ближайшем фельетоне!..»

«Весна. 1933.

...Я получила твое письмо только сейчас, 2 числа, ночью. Спасибо за откровенный голос — он действительно дружеский. Отвечу тебе с той же прямотой... Что я знаю о тебе, я знаю от тебя и только от тебя. Неужели ты думаешь, что я могу сплетничать о тебе с феклами?.. Допустим, завтра в газетах будет напечатано, что ты делаешь то-то и то-то. Какое право я имею предписывать тебе то или иное поведение? Или его контролировать? Я не недоволен твоим поведением. Я говорил Асе, что меня огорчает твое безумное легковерие, твое увлечение людьми, того нестоющими (обоего пола, без всяких любвей), и такое же твое стремительное швыряние людьми. Это было в тебе всегда, я всегда это тебе говорил, а сейчас, очутившись одна, ты просто до экстаза какого-то, то взлетая, то ныряя, купаешься в людской гуще. Это, на мой взгляд, должно тебя разменивать — дай Бог, чтобы я ошибся. Это и только это я ставлю тебе в упрек. Согласись, что тут дело не в поведении и вообще лежит не в той области...

Милый мой, ничто и никак не может изменить того большого и важного, что есть у меня в отношении тебя. Как было, так и будет: ты слишком хорошо знаешь, как я поступал с людьми, которые дурно к тебе относились или пытались загнать клин между нами. Так это и остается, и все люди, которые хотят быть хороши со мной, должны быть хороши и доброжелательны в отношении тебя. На сей счет нет и не было у меня недоговоренностей ни с кем.

Пожалуйста, не сердись за то, что я написал о твоем разменивании. Я упомянул об этом только ради того, чтобы разъяснить тему моего разговора с Асей (о твоем таком отношении к людям тысячу раз я с ней говорил на 4 Cheminées — иногда при тебе, и оба мы тебя бранили в глаза и за глаза: что ж мне с Асей стесняться?)...

Словом, надеюсь, что наша размолвка (или как это назвать?) залечится. В субботу в 3 с половиной приду в 3 Obus. Тогда расскажу и о своих планах на зиму. Предвидения мои сносны, но пока что — заели и замучили меня кредиторы. Хуже всех — фининспектор (было 2000, 1000 выплатил — стало опять 2!) и Гукасов, у кот. я взял осенью 1000. Он мне вычита-

ет по 250 в каждые две недели. Выплатив, беру сызнова — и все начинается сначала! Ну, это вздор. Будь здорова. Ложусь — уже скоро четыре часа. Целую ручку».

Однажды утром Ходасевич постучал ко мне. Он пришел спросить меня в последний раз, не вернусь ли я. Если не вернусь, он решил жениться, он больше не в силах быть один.

Я бегаю по комнате, пряча от него свое счастливое лицо: он не будет больше один, он спасен! И я спасена тоже.

Я тормошу его и шучу, и играю с ним, называю его «женихом», но он серьезен: это — важная минута в его жизни (и в моей!). Теперь и я могу подумать о своем будущем, он примет это спокойно.

Я целую его милое, худенькое лицо, его руки. Он целует меня и от волнения не может сказать ни одного слова. «Вот подожди, говорю я ему, я тоже выйду замуж, и мы заживем... Ты и не представляешь себе, как мы заживем все четверо!»

Он наконец смеется сквозь слезы, он догадывается, за кого я собираюсь замуж, а я и не спрашивая прекрасно знаю, на ком он женится.

— Когда?

— Сегодня днем.

Я гоню его, говоря ему, что «она убежит». Он уходит.

Оля Марголина появилась в нашей жизни еще зимой 1931—1932 года. Она жила с сестрой. Ей было тогда около сорока лет, но она выглядела гораздо моложе. У нее были большие серо-голубые глаза и чудесные ровные белые зубы, которые делали ее улыбку необычайно привлекательной. Позже, когда она жила у нас в Лонгшене во время войны, я дразнила ее:

— Что-то у нашей Оленьки какой дантист нехороший! Вставляет ей зубы, сразу видно, что фарфоровые. Сказать бы ему...

Оля была небольшого роста, ходила тихо и говорила тихо. Она однажды рассказала мне, как, будучи девочкой лет четырнадцати, как-то вечером зашла случайно в какую-то церковь. Это было между Мойкой и Екатерининским каналом, она жила и училась в Петербурге. В церкви жарко горели свечи, шла какая-то служба, и люди молились. Она в этой церкви пережила какое-то особенное чувство смирения и подъема и несколько незабвенных минут, которые навсегда изменили ее: она стала совсем другой, не похожей на двух старших сестер, не похожей на братьев, не похожей ни на кого кругом. Она затихла.

— И вот видишь: в свое время замуж не вышла, и вообще, все не как у всех.

«У всех» — это значило у людей ее круга: одинаковых, буржуазных, семейных.

Семья была богатая, отец был ювелиром. Жили в собственном доме, и что меня всегда поражало, у них была в Петербурге своя корова. Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь в Петербурге имел собственную корову. Олю отвозили в гимназию на собственных лошадях, запряженных парой под сеткой. Потом они жили в Швейцарии, так просто,— жили и ничего не делали. Играли в теннис и танцевали. Но она в теннис играла плохо и танцевать не любила.

Теперь она вязала шапочки и этим зарабатывала на жизнь. Когда я ушла от Ходасевича, она стала иногда заходить к нему и помогать ему.

Я вспоминаю, что когда я бывала с ней, у меня было такое чувство, будто я слон, который вдвинулся в посудную лавку и сейчас раздавит все кругом, а заодно и самое хозяйку лавки. Надо было быть осторожной, потому что она была не совсем такой, каким было большинство людей вокруг. Она верила в Бога. Она постепенно пришла к убеждению, что ей надо креститься. Она говорила, что в еврейской религии женщине как-то нечего делать, ей нет там места. Еврейская вера — мужская вера. Впрочем, Бог, конечно, один, не может же быть двух богов или пяти, или десяти? Я помнила про слона и молчала: неосторожным движением я могла что-то помять тут, испортить, нарушить.

Ходасевич и Оля прожили шесть лет вместе и в последний год, когда он тяжело болел, в год «Мюнхена» и аннексии Чехословакии, они оба подолгу гостили в Лонгшене. В последний раз он уже почти не выходил в сад, оставался весь день в кресле на площадке. Н. В. М. делал все, чтобы им было хорошо у нас. Он очень любил Олю.

Последние письма Ходасевича показывают его душевное настроение в конце жизни. Вот два из них:

«21 июня 937.

...Действительно, своего предельного разочарования в эмиграции (в ее «духовных вождях», за ничтожными исключениями) я уже не скрываю: действительно, о предстоящем отъезде Куприна я знал приблизительно недели за три. Из этого «представители элиты» сделали мой скорый отъезд *. Увы, никакой реальной почвы под этой болтовней не имеется. Никаких решительных шагов я не делал — не знаю даже, в чем они должны заключаться. Главное же — не знаю, как отнеслись бы к этим шагам в Москве (хотя уверен «в душе», что если примут во внимание многие важные обстоятельства, то должны отнестись положительно). Впрочем, тихонько, как Куприн (правда, впавший в детство), я бы не поехал, я непременно и крепко, и много нахлопал бы дверями, так что ты бы услышала.

Я сижу дома либо играю в карты. Литература мне омерзела вдребезги, теперь уже и старшая, и младшая. Сохраняю остатки нежности к Смоленскому и к Сирину. Из новостей — две: Ф., ка-

* Был слух, что Ходасевич собирается в Советский Союз. (Н. Б.)

жется, начинает менять ориентацию, возвращаясь на духовную родину, т. е. отступая из литературы на заранее подготовленные позиции — к бирже. А. вчера женился на богатой и некрасивой музыкантше. Квартира отделана — молодые поехали в горы. Словом, все эволюционирует в естественном порядке.

О песике слышал. Жалею, что не могу представиться ему, ибо на поездку надо выложить полсотни. Если будешь в Париже — дай знать, чтобы свидеться.

Я видел П-ую — это напомнило мне о молодости (моей) и о старости (ее). Она ходит под ручку с Мишей Струве и говорит об Ахматовой, как старые генералы при Николае I говорили о Екатерине.

Зюзя вышла замуж за англичанина *. Жить она будет под Бирмингамом, в тамошнем Холивуде. Боюсь, будет ей холивудно, но пока она довольна. В конце концов ты устроила ее судьбу, это забавно.

Какие ужасы пишет Бунин о Толстом!..

Н., действительно, не блещет. Ты однако не брыкай ее очень. Уверяю тебя, что ум надо спрашивать только с профессионалов этого дела и что все люди — лучше писателей.

Батюшки! Чуть не забыл! Прилагаю письмо, мною полученное через «Возрождение» и вскрытое потому, что только начав читать увидел я на конверте «M-lle N. Berberoff». Прости, пожалуйста. Еще прости, что темы в этом письме (т. е. в моем) перетасованы как-то идиотски. Но я сегодня дописывал фельетон, ездил в город, прочел 3 французских газеты (по случаю Блюма) — а сейчас уже 2 часа ночи, и я устал, и пора спать.

Будь здорова. Оля тебя целует. Поклонись Н. В. Песика благословляю. Внушайте ему хорошие правила с детства».

«21 мая 938.

Посылаю тебе, душенька, вчерашний мой фельетон **. Завтра надо садиться за следующий. Вероятно, напишу о Бор. Ник.***, но еще не решил. Взял книгу у Фондаминского, но читаю по странице в час — сил моих нет, какое вранье ужасное, горестное. Так что может и не стану писать: махну рукой.

Обедали у Н. Гроб. Одна польза — какой-то шофер сказал, что нельзя сажать хрен с другими овощами. Надо — отдельно и вдалеке. Потому что он, хрен, плодлив, корни пускает под землей и вылезает наружу, где его не ждали, так что вскоре все убивает вокруг, и весь огород превращается (страшно подумать!) в хреновник. Это безумно для тебя важно.

Только вернувшись в город, мы по-настоящему оценили, как хорошо было у вас. Только побывав у Н., поняли, как хорошо дома.. Только побывав в тот же вечер на Монпарнасе, пожалели, что не остались у Н. Вот ты и посуди, каково тут все.

Будьте здоровы, пожалуйста.

На днях тебе позвоню».

Приведу мою запись, сделанную 13—23 июня 1939 года о болезни и смерти Ходасевича:

«Он заболел в конце января 1939 г. Его тогда лечил доктор З. Диагноз его был отчасти верен (закупорка желчных путей), но лечение было жестоко и грубо. В конце февраля он был в Лонгшене. Ему было хорошо. «Если бы я остался (здесь) с тобой,— сказал он потом,— я бы выздоровел». Он говорил, что деревня его вылечит, и я стала присматривать ему комнату на лето — где-нибудь поблизости.

К концу марта ему стало значительно хуже. Начались боли. Он менял докторов. Перед пасхой (9 апреля) ему бывало очень скверно: он исхудал, страдал ужасно. Были боли в кишечнике и в спине. Наконец, на пасхальной неделе, он поехал к Левену * — показаться. Левен начал лечить кишечник. Мы опасались, что это рак кишок.

Весь апрель он жестоко страдал и худел (потерял кило 9). Волосы у него отросли — полуседые; он брился редко, борода была совсем седая. Зубов уже вовсе не надевал. Кишечные боли мучили его и днем и ночью; иногда живший по соседству врач приходил ночью впрыскивать морфий. После морфия он бредил — три темы бреда: Андрей Белый (встреча с ним), большевики (за ним гонятся) и я (беспокойство, что со мной). Однажды ночью страшно кричал и плакал: видел во сне, будто в автомобильной катастрофе я ослепла **. До утра не мог успокоиться, а когда я днем пришла — то опять разрыдался.

Я приходила два раза в неделю. Медленно и постепенно Левен старался привести кишечник в порядок после многолетнего катара. Боли делались слабее и реже, но нервное состояние оставалось страшно подавленным. Бывали дни постоянных слез (от умиления, от жалости к себе, от волнения). Обои в комнате были оливковые, выгоревшие, одеяло — зеленое. Бедные, грубые простыни, узкая постель (тахта). На ней он — исхудалый, длинноволосый, все еще курящий помногу. В мае у него разлилась желчь.

Я была у Левена. Он сказал, что теперь, когда сделаны просвечивания, анализы (которые ничего не дали), ему кажется, что дело не в кишках (которые он отчасти подправил), а в поджелудочной железе. «Возможно, что это закупорка желчных путей,— сказал он,— но возможен и рак этой железы. Подождем — увидим». В нем уже было 49 кило с небольшим; теперь он был страшного цвета, из желтого делался коричнево-зеленым (что было дурным признаком), ху-

* Племянница Оли, Мелита Торнело, рожденная Лившиц. (Н. Б.)
** О моей новой книге. (Н. Б.)
*** О трех томах воспоминаний Андрея Белого. (Н. Б.)

* Известный французский врач.
** В тот год я училась водить автомобиль.

деть стал меньше, но аппетит все еще был (это как раз было признаком хорошим).

Даже зрачки глаз его отливали желтозеленым, не говоря уже о волосах. Ноги его были худы, как щепки. В лице была тоска, мука, ужас. Он совершенно не спал. Он не знал, что это может быть рак, и вообще не предполагал, что болен так серьезно. Но какая-то потерянность была во всем — ни в чем он не видел облегчения; боли начались теперь менее сильные, но гораздо выше, «под ложечкой»; ему впрыскивали что-то для поджелудочной железы, но он продолжал темнеть.

В конце мая было решено созвать консилиум из Левена и д-ра Абрами. Абрами сказал, что это, вероятно, закупорка желчных путей и что надо лечь на 2 недели в госпиталь для всевозможных опытов, которые должны помочь поставить диагноз. Его перевезли в городской госпиталь Бруссэ. Там было ужасно: нельзя себе представить, что может существовать такой ад на земле.

Посетителей пускали с 1 до 2 дня. Мы стояли с узелками (передачами, как перед тюрьмой) у ворот. Ровно в час ворота распахнулись, все побежали, кто — куда, чтобы не упустить драгоценного времени. Он лежал в стеклянной клетке, завешенной от других палат — соседних — простынями. В клетку светило яркое, жаркое солнце; негде было повернуться. Голодный до дрожи, он накидывался на то, что ему приносили (в госпитале кормили дурно, и он там почти ничего не ел), острил над собой и потом сразу потухал, ложился, стонал, иногда плакал.

Ванны (которые ему облегчали чесотку при желтухе) ему не давали, т. к. «он был недостаточно грязен», грелку ночью не приносили. Сестры были шумливы, равнодушны и грубы. Абрами являлся в сопровождении пятнадцати студентов. Когда ему брали кровь для исследования, то обрызгали кровью всю комнату, и ему было до вечера больно.

Снотворное давали то в 11 часов утра, то в 3 часа дня, но денег не было, чтобы лечь в частную клинику, и он лежал там и терпел, расчесывая до крови свое желтое, худое тело, иногда теряя сознание от слабости и боли. Две недели исследовали его: снимали рентгеном, делали всевозможные анализы, заставляли пить то молоко, то холодную воду — отчего опять усилились его боли — и нельзя было понять, где именно у него болит, потому что он показывал то «под ложечку», то на левый бок, то на живот.

Жесткая койка; с трудом выпрошенная вторая подушка; госпитальное белье и суровое «тюремное» одеяло; а на дворе — жаркие июньские дни, которые так и ломятся в комнату. Он говорил:

— Сегодня ночью я ненавидел всех. Все мне были чужие. Кто здесь, на этой койке, не пролежал, как я, эти ночи, как я не спал, мучился, пережил эти часы, тот мне никто, тот мне чужой. Только тот мне брат, кто, как я, прошел эту каторгу.

Ему было уже все равно, что делалось на свете. Интерес ко всему начал в нем угасать. Оставалась только ирония, меткое слово, но вид его был так печален и страшен, что невозможно было улыбаться его шуткам. Желчь все не проходила, силы слабели с ужасающей быстротой. Он еще иногда вставал, даже ходил самостоятельно, но уставал от движений.

К концу второй недели выяснилось, что нет ни опухоли, ни камней в печени. Поэтому надо было отбросить мысль о закупорке желчных путей. Рак поджелудочной железы не просвечивается и не прощупывается (как сказали доктора), поэтому и Абрами (как и Левен) склонился к раку. Было решено его оперировать. Для чего? Чтобы убедиться и, вероятно, ускорить его конец. В случае, если бы это все же оказалась закупорка, операция, как говорили, спасла бы его.

Измученный пыткой освидетельствования и госпитальной жизни, он в четверг 8-го июня вернулся к себе домой, еще более темный, еще более худой, обросший полуседыми космами; под глазами его было черно; живот его был обожжен грелками; на ногах и руках были царапины (от чесотки) и синяки (неизвестного происхождения). Он не лежал и не сидел. Он метался в страшной тоске, не имея возможности заснуть; то страдая болями, то страдая от мысли, что они могут возобновиться. Он обрадовался моему приходу, сказал, что операция назначена на вторник и что уж лучше скорее. Он не думал, что это будет смерть, он не верил в выздоровление — он сам не знал, что думать, от него оставалась теперь одна тень.

Минутами он ложился навзничь и молча смотрел перед собой темно-желтыми, зеленоватыми глазами. Внутри что-то мучило его, и он был на краю слез. Н. В. М. и Оля вышли в столовую. Я осталась с ним. Это было в пятницу, 9-го июня, в 2 часа дня. Я знала (и он знал), что до операции его уже не увижу.

— Быть где-то, — сказал он, заливаясь слезами, — и ничего не знать о тебе!

Я что-то хотела сказать ему, утешить его, но он продолжал:

— Я знаю, я только помеха в твоей жизни... Но быть где-то в таком месте, где я ничего никогда не буду уже знать о тебе... Только о тебе... Только о тебе... только тебя люблю... Все время о тебе, днем и ночью об одной тебе... Ты же знаешь сама... Как я буду без тебя?.. Где я буду?.. Ну все равно. Только ты будь счастлива и здорова, езди медленно (на автомобиле). Теперь прощай.

Я подошла к нему. Он стал крестить мое лицо и руки, я целовала его сморщенный желтый лоб, он целовал мои руки, заливая их слезами. Я обнимала его. У него были такие худые, острые плечи.

— Прощай, прощай, — говорил он, — будь счастлива. Господь тебя сохранит.

Я вышла в столовую. Потом я опять вошла к нему. Он сидел на постели, уронив голову в руки.

В воскресенье, 11-го июня, Н. В. М. навестил его и узнал, что его будут оперировать не в городском госпитале Бруссэ, а в частной клинике на улице Юниверситэ. Это устроила его сестра. В понедельник его перевезли туда, и в 3 часа во вторник, 13-го, оперировали. <...>

Ему денежно помогали многие из его добрых друзей; некоторые пересылали деньги через так называемый «комитет» для него, некоторые приходили к нему и просто ему давали. Больше всех сделала для него его сестра. К сожалению, все было уже поздно.

— Если операция не удастся, — сказал он в последнюю пятницу, — то это будет тоже отдых.

А в воскресенье он говорил Н. В. М. о том, что не перенесет ее, и они благословили друг друга.

В понедельник утром его перевезли в клинику. Прошли ужасные, мучительные сутки. «Скорее бы!» — говорил он. Начались подготовления к операции. В 3 часа пришел хирург (Боссэ). Его понесли, с трудом захлороформировали.

Операция продолжалась полтора часа. Боссэ, вышедший после нее, дрожащий и потный, сказал, что для него несомненно, что был рак, но что он не успел до него добраться: чистил от гноя, крови и камней желчные проходы. Он сказал, что жить ему осталось не более двадцати четырех часов и что страдать он больше не будет. Тут же он дал Оле два извлеченных камня (которых рентген не показал!). Н. В. М. вызвал меня в Париж, и в 7 часов вечера я вошла в палату, где он лежал.

Он был тепло укрыт. Глаза его не были плотно сомкнуты. Пульс был очень слаб. Ему сделали переливание крови, отчего пульс стал на полчаса лучше. Медсестра не отходила от его кровати. Совершенно обезумевшая Оля стояла тут же.

Раза два он повел бровями. Медсестра сказала: надо чтобы он не страдал. В девятом часу мы ушли. Какое-то равнодушие нашло на меня. Мы ночевали в отеле.

В 7.30 утра мы были уже в клинике (14-го июня). Он умер в 6 часов утра, не придя в сознание. Перед смертью он все протягивал правую руку куда-то («и затрепещет в ней цветок»), стонал, и было ясно, что у него видения. Внезапно Оля окликнула его. Он открыл глаза и слегка улыбнулся ей. Через несколько минут все было кончено.

Когда я вошла, он был еще теплый. Лицо его странно и сразу изменилось. Нос заострился. Челюсть была подвязана. Мы пробыли часа два. Приехал В. В. Вейдле с католическим священником восточного обряда. Потом, после панихиды, я ушла: в похоронное бюро, в полицейский участок, в «Последние новости» дать объявление.

Он лежал весь следующий день уже внизу, в часовне клиники, очень худой, с крошечным лицом, ледяной, с запавшими глазами. В 5 часов была панихида. Было человек пятнадцать — только самых близких (сестра его не была, она вообще не видела его мертвым). Вечером Оля и я отстригли по пряди его волос. От них пахло одеколоном.

Были цветы и свечи, все, чему полагается быть. Но для него мне хотелось одного: покоя. Он так долго страдал, что я только мечтала, когда он «отойдет в землю», чтобы его уже больше не мучили. Госпиталь Бруссэ его доконал. Хирург говорил после, что его надо было оперировать десять лет тому назад, но его всю жизнь лечили от кишечника, и никто никогда не говорил о печени.

Вечером 15-го его положили в гроб. Ему в руки Оля дала мою крестильную иконку Казанской Божьей матери, которая последние годы висела над его постелью. На лбу его был бумажный венчик. Утром 16-го фургон вывез его из подвала клиники и к 1 ч. 45 мин. доставил в русскую католическую церковь на улице Франсуа-Жерар (№ 39), где было несколько сот человек и где его час отпевали.

В 2 ч. 45 мин. отпевание было закончено. Мы ждали, чтобы выйти следом за гробом. Служащие бюро вынесли букеты и венки (Н. В. М. привез огромный букет полевых цветов из Лонгшена), а затем взялись за гроб. Мы пошли за ним. Я вела Олю под руку. На улице было много народу. В наш автомобиль сели Евг. Фел. (его сестра), ее муж, Н. В. М. и Оля. Я почему-то пошла со знакомым (Никулиным) *, и он повез меня. Следом за фургоном, где везли гроб (и впереди сидел священник), увешанным венками, неслись автомобили. У моста Мирабо (был ослепительный летний день) мне показалось, что было что-то даже «облегчительное» в этой поездке семи или восьми автомобилей, мчавшихся куда-то. У кладбищенских ворот было уже довольно много народу.

Самое тягостное было идти за гробом. Священник шел чуть сбоку, Евг. Фел. шла за колесницей, по бокам — мы с Олей. Мне показался путь от ворот к могиле бесконечным.

Могила была узкой и сухой. Мандельштам (Юра), Вейдле, Н. В. М., Нидермиллер (муж сестры), Смоленский, Раевский и другие несли гроб с колесницы до могилы. Его легко и быстро опустили в яму, священник прочел что-то и первый бросил землю. Оле подали лопаточку с песком, потом мне. Я почувствовала странное облегчение.

После похорон Оле захотелось чего-нибудь выпить, и мы пошли (человек десять) в кафе, что напротив кладбища. Присманова плакала».

* Брат советского писателя Льва Никулина.

Н. В. М. настоял на том, чтобы Оля провела у нас лето, и когда в сентябре началась война, она не уехала обратно в Булонь-Бианкур, а осталась с нами. Новый 1940 год мы встречали в Лонгшене вместе, и новый 1941-й. Еще в 1939 году, осенью, Н. В. М. стал ее крестным отцом, она перешла в православие. <...>

Она теперь опять жила с сестрой (когда не жила у нас). Когда я бывала в Париже, я всегда заходила к ней. Она все больше проводила время в городе, говорила, что сестре без нее «скучно», что она ей нужна. Иногда я настаивала, чтобы захватить Олю с собой: и знала, что она любит Лонгшен и нас, и собак, и кота, любит сидеть и вязать на скамейке под орехом, ходить в лес за грибами, но она считала, что не имеет права жить «как в раю» и даже, когда вышел немецкий декрет о евреях, пошла на регистрацию и стала носить на груди желтую звезду.

В июле, в страшный день 16-го числа 1942 года, их обеих взяли. <...>

В последний раз я видела ее, когда в 4 часа дня в день ареста, 16-го июля, ее сажали, с узлом вещей, в открытый грузовик, четвертый в очереди, оцепленный полицией. Ася успела подбежать к ней, когда ее вели из подвала мэрии, и обнять ее, я же стояла на ступеньках широкой лестницы и не могла двинуться от дрожи. Какая-то чужая женщина закрыла меня собой, чтобы на меня не смотрели. Вероятно, это было похоже на пляску св. Витта: у меня громко стучали зубы и сумка вывалилась из рук, и я не могла остановиться, как будто это и в самом деле был какой-то припадок или танец, в котором участвовало все тело, от колен, которые стучали друг о друга, до головы, которая тряслась так, что жужжало в ушах. Одна моя рука была голая, рукав был потерян. А жужжание головы сливалось со странным свистом, который начался еще утром, когда немец дал мне кулаком по уху. <...>

Грузовики начали отъезжать. <...>

Я не помню, плакали ли дети, кричали ли они, я совершенно не помню з в у к о в в эти минуты, но дети несомненно были. В четвертом грузовике стояла Оля, сестра ее примостилась на каком-то мешке. Оля стояла, смотря на меня и Асю своими светлыми глазами, и, пока грузовик не повернул за угол, крестила меня, Асю, всех стоящих вокруг, мэрию, небо, и Бианкур, и Булонь... Затем в полной тишине (так мне казалось тогда, потому что я, видимо, нервно оглохла) поданы были еще грузовики. Они отходили, как мы потом узнали, один за другим с женщинами до поздней ночи. <...>

Забота о бумагах и книгах была постоянной в эти годы. Люди бросали квартиры, и архивы, и библиотеки их вывозились в неизвестном направлении, или люди бывали арестованы, и все бывало вывезено начисто через неделю или две. После вывоза Тургеневской библиотеки выяснилось, что в подвале здания, где она помещалась (отель Кольбер, улица Бюшеллери), лежит архив Бунина. Еще летом 1941 года город Париж потребовал, чтобы все, что осталось от Тургеневки, было вывезено. Борис Зайцев по этому поводу писал мне из департамента Ионн, где он гостил у знакомых в деревне:

«24.VIII.41

Chère Ninon, получил из Парижа известие, что остаткам Тург. библ. предложено до октября очистить помещение.

Там кое-что осталось — для меня самое важное, что остался архив Ивана. Библиотекарша, думая, что я в Париже, просит содействовать в подыскании какого-нибудь «хоть бы сарая». Меня полки, шкафы и даже 300 (их) случайных книг мало интересуют. Сентябрь, вероятно, мы проведем здесь. Но 9 ивановых чемоданов? Там рукописи его, письма!

Мы с Верой надумали там: нельзя ли эти 9 чемоданов поместить у Вас? Будь у меня в Париже сколько-нибудь подходящее помещение, разумеется, взял бы сам. Но у нас даже подвал завален всякой рухлядью — и притом сырой, там чуть не погибли мои некоторые книги и письма.

Знаю, что у вас тоже загружено все чрезвычайно, но все-таки — м. б. и найдется угол? (Но как с передвижением?) Сколько стоило бы доставить? Все вопросы существенные. Вы Ивана любите, я знаю, и дело серьезное. Денег на перевозку мы так или иначе раздобыли бы.

Или же другой вариант: м. б. в Париже Вы указали бы в е р н о е место? (Я пока такого не вижу.)

Одним словом, милая Нина, отзовитесь! Напишите мне тотчас, что обо всем этом думаете, что можете посоветовать. В Париже из членов Правления сейчас Кнорринг — 123 улица дю Шато, Париж (14). Видимо он, главным образом, и занят этим. Ведь очень уж будет горестно, если архив пропадет. Имейте в виду, что если понадобится мое непосредственное участие, то мы вернемся в Париж раньше конца сентября.

Получил Вашу дружескую открытку — спасибо великое за Наташу. Она в восторге от пребывания у Вас, писала нам отдельно.

Мы тут живем хорошо. Вера отлично отдыхает и поправляется. Мне собственно отдыхать нечего, ибо и в Париже живу котом, как всю жизнь им прожил.

Ходим по грибы, поедаем много слив — чудесных, из своего сада. Пишу и читаю довольно много.

Целую Вашу ручку. Вера вас обнимает. Привет дружеский Н. В. Всего доброго!

Ваш Бор. Зайцев».

Я ответила, что согласна архив Ивана Алексеевича взять в Лонгшен, но для этого, думаю, надо получить его согласие. Он совершенно не представлял себе положение в Париже, судя по его открытке, написанной мне по-французски в ответ на мой вопрос об архиве. Привожу ее в русском переводе (в то время можно было переписываться из одной зоны в другую только по-французски):

«23.IX.41.

...Я написал Кноррингу 21 сентября: «Если возможно, я бы предпочел, чтобы мои чемоданы (количеством девять) были перевезены на мою парижскую квартиру. В этом случае сообщите мне, сколько будет стоить перевозка, чтобы я мог почтой Вам возместить эти расходы. Если же это слишком трудно сделать, сохраните мои чемоданы с Вашими». От всего сердца благодарю Вас за Ваши заботы, Нина. Я Вам писал в августе. Вашу посылку не получил. Что Вы делаете? Я — ничего. Только читаю — и все. Купанье кончилось. И ничего нового в моей грустной жизни. Ваш старик, который от глубины души целует Вас.

И. Бунин».

Разумеется, чемоданы было слишком рискованно перевозить на парижскую квартиру Бунина; с другой стороны, что он хотел сказать, когда писал Кноррингу, чтобы он его архив сохранил «вместе со своими чемоданами»? Зайцев вернулся из деревни, и после многих размышлений и переписки мы решили перевезти архив Бунина на улицу Лурмель, где было русское общежитие и столовая. Место было неверное, там через год произошли аресты, но мне кажется, что по возвращении Бунина в Париж, после войны, он получил свои чемоданы. Часть архива впоследствии была отослана в Москву. <...>

На той скамейке, что стояла под ореховым деревом в Лонгшене, мы больше уже не сидели: мы решили не садиться на нее, пока не вернется Оля. Ко Дню, когда был продан Лонгшен (в 1948 году), скамейка эта развалилась. А ореховое дерево, говорят, разрослось теперь и дает с годами все больше орехов. Мы их тогда собирали в старых перчатках — свежие грецкие орехи пачкают руки так, что потом и не отмыть.

Лонгшен был куплен Н. В. М. весной 1938 года. Первые пять лет нашей жизни мы прожили с ним в Париже, но в 1938 году мы решили бросить квартиру и переехать в деревню. Мы давно уже искали место, где можно было бы жить постоянно, «дикий» дом, и «дикий» сад и вообще «дикое» место, где стоило бы поселиться. Когда после длительных поисков и многих поездок на запад и на юго-запад от Парижа мы наконец нашли Лонгшен, нам обоим он показался с первой минуты именно таким местом, где можно было бы прожить весь остаток жизни, потому что лучшего на всем свете быть не могло.

Дом стоял не в деревне — потому что деревня во Франции предполагает место, где есть школа, церковь и почтовое отделение. В Лонгшене не было ни того, ни другого, ни третьего. Было четыре больших фермы и десяток домов, в которых жили старые люди, вышедшие на пенсию. По утрам не то пять, не то шесть детей шли под горку, в ближайшее село, в школу. А днем приходил почтальон — из этого села; настоящая дорога проходила в двух километрах, а к нам вела только проселочная. Во всем местечке жило не более пятидесяти человек <...>

В годы войны, когда я возвращалась из Парижа домой на велосипеде, по полевой дороге, я издали видела две старые черепичные крыши в сизой дымке Иль-де-Франса, маленькую и большую, потонувшие в зелени старых яблонь и груш, а молодые яблони и груши были в это время не выше меня самой. И я думала: у меня есть мой дом. И так будет всегда, не может быть иначе. Мир стоит. Он остановился. И в нем остановилась и стою я, неподвижно и неизменно. Не может быть, чтобы я когда-нибудь проехала мимо этих мест и не принадлежала им. Но в 1960 году я проехала мимо, и я не узнала ни сада, ни дома. Все было перестроено, груши и яблони разрослись и закрыли все, новые ворота вели куда-то совсем в незнакомое место, ульев не было, смородина была выкорчевана. А миндальное дерево, стоявшее тонкой двузубой вилкой у дома и когда-то цветшее бледно-розовым цветом, теперь зеленью своей было неотличимо от ясеня и березы.

И вот я теперь не сажаю деревьев, не вожусь с пчелами, не окапываю клубнику. Я пишу сагу о своей жизни, о себе самой, в которой я вольна делать, что хочу, открывать тайны и хранить их для себя, говорить о себе, говорить о других, не говорить ни о чем, остановиться на любой точке, закрыть эту тетрадь, забыть о ней, спрятать ее подальше. Или — уничтожив ее — написать другую рукопись, другие шестьсот страниц, о другом, хотя тоже о себе самой, но как бы второй том к несуществующему первому. Русские автобиографии писались часто и всегда по-разному. Бердяев, начав с детских лет, перешел на описание борьбы идей в предреволюционной России и кончил мучительным сомнением в благе Советского Союза и «доброте» Бога; Степун рассказал, как он обрел перед первой мировой войной свою настоящую профессию: ездить по русской провинции и читать лекции на тему «как жить?»; Белый, начав свой рассказ о Блоке, затем переписал его заново, доказывая, что он был марксистом, когда Блок еще был барчуком и маменькиным сынком; Набоков рассказал с присущим ему талантом, какие у него были гувернантки. Боборыкин писал о том, как удобны были за границей поезда и как хороши рестораны. Фрейлина царицы — о том, как она помогала Распутину сменять министров; социалист — как убивал этих же министров. Эмигранты писали, как жили в русском имении с липовой аллеей и портретами предков в двухсветном зале. А сподвижники Ленина — о том, как он щурился: в Симбирске, в Лондоне, в Швейцарии, на Финляндском вокзале...

Выбор велик. Кого выбрать примером? У кого мне учиться? И вот я отвожу всех,

прежде меня писавших, никого не помню, никого не приглашаю стоять за моим плечом и водить моим пером. Я беру на себя одну всю ответственность за шестьсот написанных страниц и за шестьсот ненаписанных, за все признания, за все умолчания. За речь и за паузы. Все, что здесь пишется, пишется по двум законам, которые я признала и которым следую: первый — раскрой себя до конца и второй — утаи свою жизнь для себя одной. Автор первого закона — мой современник, автор второго — Эпикур.

Н. В. М. я знала давно, еще со времен «Дней», газеты эсеров. Для меня он был и остался одним из тех русских людей, которые, как некий герой народной сказки, решительно все умеют делать и решительно ко всему способны. Но почему-то так выходит, что в конце концов ничего не остается от этих способностей, вода льется у них между пальцев, слова уносит ветер, дело разваливается. И вот уже никто ничего от них не ждет. И чем меньше верят им, тем больше они теряют веру в себя, чем меньше ждут от них, тем бессмысленнее тратят они себя, и остаются в конце концов с тем, с чего начали: с возможностями, которые не осуществились, и с очарованием личным, которое дано им было со дня рождения, как благодать.

Он мог построить дом, насадить сад, писать картины и импровизировать на рояле. Он умел смеяться и смешить других, был всегда здоров, любил хорошую погоду, прогулки, поездки, Лонгшен, людей — которых любила и я, и книги — которые и я любила. Таких людей все меньше в мире, в современной жизни им нет места. Легкомыслие как мировоззрение умирает, если еще не умерло. После войн, и революций, и бедствий нашего столетия, как было ему сохраниться?

Он был одним из самых младших делегатов в Учредительное Собрание в 1917 году, членом партии с.-р., журналистом, автором книги о России (Лондон, 1919 г.), считался сотрудником «Дней», «Современных записок», выставлял картины в Салоне в тридцатых годах, и не было человека, который бы не чувствовал к нему немедленной приязни. Гостеприимный, веселый, всегда добрый и широкий и вместе с тем взбалмошный, энергичный и способный, он вдруг заметил меня, будучи знаком со мной лет семь, и, раз заметив, уже не отпустил. Мы оказались с ним людьми одной системы символов: сад для нас обоих значил одно и то же, и дом в его и моей символике экзистенциально совпадал в своем смысле. Такие слова, как «настоящее» и «будущее», «дерево» и «река», «ты» и «я», несли с собой одну и ту же ауру подтекста. Он хорошо знал, что значит быть бедным Лазарем, и у него был свой колодец. Он знал все Эвересты и Мертвые моря моей географии. И он между Ангелом и Товием тоже не всегда хотел делать выбор.

Дорогам, которые мы с ним исходили и изъездили — на автомобиле, на автобусе, на велосипедах,— нет числа. Всюду из-за дымки голубоватого воздуха с вечно-вьющимся небом встречали нас платанами и тополями обсаженные дороги Писарро, холмы Монэ, мостики и заводи Сислея. Мы перечитывали Шекспира и Сервантеса, слушали в радио Бетховена и Моцарта. И как мы оба были счастливы, вплоть до сентября 1939 года, когда началась война,— как мы были молоды, какие веселые были у нас заботы!

Смысл нашей встречи и нашего сближения, смысл нашей общей жизни (десять лет), всего вместе пережитого *счастья*, значение этой любви для нас обоих в том, что он для меня и я для него были олицетворением всего того, что было для обоих — на данном этапе жизни — самым главным, самым нужным и драгоценным. Нужным и драгоценным для меня было тогда (а может быть, и всегда?) делаться из суховатой, деловитой, холодноватой, спокойной, независимой и разумной — теплой, влажной, потрясенной, зависимой и безумной. В нем для меня и во мне для него собралось в фокусе все, чего нам не хватало до этого в других сближениях. Здесь, как в двух строчках поэмы, как в поэтическом образе, как в живописном намеке-намерении, как в музыкальной фразе, собралось то, что невозможно определить словами, не убив, не разрушив этими словами внутренний, сокровенный смысл данного. Были ли мы друг для друга символом России? Символом молодости, силы и здоровья? Силы, для которой весь мир был точкой приложения? Может быть, но еще и многого другого, о чем мы не задумывались тогда и что невозможно назвать, не повредив его. «Содержание» и «форма» здесь опять — одно, ни расцепить, ни разъять их невозможно, потому что тогда не останется даже *факта*, о котором стоило бы говорить или думать, вспоминать или писать. И этот смысл мог бы жить очень долго (а не только десять лет), если бы не случилось того, что случилось: внезапного поединка между нами, схватки между мной и им за третьего человека, который встал в центре этой борьбы — намеренно и целеустремленно.

Мы оказались соперниками (врагами?) за этого третьего человека, и в борьбе за него погибло то, что было между нами — союз. Я оказалась победившей, он оказался побежденным, но могло бы быть и наоборот. И оба мы вышли из этого поединка потерпевшими, потерявшими друг друга. Соперничество оказалось для нас роковым, из него и возник поединок, где моя победа была такой же «не должной», как было «не должно» и его поражение. Ни для утешенного самолюбия, ни для жалости к побежденному другу-врагу не может быть места в любви. Товий, бросивший рыб на песок, уходит, Ангел поднимается к своему небу. И на картине остается пусто-

та: волшебство пропало. Уже становится непонятным, зачем художнику понадобилось написать этот тосканский горизонт, облака, холмы, кусты, и даже повернувшуюся к нам фасом собаку, когда художник думал о Мидии и Иудее? Только — символически — ходить на шаг позади друг друга и есть один артишокный листик вдвоем есть любовь. Все остальное — только конкуренция между двумя людьми, торгующими различными товарами или даже — рукопашная, где куда больше, чем дозволенных — недозволенных, то есть *штрафных* ударов. Но так случилось, что мы не уступили друг другу — были оба из неуступающих — и один унес добычу. Это была я. Я дорого заплатила за свою победу, я, может быть, заплатила бы меньше за свое поражение. Добыча через несколько лет превратилась в груз, который нести не было ни сил, ни желания. И я бросила эту тяжесть, и осталась одна: без него, то есть с тем же, с чем остался он: без меня.

За время 1938—1941 гг., когда жизнь в Лонгшене начала распадаться, у нас, кажется, перебывали все, кто когда-либо бывал у нас в Париже. Нелль и А. Ф. Керенский живали часто, Ходасевич и Оля тоже. Бунин, Зайцевы, Вейдле, Злобин, Ладинский — по несколько раз. Приезжали Ю. П. Анненков, Е. Н. Рощина-Инсарова, Руднев, Фондаминский, мои друзья из «Последних новостей»,— и как все любили это место, каким оно казалось счастливым, уютным, прелестным, с куском нерасчищенного леса в конце сада, с лужайками по обе стороны забора, так что соседей было и не видать, и не слыхать.

День объявления войны мы в изнеможении просидели на лавочке под орехом; день взятия Парижа пролежали ничком в канаве, в конце сада. В утро, когда немецкий парашютист упал в наш лесок и Мари-Луиза, мывшая в доме полы, понесла ему кувшин воды: дать выпить, омыть рану, плеснуть остатком в лицо, прежде чем его забрали как пленного (обе ноги его были сломаны),— мы закрылись от всех и просидели весь день дома. В день прихода американского отряда мы были со всеми вместе на площади. Посреди этой площади стоял каштан. Он, как мне однажды сказала Мари-Луиза, когда-то назывался «деревом свободы» — его посадили здесь в дни Коммуны. Мы были на площади и смотрели на джипы, едущие с грохотом мимо нас, а старуха Вилье, которой исполнилось на днях девяносто лет, говорила:

— *Тогда* они шли той дорогой, что от скирдов Монье к нашим овсам идет, а *потом* они шли с другого конца, от хлевов Бонье к прудам Тюлье. А вот *теперь*, поди ж ты, с третьей стороны заходят: наперекосок, от леса к клеверам, по старой дороге. Ох-ти, жизнь какая у меня длинная!

Тогда — это был 1870 год, *потом* — был июнь 1940 года, *теперь* — это было сегодня, и она принимала американцев за немцев, пришедших в третий раз.

Как мы жили эти пять лет? Как дожили до этого дня? Как пережили два обыска, регистрацию для отсылки на работы в Германию? Олину гибель? Лишения, ночные страхи, бомбардировки, смерти, аресты, высылки?.. Сначала — пустой Париж и двойное отчаяние: не только никого нет, не с кем перемолвиться словом, но и нет желания кого бы то ни было видеть, найти кого-либо, хочется от всех укрыться, спрятаться и молчать. Потом — возвращение к организованным лишениям: на этот раз они идут параллельно и так сказать планово с распадом всей жизни кругом. Не хочется читать новые книги, но не хочется перечитывать и старые. Я не только не могу писать что-либо, мне страшно сесть за письменный стол, страшно и противно, я даже стараюсь не смотреть на него, когда прохожу по комнате. Когда позже я пишу «Воскрешение Моцарта» и «Плач», я пишу их не у себя, а где придется. Я чувствую странную сонливость, которая происходит от двух причин: плохого питания и физической работы (огород разросся, мы сажаем картошку). Сонливость такая, что я не могу совладать с ней: весь день жду семи часов, когда в радиоприемнике дают основную за день информацию, но без четверти семь засыпаю — на диване, в кресле, на стуле,— и просыпаюсь, когда все кончено, а добудиться меня невозможно. Я умоляю не дать мне заснуть, но Н. В. М. тоже клонит ко сну. Он пилит и рубит дрова, мы сидим у печки, похожей на ту, двадцать лет тому назад, какая была у нас в Петербурге; вечерами мы пьем чай, и ровно в одиннадцать начинают летать над нами самолеты оттуда — сюда и отсюда — туда, и Рекс слышит их мерный полет на двадцать секунд раньше нас, он ползет под стол, весь дрожа, с вздыбленной шерстью, и туда же уходит кот и ложится Рексу под живот, а мы, когда падают бомбы, становимся в дверях, где толстая стена, выложенная восемьдесят лет тому назад, как нам сказали, даст нам уцелеть.

Еще зима, и еще одна. И третья, и четвертая. И, наконец, последняя, пятая. Мы теряем им счет. После «Плача» я уже ничего не пишу — три года. Но я еще в начале войны купила толстую тетрадь, в клеенчатом переплете, с красным обрезом. Я иногда записываю в нее какие-то факты и мысли, события и размышления о них; разве я всю жизнь не считала, что все мое существование состоит в том, чтобы жить и думать о жизни? Жизнь и смысл жизни. Но теперь я вижу, что смысл ее — в ней самой, и во мне — живой, еще живой. А другого смысла нет. И цели нет, и потому-то средства и не оправдываются целью, что цели нет. Цели нет.

Парижу не идет «быть пусту». Париж должен пульсировать, мигать огнями, греметь, дышать. В Петербурге на Васильевском острове на Среднем проспекте в 1921 году паслась коза. Но здесь коз нет, а есть только широкие жилы улиц, одинокий полицейский на перекрестке, закрытые лавки, молчание. Я проезжаю на велосипеде «мимо зданий, где мы когда-то танцевали, пили вино» и читали друг другу стихи, и говорили о стихах. Юрий Мандельштам арестован, Фельзен арестован, Раиса Блох и Михаил Гролин исчезли, погибли; Мочульский болен туберкулезом; Адамович, Софиев (потерявший жену) на фронте; Кнут и Оцуп ушли в Сопротивление; Ладинский, Раевский прячутся; Галя Кузнецова на юге, бедствует в «свободной зоне», Божнев в больнице для нервнобольных: о Штейгере давно никто не слыхал. Присманова и Гингер живут и надеются на чудо. <...>

Я иду на Монпарнас, где нет никого, словно я приехала в Лион или Дижон и там гуляю одна, от поезда до поезда. И я иду на улицу Бетховена, которая называется в Париже «рю Бетовэн», где мы жили с Н. В. М. до покупки Лонгшена. Одним концом она упирается в Сену, где сейчас вспухла вода и боятся наводнения, другим концом — в лестницу, которая ведет к Пасси, к кафе «Турелль», к Трокадеро, но и там тоже нет никого, ничего, только марширующие солдаты и жмущиеся к домам прохожие, чужие мне и друг другу.

И здесь начинается моя Черная тетрадь, от которой до сих пор пахнет землей: она одно время была закопана в подвале и зацвела темно-зелеными пятнами плесени.

(Продолжение следует.)

В ноябре прошлого года «Октябрь» обратился к общественности с просьбой материально поддержать самостоятельное становление нашего отныне независимого журнала. На расчетный счет 609481 в Шаболовском отделении Жилсоцбанка МФО 201467 г. Москвы за минувшие месяцы поступили денежные средства от наших авторов и читателей. Среди поддержавших журнал лауреаты «Октября» 1991 года писатели Вл. МАКСИМОВ и Анатолий БОЧАРОВ, перечислившие свои годовые премии, читатели Б. А. БЫСТРОВ, И. В. ВОЛКОВ, Н. П. ИГУМНОВ, Т. Г. КОХАН, Ю. В. МОСИНА, К. Г. МОТЛИЧ, И. Н. СИНЮКОВА и др.

Редакция сердечно благодарит всех откликнувшихся на наш призыв. Большое вам спасибо, дорогие друзья!

ПОПРАВКА

Приносим извинения нашим читателям. В рекламе журнала допущена досадная опечатка. Следует читать: Абдурахман АВТОРХАНОВ. **Мемуары.**